

Николай Ольков

*Собрание  
сочинений*

Том 1

Москва  
«Российский писатель»  
2018

УДК 821.35  
ББК 84...  
О 72

*Финансовую поддержку настоящему изданию оказали  
предприниматели Тюменской области  
МАМОНТОВ Николай Тихонович (Ишимский район),  
ТАШЛАНОВ Владимир Леонидович (Казанский район),  
НИКИТИН Виктор Владиленович (Исетский район),  
СОКОЛОВ Матвей Егорович (Сладковский район),  
друг детства и односельчанин  
БОРОДИН Владимир Николаевич (Нефтеюганск),  
автор благодарит за поддержку также  
журнал «Подъем».*

Николай Ольков. *Собрание сочинений в пяти томах. Том 1.* – М.: Редакционно-издательский дом «Российский писатель», 2018. – 464 с.

**ISBN 978-5-91642-217-7**

В первый том известного прозаика Николая Олькова вошли его ранние произведения из книги «Ремезиное гнездышко» (как считает писатель, всякий скакун когда-то был жеребенком), а также роман «И ныне и присно», замысел которого родился совершенно случайно – от обнаруженного автором совпадения имен его дочерей Ольги, Татьяны и Марии с именами всех старших дочерей последнего русского Императора. И трагическая судьба младшей цесаревны Анастасии увлекла его...

А вот повествование «Ферапонта Андомина сказыванья...» возникло по впечатлениям от посещения Николаем Ольковым вологодского села Ольково, из которого в первой трети 17-го века его предки переселились в Сибирь.

ISBN 978-5-91642-217-7

© Ольков Н.М., 2018 г.

© «Российский писатель», 2018 г.

## ПРОЗА ДОЛГОГО ДЫХАНИЯ

### *К творческому портрету Николая Олькова*

С прозой Николая Олькова познакомился несколько лет назад, благодаря публикациям его произведений на сайте «Российский писатель». И с той поры стал его постоянным читателем.

Думаю, так случилось оттого, что в прозе этого писателя почувствовал ту основательность, которая позволила вспомнить одно из любимых определений Александра Трифоновича Твардовского. Когда ему нравились рассказы, повести, романы, он называл их *«прозой долгого дыхания»*.

Это *«долгое дыхание»* почувствовал и я, по прочтении первых же рассказов Николая Олькова, которыми стали для меня «Встреча», «Про Максима, инвалида и говоруна»...

Поэтому стал читать другие его рассказы, повести, романы, очерки, публицистику.

А в начале этого года увидел имя Николая Олькова среди лауреатов «Российского писателя» за 2017 год в номинации «Публицистика» за очерк «Председатель» и статьи «Страна плача», «Половодье гнева».

Для меня такое известие стало абсолютно естественным, поскольку названные очерк и статьи — это не только заметки о проблемных сторонах нашей жизни или людях, достойных внимания, но и добротная проза высокого качества.

\*\*\*

Как и многим постоянным и новым читателям этого автора, мне импонирует манера его письма. Она нетороплива, но в этой неторопливости заложен индивидуальный ритм, какой в каждом из произведений, а нередко, даже и эпизодов, вводит меня — читателя — в состояние, позволяющее чувствовать себя не сторонним наблюдателем, ждущим развязки, а человеком, перенесённым волею писателя в среду его героев.

Причём, так активно вовлечённым в то или иное действие, будто и от меня может зависеть развитие или исход повествуемого.

Такое случается лишь тогда, когда автор сначала максимально входит в состояние каждого из своих персонажей, и лишь после этого рождаются у него фразы, абзацы, страницы... где, оживают под его пером характеры и те положения, в каких оказываются его герои.

Конечно, это дар природы. Такому не научишь и не научишься. А вот стиль изложения, в зависимости от того, о чём пишешь, и характеры разговоров — диалогов персонажей — зависят от литературного слуха писателя, который у Николая Олькова, на мой взгляд, абсолютный.

Оттого так и органичны его герои в своём поведении при любых обстоятельствах, о каких повествует автор.

Отсюда же и другой важный эффект: если писатель о биографии того или иного персонажа говорит лишь вскользь, её чувствуешь и легко домысливаешь.

Всё это рождает полное доверие к автору.

\*\*\*

Произведения Николая Олькова охватывают в сумме огромный отрезок времени, а точнее, времён истории России. Времён непростых, неоднозначных, меняющих характер развития страны, ломающих судьбы людей...

Но о чём бы он ни писал, везде старается в художественной форме *«дойти до самой сути..., до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины»*.

Да и не только прошедших дней, но и нынешних. И донести до читателя суть взволновавших событий.

Один из ярких тому примеров — повесть «Чистая вода», где автор довольно резко написал о том, как трагически сложилась жизнь традиционной крестьянской семьи в современных условиях. И почему это случилось.

Отсюда и читатель не только получает удовольствие от чистолитературного качества произведений, но и точные исторические сведения об атмосфере, царившей и царящей на Руси в те или иные времена. Будь то Гражданская война, Великая Отечественная, довоенные, послевоенные и современные будни...

\*\*\*

Николай Ольков является лауреатом многих литературных премий. Но среди них, на мой взгляд, премия имени Ивана Ермакова является для писателя особой. Может быть, потому, что как-то по особому тепло прозвучало для меня его повествование о своём земляке Иване Ермакове, названное «Дорога к Храму».

Не исключаю, что иназвание это рождено у Николая Олькова благодаря внутреннему мотиву романа «Храм на крови», так и ненаписанного сибирским писателем Иваном Ермаковым. Хотя несуществующую рукопись этого романа стали по его смерти наперебой просить у вдовы московские, свердловские, новосибирские издательства, десятки журналов и газет, в которых Ермаков печатал свои сказы.

Причём, каждый из просящих умолял — никому, кроме него, не отдавать рукопись.

А вдове всякий раз приходилось объяснять, что в архивах такой рукописи нет. Что на своём юбилейном творческом вечере писатель рассказывал лишь о замысле того, что хотел бы написать.

Но не случилось.

И об этом в финале повествования «Дорога к Храму» Николай Ольков написал так: «Всё, что вспомнил, что увидел во фронтовом окопчике, что обдумал и вложил в память свою писатель для будущего романа «Храм на крови», он унёс с собой. Остались несколько листов с названием, то от руки, то на печатной машинке: «Храм на крови», и неполные страницы текста».

Когда прочитал о том, что эти мысли родились у Ивана Ермакова от воспоминаний об увиденном «во фронтовом окопчике», вспомнил рассказы моих родителей — фронтовиков и их боевых товарищей о внутреннем состоянии перед боем или при массированных обстрелах со стороны противника.

В этих рассказах, надежда на успешный для жизни исход была связана лишь со случаем. А такой «случай» вольно или невольно ассоциировался у них с некоей внешней силой, которая «всё видит и рассудит по справедливости».

О Боге в те времена упоминать было не принято.

И очень жаль, что Ивану Ермакову не довелось написать задуманный роман. Уверен, что многие фронтовики, которые в ту пору были ещё живы (писатель ушёл из жизни в 74-м), вспомнили бы о своих ощущениях тех лет. А последующие поколения полнее знали бы, какие чувства, порой, испытывает человек на войне.

И, конечно, не удивлюсь, если окажется, что Николай Ольков, построивший в девяностые небольшую церковь в деревне, сделал это в какой-то степени и под влиянием своих размышлений о «Храме на крови».

\*\*\*

Вполне естественно, что основная часть творчества Николая Олькова посвящена деревне, которую он прекрасно знает изнутри, потому что рождён в русской деревне Тюменской области, много лет там живёт. И поэтому её суть впитал «с молоком матери»: уклад, характеры деревенских жителей, их реакцию на происходящие в стране перемены...

Его герои — люди работающие, несмотря на, мягко говоря, жизнь нелёгкую, любят родителей, жён, мужей, детей, свои края, своё Отечество, отстаивая в войнах его независимость. Умеют веселиться, разделить радость и поддержать в трудную минуту.

Как и все, кого называют людьми «простыми», верят властям на слово. Те их нередко обманывают, но они продолжают верить, потому что у них «так принято».

Но верят до определённого предела. И если этот предел пройден, тогда наружу вырывается та страшная, жестокая стихия, о которой Пушкин в «Капитанской дочке» написал: *«Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный»*.

О таком бунте — крестьянском восстании против коммунистов в 1921 году в Сибири — написал Николай Ольков в повести «Гриша Атаманов». Повесть яркой, наполненной драматичными событиями и мечтами молодого командующего фронтом Григория Атаманова о недостижимом прекрасном — свободе, равенстве, духовности...

Этой высокой мечтой он настолько увлёк людей, что они, не задумываясь, ступили на путь мятежников и пошли за ним до конца, ставшего, как и финалы всех предшествующих подобных историй, трагическим и для командира, и для всех остальных.

\*\*\*

Отдельно хотел бы сказать о его рассказах, поскольку, на мой взгляд, это самый трудный жанр прозы. Он труден тем, что требует предельной лаконичности. Но в произведении высокого качества она не должна быть сухой или только информативной. Писателю требуется передать в этой лаконичности «всю палитру» внут-

ренной сути своих героев, а также, тех обстоятельств, в каких они находятся.

И главное — показать труд души, который и определяет поступки каждого персонажа в той или иной истории, о какой идёт речь в рассказе. Потому что труд души — это самое интересное и важное, что есть в человеке.

Значит, и настоящий рассказ требуется написать так, чтобы у читателя создалось чувство, будто он прочитал не коротенькое повествование, а солидную повесть или даже роман со всеми, вытекающими из этого внутренними и внешними драмами.

И таким искусством Николай Ольков овладел, на мой взгляд, в совершенстве.

Да и названия рассказов этого Мастера: «Нюхач», «Белое платье», «Букет», «Как помирал Яков Васильич», «Женитьба Золотухина», «Черёмухи цвет»... настолько «говорящие», что не только моментально настраивают читателя на волну предлагаемой его вниманию истории, но и в немалой степени интригуют.

Что, конечно же, требует отдельного искусства.

\*\*\*

Думаю, не меньшего искусства, а также, внутренней смелости требует и решимость быть неожиданным. Не так уж часто встретишь Художника, который отважится на то, чтобы заметно уйти с той колеи, где он уже является признанным Мастером.

Николай Ольков рискнул. И этот риск отчётливо виден его постоянным читателям в романе «И ныне, и присно», где писатель, героем которого изначально стала русская деревня, взял сюжет иной. В романе речь идёт о семье учёного из Варшавы, которая в какой-то момент по определённым обстоятельствам переезжает в Петербург. И там сын учёного случайно встречается с Великой Княжной Анастасией. Между молодыми людьми мгновенно пробегает та искра, которая называется влюблённостью. Но в развитие их отношений вмешивается ход истории: сначала Мировая война, потом революция с последующим арестом царской семьи и её расстрелом.

Герой же в это время проходит тяжелейшие испытания — жизнь под чужим именем, арест, лагерь, штрафбат, снова арест..., теряет семью.

Но и в таких, казалось, трудно преодолимых обстоятельствах, ни на миг не угасает в нём то чувство, какое, видимо, и хранило его на

земле: высокая, даже неземная любовь к Анастасии. Или Стане, как она позволила её именовать.

А дальше, когда ход событий его жизни изменился, и у него появилась семья, родилась дочь, она получила это имя, а также просьбу отца — передавать это имя из поколения в поколение.

И вся эта история написана не менее сочно, чем привычные доселе сюжеты Николая Олькова из деревенской жизни.

Здесь и яркие персонажи, такие как православный художник, армейский генерал, сотрудник НКВД... А также, дух того времени, когда царил ненависть большевиков к православию, осквернялись и разрушались церкви, храмы...

В общем, после обнародования этого романа читатель ясно ощутил, насколько широк диапазон творческого дарования этого Мастера.

\*\*\*

Николай Ольков, действительно, не перестаёт приятно удивлять «свежестью дыхания» в каждом последующем своём произведении.

И это особенно отчётливо чувствуешь, когда читаешь, подготовленный к изданию его пятитомник, где писатель, *«всё время схватывая нить судеб, событий»*, рассказывает о своём мировосприятии.

Наверное, поэтому тот *«образ мира, в слове явленный»*, который предстаёт из-под пера этого Мастера, так интригует своей «незатёртостью», художественной убедительностью, и потребностью перечитывать полюбившиеся фрагменты и целые произведения.

**Григорий БЛЕХМАН**



## ЗАЛОГ СЧАСТЬЯ — ГНЕЗДЫШКО РЕМЕЗА

*Ремез — пташка из рода синичек,  
которая вьет гнездо кошелем,  
за искусство это ее зовут первой пташкой у Бога.*

В. И. Даль

Заметают снега неширокие улицы моей деревни, изо дня в день все плотнее укрывают, уметывают подвижной белизной бани под самые крыши и огородную горodbу напротив наших окон.

Тихое счастье сидеть в теплой избе, когда всего в шаге за стеклом метель и холод.

Больная мама стонет на голбчике, который сделан над запечным ходом в страшное подполье. Отец бесцельно скрипит по избе самодельным протезом, который зовут деревяшкой.

Мне десять лет. Я уже привык к тихим стонам мамы, и под них делаю уроки. Я учусь хорошо.

Мама просит бога о смерти. Бог безучастно слушает ее с небольшой дощечки на божнице в переднем углу избы.

Прямо перед божничкой на белой нитке висит похожее на рукавичку гнездышко птички ремеза. Отец нашел его прошлой осенью в первых лесках высоко на березе, скинул деревяшку, полез и снял. Мне он сказал, что наша мама выздоровеет, потому что ремезиное гнездышко приносит счастье. В глазах его были слезы.

Мама умерла вьюжным мартовским вечером.

Через много лет, прощаясь с совсем опустевшим домом, я увидел на божничке то самое гнездышко. Во мне не было упрека. Моя спешащая жить душа нуждалась в поддержке и обрела ее. Маленький пыльный комочек, сотворенный лесной пташкой... Я верил в неизбывность счастья.

В который раз...

2003

## ПРОВОДИНЫ

Осенью уже, когда пустеют поля и возвращаются домой пастухи с дальних отгонов, начинаются в деревне проводы парней в армию.

А они уже заранее знают, кому идти, и вечерами в клубе, в жаркой тесноте коридора, обжигая неумелые губы окурками сигарет, безграмотно спорят о преимуществах своих родов войск, по простоте душевной не понимая, что судьба руками сидящего майора военкомата еще не раз изменит номера команд в их призывных документах.

...Уже тиснула усталая комиссарова рука круглую печать на чью-то повестку, и несет ее сельсоветская Надя-секретарша, как многие годы назад носила повестки их отцам.

А потом в этот дом придет бабушка Настасья, дрожащими руками достанет из черного платочка фотокарточку на картоне, посмотрит в глаза пареньку и скажет просяще:

— Уж ты, милоч, ладом погляди, может, Ванюшу моего встретишь, с конца войны писем нет.

Она всегда так говорит. Мужа и двоих сыновей на фронт проводила, а вернулись вместо них похоронные. Со всем вроде смирилась, а вот что Ваня ее погиб — не верит, и слова сказать об этом никому не дает. Вот и шлет наказы с каждым призывником.

Еще приходит хромой учитель немец Эмиль. Он ничего не говорит и ни о чем не просит. Станный он, этот немец: подойдет к парню, подопрет культю поношенной тросточкой и долго трясет его руку, а потом поклонится матери будущего солдата.

— Да полно вам. Эмиль Иванович, полно!

— Ничего, ничего, — говорит он и уходит, оставляя на полу жирные пятна грязи от костылей.

Старый учитель одинок и замкнут, но люди знают, что ногу он потерял в трудармии, что в первые годы войны он был переселен с Волги, не успев закончить, учительский институт в Энгельсе. А еще говорят, однажды он был сильно пьян и горько плакал, кляня Гитлера за то, что тот опозорил немецкую нацию.

Хорошо, когда в деревню приходит одна повестка, тут никаких

конкуренций, — приглашай кого хочешь. А когда две или больше — не зевай. С родственниками вопрос ясен, а что касается друзей и девчонок — дело доходит до громких разговоров. Но это только поначалу. Пошумев, сойдутся на том, что за вечер побывают у каждого и с каждым чокнутся.

Угомонится вечером деревня, только в нескольких домах свет горит. И Боже тебя сохрани опоздать в компанию: встретят, проведут в передний угол и подадут граненый стакан. Это штрафной, чтобы друзей догнал.

На проводинах гулянка не то, что любая другая. Верный признак — песне простор. Не успеют еще по второй рюмке обойти, а Петруха уже начинает:

*Как в солдаты меня мать  
провожа-а-а-ла...*

Вздрыгнет компания и затихнет, а потом «эх!» — крикнет кто-нибудь позаядлей, и подхватит хор дружно и споро, словно много уже спевков было, и загремит песня, отражаясь в осеннем морозном воздухе многими подголосками.

Споют и заговорят все разом, будто голоса на песне пробовали.

— Все, брат, отошла коту масленка, отпотягался.

— Не умешь — научат, не хочешь — заставят.

— Не плачь, Матрена, у меня уже двое выслужились. Лишь бы время мирное.

— Тетка Дарья, да я за четыре года на флоте...

Заглушит этот шум Петруха новой песней. Голос у него сильный, красивый, может, его поэтому всякий раз и приглашают. На проводины ходит он во френче с медалью «За отвагу». Петруха прошел всю войну, а на награды ему не повезло, только одну и получил. Носит ее по торжественным случаям и вроде немного гордится. Наши все к этому привыкли и внимания не обращают, а приезжий молодой агроном как-то посмеялся над Петрухой — едва мужики его отобрали.

Эстафета песня на этом вечере. Женщины сдвинутся на лавке и заведут «Катюшу». Чудо песня! Не из этого ли дома мотив ее появился, чтобы обойти весь мир и снова сюда вернуться? На всех языках поют ее, а лучше, чем на родном она никогда не звучала.

А потом девчонки перемигнутся лукаво и, посмотрев на парня, запоем Люда, косу свою пышную теребя:

*Вы солдаты, мы ваши солдатки,  
вы служите, мы вас подождем.*

И не поймешь, всерьез девчонки или просто так грустят, потому что песня грустная. Пробежит румянец по рекрутским щекам и за уши зацепится. Возьмет парень в руки уголок скатерти, да так и притихнет, пока песня не кончится. Впервые, наверно, в эти минуты всю серьезность своего положения осознает. Встанет, поднимет рюмку и скажет:

— Давайте еще по одной. За нашу родную Советскую Армию! Первым поднимется Петруха. Выпьют стоя. В деревне редко стоя пьют...

Утром желанное блюдо на столе — уха из молоденьких окуньков. Тут уж мало пьют, а новобранца вообще одной стопкой ограничивают. Зван и не зван — все в дом идут, и никакого позора в этом нету. Поднял стаканчик за счастливую службу да за благополучное возвращение — и будь добр на работу, если дело не терпит.

Потом соберется вся деревня на площади, поднимется на бетонную плиту перед памятником коммунарам секретарь парткома Николай Александрович и — тишина сразу. Святое это место. Коммунары тут похоронены. Деды. Отцы с этого места на фронт уходили. Сейчас уходят в армию парни.

— Сегодня мы провожаем на службу в Советскую Армию лучших наших ребят. Пожелаем им служить исправно и чести сибиряков не посрамить. Кто желает выступить?

И опять попробует пробиться через толпу бабушка Настасья. И опять вздрогнет старый учитель немец Эмиль, потом отвернется и закурит. Только выйдет вперед мать призывника и молча вложит в его руки узелок родной земли, взятой с коммунарской могилы.

На этом митинге не много слов. И уже дает шофер последний длинный сигнал, трогается машина, а парни стоят в кузове — подтянутые, котомки за плечами, почти солдаты — и не знают, или на матерей им смотреть, которые из толпы вперед вышли, или на девчонок своих, которым поближе подойти гордость не позволяет.

И услышат они, как сотни уже слышали:

— Служите!

— Возвращайтесь!

— Ванюшку моего... Прошу...

Так и поедут стоя до поворота, пока их видно, и пока виден будет им шпиль высокого коммунарского памятника.

1971

## ДИМКИНО ПОЛЕ

Андреев встал и отодвинул кресло. Все затихли. Репродуктор на столбе у конторы сообщил время: половина седьмого. Утро.

— Начнем, пожалуй, кажется, все в сборе?

Кто-то сказал:

— Горлова нет.

— А где он? — директор взглядом поднял управляющего отделением.

— Не знаю, — Рожнев смутился. Он всегда смущался при начальстве. — Я, еще едва зариться начало, по своей нужде на крыльцо вышел, смотрю, он в ходок садится. Покричать хотел, да голоса у меня по утрам, ясное дело, что нету.

Кто-то хохотнул. Ровный голос Андреева сбил смешки.

— Вчера состоялось бюро райкома по сенокосу. И меня поднимали. Положение у нас не особенно важное. Давайте по каждому отделению разберемся конкретно... Начнем с первого...

Солнце заглянуло в директорский кабинет и высветило пучок прокуренного воздуха, который медленно тянулся в сторону распахнутой створки. Улица наполнялась шумом сенокосного дня. Заглушив все, пробежал «Беларусь» с грабелями, осторожный стогометатель, любезно кланяясь, ушел за ним. Пыль уже оседать не успевала. Потом ребятишки с визгом пронеслись верхом на лошадях, женщины на конторском крыльце ругались тихонько им вслед, что расшибутся. Сонные девчата блаженствовали в тени сада, сторонясь парней. Ждали машину, чтоб уехать в луга.

...Воронко остановился на своем любимом месте под акацией. Горлов быстро выскочил из ходка, даже не притянув вожжей, побежал на крыльцо.

— Колька все еще не приехал? — спросил он, ни к кому не обращаясь.

— Не бывал...

— С Дашкой в холодке, поди, прохлаждается.

— Правда, ведь и ее нету...

— Ты, Васильич, сыграй ему «зорьку».

— Я сыграю, наверно. — И прошел в коридор. Отчитывалось пятое

отделение, когда он открыл дверь директорского кабинета, кивнул сразу все и сел с краю.

— Здорово же ты задержался, Иван Васильевич, совещание-то к концу подходит.

— Я на Кулибачиху ездил...

— Мог бы после.

— Там хлеб гинет, Григорий Андреевич.

Андреев резко сбросил очки, солнце в испуге метнулось от них на стенку.

\* \* \*

— По машинам! — крикнули на крыльце, и зашатались борта под десятками рук, замелькали икростые девичьи голяшки. Дашка вызывающе улыбалась в кабине, а Николай стоял на подножке и кричал:

— Хватит, не лезьте больше, у меня права все еще не лишние!

— Без прав на курево заробишь, а водкой Дарья напоит.

— Не выболел, вилы в руки возьмешь.

— Я от такой оравы — горе веревочкой, и шпарю, а он, сломок господень, до семи часов потягается с этой долгоспанной. Я вот ее из кабины-то выпру!

— Ну-ну, тетка Марья, ты не шуми, — поверженный Колька хлопнул дверцей, и вот уж ветер пошел гулять по кузову, заигрывая с простенькой девичьей одеждой к всеобщему хохоту мужиков и парней...

Горлов говорил, будто оправдывался:

— Грива вся взялась. От лесков, еще, правда, дюжит. По Таволжанской дороге тоже прихватило, ржавеет от корня. А тут же семенники. — Горлов мял в руках поношенную кепченку.

Несколько минут все тихо переговаривались. Сообщение Горлова нарушило ход совещания. Андреев, уже получивший полную картину заготовки кормов, переключил внимание собравшихся:

— Надо немедленно обследовать все поля, вечером управляющие позвонят мне. Не знать грех, а знание только увеличивает ответственность... И сено, сено не забывайте, товарищи. Главному агроному остаться, остальные свободны.... Неожиданно для меня все это, думал, что еще держатся. Да и вчера на бюро никто речи не завел. Хотя... наши поля увалистые, к солнцу ближе.

— Горлов Америки не открыл, Григорий Андреевич. Я еще три дня назад знал, что на шестом поле пшеница сохнет, заехал случайно.

— А почему мне ничего не сказал? — удивился Андреев.

— Зачем? Все равно сделать ничего нельзя. Вы же знаете сумму положительных температур и отставание по влаге. Это и есть засуха, явление природы, бороться с которым мы, как известно, не можем.

Андреев усмехнулся:

— Долго проживешь, Виктор Петрович.

Агроном не понял.

— Легко ты все переносишь, — Андреев вздохнул, повертел в руках очки. — Это хорошо. Только не по-нашенски, не по-крестьянски. У нас с Кулибачихой вся история связана, а для тебя она шестым полем стала, как в амбарной книге... Только при мужиках так не говори, не поймут они, да и не влюбят... Ну, все у меня, вы свободны.

Агроном вышел, недоуменно пожав плечами.

С первого дня отношения у них сложились странные. Виктор понимал, что директор даже в будущем не видит в нем агронома, но менять ничего не хотел, тем более, что Андреев не давал для этого повода.

Приехав с направлением и представляясь директору, он сказал тогда:

— Видимо, у вас буду диплом отрабатывать.

— На два года, значит? — Андреев с жалостью на него посмотрел. Еще не уловив ничего в непривычной интонации директора, Виктор ответил прямо:

— Выходит, так.

— А родом откуда?

— Из Тюмени.

— Горожанин, значит?

— Безусловно, — съязвил тогда он.

— С асфальта в агрономы...

— Мать настояла. Она, кстати, родом из этих мест. Тоскует. Рассчитывает, что приживусь и ее заберу.

— Вряд ли приживетесь, — как бы про себя сказал Андреев, но Виктор не придавал тогда значения этим словам. Все время потом он четко выполнял свои обязанности, но для директора оставался человеком чужим и агрономом временным, и сам хорошо понимал неопределенность своего положения.

Андреев снял трубку, набрал номер первого секретаря райкома:

— Василий Федорович, добрый день. Сегодня стало известно: хлеба начинают гореть.

Трубка долго молчала.

— Я почему звоню: может быть, изменения какие в погоде ожидаются?

— Ты же был вчера на бюро...

— Значит, ничего.

— Обещают изменения в ближайшие дни, но ты ведь знаешь наших синоптиков... А решением бюро природу не обяжешь. Будем надеяться.

— Понял.

В кабинете жарко и накурено. Открытые окна не спасают. Сонная муха бесцельно тычется в стекло и жужжит тонко и противно. Бодрый голос диктора из репродуктора звучит насмешкой: «По югу Тюменской области возможны дожди...» Андреев постучал по барометру. Бесстрастная стрелка упорно показывала «ясно».

\* \* \*

Воронко утомился к обеду. Он бежал не быстрее шага хитрой рыси, чтобы хозяин не придирался. Иван сидел в ходке, вытянув ноги, и, прикрыв глаза кепчонкой с кушым козырьком, терпеливо переносил жару. Был он от природы сух, носил сапоги, ботинок не признавал, потому как галифе с ботинками не наденешь. Галифе снашивал он в год по паре и непременно шил снова. Начальство большими заботами в выборе премии не утруждал, ему регулярно покупали отрезы на галифе за успешное проведение посевной и уборочной.

В хромочах и галифе Иван выглядел стройненько, а когда приходил в баню, мужики изводили его за худобу. Он терпеливо сносил все, молча бросал на каменку три ковшечка холодной воды, надевал старенькую шапку, рукавицы и лез на полку. Жар поднимался страшный, ребятишки ложились на пол и визжали от восторга, а Иван кричал:

— Кто... там... живой... плесни... грамм... двести...

Ближние плескали, жар отхабаривал дверь, и тогда уже вынести никто не мог. Мужики, беззлобно матерясь, сползали с лавок, Иван кряхтел и ожигался, вертясь вьюном, находил веничком заветное место и жег его, жег, краснея и обливаясь потом. Ребятишки на полу смачивали быстро сохнувшие волосы, в верхнем пазу баньки потрескивал мох, а Иван бичевал себя, выкрикивая в такт ударам:

— Кха-кха-кха, хо-ро-шо б е-ще че-ку-щеч-ку...

— Кончай! — кричали мужики с полу. — Нам жару оставь.

— Всем хватит. — С этими словами он спускался с полка, прибирал веник и открывал дверь, давая всем вздохнуть свободно. Его ругали дружно и беззлобно, иногда кто-нибудь говорил:

— Конечно, в шапке-то можно, голову не обносит.



— На, попробуй, на таком же режиме, — предлагал Иван. Да кто согласится?

На лугу ни души, только вдали, на омуте, копновозы остужают в прохладной водице сожженные ветром и солнцем спинки. Народ в тени пережидает полуденный зной.

— Здоровы были, кого не видел, — устало приветствовал подъехавший Горлов. Ему лениво ответили:

— Здравствуй, Васильич.

— Привет начальству.

— Присаживайся к нам.

В тени — хорошо. Воронко тоже ушел за соседний стог.

— Дохнуть нечем, — пожаловался Иван.

— Не говори, — поддержал его Кузьма Романович, седой и крепкий старик. Он опять воспользовался затишьем в разговоре. — Мы в эту Отечественную в больших степях наступали. Такая же жарынь стояла. Дак веришь—нет? Командование в Ставку ходило с ходатайством, дескать—мол, надо наступление отложить, ввиду как невозможно.

— Ты скажешь, — усомнился кто-то.

— Ать ты! — обиделся Кузьма Романович. — Да мы погорали тогда все! Генерал к нам в расположение приехал, смотрим, а у него нос облупился. Да! Шкурка с носа так и лезет, даром что генерал.

Иван улыбнулся. Он Кузьму Романовича уважал.

— А немец как же? — спросил голос из-под фургона.

— Немцу что! — оживился мужичек. — Сидит себе в блиндажах, от бетона-то холодок. Только командование наше тоже не дураки. Привезли ледку машин пять, разорили где-то запасы, наладили мы водички прохладненькой, всем полком, включая комсостав, разболочлись и давай купаться. Кто как может. Остыли, да как дали неприятелю, по холодку-то. Чешет он по степи, ребята на танках провозать его поехали, а мы давай яйца искать.

Тут рассказчик выдержал паузу.

— Какие яйца? — не вытерпели под фургончиком.

А тот молчанием набивал цену.

— Обыкновенные. Такие же, как у нас. Прижало их с топливом, не подвезли. Прикинули, наверно, снабженцы: зачем топливо из тыла везти, если войска через пару дней сами здесь будут? И выдали каждому солдату сырыми яйцами. А ведь степь, щепы не найдешь. Вот и приспособились они яйца в песке печь. Благо, что жара. Как раз в такую минуту мы и нагрянули.

Кузьма Романович помолчал маленько, пережидая смешки.

— Неловко хвастать, но я первый это дело разоблачил. Обратил внимание: песок кучкой сгребен. Мина, думаю. Была ни была! Осторожненько так рукой разгребаю, гляжу — белое что-то. Со страху за сталь принял. Пощупал аккуратненько — Господи! яичко! куричь! Шарнул дальше, а их там — сотня. Скооперировались, видно, несколько мужиков. Да. Обыкновенные яички, только мелкие супротив наших, у Митьки вон свои боле.

Места в тени всем уже не хватало.

— Ох, и поел я их тогда! В самый раз упеклись, как у меня Галька говорит, «в мешечке». И глушит их братва. А потом одни неприятности...

— От кого неприятности? — подливают мужики масла в огонь.

— Да захворали все! Желтухой. Почитай, весь полк желтый на лицо сделался. Как самураи. Друг дружку узнавать перестали.

Самые слабые, держались за животы, отползали в сторонку.

— А через месяц мне «Красная Звезда» пришла, — заключил Кузьма Романович.

— За яйца? — зудили мужики.

— Ать ты! — хохотнул он. — За героизм и мужество. Да! Видно, отличился я в том бою.

Орден-то, действительно, у него был...

— Надо бы, товарищи, сегодня здесь кончать, — перешел к делу Горлов. — На Зыбунах сено пересыхает...

— Множенько здесь, — не поднимаясь, окинул взглядом луг Кузьма Романович.

— Припоздниться можно.

— Да, вечера светлые, — согласился он. — А что, бабочки, можа в самом деле повечеруем, раз надо?

Бабочки зашумели.

Подошел трактор с граблями, Васяня Путилов крикнул прямо из кабины:

— Долго прохлаждаетесь, уже третий час.

Потом заметил бригадира:

— Васильич, здравия желаю. — Выскочил из кабины, сел рядом с Горловым. — Слух прошел, что хлеб гореть начал.

— Тебе кто сказал?

— Директор. Только что у нас был.

— Раз директор сказал, значит, правда.

— Ты ведь наш непосредственный, у тебя и спрашиваю.

— Горит, Васяня, точно.

Помолчали.

— Дождичка бы, — вздохнула женщина.

— Ать ты, сухота, — высказался Кузьма Романович.

— Сложная обстановка, товарищи. — Иван встал. — Просьба есть, женщины, от имени руководства. — Он всегда, с самой войны, говорил в трудных случаях «от имени руководства», не придавая особого смысла этим словам. — Надо поработать, чтобы закончить.

Люди поднялись.

Жара спала.

Началась работа.

\* \* \*

Димка и сам не знал, как это расценивать — повезло или наоборот. После всех военкоматовских проверок и комиссий его направили в область. Одного. В деревне решили, что не иначе как в офицерское училище определил сына бригадира Горлова военный комиссар без его на то согласия, потому как образование у парня среднее, внешностью и выправкой вполне под офицерские погоны подходит.

Димка и сам так думал до тех пор, пока капитан не выдал ему документы на обратный проезд. Ни в училище, ни вообще в десант он не попал, потому что бдительная комиссия обнаружила в организме какой-то изъян.

...Он шел из кабинета в кабинет, и вместе с ним медсестры — поочередно несли его личное дело. Очередной кабинет Димку немножко насторожил: ни одного окна, только две двери — вход и выход. С ним девушка димкиных лет, в тоненьком халатике, из-под косынки локон легонько балуется.

— Я сейчас выключу свет, вы в темноте должны из этого угла — встаньте в угол — дойти до этого. — Она встала в противоположный. — Ясно?

— Вас я в любой темноте найду. — Димка озорно улыбнулся.

— Попробуйте. — Она щелкнула выключателем, Димка смело шагнул вперед и — провалился. Яркий свет осенил его, сетка под ним урюмо покачивалась, суровый врач приложил прибор к груди и хму-ро бросил:

— Не годен.

Димка с трудом пришел в себя, поднялся на второй этаж, оделся и, получив документы, ушел на вокзал.

Повестка в армию опять же пришла ему одному, пришла неожиданно, в самый разгар сева, потому отец ограничился приглашением самых близких родственников, и большого пира не было.

Посидев для приличия за столом, Димка ушел на улицу. Материнский упрек смягчил поцелуем. Хотелось увидеть Наташку...

Его окликнули с крыльца совхозной конторы, здесь собиралась для отправки в поля ночная смена механизаторов.

— На службу собрался?

— Так точно! — он попытался щелкнуть каблуками.

— Во! Молодец!

— Бравый будешь солдат.

— Давно по тебе старшина скучает...

На крыльцо вышел Андреев, все уважительно замолчали.

— Здравствуй, Дмитрий. Готов к отправке?

— Готов, Григорий Андреевич.

— Славно. Отец дома? А сам почему не за столом с родителями?

Кто-то из мужиков опередил Димку:

— Он напоследок доброе дело хочет совершить, смену на сеялке отстоять, у нас как раз вакансия — Шурик в загуле.

Все засмеялись, но Андреев не принял шутки:

— Последняя ночь на гражданке большое, конечно, дело. И с друзьями хочется проститься, и с девчонкой... Так, Дмитрий? Только греха не будет, если отстоишь смену. На память о тебе хлеба взойдут. Мне трижды по восемнадцать, и то приятно, что мои хлеба растут. Да... — Андреев как-то смутился, обратился к механизаторам: — Где сегодня сеете?

— На Кулибачихе.

— У коммуны.

Андреев стиснул Димкины плечи:

— Это поле твой дед по матери, Илья Павлович, пахал и сеял в коммуне. На этом поле и убили его в двадцать первом.. Сено вез... на вилах подняли... Да чего я тебе рассказываю, сам знаешь...

Димка посмотрел на Андреева, и какое-то редкое чувство наполнило его:

— Григорий Андреевич, я еду с мужиками, — твердо сказал он, и никто ни взглядом, ни жестом, ни репликой не помешал хорошей тишине.

— Переодеться бы тебе, паря, — осторожно посоветовал Кузьма Романович.

— А куда мне беречь, дядя Кузьма? — рассмеялся Димка.

— Верно. Государство тебя оболочет, своя одежда теперь все одно пропащая: донашивать-то некому.

Димка уехал в поле, наказав через женщин, чтоб дома не теряли. Вернулся утром, усталый и грязный. Отец, придя с планерки, похлопал по плечу:

— Собирайся, сейчас машина будет.

На выезде, у памятника коммунарам, расподав собравшимся прихваченное вино и выпив с сыном прощальную, Иван троекратно поцеловал его и скомандовал:

— Давай! Я не поеду, да и мать тоже. Не время долгие проводы устраивать, сам понимаешь. Напиши с дороги, как принято... Да не позорь сибиряков, служи честно — благородно, за погонами не гонись, не в нашей это породе, и последним не будь, тоже неславно. Ну, сынок, в добрый час!

Димка запрыгнул в кузов и впервые увидел, что отец принародно обнял плачущую свою жену.

И Наташка, с которой так и не сумел переговорить, украдкой махнула ему рукой.

\* \* \*

Комиссия приехала через неделю. Молодой и полный главный агроном управления скользнул в прохладный коридор конторы, за ним потянулись остальные. Андреев, не глядя на вошедших, быстро дописывал какие-то цифры, потом снял очки и сказал глухо:

— Баланс подбил. Самые свежие данные. Около десяти процентов посевов на грани гибели.

— По району не более пяти, — укорила женщина в желтом платье.

— У нас поля открытые, увалистые, — так же глухо возразил Андреев. Он встал, подошел к карте совхозных земель и красным карандашом отметил пораженные поля.

— У вас тут настоящий фронт, Григорий Андреевич, — засмеялся агроном. — Со всех сторон неприятель.

— На фронте можно взять десяток добровольцев и прорваться. А здесь я вроде посредника: пишу бумаги, регистрирую потери, вот только изменить ничего не могу.

Вошел Виктор Петрович с документами, комиссия стала копаться в них. Агроном управления покрутил арифмометр и сказал:

— Если ничего не изменится, около ста тысяч убытку. Я взял плановую урожайность.

— А что может измениться? — удивилась женщина в желтом платье.  
— Это мы знаем, — перебил Андреев.— Это мы знаем, — повторил он. — Может быть, на месте посмотрим, вы же не были нынче у нас на полях.

— Посмотреть можно, — нехотя согласился агроном управления...  
Две машины, запылив улицу, ушли в поля. Ветра не было, и пыль стояла в воздухе, обозначив, насколько можно, извилистый проселок.

Андреев повернулся к шоферу:

— А что, Анатолий, курево у тебя есть?

— Чего доброго, а это всегда есть, Григорий Андреевич.

— Дай-ка я одну испорчу.

Анатолий недоуменно достал пачку. Андреев ловко вынул папиросу, умело размял табак, прикурил и глубоко затянулся.

— Да у вас неплохо получается.

— Практику большую имею, с войны до директорского портфеля.

— Силу надо, чтобы бросить.

— Прижмет — бросишь. Вот сюда сверни, — перевел он разговор. — С Кулибачихи и начнем.

Пшеница, высокая и густая, стояла беспомощно. «Тихо, как на могилках», — подумал Андреев. Женщина в желтом платье говорила что-то о корневой системе, о сроках сева. Андреев ее не слышал. Он вспомнил, как досевали это поле. вспомнил Димку, сына бригадира Горлова. И слова его тоже вспомнил: «Спасибо, Григорий Андреевич, за подсказку. Теперь верно, что память будет».

— Вот и память, — вслух произнес Андреев.

— Что вы сказали? — услышал он голос агронома управления и вздохнул:

— Ничего не могу сказать.

— Какие будут соображения, товарищи?

— Дождь нужен, вот и все соображения, — он даже вроде зло это сказал.

— Да, если еще с неделю посушит, посевы придется списывать. Здесь масса богатая, можно на сено пустить, если уж совсем безнадежно будет. Потом, естественно, вспахать. Как говорится, нет худа без добра, будете иметь самую раннюю зябь, — агроном засмеялся.

Андреева покорило от его смеха.

Другие поля смотрели молча, лишь члены комиссии переговаривались изредка. На обратном пути управленческая машина свернула на райцентровский большак, не заезжая в село.

Андреев вошел в свой кабинет, включил вентилятор, сел за стол.

Сердце знакомо сдавливало, стучало в висках. В приоткрытую дверь заглянул Горлов:

— Еду с луга, смотрю — машина стоит. Анатолий сказал, что комиссия была.

— Проходи, Иван Васильевич. Была комиссия.

— На чем решили?

— Агрономы дают рекомендации, в том числе скосить на сено, потом под плуг.

— А вы что?

— Что — я? — не понял Андреев.

— Согласились?

Андреев посмотрел на Ивана Васильевича, будто искал у него защиты от самому себе непонятной обиды. Он уважал, любил этого человека за его беспокойство и заботливость. Управление как-то настояло заменить практика Горлова агрономом со средним образованием. Андреев долго не соглашался, но в приказном порядке настояли, даже обвинили в непонимании кадровой политики. Скрепя сердце, перевел он Горлова заведующим зернотоком.

Дипломированный паренек старался изо всех сил, но не нашел общего языка с механизаторами, и дела в первую его посевную шли плохо. Помучившись, Андреев его сплавил, дав отличную характеристику, чтоб парень не обиделся, а к Горлову ходил прямо домой, извинился и уговорил вернуться.

С тех пор отношения между ними были особенные. Кое-кто из управляющих и специалистов ревновал и говорил об этом вслух.

— Еще пару денечков подождать надо, Григорий Андреевич. Это время пшеничка выдюжит, поправится потом. А денька через два дождичек все равно будет.

— У тебя что, прямой провод с небесной канцелярией? — пошутил горько.

— Грех сказать-то, — Горлов оглянулся, не слышит ли кто, стал говорить тише: — Я ведь ночесь ни на волосок не уснул. У меня ревматизм, с войны еще, дак уж он меня поломал! Он ломат, а я реву да приговариваю: «Да милый ты мой, и где ж ты раньше был, и где тебя холера угибала?» За двадцать лет он меня еще ни разу не подводил, непременно к погоде расходится, так что надежно знаю, к дождю или бурану.

Андреев засмеялся, подошел к висевшему на стенке барометру:

— Кажись, грамотный у тебя ревматизм, Иван Васильевич, ой, грамотный. Ты только посмотри!

Горлов поглядел на барометр и сказал независимо:

— Я же говорил. Все-таки двадцать лет стажу, и не подводил.

Андреев, боясь спугнуть, осторожно постучал по стеклу. Стрелка еле заметно переместилась в сторону осадков.

\* \* \*

Квас Ивану не понравился сразу, сначала вроде горчица, а потом оказался для крошки слишком резким. Он положил ложку и встал. Мария посмотрела на него удивленно.

— Ты чегой-то?

— Так. Не хочу.

— Опять затосковал, давно не виделся...

— Молчи уж. При ребенке-то.

Светка сразу насторожилась. Иван прошел в комнату, включил приемник, искал что-нибудь интересное, вроде футбола. Эфир трещал. «Надо Василия Михайловича пригласить, барахлит приемничек» — подумал Иван и щелкнул выключателем. Дыма папиросой, вышел на крыльцо. Было тихо и душно, пахло горячей землей, теплой водой с озера, прелым картовником с огорода. Суставы начинали привычно ныть, боль тихонько расходилась по всему телу...

— Темень, хоть глаз коли, — сказал он, чтобы начать разговор с женой.

— Господь с тобой, — повернулась Мария. — На неделе месяц налился... Ты уж в своей ограде блудить начал, гляди, как бы чужие бабы совсем с ума не свели. Ночь ото дня уж не стал отличать.

— Ох, и болтать ты... — Он хотел выругаться, но не стал. — Дурь пройдет, а я пока к Михаилу схожу.

Михаил, управляющий отделением, жил рядом, они гостили иногда друг у друга. Когда в деревне заметили, что Димка вместе с Наташкой из клуба уходят, в застолье стали зваться сватами и тихонько от жен вспоминали свою молодость.

— Садись, Васильич, — пригласил хозяин. Иван сел. — Хошь, я тебе стопку налью? Для аппетита. Анисья, дай бутылку, я не себе, я свату.

Только сейчас Иван заметил, что Михаил пьяненький. Не желая публичного скандала, Анисья отдала отобранную бутылку, хозяин разлил водку в два стакана.

— Давай, сват, по одной, — он нацелился чокнуться.

— Тебя директор сегодня видел? — спросил Иван.

— Нет. А в чем дело? Кажись, все было нормально. — Михаил испуганно поставил стакан.



— Насчет погоревших хлебов, я думал...  
— А, да он мне звонил. Выборочно косить велел, потом пахать.  
— Так и сказал?!  
— На ваше, говорит, усмотрение. У меня, говорит, рука не поднимается.  
— Ну, а ты?  
— Приказ есть приказ. На наряде завтра разберусь, откуда какую технику перебросить можно...

Иван встал.

— Ты куда?  
— Не пей больше.  
— Садись, Иван, поговорим.  
— Да пошел ты...

Разделся, перелез через жену к стенке, отвернулся. Вспомнился Димка, представилась перепаханная Кулибачиха, дошел черед и до Насти, из-за которой ворчала жена. «С самой весны не бывал, напраслину возводит». Хотел сказать ей это вслух, но передумал. Сон брал свое. Иван немного поворочался и уснул, уложив поудобней больные ноги.

\* \* \*

Нет, не напрасно изводила Ивана жена, грех за ним водился, только Мария никогда не утруждала себя желанием разобраться в смутных думах мужа и корила его постоянно за сухость—неласку, за деревенские сплетни.

Настя жила на задней улице, через огороды. Мало кто в деревне помнил, как началась эта связь, никому непонятная, да и не интересующая никого особо. Только Иван в минуты горького одиночества вспоминал, как после войны гуливали они с Настей на зависть незрелой молодежи, как дальше потом дело обернулось, и встречу свою с Настей в попутной из города машине очень близко и до боли хорошо помнил.

...Он ездил тогда в город купить первый свой послевоенный костюм и, запрыгнув в кузов остановившейся полторки, обомлел, увидев ее.

— Ты в деревне от кого слышал, что я возвращаюсь, или случайно мы встретились? — вроде как безразлично спросила она.

— Случайно. Приезжал костюм купить.

— К свадьбе, небось, готовишься? — грустно улыбнулась Настя.

— Ты подсмеиваешь все, как прежде.

Она вздохнула:

— Прежде, Ваня, не то было. Парней целый хвост, отчего не по-

смеяться над кем? А сейчас, слава Богу, что сама без хвоста еду. Сквозь слезы подсмешки-то.

Он промолчал, потом сказал тихо:

— Я ведь, Настя, как прежде. Если хочешь — уедем куда подальше, я с председателем договорюсь, отпустит.

— Ни к чему, Иван, — она вздохнула, как вздыхает теперь он сам, когда, случается, вспоминает свою молодость. — Я теперь пуганая, каждого куста боюсь. Уж если, когда в девках за тобой бегала, не нужна стала, то сейчас и подавно. Так все это, Ваня, слова одни.

Тяжело было Ивану это слышать.

— Неужели у тебя ко мне веры не будет? Я ведь со всей душой...

— А есть у тебя душа? — Она резко к нему повернулась, и он увидел ее чистые и сухие глаза, такие сухие, что мгновение еще — и они брызнут слезами, которым долго не будет конца.

Он не ответил, молча курил, резко выдыхая густой дым. Заговорил робко и безнадежно:

— Виноват я, Настя, как хочешь, суди, твое дело. — Помолчал. — Я для тебя в ту весну всю сирень пообломал. Ночи простаивал, чтоб вышла, на работу опаздывал и все время внушения получал. А как добился твоего расположения — и гордо мне стало. До сих пор не пойму, как так вышло... Я говорю, ты как хочешь, а мне от себя прощения никогда не будет.

— Ты, Ваня, может, в ту весну и для другой успел все кусты обшастать, а у меня от того времени одни воспоминания, как зарницы летние. Только сердцу боль... Я же тебя, как ты с фронта пришел, заметила, только хотела за нос поводить. Интересно мне, девчонке, было. Потом вижу, что ты всерьез, я и открылась тебе, а ты нос в сторону. Вечером к дому вместе идти, а ты передом или с друзьями сзади. Вот, мол, я какой, всех парней отбил, теперь куражусь. Ты рисовался, а мне в деревне позор. Потом узнали, что я фату сшила, вовсе на смех подняли. Мать из дому гнать стала, обзывать всяко, хоть в петлю... А он тут как тут.

Машину трясло на ухабах, они сидели на лавке, прижавшись друг к другу, чтобы не упасть.

Она говорила медленно, словно рассуждала, и не интересовалась даже, слушает ли он. Слова плыли от нее, и с ними горечь и боль невысказанные, которые носила она все это время и, наверное, была рада случаю выплеснуть...

— ...Пришел, посватался как человек, родным понравился, а мне все равно. Пошла. Доказать хотела, назло тебе.

Она засмеялась грустно и, будто очнувшись, сказала, опять вздохнув:  
– Видишь, как я с тобой, Ваня, как с Богом. Не обращай внимания на эти бабьи разговоры. Я ведь теперь другая, серьезная, и любовные песни петь разучилась.

Они долго молчали, потом Настя словно вспомнила что:

– Ваня, а фату я сохранила, помнишь, в которой приходила к тебе?

– Помню. – Он вздрогнул, и голос его задрожал тоже, рискуя сорваться на шепот. – И как прогнал тебя – помню. Любил и прогнал.

– Не ври, не любил, – сказала она просто.

– Настя, если ты ко мне с такой верой, то душу из меня не мотай. Было, подурил, ну и хватил через край. А теперь говорю тебе, как прежде я...

– Что – как прежде, Ваня?

– Боязно мне около тебя, будто ты меня прогнать можешь.

– Смешной, – она улыбнулась. – Чудак, и правда, как тогда. – Потом чего-то испугалась. – А ты меня снова не бросишь, Ваня? А то может я в жизни такая невезучая.

Он молча обнял ее. В кузове тряско.

– А дома тебе что скажут? Бросовка, скажут, не женись, разве девок мало?

Иван и теперь помнил, как боязливо смотрела она ему в глаза.

– Я же тебя сразу, прямо с дороги домой приведу. И подумать никто не успеет. А завтра с утра в сельсовет, Кузьму Романовича попросим, он распишет, – горячился Иван.

\* \* \*

По сей день не мог простить Иван покойному своему папаше, Василию Савельичу, что выгнал он тогда Настю с позором, а его вытянул ремнем так, что рубаха к спине прикипела, и мать отмачивала ее самогонкой.

А через неделю женил отупевшего и безразличного Ивана на Марии, тихонькой сироте убитого на войне лучшего своего друга.

Настя сбежала от людской молвы, несколько лет жила неизвестно где, потом вернулась, Иван однажды не совладал с собой и темной ночью постучал в дверь ее избушки.

Деревня скоро узнала об этом, и жизни дома не стало. Иван хотел уйти, но пожалел ребяташек. С годами все притерпелось, только Мария время от времени устраивала скандалы и все грозила выдрать Насте волосы.

Как-то, не дождавшись мужа домой, она взбесилась, надернула фуфайку и побежала к ненавистному дому.

Дверь была заперта, на стук вышла Настя.

— Кто там?

— Открывай, блядь такая, Иван у тебя, я знаю.

— Нету его, — спокойно сказала Настя и сняла крючок. Мария влетела в избу — никого нет, сунулась за печку, на полаты — пусто. Подняла западню, в темный сырой подпол лезть побоялась, пошумела на печальную Настю и, плача, ушла.

Передрогший за бочкой с квашеной капустой Иван молча вылез из подполья, стряхнул с брюк тенеты, ничего не сказал Насте и не одевая полушубка, прямо огородами по сугробам побежал к дому. Он успел. Марии еще не было.

Иван запер дверь изнутри, спокойно лег на кровать. Звякнула калитка, дернула дверь, потом еще и еще. Мария догадалась, в чем дело, стала ругаться и стучать. Он долго не отвечал, потом вышел в сени.

— Ты где была?! — Такую злость напустил на себя.

— Тебя искала. Открывай, я перемерзла вся.

— Померзни, померзни, может, ума добавится, — посоветовал Иван. Мария заплакала под дверью, он открыл и дал волю.

— Шляешься неизвестно где: «Мужа она искала!» Мужик с работы пришел, а жены дырка свись. Смотри, я эту дурь из тебя выбью, если что...

Скандал устроил хороший, и с тех пор Мария не выслеживала его, только колола упреками.

Когда подросли дети, Иван стеснялся их, редко уходил из дому, но горькая тоска по чему-то далекому и родному постоянно томила его. Настя ничего не требовала, при народе избегала встреч, а если случайно сходились где — здоровалась печальной улыбкой.

\* \* \*

Он проснулся, услышав чьи-то шаги. Прислушался: кто-то ходит по дому, шурша одеждой. Иван приподнялся на локте:

— Света, это ты?

Никто не ответил.

— Светка!

— Ты чего кричишь? — шарахнулась жена.

— Ходит кто-то.

— Спи. Это дождь. Уж часа два идет.

Иван сел на постели. Ну, конечно, это дождь — катается с крыши, плещется в лужах, играет с листвой тополя. Иван соскочил с кровати, стал искать галифе.

— Ты это куда собрался? — насторожилась жена.

— Мария, чтобы те... дождь ведь идет, — Иван засмеялся, включил свет.

— С тобой ладно ли? — Она села и удивленно смотрела на мужа. — Ты может, от радости в одних подштаниках на улицу выскочишь?

— Дождались! Вот радость! И сплю, как убитый!? И агроном, поди, спит. Я, мать, разбужу, порадую. Я только до Виктора Петровича. Надо обрадовать. Он спит, молодой ведь, ничего не слышит, — суетился Иван и не мог найти галифе. — Бог с ним, никто не увидит?! — И побежал на улицу.

Его мгновенно вымочило до нитки. Шлепая длинными босыми ногами по лужам, он побежал к дому агронома, кулаком постучал в окно.

— Виктор Петрович, дорогой, проснись, Виктор Петрович, товарищ агроном!

Виктор отдернул занавеску.

— Кто там?

— Это я, Горлов. Да вы окно откройте, откройте окно-то!

— Что случилось?! — Виктор открыл окно.

— Дождик. Виктор Петрович, а вы спите. Как можно спать!

— В чем дело, я не пойму?

— Да вы посмотрите, Виктор Петрович, дождина идет!

— Ну и что?

— Как что? Я говорю, спасенье наше, дождь-то.

— Вы из-за этого и бежали? В таком виде, — агроном усмехнулся. Усмешка отрезвила, Иван не закрыв окно, медленно пошел к дому.

Он шел по широкой улице, ступая в теплую сырость земли. Мокрые кальсоны прилипли к ногам и мешали шагать, сосульки волос закрыли лицо, но он не убирал их, стесняясь слез.

Дождь хлестал. Деревня спала, еще не зная, что дышит умытым воздухом. У окна в одной рубашке сидела Мария и ждала своего Ивана, которого только в эту ночь, на двадцатом году совместной жизни, она начала немножечко понимать.

\* \* \*

...А где-то далеко от деревни в солдатской казарме спал солдат Димка, и ему снилась, наверно, родная Кулибичиха, засеянная им в последнюю гражданскую ночь и спасенная этим дождем.

Кулибачиха... Простое слово. И вся она, Россия, из таких слов...

1972

## ТЕТЯ ПОЛЯ — БАНЩИЦА

В бане чего-то не хватало. Мужчины заметили это сразу, потому что на высоком сундучке, где обычно пила чай тетя Поля, ее не оказалось, а стоял там новый хороший ящик на подобии тех, что ставил перед собой докладчик в мелких организациях и в который потом голосуют, если выборы тайные.

Рядом же с сундучком сидела женщина явно моложе тети Поли, чуть полнее ее, с бледным круглым лицом и совсем молчаливая.

Разговор сразу зашел о том, почему Поля сидела именно на сундучке, когда есть стулья. Предполагалось разное, большей частью шутейное. Когда же первая смена через новую банщицу выяснила, что тетя Поля ушла на пенсию, мужчины замолчали. Стало неловко за мелкую пошлость, кто-то высказался, что не предполагал, что ей скоро на пенсию, и все чувствовали какую-то занозу.

В первую смену в баню приходят обычно пенсионеры, народ еще довольно крепкий, и те, кто в отгуле, прогуле или отпуске.

— Я теперь ума не дам, как мыться. С Полей-то у нас запросто было, она и до скамейки допрыгать поможет, и там хоть тазик поставить, хоть спину потереть, — искренне сетовал сухопарый остроносый старик на деревянном протезе.

— Нашел о чем горевать, — ответил молодой его сосед, видимо, знакомый. — Любого попроси, он поможет.

— Ты — сможешь? — как в лоб ударил старик.

Парень покраснел и сказал неуверенно и оттого громко:

— Конечно.

— Ага, жди от вас, — как будто обрадовался безногий. — Думаешь, приятно с калекой возиться? Я тебе скажу, баба у меня в твои годы была, когда меня такого-то вот из госпиталя привезли. Знамо, я в первую-то ночь вроде к ней, а она с испугу трясется вся. Один раз от меня на печь, да другой... Я посмотрел-посмотрел, да и выпер ее к ядрене матери. Теперь культя вовсе иссохла вся, в кулак беру. Картинка!.. А Поля — Поля молодец. Эх, жалко.

Разговор пошел на лад, и все про то, что ушла тетя Поля.

– Слышь, Петрович, ты ведь местный, хорошо ее знал.

– Как же, я старе ее, – ответил калека.

– Я вот десятый год в поселке доживаю, считай, ни одной субботы не пропустил. Привык: Поля, Поля. Вроде так и должно быть. Как-то и не замечаешь ее будто, придешь – тут она, все в порядке, как надо...

Настал час, новая хозяйка вымыла полы, и вся гурьба сама собой рассосалась по секциям. Запахло потом, ногами, начались анекдоты, только нет-нет, да и возвращался разговор к перемене.

– Надо бы новенькую прощупать. Я ее совсем не знаю, вроде как приезжая. Надо проверить, как она на голое мужское общество реагирует, – багрово хохотал здоровый рыжий детина, уже растелешенный.

В моечной столпились у кранов, обжигаясь и матерясь, обливали скамейки, распаривали душистые веники. Заняв место, рыжий, прикрыв стыд рукой, заскользил к выходу.

– Ты куда? – поинтересовался калека, который успел уже намылить голову и смотрел сухими еще глазами из-под жиденькой шапки пены.

– Приглашу хозяйку, – хохотнул тот и вышел.

– Вот дурак, – от души сказал кто-то.

Рыжий заскочил довольный и молча оседлал лавку, поглядывая на дверь и кивками головы приглашая посмотреть его розыгрыш.

В дверь и вправду вошла новенькая, держа в руках щетку, которой тетя Поля обычно протирала решетку для стока воды, если ее забивало отвалившимися листочками березовых веников.

Держа щетку на изготовку, женщина отвернулась и опустила голову, и по лицу ее, до этого бледному, можно было подумать, что она только что была в парной.

– Я ведь сейчас все мыла, – виновато сказала она.

– Да ты посмотри, посмотри, – добродушно кричал рыжий. – Забыло решетку-то, посмотри...

Женщина искоса, не повернув головы, глянула в зал и под густой мужской хохот выскочила, как ошпаренная.

– Кобели, мать вашу, – зло выругался калека, который, как только она вошла, стыдливо прикрывшись, поставив тазик на единственное свое колено. – Кобелье и есть. Ты тоже, Степан, хорош. «Новенькую прощупать!» У тебя вон Шурка есть, иди ее и щупай. Бабе и так тошно.

– А ты чего, Петрович, завелся? – обиделся Степан. – Чего тебе моя Шурка?

– Шурка к слову пришлась, а бабу эту ни к чему позорить. Ты

знаешь, ей какво? Ишь, поиграться захотел. Тьфу, Степка, уж был бы хоть товар...

Баня взорвалась хохотом, и кто-то из раздевалки, еще не спустив штанов, с интересом заглянул в моечную. Степан психанул и направился было к Петровичу, но мужики, посерьезнев, его остановили, и все улеглось.

Разговор возник снова, когда появился кочегар банно-прачечного комбината.

— Матвей, Полину на пенсию, значит, проводили?

— Проводили, да.

— Ты Расскажи хоть, как — что?

— А чего рассказывать? Свое выработала. — Матвей явно был польщен всеобщим вниманием. — Собрание у нас собрали, директор комбината лично присутствовали. От имени профсоюза подарок ей соорудили, чайный сервиз на шесть персон. Местком так и сказал: сиди теперь, Полина Васильевна, и пей чай по-настоящему, не как в бане.

— Ну, она что?

— Да, известно дело, бабье, заревела, слова сказать не могла, как положено.

Кто-то поинтересовался:

— А сколько она здесь отработала?

— В бане?

— Ну..

— А считай, с самой войны. Мужика у ней убило, она вскоре и пришла сюда, сперва в женское отделение, а лет с десятков — здесь. Ну да, я демобилизовался, она уж работала, — еще раз уточнил Матвей.

— Сервиз-то хороший? — тоскливо спросил Петрович.

— Добрый сервиз местком выделил. Шесть чашек с блюдцами и чайник под заварку.

— Вот я и говорю, что сервиз этот ей как нож в сердце. Она ведь одиночка...

— Совсем одна, что ли?

— Ну, ребята...

— Я мужика ее хорошо знал, Федором его звали. Они и прожили-то, может, с год, а потом что-то не помню я, чтоб она замуж выходила. Так, мужики иногда баловались, а чтоб всерьез — не помню.

Неловкая тишина вскипала струями из кранов, выплескивалась из тазиков.



– А новая как вам? – Матвей уже заразился разговором и не хотел выходить из-под внимания.

– Да что она – баба как баба.

– Нормально.

– Лишь бы чистоту блюла.

Обрадовались вроде мужики, что на другую тему разговор перешел.

– Эта не хуже будет, – заверил Матвей. – Мужик у ней в аварию попал, а ребятишек четверо. Вот она из города-то и подалась сюда. Директор ей хатенку дали. Так что ей добро от добра не искать, будет работать.

В моечную свежей волной входила вторая смена.

*1972*

## СЕНОКОСНАЯ ПОРА

На лугу весело от бабьих платков и кофточек. Кто посмелей и по-старше годами — косят в одних рубашках, прямых и широких, чтоб было прохладно...

А травы какие! Не то что, конечно, визиль или овсяница, а разно-травье, ладная трава, в соку, еще не перестояла. Добры и литовки у косарей. Нет давно маленьких, которые по годам, для удовольствия, а длинные и широкие, для работы, для нормы.

Только не шибко сегодня норма косарей беспокоит. Нет-нет, да волехнется молодежь на свежую кошенину, растянется и затихнет, аж слышно, как птички высоко где-то в небе радуются. А то зажмут — затискают которую: давай рассказывай, тебя вечер на том берегу с Ванькой видали...

И сожмется внутри, затаится цветастый хоровод. разгорятся щеки у девчонок от зависти или от предстоящего счастья, блестят натосковавшиеся глаза, хихикают, которые совсем еще молоденькие.

С месяц или больше, как был первый эшелон с солдатами. На станции, говорят, стоял долго, только в деревню никто не пришел. Потом прибыли сразу пятеро. Где и встретиться смогли — все с разных фронтов. Погуляла деревня, поплакала. И сенокос наступил.

С конца мая стали приходиться солдаты совсем. Бабы подобрили, отошли сердцем, дают иногда молодежи побаловаться. Кто в первые годы получил похоронки, попривыкли вроде, смирились. Кто еще слез не высушил — снова плачут, только и они нет-нет — улыбнутся, пусть сквозь слезы.

Мужики конные косилки направили, штук шесть собрали, уехали в дальние луга. Для всего колхоза справили инструмент, литовки отбили, черенья подзаменяли. Бабы и сами сделали бы, да только из мужских рук приятней: та литовка и — не та, первые прокосы будто сама идет...

Потом поустали, конечно, да это только в первый день, с непривычки, скоро руку набили, уже никто не отставал, даже с песней пробовать стали. Молоденьких девчонок только отдельно поставили — зачем угроблять, у них еще впереди все.

...Посмотрит одна из баб на молодежь, как она шушукается, воткнет литовку в землю, рассмеется, закроет лицо и выдохнет:

— Ой, бабы, счастливая я! Век не думала, что доживу. Сердце мое петухом поет, сама не пойму, что со мной...

— Во, бесстыжая, — ругнется шутя кто из пожилых. — Дождалась своего, теперь бесишься... На людях хоть не выказывай.

— А чего скрывать-то, бабы?! Ежели целый пришел, стало быть — для меня. Не судьба была ему погибнуть...

— Вот и молчи, не бреди душу, тут акромья нас с тобой есть, — станет совестить ее подруга.

Да только зашло сердце, захлестнуло разум, и нет у нее понятия, что не место тут о счастье говорить; забылись все человеческие переживания, и только бабья радость стучит в крови — до опьянения, до дрожи.

— Пропади все пропадом, подруженьки, я четыре года с его письмами целовалась. Я ведь невеста весь этот месяц, или не видно? Гришенька-то мой, ой господи, девоньки, стеснялся меня попервости, как после свадьбы. А я его до смерти зацеловываю, изнемогу вся, забудусь вроде, потом вскакиваю, как угорелая — тут ли он, не приснился...

Захохочет и вдруг поймет, что-то, закроет лицо руками и метнется прямо по кошенине в кусты.

— Чегой-то с ней? — громко спросит дед Ема. Он еще с Первой мировой глуховат, все привыкли к этому, бабы не стесняются при нем разговоров.

Никто не ответит старому Ефиму. Кто осудит ее? Счастье в ней все захлестнуло. Бабье, простое...

Все молча начнут новый прокос. Шумят травы. Звенит отбойный молоточек деда Емы. Смеются девчонки. У них еще все впереди...

\* \* \*

Как темно и тихо! Даже жутко, если не разговаривать. Анна помолчала немного, потом спросила:

— Маша, ты, спишь?

— Сплю. Чего тебе?

— Так. Не могу уснуть.

— Не наробилась, стало быть. Я вот уходилась, рада до места.

— Не про то я, — она придвинулась к сестре. — Ты про Мишку ничего не слышала?

— Нет...

— Письмо домой прислал, сулится придти.  
— А ты чему радуешься? Не тебе ведь письмо.  
— Пусть. Все равно, поди, меня не забыл.  
— Чего ж тогда писать перестал?  
— Мало ли... Приедет — я ему все припомню. И как провожала, и как сговаривал, когда повестку получил... Надо уж было мне тогда с ним сойтись, а, Маша? Побоялась я, вдруг, думаю, убьют... Останусь вдовой... в мои-то годы.

— Я бы не испугалась, — Маша повернулась на спину. — Если бы Васька меня тогда посватал — пошла бы. Вот как только придет, я сразу его сговорю. Он сам-то пентюх, трем собакам штей не разольет. Письмо напишет раз в месяц, и то на одной страничке. Я сначала думала, что командиры не разрешают про любовь писать, а потом как-то Мишки твоего письмо прочитала — чуть не заревела. У него в каждой строчке все про любовь.

Анна жадно обняла сестру.

— Ой, Машка, если бы ты знала, какой он горячий! Бывало, прижмет у калитки, — думаю: ну все, не вырваться мне... Как проводила, не особенно тосковала, а сейчас вспомню — прямо места не изберу...

— Боишься, поди?

— Чего мне бояться?!

— Прописали, поди, ему все твои выкрутасы.

— Не поверит... В первые дни не до этого будет. А потом...

— Погоди...

Обе притихли. За стеной на скамеечку кто-то сел. Долго молчали. «Варька, я тебе добром говорю», — голос парня.

— Это ведь Володька! — прошептала Анна. — С Варькой они поддруживаются...

Маша молча кивнула, и они снова прислушались. Разговор за стеной был тихий. Маша не стала напрягаться, фразы путались в голове, потом к ним примешался звон Емушкиного молотка, стук телеги, чьи-то голоса еще, потом почему-то подошел Васька в разорванной рубахе, с литовкой, стал материться, как матерятся обычно мужики: громко, беззлобно, не обращая внимания на девок.

Маша хотела что-то сказать, но не слышала собственного голоса, бросилась к нему — он стал уходить, продолжая ругаться... Тогда она закричала, испугавшись своей немоты; он оказался рядом, захохотал, схватил ее, стал целовать прямо в губы и говорить, жадно, захлебываясь: «Ах, какой я горячий, ах, какой я горячий...»

Маша проснулась. Уже зарилось. Анна улыбалась во сне. «Чего это я, — подумала. — Правду мама говорит, надо молиться на ночь. Всякая блажь в глаза лезет».

А ей было как-то странно приятно, что так близко увидела Васю и поцелуи его ощущала даже сейчас.

«Никогда таким смелым не был, а тут просто с ума спятил. Надо ему письмо написать. Полевая почта, наверно, та же. Может, теперь в Германии делов много, потому нет ответов... Живой хоть, слава Богу. Еще раз напишу...»

Дверь хлопнула, мать вышла из избы.

«И чего она закрывается, кто утащит? По цельной ночи молится, отдохнуть некогда...»

Мать сильно изменилась, как отец уехал на заработки в город и не вернулся. Она попервости искала его, ворожила, потом попустилась, как-то сразу состарилась, стала блюсти посты, завела иконы.

Маша жалела мать, иногда молилась вместе с ней, так просто, чтобы ей угодить. Анна не принимала материнского состояния, за глаза ругала ее, грозилась сама искать отца. Ей как-то прощалось, она старшая.

Маша толкнула сестру в бок.

— Вставай, хватит спать. Женихи вон все ворота обмочили.

Анна потянулась всем телом.

— А ты вечор все проспала. Я тут таких чудес понаслушалась. Володька-то с Варькой сидели у нас вчера на скамеечке, жениться собрались. Как он ее уговаривал, я чуть со смеху не пропала. То ластит-ся, то ругаться начнет, грозиться... Смех и грех...

— А она?

— Она? — Анна хохотнула. — Да она, видно, и не целована ни рачику. Умок-то с дыркой, попкикivat. «Проходи, говорит, — за мной еще года два, тогда поверю». «Да меня через год в армию заберут». «А я дождусь, — говорит. Теперь не война...»

— Ну и правда...

— Что правда?! Если парень женихаться стал, надо его призадержать. А то смотри, сколько девок в деревне. А парней? Того убили, тот без рук — без ног... Вот так носом провертит — всю жизнь будет в девках сидеть. Нет! — Анна приподнялась на локте. — Только вот Мишка придет — сразу женю на себе, вот посмотришь. Так дак так, а нет — тогда кто дальше отскочит. Тут ахать-то некогда, надо про жизнь думать.

— Я Ваську своего во сне видела, — сказала Маша. — Чего-то уходил от меня, ругался, потом схватил, всякие глупости стал говорить.

Анна засмеялась:

— Ты только подумай, Васька ее схватил! Ой, Машка, видно, на фронтах он у тебя поднаторел.

— Присниться всякое может..

Анна спрыгнула с кровати, сбросила рубаху, прямо на голое тело надернула платышко.

— Ты, девка, тоже смотри. Васька хоть и валовый, а мужик из него хороший может получиться. Ты посмелей с ним, этот самовар долго кочегарить надо.

Анна захохотала и разметала по плечам длиннющие черные волосы.

Солнце встало. А до покоса идти километра три. Если напрямик.

\* \* \*

Столы поставлены прямо под сараем, на подводе привезли из магазина пару ящичков водки, мать достала из погреба бутыль. Какая закуска летом? Полные чашки огурцов — и свежепросольные, и только что с грядки, — грузочки, щи со сметаной, благо корова доится.

Михаил уже выпил за встречу с домашними, с соседом, теперь сидел за столом красный, потный, поминутно рукотертом вытирал лицо и грудь, гремя медалями.

— Сынок, ты сними гимнастерку-то, жарынь такая, — заботилась мать.

— Нельзя, маманя, — смеялся Михаил. — Я же еще солдат, поскольку состою на воинском учете. Да и народ пусть посмотрит, что сын у тебя в окопах не сосредотачивался, а всегда шел в авангарде.

— Грамотный Мишка стал, — дивились соседи. — Будет теперь Настя, как за каменной стеной.

— Женить его надо.

— А, может, он на производство пойдет.

— Не пустят из колхозу.

— Хорошо — спросит..

— Мне, товарищи дорогие, в деревне места хватит, — услышал разговор Михаил. — А с женитьбой я не тороплюсь. Дурное дело — не хитрое. Тут, поди, девок понаперло без нашего брата — ого-го! Я вот как стемнеет — возьму гармошку, сделаю разведку боем, поближе прошупаю позиции противника.

Застолье захохотало. Да какое там застолье, так себе: калеки, кто не пристроился еще к колхозной работе, Федя-лодырь, да рядок старушек-кумушек-сватышек, ровесниц матери, которым вся деревня родня.

Основной люд стал подходить вечером, когда приехали с покоса, прибрали хозяйство. Заходили во двор кто со смехом, кто с плачем, обнимались, троекратно расцеловывали солдата, шумно усаживались за столы.

Когда подошли все, кого ждали и не ждали, Михаил, уже основательно веселый, встал со стаканом:

— Дорогие земляки! — сказал он, и все затихли. — С этого места я ушел, сюда и пришел. А ведь не все пришли.

Кто-то всхлипнул. Михаил оглядел застолье.

— Мы с ребятами, как прощались, договорились, что в первую очередь выпьем дома за тех, кто не вернулся.

Все торжественно молчали. Михаил в тишине выпил стакан, не закусывая. Кто-то заплакал, все выпили, застучали ложки. Настя улыбалась, фартуком вытирала глаза.

— Ладно, мать, отбой тревоги, слезы теперь ни к чему..

Он сел, шумно отдуваясь, на стол даже не поглядел — накормила мать за день. И то сказать: свое, домашнее — не казенное.

Кто-то подsunул гармошку, он пробежал по ладам — пальцы огрубели, не слушались. Стукнул по планкам:

— Отвык! Как хотите, товарищи дорогие, отвыкли руки. Посчитай, три года ничего, акромья автомата, не держали.

— А ты, Миша, с нашей родной, с «Саратовой» начни. Руки забыли — душа помнит.

Михаил развел меха, гикнул и начал издалека разматывать мелодию. Она пошла сперва нехотя, потом бойчей, веселей, замкнула круг, а уж на втором подхватил ее женский голос:

*Эх, война, да эх война,  
воюют до единого,  
Вот и очередь дошла  
до моего милого.*

И оживились компания, тесней народ к гармошке, наскучилось—наболелось сердце по всему невысказанному. А чем скажешь, как не частушкой?

*Мово милого убило,  
я осталася одна  
Ох, чего ты понаделала,  
проклятая война!*

Горестные все частушки, военные, страдальческие, не успел еще народ придумать новых, послепобедных.

Совсем весело стало, развернули столы, и пошла частушка вперемешку с сестрой родной — пляской. Вместе живут, соседствуют, одна без другой никуда.

Пляска в самый разгар вошла, как рухнул плетень, и около десятка навалившихся на него девчонок — хочешь не хочешь — попали в ограду. Не рассчитали, или просто колышки подгнили, некому было заменить.

— Проходите, гости дорогие!

— Холера вас по пряслам носит...

— Шурка, ну-ка айда домой, За-чу-ла...

— Стоп-стоп, товарищи, так сходу нельзя. Давайте разберемся, как в «смерше», — Михаил отложил гармошку, фонарь скупно освещал девчонок, и он долго не мог узнать никого. А они еще играют, прячутся друг за друга.

— Постой-погоди. — Одну, которая стояла, спокойная, он осмотрел поближе, потом ловким движением собрал складки гимнастерки сзади под ремень, хлопнул в ладоши. — Так это же Машка Алехина. Вот это нарек! Я что говорил, товарищи дорогие, что девок наших теперь не узнать? Нутро не подвело разведчика. Ну, здорово, Маша!

— Здравствуй.

— Сестрица твоя где? — шепнул.

— Ждет тебя, — громко сказала Маша.

Михаил как-то смешался, подошел к столу, закурил.

— Вы, гости дорогие, пейте-гуляйте, ты маманя, меня не теряй. Пошел я.

Михаил вышел за ограду.

Гости его уже вышли на улицу, кто-то неумело играл плясовую, брага веселило людей. Михаил раздвинул круг и вытолкнул Анну на середину. Все стихло.

— Во, полюбуйте: пока мы кровь проливали, девки наши подстилками стали для всякого тылового дерьма. Моли Богу, — он поднял голову Анны за подбородок, — моли богу, сука, что автомат с собой не прихватил, я бы в тебе дополнительно дырок напротыкал.

Он рывком убрал руку и сказал уже спокойно:

— А теперь сгинь с моих глаз! — И он грязно выругался.

Ее подхватили девчонки, поднялся шум, Анну, бледную и расслаб-



ленную, повели домой. Маша трепала ее по лицу, неловко забегала вперед и причитала:

– Зареви, Нюрка, зареви, слышишь, Нюра, с сердца спадет. Не камень ведь оно у тебя, всплакни...

Компания расстроилась. Кое-кто ушел домой, другие остались, старухи больше.

– Это пошто он ее не побил?

– Ране бы за это... Кум Захар, помнишь, сватья?..

– Советска-то власть большую бабам волю дала, оне и бесятся.

– Ударь ее, да через это на принудиловку.

– Нет, кума, что ты не говаривала, Мишка-то как ослободитель пришел. На его теперя никакой власти нету.

\* \* \*

Ах, луга, радость деревенского детства! Они помнятся вольностью ветра, и прохлада тени в них добрее и чище, чем в деревне.

Ранняя рань еще, а уже закоптило небо под горизонтом, мчат-едут в Дикушу да за Репейное, в Коровью Падью и на Зыбуны ребятишки-копновозы. Кони отдохнули за ночь, пока прохлада да бригадира нет, отчего не прокатиться рысью?

Сперва все табором встанут, коней спугают осторожно, разведут, чтоб драки не учиняли, перекусят. Еда известна – огурец, хлеба ломать, бутылка молока. Молоко надо в первую очередь съесть, к обеду все-равно скиснется. Потом лягут повалкой прямо на кошенину, вроде и забот нет, а все равно разговоры о чем-то.

– Мы копны возим, как дураки, а Витька Кривой шук на Арканавском озере глушит.

– Ему батя взрывчатку с фронту принес.

– Ну и хрен с ним, с Витькой. У него батя, а у тебя, Петух?.. Ну и все. Робь в колхозе, все, можа, с голоду не сдохнешь.

Повзрослила война ребятишек, взгляд серьезный, рассуждений детских совсем нет, не от ума, наверно, а от понимания положения. Им о рыбалке бы поговорить, о лесных ягодах, о купании в Талах или на озере Афонькином...

Телегами народ начинает съезжаться. Оживает табор. Бригадир хомуты, вилы, грабли раздает, шумит, чтоб не сломали: мужики длинные стоговые черенья в руках вертят влево-вправо, надо определить, какой стороной удобней держатся; бабы, пока коров в табун провожали, не успели новостями обменяться, тут кружком собрались, пе-

реговариваются, хоть с мужских позиций — какие новости за ночь могут накопиться; ребятишки коней начинают в волокуши запрягать: тот хомут вперед деревьями надел — смеются все, а он снять не может, голову Пегуха высоко подняла; у того Гнедко за тяж обеими ногами заступил и переступить не хочет, а тяж с волокуши снимать опасно — аккуратно ему под копыто голову подставляешь, вот и толкают Гнедков зад чуть не всей бригадой.

Круга свои уже каждый знает, где закончили вчера — туда двигаются. Копновозов теперь не различишь. Все гольшом почти, так, одни штанишки, позагорели, как чертенята, только межреберья по-светлей. И еще хочется, пока солнце не пережигает да и с ветерком прохладней, гнусу нет.

Не дожидаясь команды, ставят волокуши к валку с подветренной стороны, чтобы при перекладывании сено не разносило. Бабы быстро работают, не засидишься, только успевай подъезжай вдоль рядка. С ними вообще не отдохнешь, не мужики, не курят.

Маша первый год нынче на волокушу кладет, все с граблями ходила. Сила есть, сноровка, копны получаются большие, надежные, такие хоть до Москвы везти можно, не только к стогу.

У стога двое — Матвей и Степан. Матвей давно с фронта, в работу втянулся, копну ссаживает разом, почти всю на вилы берет. У Степана рана свежее, он потный весь, вокруг стога обойдет, на черен опрется и кашляет надсадно, аж жалко.

Стога растут быстро. Каждому охота первым закончить. Вон уж вершильщики появились. Работа не прибависто пошла, зато надежная — стога осели, закоренились, теперь стянуть их кверху, завершить поаккуратнее — никакой дождь нипочем, не промочит.

Смотри — уж копновоза за вицами послали, нарубил охапку тальника, и к стогу. Ветки гибкими вершинками связали, осторожно вилами подали наверх, уложили на все четыре стороны концами — теперь ветер не страшен, не раздует.

А Матвей уж на новом месте стог начал...

К самому солнцепеку сложили. К табору потянулись. Там уж суп кипит. Не богатый, а все же мяса по кусочку, да и горяченького надо, несмотря, что жара.

Дед Ема тут же, чернья готовит, грабельцы подделывает, у которых палец потерялся или еще какой изъян. Вокруг него мужики, ребятишки.

— Дождь будет, — говорит Ема.

— Ты почему знаешь?  
— Чую. — Его таким вопросом не смущай.  
— Зачул. Жара невыносимая, кругом ничем-ничего.  
— Давай об теребачке.  
— Как это? — любопытствует парнишка.  
— А вот эдак. — Ема ловко ухватил его рыжий чуб и не больно тилиснул. Мужики засмеялись.

Где-то гроыхнуло. Все стали глядеть — где. Гром ухнул еще раз. Со стороны деревни вышла туча и, расплываясь, стала забирать небо.

— Вот те на! — сказал кто-то.

— Вон она, туча, — подтвердил свои слова Ема. Никто ему не ответил.

— Начинать или погодить? — спросил Матвей.

— Только сено испортим, — ответил Степан. Стали готовиться к грозе: кто в стог поглубже, кто под телегу.

Бригадир уже съездил по другим делам и спешит сюда: все ли в порядке. Только очень спешит. Коню бросил только «тпру!» — он у него послушный, — соскочил с дрожек, смешно запутался в длинных ременных вожжах, выматерился, подошел к людям, осмотрелся.

— Родовались мы — война кончилась. Рано, видно. Пелагее Осиповой похоронка пришла. Ваську-то убило при разминировании. Это уж ребята в письме пишут, что в ключья. Бумаг целый пакет выслали, письма вон еёные. — Он показал пальцем на Машу.

Она не поняла еще ничего, смотрела растерянно и выжидающе, потом сказала испуганно:

— Не писала я ему.

Когда страшное дошло до сердца, она присела прямо на землю, прошептала громко:

— Не писала я ему.

Страшное подошло к горлу, сдавило, холодное.

— Не писала... Ваське... Я... Не писала. — И уже стиснула ее в крепких объятьях страшная васькина новость. Гром услышала она. А молния — та прямо в глаза ударила.

\* \* \*

Володя Варю сосватать никак не мог. На все его предложения она отвечала отказом. Не как-нибудь, с жеманством да выкрутасами, а просто и любовно говорила ему:

— Погоди, Володя, отслужишь, я ведь дождусь...

- Все вы ждете...
- Ты хоть бы молчал. Я при тебе ни на одного парня не смотрю.
- А когда меня нет?
- Дурачок...

Они говорили об этом каждый вечер, и все одно и то же. Володя решил сделать по-своему. Как-то вечером он заявил дома:

– Батя и мама. Надо идти Варьку Лаверихину сватать.

Мать возилась в куте, отец шорничал под порогом.

– Это чего тебе загорелось?

– Надо.

Отец молчал, мать ждала его слова.

– Прямо аккуратно без промедленья?

– А чего ждать-то?

– А служба?

– Служба, служба! – вспыхнул Володя. – Пугаете этой службой, как НКВД. Отслужу и приду, не помрет без меня.

– Знамо, не помрет, – сказал отец и отложил шило. С минуту все молчали. Отец первым начал:

– Ну, что делать будем, мать?

Та поставила ухват:

– Так, что делать? Ежели решился... А Варька-то как?

– Как? – не понял Володя.

– Ну, согласна она?

– Сватов пришлю – куда денется.

– Э, парень, не опозорится бы...

Володю отправили во двор управляться, сами стали совет держать. Когда он пришел, все было решено, поделались, мать вынула две бутылки водки. К свату Степану и сватье Дарье зашли, – сваты они всей деревне, на них можно надеяться. Те в секунду собрались, хоть у Степана печ-ячмень на правом глазу нечаянно вскочил.

К дому Лаверовых подошли кучкой и тихо, а как только открыли калитку, сватья Дарья громко, на всю улицу, пропела:

– Вот это оградка! Вот и порядочек! Говорят, хозяйку по кутнему углу ценят, а хозяина по ограде. Пройдемте-ка в передний угол, каким порядком нас хозяйка встретит?

Никто почему-то не вышел на ее призывной голос, одни они прошли в дом, открыли дверь, постучавшись и только после Федорового «заходи» прошли.

Тут уж всю власть взял Степан. Он прошел на середину с табу-

реткой, сел прямо под матку. Тут же разным способом разместились остальные.

— Федор Матвеевич и Клавдия Григорьевна, чужим, что не ждали гостей, — стал говорить Степан.

— Не ждали, верно, — улыбнувшись, ответил Федор.

— Пришли вот о деле поговорить. У вас товар хороший, у нас покупатель на его созрел. Мужа, сторгуем?

— Ну, давай, давай.

Спектакль этот нравился всем. Только Варя еще за оградой компанию заметила, убежала в дальнюю горницу, сидит, прислушивается.

— Короче говоря, Федор, ты и сам смекнул, в чем дело. Надо бы поженить Володьку с Варькой. Ты поскорей решай, а то, ей-Богу, ячмень на глазу покою никакого не дает. — Степан улыбнулся сквозь боль.

Федор помолчал для приличия, раза два глянул на жену. Та тихонько слезу пустила.

— Да тут, сваты дорогие, дело такое, серьезное. Надо бы с самой Варварой посоветоваться.

— А нет ее? — осведомилась Дарья.

— Как нет? Об эку пору завсегда дома. Варя! Выдь в избу.

Варя вышла, раскрасневшаяся, горячая.

— Вот, Варвара, Лепешины сватов прислали, да и сами пришли. За Владимира Петровича тебя просят. Мы с матерью решить не можем, как сама скажешь.

— Да чего я скажу, тятя?

— За тобой слово.

— Мы ведь договорились с Володей, что после службы...

— Я с тобой об этом не договаривался...

— Не встрей! — оборвал Володю Степан. — Да то, что вы договаривались, это не то. Я же как сват пришел, а не как договорщик.

— А чего мне сват? Сказала не пойду, стало быть не пойду.

Она быстро ускользнула в горницу.

Тут уж тишина стала тяжелой. Сват Степан и другие мужики курят, сваха узелки считает на кистях полушалка. Молчание нарушил Федор:

— Вы сваты мне дорогие, и про Володю знаю, что днюет и ночует у ворот. Только я своей дочери не враг. Доживут до лучших времен — пущай сходятся, я не враг. Но теперь и не помощник вам.

— Как же с вином быть? Мы магарыч с собой принесли, — застеснялся Степан.

— С этим не выгоню.

По стакану выпили все... На улице уже сватья Дарья тихонько сказала Степану:

— Сколько хожу, такого не слыживала. Парень на все сто, а она прындевет. Доскачется, как Нюрка, на круг за косы вытащат. Тогда и пляши.

Володя задержался у ворот. И правильно сделал. Скоро вышла Варя.

— Ты чегой-то дурака строишь?

— А сколько можно?

— Да меня б спросил...

— Спросишь тебя...

— Ты отслужи, Володюшка, я дождусь, придешь — и свадьбу, и встречу отгуляем, все вместе.

— А там один буду...

— Да я с тобой, славный мой...

— Пойду. Не ладно сватов одних оставлять.

— Иди уж... Сватовщик... Иди, иди...

\* \* \*

На лугу шумно и весело. Погода разведрилась. Владимиру работалось зло. К обеду он измотался, до стана кое-как дошел. Из общей чашки похлебал варева, запил скисшимся молоком, ушел подальше, лег к стогу.

Или от дум устал, или просто приморило — уснул вроде. Потом шаги чьи-то услышал. Подошла Варя, присела рядом, ситцевое платьишко на колени быстренько натянула.

— Отчего такой сердитый? — спросила.

— Тебе что за горе?

— С Анной связался, даже со мной ни разичку не станцевал.

— А ты шибко стосковалась, видно.

— Отбирать-то не станешь тебя, раз она прямо на шею виснет. И сам задурил, назюзился бражки.

— Не твое дело, — вспыхнул Володя.

— Знамо, не мое. Ребятишки говорят, она тебя домой отводила. Подсмеивают все.

Взорвало Володю:

— Ну и провожала... Она не то, что ты — попользовалась, что пьяный, улизнула с кем-то. Я вот узнаю с кем, я ему еще нос по щеке размажу. Сколько раз говорил: давай сойдемся, надоело мне по заугольям шататься. А у те, видно, другое на уме, ждешь, чтоб в армию ушел, да выскочить за кого. Ну и скажи, я найду себе.

– Да ты уж нашел, — спокойно сказала Варя.  
– Ну, нашел, тебе какое дело.  
– Теперь и женись на ней, если невтерпех.  
– Ну, и женюсь! — Володя вспылал, зло сказал: — А я, считай, уж женился. У тебя в ногах валяться не буду. Строишь из себя... А сама от парня с вечеринки утянулась... Тихоня...  
– Дурак ты, Володенька.  
– Был дурак. А теперь все, хватит. Умным буду.  
Он быстро пошел к своему стогу. Варя платком подсушила глаза. Обед кончился.

\* \* \*

Неплановая женитьба Володи и Анны перевернула деревню. Бес-  
счетно много догадок всяких, но все больше сходились на том, что  
порченный Владимир мужик, потому, мол и отказала Варвара, а Анна  
под руку подвернулась. Ей выбирать не приходится, раз ворота маза-  
ли, да и Владимиру вроде, мол, ничего, бабенка мало подержанная.

Варя на людях виду не подавала, а дома наревливалась досыта.

По утру раненько послала ее мать по водичку. Крутым берегом спу-  
стилась Варя к воде и поразилась красоте увиденного. Дальний край  
длинных мостков терялся в тумане, белом и плотном: над туманом,  
как в снегу, стояли могучие тополя на той стороне: табунок гусей без-  
мятежно спал — головки под крылышко...

– Здравствуй, Варя, — словно разбудили эти слова, она оберну-  
лась: Маша Алехина тоже по воду пришла. С самой вечеринки не  
виделись они, да и не хотелось Вале ее видеть. Молча зачерпнула ве-  
дерочки, подняла на коромысле. Маша на нее растеряно смотрит,  
сказать не знает что.

– Зачем ты, Варя, на меня-то в обиде?

– Сводня ты.

– Окстись, девка, — еще не поняла Маша.

– Сводня и есть. Увела меня, чтоб их вместе оставить.

Маша недоуменно смотрела, боясь догадки.

– Прости, меня, Господи! — изумилась она. — Я только те-  
перь поняла...

– Ты не нарочно разве? — переспросила Варя.

– Не нарочно, клянусь тебе мамой родной, что не нарочно, — Маша  
заплакала тихо и горячо. Варя обняла ее, наклонилась к плечу.

– Не сердись на меня, я думала ты заодно с ней. Попутала она его,

Маша, чует мое сердце, что не добровольно он женился. Я ей этого до гробовой доски не забуду. Ни ей, ни ему, ни мне счастья не будет. Не судьба, стало быть.

— Не терзай себя, Варя, года твои еще не ушли, перемелется. Я бы себя этим успокаивала, да не могу все.

— Васю тебе жалко? Ой, чего это я, и мне жалко, только у вас любовь была...

— Была. Да не всю он с собой унес, видно, много ее было, раз мне на всю жизнь хватит.

— Господи, откуда горя столько на нас, Машенька! — Варя обняла ее. Обе плакали. Каждая о своем.

\* \* \*

Дома все было в порядке. О неожиданной женитьбе никто слова не говорил, хотя деревня дня три кипела догадками. Мать, где могла, хвалила невестку, на колкие недоумения товарищей Володя отвечал шуткой, иногда просто отмалчивался.

Анна сразу прижилась в доме. Привычно вставала чуть свет, быстро управлялась по хозяйству, работа в руках у нее кипела. Отец однажды сказал Володе, что лучше жены ему и искать не надо бы, но тот промолчал.

Что родители Вари уезжают на праздник в город, Володя узнал случайно. Что-то повернулось в нем, разные мысли заполнили голову, он сам их боялся.

Вечером побрился, переоделся, Анне сказал, чтоб мать слышала:

— Пойду к мужикам, в карты поиграю. Скоро не ждите, да не закрывайтесь, а то не добудишься вас.

С час, наверное, ходил по улице, пока кругом погасли огни, потом пошел прямо к дому Лаверовых. Потрогал калитку — заперто изнутри. «Одна» — стукнуло сердце. Тихонько перелез через заплот, прокрался оградой.

Холодная шеколда двери обожгла руку. Сил не хватало стукнуть. Насмелился, поскреб раза два.

— Кто там? — Варя спросил сразу, будто ждала.

— Я, Варя, — кое-как выговорил он.

— Чего пришел?

— Ты одна?

— Ну.

— Пусти.



Варя молчала.

— Отопри, Варя.

— Ни к чему, Володя, уйди.

— Богом тебя прошу, пусти. По-хорошему я...

Теплым комочком екнуло в ее сердце оплаканная ночами надежда.

— погоди, оденусь.

Сердце билось под горлом, Варя вышла, крючок отскочил со звоном, дверь отворилась.

Она стояла в темноте, волосы распущены, платьишко перехвачено руками.

— К тебя я, Варя.

— Вижу.

Он с трудом поймал крючок.

Лампа кое-как освещала комнату. Варя сидела на кровати, он стоял у самых дверей.

— Проходи, чего стоять-то, — засмеялась она.

— Ты не сердись на меня?

— Не сержусь уж. Закрылся там?

Он не ответил.

...Варя почувствовала, что Владимир встал. Открыла глаза — он одевался.

— Ты куда? — спросила она с испугом.

— Домой.

Варя села на постели.

— Господи, а я ведь тебя не так поняла. Думала, совсем ты пришел.

Виноватым, потерянным казался себе Владимир:

— Не могу, Варя, совсем. Анна-то в положении уже.

Голос ее стал твердым и властным:

— Иди, ладно.

— Не сердись на меня, Варенька. Пойми ты меня, я тебя люблю, и ее не выгонишь, виноват перед ней, Варенька.

Он стоял на коленях у кровати и целовал, целовал ее руки.

— Иди, чего уж. Потеряли тебя ведь.

— Не сердись, Варя?

— Иди, Володя. Ждала я тебя. И ждать буду.

Он заплакал, хотел что-то еще сказать, только Варя сухо и строго отрезала:

— Иди светает уже. Увидят...

Он вышел

\* \* \*

Буйное первое мирное время! Натосковались сердца, сместилась жизнь, тесно ей стало в военных понятиях. И хлестанула она через край — горячая, неумная. Свои у нее стихийные законы, уму не подвластны крутые ее повороты.

Разум может смириться с обычной картиной — сердце не привыкает. И каждым июлем в деревне повторяются первые мирные сенокосы.

...Анна степенная женщина, с грабельцами ходит, в мужнином кругу стога вершит. Двое ребят их тут же копны возят.

Варвара всегда в соседнем кругу, доченька по дому смотрит, мала еще для работы. Владимир принадлежности своей к этому делу не отрицает, помогает, чем может — дров нарубить, поправить что на ограде. Анна не возражает, да все привыкли давно.

Маша совсем не та. Судьба сломила ее, похоронив мать, она стала жить одна, мужики пытались к ней свататься, она провожала всех с миром, посидев за одним столом. В редких гулянках напевалась своих любимых, потом от людей запиралась вовсе. Работа изматывала ее, подруг не было, да и не хотелось.

Временами вспоминался Вася, молодой и красивый. Как-то Маша догадалась, что намного старше его теперь. «Не ровня он мне, чего о нем думать?».

Стала вспоминать реже, пока забыла совсем...

Шумят травы... Стога растут...

\* \* \*

...Отгремели весенними грозами, оттрещали морозами суровые годы. Только июльским утром такой же шумной гурьбой вылетают в раздольные луга загорелые ребятишки на лошадях — сенокос начинается.

Палит солнце. Звенит отбойный молоточек дедушки Емы. Шумят травы...

Милая деревня! По сенокосной поре красивы ее места — что старицы, глубоко—голубые да чистые, что луга, иссиня-зеленые, красоты такой, что глазу не дается, и гора, раньше речной берег — вся желтизной щетинится, стареет, ан смотришь — шибанет зеленью по низким местам, как памятью из юности ранней что высветит.

И высветит. И зайдется сердце каждого, кто хоть какой-то стороной души прикоснулся к судьбам Вари, Маши и Анны, кто помнил

их не целованными, кто знал их не обнятыми, и не побитыми жизнью, кто видел ожидание счастья в глазах девчонок, у которых было все впереди.

Они смирились давно со своей долей, и никто не винит никого в неудавшихся девичьих судьбах.

Никто никогда не сказал, что они — жертвы.

Войну вспоминают совсем по другому случаю.

Шумят травы... Стога растут..

А люди! Оттаивают сердцем, душою отходят и чистым делается человек. На народе нельзя соврать ни словом, ни делом. Судит, страшным своим словесным самосудом судит деревня каждый твой шаг, каждое твое дело — большое и малое.

Нет другой работы в деревне более артельной, чем сенокос...

*1973*

## ЛЕЗВИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ БРИТВЫ

Мороз с осени ударил крепкий, и я ругал себя, что вовремя не запас дров для редакции. Договоренность с промкомбинатом была давно, да все никак не получалось: сначала грязь, потом уборка мешала, а сразу после я уехал на учебу. Когда вернулся, дров не было ни полена, и истопница Фрося бранилась безадресно, выбирая и приспособливая к печам старые чурбаны.

Снега не было. Машины, которые дал колхоз, легонько сбегали в лес, и через день вся редакционная ограда была завалена березовыми дровами. На душе стало полегче, но Фрося продолжала ворчание, потому что поленья оказались в основном кругляками, и я договорился с бухгалтером нанять кого-то, чтобы эти дрова переколоть.

Бухгалтер прикинул на счетах, во что обошелся привезенный кубометр, и заявил, что больше рубля за кубик не даст при условии подковки и складывания дров в поленницу. Деньги это не ахти какие, и я вслух усомнился, что мы кого-то сможем найти. Халтурщиков, правда, ходило много, но слишком дешево казалось переколоть и сложить такую кучу за две четвертых.

Я сидел в кабинете и читал очередную газетную полосу, когда увидел в ограде человека в длинной фуфайке и шапке с висячими ушами. Он ходил по сваленным дровам, ходил просто так, не нагибаясь, не прикидывая. Потом повернулся в сторону входа, с трудом перелез через большую кучу поленьев и скрылся в коридоре.

Мне неприятны разговоры с халтурщиками, народ это наглый и упрямый, он мытарит тебя до тех пор, пока не выжмет все, что можно, и даже когда ты, в последний раз хлопнув по столу, называешь сумму с добавлением «окончательно», он все равно некоторое время стоит перед тобой, бесстыже глядя в глаза, и ты готов отдать еще от себя, чтобы он поскорее вышел.

Незнакомец дверь открыл осторожно, пройдя порог, остановился, поздоровался, я кивнул. Лицо его, которого я никак не мог увидеть в окно, потому что он все время был ко мне спиной, меня пора-

зило. Оно было гладко выбрито, сухое и чистое, ясные и холодные глаза глядели печально и болезненно.

— У вас колун есть? — спросил он, и меня поразил его голос — приятный, с милой хрипотцой. Я ответил, что колун есть, и почувствовал, что хочу слышать его голос.

— Вы бы дали мне колун, на время, — снова с хрипотцой сказал он. Я спросил, зачем ему колун, понимая, что речь идет явно не о моих дровах. Он ответил, что в клубе напротив есть немного не колотых дров, что его там нанимают, что он не местный и не может найти колуна, а у них своего нет.

Я сразу предложил ему расколоть наши дрова и пообещал дать колун поработать в клубе, он живо согласился и просил назвать цену. Я назвал. Он опять согласился. Я ждал, что сейчас он попросит аванс, и приготовил отказ. Он ничего не спросил и уже собрался выходить. Я велел ему сесть, достал бланки трудовых соглашений и стал заполнять, спрашивая по мере необходимости анкетные данные. Он толково отвечал. Я попросил паспорт, он полез во внутренний карман и достал свернутый вчетверо тетрадный листок, изрядно подержанный. По тому, как скоро он это проделал, я понял, что бумажка та в кармане у него единственная. Бумажка оказалась справкой, выданной каким-то колхозом на имя Корзухина Ивана Александровича и удостоверяющей, что он, Корзухин, в этом колхозе отработал ровно три месяца.

Договор мы заключили, я выдал ему колун, и уже к вечеру Корзухин, еще раз обойдя дрова, принялся работать.

На следующее утро истопница Фрося встретила меня в дверях и рассказала, что халтурщик сильно ее напугал, когда она перед утром пришла растопить печи. Он ходил по ограде, засунув руки в рукава фуфайки, и продолжал ходить, когда она окликнула. Я хотел удивиться, почему он пришел так рано, но Фрося опередила, сказав с испугом, что он вообще никуда не уходил, и что она не хотела его впускать, да он упрямился, говорит, хоть усну маленько. Войдя в тепло, присел перед затопленной печкой погреть руки, да так на кукорках и уснул.

Рассказ истопницы меня насторожил, и я вышел во двор, чтобы расспросить Корзухина. Он сидел на полене, опершись руками на колун и низко опустив голову. Я подумал, что он спит, и окликнул по фамилии. Он поднял голову, и лицо его опять меня поразило. Оно стало серым, грязным, с опухшими красными глазами. Между широко расставленных ног в огромных валенках на белом снегу видне-

лось пятно чего-то грязно-желтого, с кровяными прожилками. Понятно, вчера перебрал.

Корзухин снова поднял голову, посмотрел на меня опухшими красными глазами, и я увидел в них печалинку. Он сказал, что не пил вчера, и что рвет от голода, три дня ничего не ел, что денег нет ни копейки и что знакомых в поселке тоже нет.

Я велел ему сию же минуту зайти в кабинет, сам прошел к бухгалтеру и приказал выдать Корзухину аванс — десять рублей. Бухгалтер на десять не согласился, и мы сошлись на пяти.

Корзухин стоял в кабинете у самого порога, молча рассматривал стол, стулья, портрет на стене. Я подал ему деньги, он расписался и положил пятерку в карман, из которого вчера вынимал справку. Я посоветовал ему сходить в столовую, он заявил, что сходит в обед, как все люди, и вышел.

Корзухин меня занимал.

Вечером я купил бутылку водки, сыр, еще кое-что и пришел в редакцию. Корзухин работал при свете фонаря со столба. Я сказал, чтобы он заканчивал и заходил ко мне. Он пришел, я пригласил сесть, поинтересовался, как дела. Он с хрипотцой ответил, что дела продвигаются, и с улыбкой заметил, что после обеда работается веселей.

Приободренный его настроением (почему-то чувствовал себя перед ним неуверенно), я вынул из потфеля бутылку, еду, налил стакан, поставил перед Корзухиным. Он посмотрел мне в глаза, взял другой стакан, отлил туда половину водки, вторую оставил себе, мы выпили. Он закусил осторожно и скромно, на мои уговоры отвечал, что сегодня уже ел. Мне было интересно узнать о нем все, он казался мне загадочным и странным.

Корзухин оказался не таким замкнутым, как я думал. Он сказал, что ему 42 года, он женат, жена и дочка живут в соседнем районе на разъезде. Он работал на элеваторе грузчиком, да заработки малы, решил пойти подхалтурить. Он хороший слесарь, устроился в колхозные мастерские, его обманули при составлении нарядов, и он не получил почти ничего. Тогда и пришел к нам. Сейчас ему надо заработать с сотню, чтобы приехать домой с подарками.

Я предложил выпить еще, он отказался. Я оставил ему бутылку, он сказал, что до лучших времен. Договорились, что спать он будет в моем кабинете на диване, ночью не будет курить, чтоб не устроить пожар. Мы простились, он закрыл за мной дверь на крючок, и я дождался, пока в окне погас свет.

Интерес мой к Корзухину пропал. На следующее утро мы встретились во дворе, он, улыбаясь, сказал, что охота побриться, и лезвия есть, да станок потерял. Я вспомнил, что где-то дома есть безопасная бритва, обещал принести, он опять улыбнулся и пошел работать.

Бритву я принес в обед, взял и лезвия, потому что сомневался, есть ли у него. Корзухина в ограде не было. Я подумал, что он ушел в столовую, но истопник Фрося сказала, что его увел милиционер.

Он появился скоро, возбужденный и раскрасневшийся, со смехом объявил, что в нем подозревают преступника, раз нет документов, что не разрешают больше оставаться в районе, дали время доколоть дрова здесь, у нас. Я отдал ему бритву, он открыл футляр, вынул пачку лезвий и подал мне, сказав, что бритву вернет, когда поедет домой.

Лезвия я опустил в карман.

Начальник милиции был мой знакомый, я позвонил ему и попросил не трогать пока Корзухина, чтобы он заработал еще и в клубе. Тот засмеялся и разрешил, но только чтобы потом он убирался из района, потому что у милиции без него проблем хватает. Я вышел и сказал об этом Корзухину, он обрадовался, что сможет заработать, что без денег возвращаться нельзя, и к чему-то добавил, что жена уже беспокоится, да писать нет смысла, скоро и сам приедет.

Окончание работы пришлось на выходной день. Выдать деньги накануне бухгалтер не решился. Я взял деньги и ведомость, пообещав Корзухину в воскресенье принять работу и рассчитать.

В воскресенье оттепело. Дорога обледенела, и я шел осторожно, чтобы не упасть. Снег в ограде был заскребен лопатой, следы ее затвердели в обмякшем снегу. Дрова до полена были расколоты и сложены ровно и аккуратно. Я осторожно потянул дверь — она открылась легко и свободно. В коридоре никого не было. Я громко спросил, кто есть. Никто не ответил. Я понял, что Корзухин спит, и даже рассердился на себя, что сразу не догадался: человек может хорошо поспать после того, как переколет и сложит полста кубометров дров.

Дверь в кабинет была открыта. Корзухин лежал на диване лицом вверх. Он спал глубоко и тихо. Рот был полуоткрыт, веки едва смыкались, гладко выбритое лицо отдавало гляncем. Правая рука почти свисала до пола, и красная нить соединяла ее с темной лужей на ковре, которая уже не впитывалась. По нитке медленно стекала тяжелая капля.

Словно боясь кого-то спугнуть, я тихо вышел.

Начальник милиции приехал минут через десять. Все это время я ни о чем не думал, Мы вошли в кабинет четверо: начальник, следователь, шофер и я. Корзухина там не было. На диване лежал его труп. От трупа пахло потом.

Следователь поднял правую руку и осмотрел ее. Потом он взял с груди трупа лезвие для безопасной бритвы. Я опустил руку в карман и нашупал пачку своих. Начальник поднял с пола у дивана початую бутылку водки и хмыкнул. Я заметил, что из бутылки с того вечера не убьло, но промолчал.

Начальник стал говорить, что зря я связался с человеком без документов, что так можно влипнуть в историю, что этот Корзухин неизвестно откуда взялся, что никакой семьи у него нет, он даже в нашей области не прописан.

Я вышел. Подтаявший снег матово блестел. От свежих поленьев пахло лесом. На колуне лежали смерзшиеся верхонки. Моя рука в кармане сжимала пачку лезвий.

*1973*



## БУНКЕРНЫЙ ВЕС

Михаил Иванович Крюков был механизатором многоопытным, прошел жесткую и разноучительную школу МТС и в кругу молодых любил вспоминать, как в прежние годы агроном поймал его на пустячке. Просто для вида теперь называл Михаил Иванович этот случай пустячком, а в то время агроном напугал его до перетяжки ремня на штанах — так сам он говорил, приравнивая свой испуг к каждодневной и хлопотной перетяжке вкладышей двигателя своей «колесянки», была такая ежесменная процедура на первых отечественных тракторах

— Перво-наперво, что делал эмтээсовский агроном, так это поля, которые той либо другой бригаде пахать или сеять, красненьким карандашом на карте соединял. А потом нам, бестолочам, в головы вдвобливал: ты, мол, такой и всякий, должен по этой красной нитке ехать, если на заданном тебе участке работы не сделалось. До того умно долбил, что наиболее сообразительные ребята приметили: сколько раз об стол казанком ударит, столько верст тебе чесать с Лепешинского увала, к примеру, на Паленский.

Ну, и довелось мне, как самому трактор дали, с поля на поле переезжать. Прицепщиком у меня молодой совсем парнишка был, или девчонка — не вспоминаю, вот рот и разинул, и чиркнул дорогу в одном месте лемехом. Приехал я на очередной участок своей работы, перетяжку делаю, смотрю: пыль столбом. Маленький Воронок бежит. На Большом Воронке сам директор ездил, тот вовсе заметный, только директора меньше боялись, покладистый мужик был. А если Маленький, да на рысях — все, залазь под трактор, иначе стопчет. Хороший был агроном...

Так вот, вожжей не прибирая, выскочил он из ходка и ко мне:

«Ты, — спрашивает, — такой-то сын, — а сам меня по имени-отчеству, — только сейчас с Блином на Ряхиху переезжал да лемехом дорогу захватил, аж рыболовных червей можно без труда добывать?!» Сам карту свою достал и в красную линию пальцем тычет, а она от той моей дислокации и до теперешней через всю жизнь и пролетгла.

В этом месте Михаил Иванович гасил окурок, аккуратно вдавливал его каблуком в землю.

— Дал он мне час времени и лопату из ходка, и вынужден был я бечь с километр, чтобы, где плугом ковырнул, землей заложить. Говорю потом агроному: к чему все, и так затопталось бы. А он меня с умной улыбкой поучает: культура. говорит, нужна в работе, чтоб прошел — не плюнул, трактором проехал — лишнего не сшевелил. Не для того, говорит, я тебе по карте чертил, чтобы ты не заблудился, а чтоб умом работал, если он у тебя есть, где лучше переехать и удобнее, чтоб природной эстетики земли не нарушать.

Когда среди собравшихся был кто-нибудь, с кем вместе работал он в МТС и кто по собственному опыту хорошо помнил те времена, Михаил Иванович, обращаясь к кому-то из молодых, говорил:

— Вам ведь теперь не понять этого. Васька вон как взбондится на свой «Кировец» — и ни царя ему, ни Бога. Управляющему на коне не догнать, агроном то в конторе, то в районе. На прошлой неделе полисадничек у Прокопия Матвеевича плугом захватил, он на Кирилловнину корову погрешил. Ладно, что она стельная, а то бить хотел.

Такие разговоры у Михаила Ивановича случались, когда в мастерской выдавалась свободная минута или в поле нельзя было работать от росы и тумана.

Ему половина за пятьдесят, но сумела сохраниться в потрепанной жизнью человеке крепкая сила и крестьянская страсть.

На работу одевался чисто и чистоту берег, седой жесткий чуб прятал под кепку, когда-то голубые глаза неестественно бойко, самостоятельно жили на его веселом лице.

Последние годы он не пахал и не сеял, ушел в мастерскую ремонтником, а скоро был переведен в контролеры, потому что знал толк в машинах и ценил правильный их настрой.

Но как только собирали механизаторов в совхозном клубе перед уборкой, Михаил Иванович непременно выходил к трибуне и просто, без высоких слов, подсказанных кем-нибудь из конторских, говорил, что совсем он не собирается нынче в поле, да хлеб вроде ничего, да еще облюбовал он себе комбайн с самой зимы и хочет еще одну страду отстоять за штурвалом.

Никто не удивился, когда Михаил Иванович на хорошо подготовленном комбайне снова выехал на обмолот. Осень стояла тоскливая, дожди работать мешали, механизаторы нервничали, уезжали домой, чтобы завтра вернуться к мокрым и сиротливым машинам.

Кое-как разведрилось, старательное, но слабосильное осеннее солнце подсушило валки, и моторы не глохли сутками. Каждый нагонял упущенное время, активисты не успевали называть передовиков, и уборка скоро шла к концу.

Михаил Иванович в составе большого звена работал на длинных гонах, в бункере прибывало заметно, поговаривали, что хлебов осталось на два-три дня.

Уже темнело, когда гоны кончились, остались закутки, неловкие и безнамолотные. Подъехавший по зову комбайновских фар шофер сказал Михаилу Ивановичу, что звено перешло на поле километрах в трех отсюда, ему велели поторапливаться и догонять.

Пересилив себя и грохот выгрузного шнека, Михаил Иванович прокричал шоферу:

– Ребятам скажи, что сломался я, поеду в деревню, сварка нужна будет...

Когда ушла машина, он приглушил двигатель и долго бесцельно ходил вокруг комбайна. Никак не укладывалось, что он решился. Он думал, что будет сложнее, труднее. Оказывается, все просто. Простота пугала.

Ни себе, никому другому не смог бы объяснить Михаил Иванович, почему он решился на такое, за что любому, им пойманному, прочитал бы жестокую мораль. Не объяснил, если бы потребовалось, но сейчас он ни о чем не спрашивал себя, и только чуть-чуть пробибалась мысль, что никому до этого нет дела, что при теперешних порядках никто ничего не заметит.

Осторожно повел он комбайн на валок, и машина ненасытно поглощала серую массу. Михаил Иванович осмотрелся — ни одной фары, ни огонька, тогда он прибавил оборотов, наскоро, наспех переезжал с валка на валок, добывая, домолачивая каким-то чудом выпаханый закуток, потом, оставив клин, выбрался на дорогу, на большой скорости долетел до деревни. Когда погасли огни, комбайн прокрался к дому Крюковых.

Все, что было в бункере. Михаил Иванович решил выгрузить мешками, чтоб не делать шума. Ладошкой нащупал уровень заполнения: центнеров пять, не больше. Мешки спустил с мостика осторожно, и кряхтя, стаскал их в сарай. Управившись, лег на кровать, потревожив безмятежно спавшую жену.

Спал он спокойно, только утром уже, освежаясь во дворе остывшим за ночь рукомойником, вспомнил, что видел во сне ту злосчаст-

ную борозду, которую пришлось лопатой зарывать, и зерно в бункере своего «Сибиряка», в которое тыкал пальцем дипломированный агроном, соседов сын Ванька, и зло говорил, что здесь не больше пяти центнеров бункерного веса, а чистого зерна и того меньше.

Михаил Иванович суеверным не был, но сны его расстроили, он плохо поел, и когда звеньевой, настырный и властолюбивый Притыкин, подъехал на мотоцикле «Урал» и спросил, в чем дело, Михаил Иванович буркнул в ответ невнятное и больше говорить не стал.

Потом он чисто вымыл руки по самые локти, побрился, надел свежую рубаху и пошел в контору.

Агроном, тот самый соседский сын, просьбу Михаила Ивановича понял не сразу:

– Не тебе по кустам шастать, Михаил Иванович, наладим комбайн.

– Ладить его не надо. Ваня, он в исправности.

– Ну...?

– Подмени, чтоб машина не стояла, а нет – так со двора убери.

– Номера у тебя, сосед! Уборки на два дня осталось, два-то дня ты можешь помолотить?

– Не могу! – Михаил Иванович сам испугался, что закричал. – Не могу, Ваня. А номерами ты меня не пугай. У вас вон практиканты на зерноскладе баклуши бьют, отдай им комбайн, Богом тебя прошу.

Агроном бестолково смотрел на Михаила Ивановича, а тот думал, что вчера сломалось в нем такое, на чем стоял он всю жизнь, что поддерживало его дух и правоту в минуты нравоучительных разговоров. Теперь уже сам себе не верил и понять себя никак не мог.

Комбайн решили передать молодому сптэушнику, которого Михаил Иванович плохо знал. С элеватора его привезли на грузовой машине, он был ошарашен неожиданным предложением, потому с хозяином говорил осторожно и неестественно любезно.

Михаил Иванович добросовестно допросил приемника по основным вопросам управления комбайном, потом поинтересовался;

– Ты вроде Пашки Связина сын?

– Его

Они закурили всяк свои, Михаил Иванович не одернул молодого, как раньше.

– В СПТУ?

– Ну.

– Комбайнером будешь?

— Механизатором. С широким профилем.

Михаил Иванович шутку не принял.

— Всякий механизатор должен быть прежде всего комбайнером, — начал было и сразу осекся. — Я вот до войны еще начинал, на «Коммунарах» да на «Сталинцах», Ну.. Теперь вот «Сибиряки». Все. Отработал.

Папироса погасла. Приемник не обращал на Михаила Ивановича внимания.

— Отработал, говорю, — как будто напрашиваясь в собеседники, продолжал он. — Сам себе поперек встал... Комбайн хорошо идет, ты без сомнений. Вот... Сам я малость... Да, — Михаил Иванович поднялся: — Ну, не сиди. Не время. В добрый час. Машина хорошая, ты с ней аккуратно. Давай.

Когда комбайн уже уходил с улицы, Михаил Иванович так, никому, сказал «Благодаря!» и закрыл на запор калитку. В высвеченном квадрате двери сарая стояли мешки с зерном, в устьях туго, как петель, перетянутые бельевой веревкой.

Глядя на них, Михаил Иванович на малую чуточку времени представил, как агроном, в котором до сего времени он видел только соседского парнишку Ваньку, будет тыкать пальцем в аккуратные мешки и зло говорить, что здесь не больше пяти центнеров даже бункерного веса. Он знал, что так будет, пнул крайний мешок и решительно направился к конторе походкой победившего, преодолевшего себя человека.

1974

## СОСЕДИ

В первый день Нового года с самого утра чувствовал Гоша себя неважно. Похмелье ломало его, корёжило по-всякому. Спасу не было никакого. Солонущий огуречный рассол толку не дал, ни к чему оказалась и квашеная капуста.

Рассвело совсем. Морозец, видно, приударил крепкий, окна покрылись узорами, дверь вспотела, и от неё шёл пар. Гоша вышел во двор. Будто битым стеклом была завалена ограда, снег искрился, глаза слезились, шурились. Жить не хотелось. Рвать было нечем, иначе Гоша сунул бы два пальца в рот. Он и пробовал уже за крыльцом, да ничего не вышло, так, слюна одна. стакан вина какого-нибудь, бражки сделал бы его человеком, но как только подумал, как только в воображении своём представил, — желудок подтянуло к горлу, и Гоша издал такой звук, от которого шарахнулись овечки в пригоне, и корова в сарайке боязливо приподняла голову.

— С Новым годом, Георгий Спиридоныч!

Гоша сплюнул тягучую слюну, рукавом вытер губы, оглянулся. Кенин, сосед, стоял, опершись на заплот, улыбался трезвой здоровой физиономией.

— Благодарствую, — глухо ответил Гоша.

— Нового счастья не желая, дай Бог с этим пособиться.

— Не говори, — Гоше стало легче оттого, что не надо ничего объяснять. Кенин и так знал, в чём дело. А это же долго рассказывать — где был, сколько выпил, похмелился ли...

— Да уж чую. Вчера видел, как ты домой возвращался, да подойти не стал. Пьяный, думаю, человек, кто его знает, что на уме? Такой и ударить может. А?

— Вчера не ударил бы, — сказал Гоша.

Кенину это понравилось.

— На тебя юмор с утра напал.

— Только мне и осталось. Баба...

— На бутылку просил?

— Просил.

— Ну?

— Не дала, знамо. Кува...

— Плохо.

— Не говори...

— Тебе плохо, наверно.

— Хорошо, — сказал Гоша и обидно ему стало, что он, мужик, перед этой гадиной унижается, терпит насмешку, потому что плюнуть, уйти — нет сил. Потому, что Авдоха троячок не даст, хоть ты тресни, из дому продать что-нибудь — до этого Гоша не дошёл, и в магазине строго-настрого всем на носу зарублено Авдохой: кроме курева и спичек в долг ничего не давать.

Ещё раз стерпеть. Он только интересуется, без издёвки, так, для порядка. А выпить у него есть. Иначе не высмотрел бы он Гошу в кутьнее окошко, не вышел бы во двор в полушубке на голо тело.

«Стерпеть надо, — подумал Гоша. — Я ему потом по трезвости всё вылеплю, за мной не заржавеет».

Кенин смотрел весёлыми голубыми глазами, тянул из него жилы, а Гоша стоял посреди двора, время от времени вздрагивая, как озябшая лошадь.

— Заходи в дом, Георгий Спиридонович. Гостем будешь. За Новый год выпьем, старый проводим, — улыбнулся Кенин.

— По соседскому делу отчего не зайти, — порозовел Гоша. — Прямо сейчас могу зайти. Отчего не зайти...

— Верно, — опять улыбнулся Кенин. — Заходи. Баба моя манники пекла. Страсть люблю манники.

— Тоже люблю, — зачем-то сорал Гоша. «Последний раз. Мне только похмелье разогнать. Больше с ним на гектар не сяду...»

— Ну, заходи, Георгий Спиридонович.

— Зайду. Болею ведь я, — признался Гоша.

— Ну-ну..

Кенин в деревне появился незаметно. Сельсовет отвёл ему место для строительства. Колхоз помог лесом. Мужики за хорошие деньги мох надрали на пудовском озере, и за лето дом скатали, как терем. Обидно было Гоше, что такой красавец будет стоять рядом с его избушкой, что слаб у него карман для подобного размаху. Семья у Кенина своя, родная. Парень здоровенный, девка, бывало, с мужиков глаз не сводит. Сразу тихо зажил, замкнуто. Друзей не водил. Скоро попустились все, вроде забыли про него. Пить тоже не пил. Да и не с кем, друзей-то нет. Потом как-то Гошу стал приглашать. Георгием Спиридоновичем звал. Чудно Гоше поначалу было, потом привык. Особенно не упорствовал, стопку-

две пропускал степенно и с удовольствием, а потом, сбитый со счёту толковой самогонкой, хвалил это изделие и золотые хозяйские руки.

— Белорусский рецепт, — сказал как-то Кенин и посмотрел на жену. Та вышла. Баба она тихая. Гоша кроме «здравствуй» и «прощай» ничего от неё, считай, и не слышал, а в душе завидовал, что его Авдохе Бог молчания не дал.

— Белорусский, говоришь? — встрепенулся он. Реденькие волосёнки на голове взбодрились под Гошиной ладошкой, щеки познаменели, на лбу бисеринки выступили. — А я думаю, чем знакомым от этой самогонки отдаёт? Шевелится где-то возле сердца, а припомнить не могу. Сейчас ты, суседушка, меня на мысль натолкнул. Белоруссия, значит! Верно говоришь! Белоруссия у меня в душе шевелилась. Пивал я в военные годы тамошний самогон.

— И бывал ты в Белоруссии, Георгий Спиридонович? — пощекотал самолюбие хозяин.

— Гоша всю Европу прошёл! — шумнул вроде гость, потом вспомнил, что не дома, остановился. — Бывал. Я бы, может, сто лет туда не попал, да немец пособил. Скрутили нас в тех краях в окруженье, стали к себе теснить. Ну, мы и рванулись, человек двадцать. Комбат нас послал. Знамя вокруг меня наверху, ребятам бумаг каких-то надавали. Мы и пошли. Семеро только вышли, да и то на партизанов. Проверочку нам сделали: «Кто и откуда?» Один из них там особо сурьёзный был, бить советовал, что не скрывались. Да и мы смотрим: холера их знает, кто? Ну, я потом вижу, что всерьёз всё, гимнастёрку на голову и кричу: «Бей, кува, ежли пролетарии на этом знаме тебе не родня!» Было дело! Аэроплан прислали с Москвы, знамя и документы увезли, а мы остались. Потом ещё раз прилетали, большой чин. Всех, кто в наличии был, построили, слово сказали. Ну, нам, кто от немца вышел, ордена дали. Большой у меня был орден, да ребятишки, когда маленькие были, порастеряли все.

На живую ещё рану насыпал соли сосед. Ворохнулась в порченной Гошиной памяти вся партизанская быль. Ребята вспомнились, Райка тоже, молодая баба, местная была, белоруска. Самогон для Гоши ловко выгоняла, никто не знал.

— Так что белорусский дух мне знакомый, — подытожил Гоша.

— И в каком это месте в Белоруссии? — спросил Кенин.

— Километров сто от Жлобина по Днепру. Бывал?

— Командира у вас не Фёдором ли звали?

— Фёдором! — обрадовался Гоша. — Точно, Фёдором. Да мы с тобой, суседушка, не в одном ли отряде были?



– Нет, Георгий Спиридонович, не в одном. Я рядом был.

– То-то мне лицо твоё не знакомо. А Фёдор хороший был мужик. Пропал потом без вести. Говорили, что на явочну ушёл, да и не вернулся. И явочной этой потом не сделалось.

– Так больше ничего и не слышал о нём?

– Слышал, как же. В сорок восьмом, кажись, письмо пришло, через военкомат. Суд был там на него. Да покос в аккурат, куда поедешь? Коровёнку держал, да нетель, телятишки, овечки – знамо дело. Не поехал. Говорили, что дорогу оплатят, и на карманны расходы... Не поехал...

– А где суд был, не помнишь?

– Помнил... Как-то под вид лесины, будто как Комель.

– Гомель?

– Можа и Гомель. Да не поехал я.

– Ну, хватит об этом. Выдержи ещё одну.

Гоша тогда в силе был, колхозную работу, как свою ворочал, в почёте ходил. После какого-то совещания хороший ужин сделали в районной чайной. Гошу как лучшего передовика начальство с собой за стол посадило. Выпил он в этот вечер крепко, потому что простыл, спина начала отниматься, по старым ранам ломота пошла. Думал подлечиться. Видно уж сбросили его со счетов за столом и завели разговор о Кенине.

Гоша смутно помнил, кто что говорил, но утром, лёжа под балясистым одеялом за широкой спиной Авдохи, он по кусочкам, по словечку стал припоминать вчерашнее застолье и тихонько изумлялся припомненному.

Тогда Гошу мучило не похмелье, а мысль, что рядом с ним живёт шукура, которая Гоше и другим мужикам воевать по-человечески не давала. Ещё затемно он прогнал с кровати Авдоху, чтоб не мешала думать. И без того ломота по всему телу, а тут ещё она храпит. С молодости по утранке сон у неё мертвецкий.

«Стало быть, сосед-то у меня суждённый за измену.. Десять лет в лагерях отбахал, подале от тех мест уехал, где пакостил... В Белоруссии много людей говорит, по его пальцу вытравили... В Сибирь смылся... А я, к примеру, и здесь тебе враг с сегодняшнего числа»

Гоша сначала побить хотел Кенина, да одумался: посадит, как пить дать. Ведь сосед теперь в правах восстановленный. Всё равно, что бригадира побьёшь, что его. С неделю Кенина он избегал. Потом большая злость прошла, но всё равно к соседу не ходил, правда, на приветствия

кивал: куда денешься, знакомы. Но и в мыслях не допускал, что он, Гоша, с этой гадиной может хлеб-соль с одной скатерти есть.

Сломил его сосед незаметно. Дело после большого праздника было, Гоша тогда должное отдал столу, на утро мучился смертной мукой, воду пил, пальцами пользовался. Винишка выпить, полегчало бы, да Авдоха копейки не даст..

Тогда и вышел Гоша на соседа, проклиная себя за это, но зная, что он пособит. Хорошо поправил Гоша здоровье, а потом сам себе клялся, божился, что не пойдёт на поклон к этой гниде, гадюке и сволочи. А когда было невыносимо, он шёл, как идут на заранее обдуманное преступление, шёл, чтобы потом срамить себя и заикаваться.

Гоша не стал заходить в свою избу, под окнами, пригнувшись, пробежал к тесовым воротам Кенина. В ограде было чисто, под метёлку убрано, свежая изморозь легонько подёрнула наст.

«Раненько встал», — отметил Гоша

В дом зашёл боязненно, униженно. Пимы снял под порогом, кашлянул, постоял. Кенин вышел из горницы. Был он нарядный, здоровый, Гоше не в пример.

«Надо было тоже пододеться, а то будет, кува, думать, что у меня доброй лопотины нет», — подумал Гоша.

— Проходи, Георгий Спиридонович. Будь гостем.

«За душу только не тяни», — подумал Гоша, прошёл в передний угол, сел. На столе была закуска всякая, еда, бутылка водки, самогон в графине.

— Мы с тобой Георгий Спиридонович, сейчас за Новый год по стопочке выпьем, а? Не против? Я думаю, по стопочке — ничего?

— Ничего, — согласился Гоша.

— Вот и выпьем, — Кенин наполнил стаканы, поднял свой. — Может речь скажешь, Георгий Спиридоныч?

— Скажу, — Гоша ничего не хотел говорить, так, само вылетело. — Скажу, — повторил он и понял, что скажет всё... Он не готовился к этому. А сейчас понял: скажет. Ему не сдержаться. И стал говорить.

— Я вот скажу, как мы сорок третий встречали. — Он оберуч взял стакан и одним глотком, решительным и крупным, выпил. — В ночь на тридцатое мы по заданию ушли. Надо было состав один с путей столкнуть. Фёдор сказал, что там провиант есть, а у нас со жратвой плохо стало. Решили попользоваться. Ну и нарвались. Рельсу сняли, а он, кува, видно предупреждённый был. До роты нас с тылу к железке жмут, а с поезда пулеметы шпарят. Ну, думаю, с Новым годом, Георг-

гий Спиридонович! Кое-как прорвались, меньше половины. Легко раненые сами пришли, тяжелых бросили, некуда было деваться. Сутки следы путали, к ночи пришли. Федор выдал на каждого, был у него свой резерв, специально к празднику берег. Только я бы тогда самолично голову проломил всякому, кому этот стакан поперек горла не встал бы. Первый раз я тогда не выпил. А сейчас каюсь: надо было. За ребят, которые по заданию полегли. Так что налей мне, сосед. Себе не наливай. Только я за их выпью, как имею право. Сперва помолчу минуту.

Гоша встал, весь напрягся, мелкими глотками, торжественно выпил всё до дна, садиться не стал, а сразу пошел к двери.

— Да ты не расстраивайся, Георгий Спиридонович, — густо протянул Кенин. — Сядь, посиди, ещё повспоминаешь. Мне интересно, я послушаю.

— Не стоит беспокоиться, — остановился Гоша. — Я тебе как соседу говорю — не тревожь мою душу, а то я сам себя на поруки не беру. Мне про твою поганую житуху доподлинно известно, потому не шевель меня. Я шибко неловкий.

Он трудно открывал дверь...

— Уже глотнул где-то, — удивилась Авдоха, когда Гоша, пошатываясь, вошёл в избу.

— Я, мать, не глотнул, я выпил, — непривычно спокойно ответил он, снял фуфайку и прямо в пимах лёг на кровать. — Я, мать, с Новым годом проздравил ребят, которые убиты.

Авдоха насторожилась:

— Ты турусишь, или как?

— Нет. Проздравил, как положено. Я же, считай, тридцать годов с емя не выпивал... Или меньше?.. Нет, тридцать...

Язык не хотел шевелиться, глаза закатывались, Гоша засыпал. Потом он вдруг сел на кровати, пальцем подозвал Авдоху и громким шепотом сказал:

— Я, мать, с предателем пил, с изменщиком. Сусед-то наш, Кенин, в войну партизанов продавал, а я ему нынче всё вылепил, как есть, и боле с ним — ни ногой...

Гоша лёг и захрапел сразу.

— Во, допил, — зло сказала Авдоха. — Черти уж мерещатся.

Кот выгнулся на печи, мяукнул протяжно и жалобно. Авдоха вздрогнула и перекрестилась.

## ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ МАКАРУШКИНУ ЛЯГУ

Еще с вечера я обошел всех мужиков, с кем можно было договориться, что они помогут напилить дров моему отцу, который не сумел сделать этого вовремя, а я только сейчас получил отпуск.

Шел август, сезон давно кончился. Пильщика найти было трудно, но я нашел его, и им оказался сосед моего отца, человек, нанимавшийся в основном в организации и частным пилением не промышленный, потому я опасался, что и он не согласится, хотя был готов заплатить хорошо.

Я искал других и не пошел к нему сразу, потому что совсем недавно он похоронил сына, парнишку лет двенадцати, и было неловко с ним встречаться. О его горе я не слышал раньше и узнал только теперь, когда приехал к отцу. Я видел его в первый день после приезда, но не подошел, потому что обычно он подходил первым и здоровался. Теперь нужда заставляла меня идти к нему в дом и просить помочь. День кончается, а людей для работы так и не было. Я решил.

Он встретил меня в ограде: в каждом дворе летом найдется работа. Он стал еще больше сутуловат, по-мальчишески белобрыс, крючковат носом, сильно шурился, У соседа была длинная и непонятно как появившаяся в деревне фамилия — Салтановский. Все его знали просто Салтан. Он на это не обижался. Теперь я не знал, как к нему обращаться, хотя раньше, как и отец, звал по имени, на свой лад — Натолый, несмотря на разницу в возрасте. У нас это бывает зачастую. Мне и сейчас показалось, что иначе как Натолый, назвать его не смогу, это будет неестественно, все усложнит и еще ярче обозначит ненужное мое сочувствие, и на этом остановился.

Я поздоровался осторожно, даже с опаской, он отложил дела и сразу согласился напилить дров. Его не смутило даже, что второго пильщика у меня нет, а надо поставить пятнадцать кубометров.

Было уже поздно. Я лег спать, сказав отцу, что все нормально, что завтра утром рано мы выезжаем.

Не знаю, сколько я уснул. Когда мать подошла будить, я почти не

спал и очнулся спокойно и трезво. Чуть светало. Отец уже был во дворе. Он тихонько выкатил свою инвалидскую мотоколяску из гаража, скрипя протезом, ходил по ограде, отпирая ворота, складывая в багажник пустую флягу под воду, топоры, мать туда же втиснула сумку с едой. Соседский парнишка Витька, которого отец попросил помочь, лихо курил сигарету и торопил спешить.

Салтан появился в воротах с бензопилой на плече, заспанный и угрюмый. Думая, что он с похмелья, я решил, что бутылка водки, взятая с собой, несколько его развеет, помог нести до коляски бачок с бензином, потом мы сели втроем в тесную кабину мотоколяски, и я завел мотор.

Въехали в лес, когда совсем рассвело. Светло было уже тогда, когда мы ехали полем. В лесу сразу стало темнее, только и здесь чувствовалось, что утро будет.

Деляна наша была в хорошем месте, потому что мое положение позволяло договориться с лесником. Березовый колок стоял в белесом тумане, и деревья, не шевелясь, ждали смерти. Мне подумалось это в прохладной лесной тишине.

Салтан аккуратно вынул из багажника банку с маслом и канистру с бензином, стал возиться с пилой, я же тем временем соображал, кому чем заниматься. Речь шла о том, рубить ли сучки мне или поручить это Витьке. Он сделает быстрее и лучше меня, но работа труднее, чем пособлять пильщику, потому я стеснялся решить сразу.

Витька решил все сам, взял топор и стал подрубать у самого основания деревья, которые надо было пилить.

Мы почти не разговаривали. Салтан работал с тупой отрешенностью от всего, пила злобно вгрызалась в ствол, выплевывая хлопья сырых рыхлых опилок. Дерево, чуть вздрогнув, начинало валиться в сторону, которую Витька определил надрубом, потом в срезе жутко рвались последние нити, связывающие ствол с уже образовавшимся пнем, и береза, прошумев в воздухе густой и зеленой кроной, хлестко падала, отчаянно охнув.

Витька бойко справлялся с сучками, в кучках мохнатой зелени грустно смотрелись свечи белых стволов, жизнь уходила из них чистыми слезинками березовки. Я же был не у дел, ходил за Салтаном с топором, изредка вставляя его в прорезь, когда дерево попадалось толстое, и пилу зажимало.

Салтан работал легко, без единой капельки пота, хотя солнце поднялось над лесом, и последний летний зной начинался. Папироску

изо рта он не выпускал, пока не кончался измусоленный мундштук. Я о куреве даже не думал, то и дело бегал к фляге в тень, сохраняющий прохладу воды, набранной в заброшенном лесном колодце.

Раздеться не давали пауты, которых было великое множество. Тело мое в нескольких местах горело, как обожженное. Постоянный визг пилы, молчание, однообразие работы доводили до иступления.

Неожиданно Салтан заглушил пилу. Витька по обыкновению бросился к канистре с бензином, Салтан вернул его, сел на влажный пенек, закурил:

— На пятнадцать кубов накрывали, а, Витька?

Витька деловито осмотрел образовавшуюся поляну, поважничал:

— Должно хватить.

Удивительно, но меня несколько не тронуло, что Салтан советуется с Витькой, будто забыв обо мне. Я с первых минут чувствовал себя человеком посторонним и с этой ролью свыкся.

Все трое молча и сосредоточенно курили, я навалился на еще прохладный березовый ствол, надеясь отдохнуть, Салтан тем временем заправил пилу и еще закурил.

— Слышь, Пашка?

Я с трудом догадался, что это ко мне. За годы солидной работы в райцентре успел привыкнуть к официальному обращению, и это, домашнее, сначала удивило, как чужое, потом жаркая волна прокатилась по сердцу, вернув во времена безмятежного детства.

— Чего тебе? — спросил я как можно проще.

Салтан, сощурился подслеповатые глаза и обращаясь уже не ко мне, а к Витьке, сказал:

— А ни хрена из него работника не выйдет. Интеллиго! У меня пилу зажало, а он топор в прорезь сует. Тебе слегой снизу надо помогать, чтоб расклинило, едрена мать!

Я обиженно промолчал.

— Володька у меня в шестой класс перешел, а я с ем горя никакого не знал. Поедем сено метать, я подаю, он вершит. Такой стог выведет, как огурчик. Мы с ем по двадцать кубов ставили, во как! Жадный был на работу, этот, бывалочи, не посидит. Все как шестерка: туда-сюда, туда-сюда. Рабочий парень.

Он говорил это спокойно, с веселой улыбкой, как о живом, и мне стало не по себе.

Жара уже спадала, когда мы сложили последнюю поленницу. Салтан и Витька укладывали вещи, а я по наказу отца обошел все полен-

ницы и на торцах самых крупных кругляшей углем поставил его инициалы. В этом не было нужды, потому что дрова давно уже не крали, но привычка осталась, а я не хотел, чтобы отец дома, когда привезет дрова, обнаружил мой грех.

Пыльная и ухабистая дорога вконец утомила меня, и я хотел отказаться даже от купания, но Витька, освободив багажник, вылил в кабину мотоколяски ведро воды, чтобы освежить воздух, и соблазнил поехать. Я вновь почувствовал себя человеком, когда помылся и немного поплавал.

Дома уже был готов стол с мясным супом из столовой, свежepro-сольными огурцами и тремя бутылками водки. По праву хозяина отец налил всем по стакану и чокнулся с Салтаном.

— Ну, Натолей, спасибо тебе за выручку. Положь в карман. — Он сунул ему в руку три свернутых пятерки. — Давайте попьем, чтоб лучше горели.

Теплая водка останавливалась в горле, и я очень удивился, как Салтан в один глоток, длинный, но легкий, вместил весь стакан. Деньги он положил в пистон изрядно поношенных брюк и закурил.

Вторым приемом я допил остатки, гадко поморщился, чем вызвал серьезное замечание Салтана.

— Не позорь водку, — спокойно сказал он и выпил второй стакан ровными мелкими глотками.

В комнате было душно, и мы вышли за ограду, на скамеечку. Уже затихал деревенский день. Запоздало дзинькнуло ведро в чьем-то коровнике. пронеслась мотоциклетная толпа ребятишек, изрядно напылив; укладываясь спать, беспокойно хрюкал отцовский поросенок в загончике, сразу за домом.

Я даже не заметил, как мы с Салтаном остались одни. Говорили о чем попало, когда он вдруг спросил:

— А ты, Павел Петрович, Володьку-то моего знал?

Перемена разговора, уважительное отношение ко мне и дрожащая, как будто виноватая, улыбка на его лице меня смутили.

— Конечно, знал, только, пока я учился, он вырос, но все равно узнавал его, когда приезжал.

— Вытянулся он здорово. Уже, смотри, дак чего-нибудь и мое из одежды подцепит. Я ему на осень собирался костюм новый купить. Думаю, куплю костюм да полботинки хорошие, чтоб парень как парень. Сейчас же видишь, как оболакаются. Полботинки-то я еще по весне, в городе был, взял — хорошие. Ему не сказывал, чтоб не клян-

чил зря. Все равно не дал бы до школы. Да и кто в эку погоду в полботинках ходит?

Глядя на Салтановского, я все больше убеждался, что его совсем не интересует, слушают ли его: он говорил тихо, но вполне внятно, держа уже погасшую папиросу в правом уголке рта.

— Я эту лягу с той поры не взлюбил, как Макара Безбородихина доставали, утонул он там по пьяной рыбалке. Ты, наверное, не помнишь, — он вдруг снова обратился ко мне.

Я слышал от отца эту историю, но, чтобы не прерывать рассказ, ответил коротко:

— Нет.

— Ну, да где тебе. Это вскорости после войны было. А Володька-то с ордой за полевым луком пошли, ну, и чтоб круг не давать, напрямую. Тут он его и укусил.

— Кто? — вырвалось у меня.

Салтановский внимательно на меня посмотрел.

— Живой волос. Он с вечера, как пришли, занемог, а утром я сходил в больницу за фельдшером. Она таблеток притащила, укол поставила. Три дня помучился, на четвертый в район свез, а на пятый уже гроб сколотил, поехал за ем.

Мне рассказывали в подробностях эту историю, но сейчас в равнодушном монотонии отца она казалась мне новой и страшной.

— Костюм в районе купил, неважный, правда, но на один раз ладно, а полботинки из дому взял. Левый-то хорошо наделся, а правый не лезет, нога распухла, в которую укушено. Я вот этим складеньком ботинок разрезал, тогда обул. Знатье, так надо было издержаться последний раз, взять другие. А теперь вот каждую ночь он ко мне приходит и плачет, что единожды купил полботинки, и то разрезал, ходить нельзя. Старухи говорят, что можно другие туфли на могилку поставить, да только я хитрый, не беру.

Я хотел сказать, что все это мистика, но вовремя передумал. Салтан добавил с хитрым смешком в голосе:

— Куплю ему, а он ходить перестанет. Видал, как? Я и не беру. Так каждую ночь и видимся.

Он встал. Я не нашел в себе силы что-то ему сказать, и он тяжелым шагом пошел к дому.

Дня через три я встретил знакомого врача из районной больницы и спросил, помнит ли он случай с мальчишкой, который умер от укуса в ногу.



— Какого укуса?

— Откуда мне знать. Говорят, живой волос...

— Какой к черту волос? Как фамилия мальчика?

Я сказал.

— Помню. Тяжелый случай. Двухсторонняя пневмония и нераспознанный менингит. Затянули в деревне.

— А как же нога?

— Что нога? А, нога! Заноза была у него. Честно говоря, ее заметили после смерти, так что чистить не было необходимости. А нога действительно распухла, мне говорили, что отец даже туфель разрезал. Кстати, этот Салтановский, когда я в участковой больнице на твоей родине работал, дрова мне заготовлял. Веселый мужик, и брал недорого. А ты про какой волос говоришь?

Глупо было бы городить ерунду, услышанную в деревне, и я поспешил проститься.

Теперь всякий раз, приезжая в деревню, я смотрю на Макарушкину Лягу, на узкий, вытопанный десятки лет назад и до сих пор не зарастающий переход, которым изредка, чтобы скорее попасть в луга, пользуются деревенские ребяташки.

1975

## НАКАЗ

Сегодня особенно гордо сидел Федор Петрович на источенном времени, исколупанном ребячьими складеньками и истыканном окурками бревнышке: степенно рассказывал соседям про письмо сына, полученное утром. В том письме Геннадий писал, что в отпуск нынче приехать не удастся и приглашал отца к себе в Москву, просил сообщить согласие и обещал прислать денег на дорогу.

— Чудак-человек, — рассуждал Федор Петрович, затягиваясь сигареткой. — Деньги он мне пришлет! Как будто я зануждался. Вот чудак!

— Ему там с чего разбегаться? В таком городище как шаг ступил — пятак, еще раз — десятник, — это Панфилович, сосед, предостерегает друга своего.

В тон ему Матрена Ивановна жизнерадостно говорит:

— Корыстно в городах-то жалованье. Генка-то получит, поди, аванец, и ума не даст, куда с ним: либо на базар, либо в лавку... Широка сотня-то. Ешь, пей да вперед береги.

У Матрены зять на тракторе работает, деньгу гребет, по причине язвы вина ни-ни, за каждую услугу: вспахать, дров, сена привезти — берет наличными. Мужики его попросту не замечают, а в деревне строже наказания нету, но жена и теща им довольны...

— Про Генку у меня голова не болит, он в такой организации робит, где деньгам счету нет. Они тем все на окладах сидят. Отдай и не греши.

— Сколько? — встрепенулась Матрена Ивановна.

— Три с полтиной, — не моргнув, соврал Федор Петрович. На бревнышке ахнули. — Грех говорить-то, Геннадий мне запрещал, но раз такое дело... Дак ведь Генка-то рядом с имя робит. — Он несколько раз ткнул пальцем в небо. — Да. И отпуск не дали. Наверно, опять с американцем или с каким-нибудь эфиопом полетят. Генка там должен быть, без Генки нельзя...

Уверенность его возымела действие. Разговор о Геннадии кончился сам собой, посудили про погоду, про тронутый солнцем урожай и разошлись.

Федор Петрович долго не спал. Не давало покоя, что соврал. Кое-как угнездился, подремал, со светом поднялся, управился во дворе, дочиста вымел ограду.

Дома Федор Петрович велел жене собрать малосольных огурчиков и грибов, кое-какое варенье, сам уложил в чистую тряпицу солидный кусок вяленого мяса. Груз получился приличный, кое как вместился в две большие сумки, когда-то привезенные Геннадием и оставленные за ненадобностью. Федор Петрович отсчитал сотню, спрятал во внутренний карман и для верности пристегнул булавкой. Еще четвертную, набранную рублями и трешками, положил поближе... Сказал жене: «Ну, оставайся, через дней двадцать вернусь, как хорошо примут».

Скоро он уже качался в самом раннем автобусе, идущем в город. Сел вместе с Василием Погорельцевым. Василий путано и многократно пытался рассказать Федору Петровичу о цели поездки в райцентр.

– Я уж который год прошу. В газете было напечатано, что бесплатно, а они мне: плати половину...

Федор Петрович хорошо знал эту историю. Василий спал и во сне видел «Запорожца», с тех пор, как военком, вручая ему «Красную Звезду», нашедшую его через тридцать лет, при большом скоплении народа сказал, что герой Погорельцев в скором времени получит легковую машину. Дело оказалось гораздо сложнее. Или в беседе были малы фонды, или другие причины, только Василию всякий раз говорили, что инвалидам третьей группы, к которой пожизненно теперь принадлежал Погорельцев, легковые машины бесплатно не положены...

Василий был изумлен, когда узнал, что Федор Петрович едет в Москву. Он надолго замолчал, отвернулся к окну, изредка сморкался в платок и вздыхал. На вокзале отвел Федора Петровича в сторонку под акации.

– Петрович, ты там время избери, сходи на Красную площадь к могиле маршала Рокоссовского. Как никого не будет, ты тихонько скажи; «Так, мол, и так, товарищ командующий, от сержанта Погорельцева В. С. поклон». Ну, там прибавь чего, сам увидишь по обстановке...

Федор Петрович слушал это рассеянно, думая о своем.

В поезде он залез на верхнюю полку, лежал до темноты, потом все улеглись, он тоже успокоился, но уснуть не мог. Перед глазами стоял Василий Погорельцев.

Он знал его с малых лет, на фронт пошли в один призыв и вернулись в одно лето сорок шестого, Федор Петрович дослуживал, Василии тем временем в саратовском госпитале привыкал к протезу. В деревню прибыл он на двух ногах, деревню своим прибытием насторожил, потому что Варвара, жена его, еще три года назад сошлась с эвакуированным учителем и перешла к нему в сельсоветскую квартиру, предварительно по-хозяйски заколотив окна и дверь своей с Васильем хаты.

Деревня ждала событий, а Василий как назло сразу зашел к сестре, там организовалась компания, в которой никто о случившемся не вспоминал. Только когда стало темнеть, Василий молча вышел из дома.

...Учитель неловко сидел посреди скамейки, Варвара с кутней стороны стола перебирала клубнику Его ждали. Василий, чуть хромя, пришел к столу и сказал спокойно:

— Ну, Варвара Семеновна, собирай свое барахло, домой пойдем, жить.

Как там что было, никто не видел и не слышал, только утром их избушка улыбалась деревне свежевывытыми окнами...

Федор Петрович ехал к сыну первый раз. Десять лет назад Геннадий сразу после службы в армии, забыв про дом, остался в Москве, на удивление всей деревне сдал экзамены и шесть лет учился — никто не знал, на кого. Он приезжал каждое лето, чуть свет уходил на дальние омуты, рыбы приносил полное ведро, с мужиками снисходительно пил бражку и доверительно говорил отцу о некоторых тонкостях своей работы, каким-то образом связанной с космонавтикой. Както предупредил отца между прочим, чтобы он не говорил никому его адреса, потому что многие деревенские стали ездить на юг и могут некстати забежать в гости...

Лежа на бессонной вагонной полке, думал и думал Федор Петрович над Васильевым наказом. Ни разу до этого не было разговора о его военном пути. Почему же там, под акацией, говорил он таким голосом, что за всей своей отрешенностью от разговора Федор Петрович услышал потом до тоски на сердце знакомое и больное, неосознанное и не дающее| заснуть здесь на верхней полке полупустого вагона?

Он задремал незаметно, натрудив память едва уловимыми воспоминаниями, и во сне слышал трубы, медный звон их — то торжественный, то траурно-грустный, как будто прощальный. Звуки

то исчезали, то появлялись с новой силой, сопровождаемые барабанными переборами...

Проснулся Федор Петрович поздно. Убаюкивающее покачивание вагона, сдержанный говор внизу уходили за пределы реально ощущаемого мира, Федор Петрович чувствовал себя над этим временем, думы растворялись, и ни одна не находила конечной цели. «Василий, Панфилович. Максим, Катя, — он перебирал в памяти тех, кто еще жив. «Генке не буду ничего говорить, сам съезжу». Поймал себя на мысли, что все-таки собрался просьбу Василия выполнить и осторожно удивился, что нелепость наказа отдалилась, что видел он сейчас какой-то большой смысл в просьбе Василия, смысл больший, чем сама просьба...

Геннадий встретил его у выхода из вагона, горячо обнял, давая носильщику знак забрать сумки. По перрону вел отца под руку, отчего Федор Петрович чувствовал себя неловко. Выпростал руку:

— Ведешь меня, как бабу.

— Так тебе удобней,

— Удобней! Не на цепочке, а привязан.

— Ну, батя, к тебе никак не приспособишься.

— А ты не приспособляйся. Приспособился, стало быть, приработался...

Вместе с носильщиком прошли к остановке такси, сын щедро рассчитался, а Федор Петрович подумал, что и сами, два мужике, могли донести две сумки, но ничего не сказал. От площади трех вокзалов отъехали уже солидно, когда Федор Петрович вдруг спросил:

— Генка, ты Василья Погорельцева помнишь?

Геннадий чуть замешкался, потом просиял:

— Который школу чуть не спалил?

Был, действительно, такой случай, когда Василий истопником в школе работал. Если бы из пекарни ночная смена не увидела, сгорела бы школа, и Погорельцев был бы тому виной как истопник. Отец не возразил: ругать старшего сына он отвык. Сказал только:

— Васька-то под началом у Рокоссовского воевал, две «Славы» у него да «Красная Звезда». Васька — герой.

Геннадий не обратил внимания на его слова. Федор Петрович возмутился:

— Я говорю: Васька-то герой.

— Ну, чего он тем сделал еще, герой ваш? — с улыбкой спросил Геннадий.

Отец оторопел.

В сознании его вновь зазвучали трубы, те трубы, что не давали ему спать ночью, примешивая к своему торжественно траурному звучанию неритмичную дробь барабанов. Неужели трубы эти – скорей всего свист ветра, а самые яркие сполохи их – гудки своего и встречных тепловозов, а барабаны – перестук колес на стыках?..

В оплаканное ненастной Москвой стекло он видел раскрытые книги домов Калининского проспекта. Машина, став частью потока, сделала его частицей этого большого города. Федор Петрович тронул шофера за плечо. Тот привычно повернул голову вполоборота;

– Сынок, – заверни-ка на Красную площадь.

– Зачем, батя? – насторожился Геннадий.

– Не мешай, – спокойно сказал Федор Петрович. Машина остановилась в тупике, шофер сказал, что дальше ехать нельзя и что он подождет при условии аванса. Федор Петрович положит на сиденье синенькую бумажку.

По площади шли молча. Взявшись за канатик, он смотрел на молоденьких часовых и молоденькие ели, Геннадий не мог уследить за его взглядом и потому не мог ничего понять. «Докладываю вам, товарищи командиры, которые в смене, и отдельно тебе, маршал Рокоссовский, что живы еще ваши солдаты Васька Погорельцев и Федька Бородин, кланяются вам и желают светлого места. На том извиняйте, посторонние тут».

Он чуть заметно поклонился и стер ладошкой туман с глаз.

Когда пошли обратно, Геннадий, чтобы завязать разговор с отцом, спросил:

– Василий-то, что, умер?

– Еще живой, – сказал Федор Петрович.

– Почему ты его вдруг вспомнил? – настаивал сын.

Отец молча шагал по крупной брусчатке, совсем не слыша сына, принимая из далекой памяти нечеткие звуки, помогающие настроить шаг.

– Батя! – окликнул Геннадий.

Музыка исчезла. Федор Петрович смутился, потоптался на месте.

– Что с тобой, отец? – Геннадий взял его за плечи, посмотрел в глаза. – Нельзя же так волноваться. Ну, понятно, Красная площадь, сердце страны, и так далее. Первый раз это всегда волнует.

Федор Петрович усмехнулся горько;

— Вот ты прав, Генка. Первый раз до холода вот тут, — он постучал по груди, — волнует, так волнует, что сам себя не помнишь.

Генка его не понимал.

— Оттого и плохо помню сейчас, как мы тогда с Васильем строевым шагом вот тута-ка шли. В сорок первом, седьмого ноября... Как трибуне откозыряли. Потом сразу на фронт. А вот музыка была тогда или, нет — убей, не помню. Вроде как была...

Генка теперь не мешал ему ни расспросами, ни разговором. В машине ехали тоже молча. Федор Петрович все больше приободрялся, чувствуя только ему понятную радость от того, что сумел выполнить наказ своего фронтового товарища Василия Погорельцева, и уже считал свою поездку в Москву законченной. Выложить огурцы, грузди и банки с вареньем, а также кусок вяленого мяса, завернутого в чистую тряпицу, — дело не сложное. Вопрос в том, разрешит ли Генка взять завтра на Красную площадь трехлетнего Дениску. Для Федора Петровича это очень важно, услышит ли Дениска трубы?

*1975*

## ПОТЕРЯ

Я потерял пьесу.

Поздно ночью, когда я, собственный корреспондент областной газеты по сельской зоне, прибыл в центр по вызову своей редакции, в гостинице, как всегда, не оказалось мест, и мне предложили номер, который в лучшие времена никто не брал: он не благоустроен. Я согласился, потому что выбора не было. В номере разложил вещи, такая привычка. В портфеле со мною были две папки — синяя, с перепечатками нескольких рассказов, которые хотел показать местным писателям, и зеленая с рукописью и всеми материалами, которые относились к пьесе. Было окончательное название — «Инициатива». Хотел еще раз поправить ее и переписать набело. Папки положил в разные места: синюю в стол, зеленую на подоконник, чтобы была на виду.

Утром договорился с администрацией и в обед перешел в другой номер, этажом выше. Сильно торопился, потому что редактор перед самым обедом назначил встречу на 15 часов, и времени уже не оставалось.

Редакционная круговерть взяла и меня в оборот. Лето, сотрудники в отпусках, а газета от того меньше не стала. В отделах насовали тем и писем, каждый считал своим делом приложить руку к активной стажировке собкора. Я ходил по кабинетам и никак не мог взять в толк, с кем соглашаться, а кого попросту послать как можно дальше. «Такова судьба собкора, — говорили мне. — Ты работаешь на все отделы, у тебя, старик, гигантские возможности в выборе тем».

Это я почувствовал еще в первые дни работы на месте. Зона моя не из выдающихся, обычные сельские районы. Считал, что буду работать в основном с сельхозотделом, но вдруг получил задания от строительного, партийного отделов, потом срочно потребовался материал по местной промышленности. Пока занимался этими делами, возмутились сельхозотделовцы. Я окончательно растерялся и вышел на редактора. Тогда-то он и пригласил меня на стажировку.

Сложив в портфель все письма, которые — с миру по нитке — собрали в отделах, промыкавшись в очередях на троллейбус и вытерпев



долгую езду на полусогнутых по самому оживленному, как здесь говорят, маршруту, я кое-как поднялся на пятый этаж гостиницах и бухнулся на кровать.

Из тихой, почти деревенской жизни, в толчею старого города, неожиданно переполненного новым содержанием и людей, и машин — я не выдержал.

Выросший в селе, никогда подолгу не бывал в городах. Пожалуй, впервые прожил месяц в Москве, когда поступал в Литинститут. Шесть лет подряд ездил туда по два раза на год, и первая неделя всякий раз практически выпадала из московской жизни — болел, или, как говорили мои новые городские друзья, адаптировался к цивилизации.

Сбитый с толку массой срочных поручений, а еще более переменной образа жизни, три вечера я и не помышлял взяться за зеленую папку. Правил письма в редакцию, составлял ответы авторам ненужных для газеты материалов, дорабатывал в соответствии с замечаниями завсельхозотделом свои корреспонденции, привезенные из районов.

В полночь, закончив все, что считал нужным сделать в этот вечер, я принял ванну и постоял под холодным душем. Душ и ванна — единственные принадлежности городской жизни были мне по душе. После купанья пил чай. Наверное, это из глубины веков — после бани у нас дома всегда был чай. Неожиданно для себя почувствовал желание работать, причем, не вообще работать, а писать свое. Еще со школьных лет научился улавливать в себе это удивительное состояние, когда какие-то до сих пор непонятные мне чувства наполняют душу и хочется писать. В молодости болел стихами, писал их много и, слава Богу, никому не показывал и никуда не посылал. Потом это прошло, наверное, потребность удовлетворилась, во всяком случае, заглушилась необходимостью районного газетчика писать каждый день.

Как-то, готовя материал из родного села о военно-патриотическом воспитании молодежи, я настолько увлекся описанием проводов парней в армию, что редактор, человек от поэзии далекий, совершенно практического мышления, сам пришел ко мне с оригиналом, который вычитывал:

— У тебя статья на серьезную идеологическую тему или запись деревенского обряда?

Я не знал, как отстоять, защитить все это, написанное именно в том радостном состоянии души, которое пришло снова, вернулось, когда, описывая провода, я вспомнил, как провожали меня. С высоты лет люди снисходительны к молодости, тем более своей, но тогда, еще

недалеко и ушедший, я с болью завидовал тому парнишке, стоящему на грузовике и на всю площадь перед памятником коммунарам клятвенно обещавшим служить честно и честь сибиряков не посрамить.

— Выкинь всю эту лирику, она для статьи не подойдет, — вынес приговор редактор. Пришлось соглашаться, хотя кусок этот на три странички с четвертью было очень жаль. Я переживал время безусловного подчинения силе должностного авторитета. Забракované странички заинтересовали работавшего у нас летуна, как теперь понимаю, неудавшегося писателя. Его повестью в рукописи про охотников и лесников мы восхищались хором, отрывки из нее редактор, сам большой любитель охоты, снисходительно печатал под абстрактным псевдонимом. Аркадий Лукич, как только стал штатным сотрудником, объявил о своей оппозиции редактору, спокойно и аргументировано выступал против него на летучках, чем вызывал наше удивление и восхищение. Однажды он так же спокойно и деловито сказал, что шеф вообще не способен редактировать газету.

— Сядьте на мое место, Аркадий Лукич! — гневно воскликнул шеф, прекрасно понимая, что тот никак не может стать редактором. — Умник! Да только ум-то дальше вашей головы не идет!

Шеф явно намекал на писательскую непризнанность и семейную неустроенность немолодого уже человека.

— К сожалению, у вас вообще нечему и некуда идти, — горько сказал Аркадий Лукич и хлопнул дверью.

Чувства редактора возобладали над чисто человеческими, и шеф простил дерзость молча, без объяснений. Писатель работал у нас еще какое-то время, потом незаметно исчез.

Но он успел крупно вмешаться в мою жизнь. Прочитав те три странички с четвертью, Аркадий Лукич удивленно на меня посмотрел, ловко пробежался по ним карандашом и унес на машинку. Через полчаса передо мной лежал мой рассказ «Проводины». А еще через два дня его напечатала наша газета. Никого не замечавший писатель стал относиться ко мне броско внимательно. Как-то после работы, когда мы были в кабинете одни, он, переживавший, кажется, очередную литературную неприятность, грустно сказал:

— Вся беда в том, старина, что здесь только двое людей пишущих — ты да я.

Теперь я понимаю, что это была сомнительная похвала, но тогда она меня обрадовала.

«Проводины» сослужили мне службу. Все чаще, отбросив рамки

газетного материала, я давал волю своим героям, и они, люди, которых я хорошо знал, оказавшись на литературной свободе, жили новой жизнью, вводили меня в такие потаенные уголки своих судеб и дум, что я терялся, не находил выхода, а они неотступно требовали действия. Тогда забрасывал рукопись, ехал в родную деревню, как будто по какому-то поводу организовывал небольшую компанию пожилых мужиков и женщин и весь вечер слушал их разговоры и песни. В те минуты я понимал себя самым счастливым из пишущих, потому что редко кто, судя по публикуемому, имеет такой свободный доступ в никем не охраняемую кладовую простого и бесценного русского слова. Встречи эти мне помогали, после каждой записывал с десятков редчайших, уже забытых слов, которые должны были обрести новую жизнь. Несколько историй, услышанных здесь, стали рассказами, и я не уверен, улучшились ли они оттого, что их записал. Оказалось, что они интересны не только мне, потому что с этими рассказами я был принят в Литинститут. Но два журнала, в которые обратился с дипломной работой, любезно в публикации отказали. Институт закончен, напоминаний не шлет, журналы не печатают. Пьеса «Инициатива» — единственное, что написал за три последних года.

...Итак, ощутив знакомое состояние и боясь его растерять, быстро убрал все со стола и сунулся в тумбочку. Зеленой папки там не было. Двинул ящик стола — пусто. Уже в предчувствии беды мигом перевернул комнату — все на месте, кроме зеленой папки.

Отчаяние охватило меня. Сел на кровать и осмотрел комнату. Сейчас мне кажется это безумием, но я еще раз проверил и тумбочку, и ящики стола, перетряхнул постель, заглянул в портфель, вывернул карманы плаща. Еще боясь признаться себе, что папки нет, я мучительно думал, куда, куда все-таки мог ее засунуть. И вдруг радость захлестнула меня: в том номере! Конечно, я оставил папку в том номере, в котором провел первую ночь.

— Как я сразу не догадался, — с веселым упреком думал я, наскоро одеваясь. Перед дверью номера пришел в себя: там же люди, наверное. Спят, времени-то около часа ночи. Но желание как можно скорее заполучить свою зеленую папку с дорогой мне рукописью пьесы заслонило все условности, и я осторожно, но настойчиво постучал в дверь.

— Веруня, ты? — сразу спросил из комнаты женский голос.

— Нет, это не Веруня, но очень прошу вас открыть.

— Одну хвылинку.— Женщина, наверное, одевалась. — Шо случилось? — Полная, энергичная, веселая, несмотря на поздний час, она стояла в дверях.

— Извините. — Волнение мешало говорить. — Я жил в этой комнате и на окне оставил зеленую папку.

— Не бачила я ниякой папки. Мы туточки тилько первую ночку. А Вера, дочка моя, убегла до подруги. Мы из Уренгою. Вот, цибули накупляли, який здоровый куль!

— Значит, никакой папки здесь не было?

— Не! Як бы була, так тут же и лежала бы. Чужая, так и хай ляжить, иде хозяин поклат.

— А вы посмотрите, может, прибрали куда?

— Та не же! Ну, побачьте сами.

Было неловко рыться в чужой комнате, но стол и тумбочку я все-таки безнадежно открыл.

— Может быть, дочка ваша...

— Та нет! Вера ж почти и не была тута. Как вещи сложили, так и в бега... И шибко важная тая папочка?

Что я мог ей ответить?!

— Очень важная. Для меня.

— Тогда горе, сынок. Ищи. Можа, кто до нас жил, той бачив.

— Извините. Спокойной ночи.

— Ничего, сынок. Не тужи.

Лежа в постели, перебирал возможные варианты. Следом за мной кого-то вселили в эту комнату. Человек увидел на окне зеленую папку, посмотрел. Около сотни листов, исписанных мелко, неразборчиво, местами изрядно почерканы. Особого почтения не вызывают. А папка хорошая. Новая, с удобными металлическими зажимами. Выход: бумаги выкинуть, папку положить в чемодан. А может быть, человек проявил интерес к написанному, решил на досуге прочитать и положил в чемодан папку вместе с бумагами? В любом случае надо найти того, кто поселился в номер после меня... Но это только утром, а сейчас два часа ночи.

А если... И опять маленькая надежда стала расти в уверенность. Конечно! Как я сразу об этом не догадался! После меня номер прибрали, горничная увидела на подоконнике папку, раскрыла ее — исписанная бумага. Значит, кому-то она нужна. Она сдала находку дежурной по этажу, и лежит теперь моя папочка где-то в шкафу вместе с тюбиками зубной пасты, мыльницами, носовыми плат-

ками и старыми журналами — да мало ли что еще оставляют клиенты в номерах!

Дежурная по четвертому этажу, которой я быстро обо всем рассказал, прониклась моим волнением, мы вместе обыскали все шкафы и другие места, куда складывают или могли положить находки горничные. Там было все, кроме моей папки.

— Горничные придут в восемь часов. Может, они вообще не здесь, не на нашем этаже, ее положили? — Видно было, что она сама в это плохо верит.

— А такое может быть?

— Ну почему не может...

— Вы не возражаете, если я здесь буду ждать?

— Конечно, ждите... Я не совсем поняла, это что, ваша пьеса?

— Да.

— Вы писатель?

— Как вам сказать? Пишу. Вообще-то я журналист.

— Все писатели когда-то были журналистами.

Я был благодарен этой доброй участливой женщине за слабые попытки хоть как-то утешить меня, но уверенности в удаче уже не было.

— А про что пьеса? — снова спросила она.

— Из сельской жизни.

— Не про любовь?

— Немного есть. Но больше о порядочности человеческой, о честном отношении к делу, которое поручено.

— А я про любовь люблю. Вы не удивляйтесь. Одинокая женщина, тоска по молодости, сентиментальность. На днях попала мне на глаза роман-газета, так, бросил кто-то из клиентов, и в ней большой рассказ, «Крик» называется. В нем такая любовь... чистая, такая и в книжках редко бывает, не то, что в жизни.

— Я помню эту повесть.

— А вы пишете про такую любовь?

Я замялся.

— Вот-вот, и сказать трудно. Люди богаче стали, а душа бедней. Я с семнадцати лет в гостинице работаю, уже нагляделась — всякого. Думаете, в те годы не гуляли в гостинице? Тоже гуляли, но как-то тихо, стыдливо. А теперь... В то дежурство подходит ко мне мужчина, четвертную сует, чтоб я женщину на ночь к нему в номер пустила. А сам даже обручальное кольцо снять не удосужился.

— И вы пустили?

Дежурная посмотрела мне в глаза:

— Пустила. Мне за четвертную неделю работать надо. А что изменится, если я буду против? Раз уж он в мыслях согрешил, так много ли осталось?

Пришли горничные. Я искренне пожалел, что прерывается такой интересный разговор, хотя ждал прихода этих женщин. Дежурная позвала:

— Дуся, иди сюда, тебя товарищ ждет.

— Чего надо? — Высокая, еще не старая женщина, темнолицая, с открытой улыбкой, смотрела на меня вызывающе смело. Признаться, я оробел.

— 421-й вы убираете?

— Я. А что?

— Дело в том... — Я тушевался. — Дело в том, что я в ночь на тринадцатое ночевал в этом номере...

— А я тут при чем?

— Не при чем, конечно. Но утром, вернее, в обед, я перешел в другой номер...

— Ну и что?

— Дуся! — вмешалась дежурная.

— Подождите. На подоконнике осталась зеленая папка. Вы ее не видели?

— Нет.

У меня сердце остановилось.

— На подоконнике. С левой стороны. Вы не могли ее не заметить. Она зеленая.

— Да хоть красная! Вы номер сдали? Сдали. Значит, что нужно — взяли с собой. Остальное я выбрасываю. И не смотрю.

— Не могли вы ее выбросить! Это очень красивая папка, толстая, в ней сотня листов бумаги...

— Чистой?

— Нет, исписанной.

— Ну вот. Еще кабы чистая... А если исписанная... Выбрасываем. Все, что остается бумажное. С меня, голуба моя, чистоту спрашивают. А что написано-то в ней?

— Пьеса. Это рукопись, единственный экземпляр...

— По мне хоть роман. Брошен, значит — в мешок.

— Дуся, но папка-то красивая, ты же видишь, что вещь, зачем же сразу в мешок, — вмешалась дежурная.

– Да мне что с нее, что она красивая? Я и смотреть не стану.

– Скажите, вы ее видели?

– Нет. И разговор кончен. Мне еще все крыло коридора мыть, так что некогда.

Ничего не оставалось, как идти к администратору выяснять, кто поселился в номере 421 после меня.

– Почему это вас интересует, кто жил в номере 13 августа? – Строгая администраторша внимательно на меня посмотрела.

Я не ожидал такой бдительности, но в нескольких словах объяснил, в чем дело.

– А почему вы оставили ее на подоконнике, если это такая важная папка?

Я уже пожалел, что начал разговор.

– Наверное, торопился... Вы мне помогите, может быть, тот человек увез ее, я с ним свяжусь.

– Эх, гражданин. Администрация гостиницы не несет ответственности за ценные вещи, не сданные в камеру хранения.

– Я не виню никого, кроме себя. Прошу вас, помогите, не все еще потеряно.

Администратор начала перебирать карточки.

– А это пьеса точно ваша? – вдруг спросила она.

При всей серьезности положения я едва не расхохотался.

– Конечно, моя. Это же рукопись.

– А документы на нее у вас есть?

– О чем вы говорите?

– О документе, – спокойно повторила она и отложила карточки.

– Если это ваша пьеса, должен быть документ. Авторское свидетельство! – Она обрадовалась, что так вовремя вспомнила.

Дело принимало серьезный оборот. Я пошел в лобовую атаку.

– Поймите, это пьеса, а не атомный реактор. Потом, ведь не о ней речь. Мне надо узнать, кто занял номер после меня, в обед 13 августа.

– А почему это я должна выдать вам этого человека? У вас с ним что, счеты? – В голосе администраторши появились угрожающие нотки. – Может, вы его в карты проиграли? Слышите, Мария Антоновна, подошел гражданин и требует, чтобы я назвала, кто жил в номере после него. К чему бы это? Я говорю, может он его того... – ее жест ладонью по горлу был очень выразителен.

– Прекратите эту комедию, что вы, в самом деле! – возмутился я.

– Ты на меня не ори! – По всему видно, администраторша под-

водила черту нашим переговорам. — Нажрался с утра. Ишь, глаза-то красные.

Подальше от греха, я отошел от окошечка администратора. Из-за перегородки ко мне направилась женщина, которую администратор назвала Марьей Антоновной.

— Вы на нее не обижайтесь, характер у нее тяжелый, да и ваш брат — клиент тоже всякий бывает. А если дело у вас серьезное, то лучше через милицию. Раз она уперлась, так просто ничего не добьетесь.

— А вы не смогли бы...

— Если бы сразу... Теперь нет, не допустит. Я всего лишь кассир.

— Значит, только милиция?

— Уверяю вас, так надежней. А отделение тут рядом, за углом.

...Дежурный лейтенант безо всякого интереса слушал мой рассказ о потере, зеленой папке и амбиции администратора.

— Чего же вы от меня хотите? — наконец спросил он.

— Я не знаю, но надо, чтобы администратор дала мне справку о том, кто жил.

— Понятно. Для чего?

— Я свяжусь с этим товарищем...

— Ну?

— Что — ну?

— А потом?

— Узнаю, может быть он взял эту папку.

— А если не взял?

— Буду искать дальше.

— Где?

— Послушайте, лейтенант...

— Товарищ лейтенант.

— Да, конечно, извините, товарищ лейтенант. Помогите мне узнать адрес этого человека.

— Фамилия?

— Я не знаю.

— Ваша фамилия!

— Господи! Зайцев. Зайцев моя фамилия.

— Так. Сержант Воронцов, запиши существо дела. У гражданина писателя Зайцева исчезла пьеса под условным названием «Инициатива» в гостинице «Колос» 13 августа сего года. Так, Зайцев... Что-то я среди писателей такой фамилии не знаю. Вы еще не очень известный писатель, не так ли?



— Вы угадали. Я совсем неизвестный.

— Естественно, гражданин Зайцев. Насколько я знаю литературу, во все времена и у всех народов ее творили великие люди. Одни имена чего стоят: Достоевский, Шекспир, Толстой, Стендаль. А вы — Зайцев. С такой фамилией, уважаемый гражданин Зайцев, вам в нашей литературе делать нечего. Давайте, мы придумаем приличный псевдоним, этакую литературную кличку.

Меня взорвало.

— Коль вы знаток и ценитель литературы, уважаемый гражданин лейтенант, — уважение было на грани ненависти, — то, конечно, знаете, что литературу делают люди, а она в благодарность создает им великие имена. Не будь Анри Бейля, и вы никогда не узнали бы имени Стендаля. Это истина. А по существу дела вы мне можете помочь?

Моя дерзость смутила интеллигентствующего лейтенанта.

— Ждите, я через пять минут буду.

— Куда это он? — спросил я сержанта.

— Советоваться. Сходит к замполиту, получит добро и вернется. А вы можете мне на один вопрос ответить?

— Хоть на десять. Я же в милиции.

— Нет, это по другой линии. Охота узнать, сколько платят писателям?

Самая неподходящая тема для разговора в моем состоянии, но я ответил:

— Есть государственные расценки.

— А все-таки! В рублях.

— Так мы ни до чего не договоримся.

— Ну вот за эту книжку сколько ему дали? — сержант показал роман известного писателя, которого я не терпел за умение писать то, что надо.

— Я бы дал ему лет пять для начала.

Сержант удивленно вытаращился.

— А издательство, судя по тиражу, заплатило тысяч пятнадцать, не меньше.

Сержант не поверил, это я сразу понял. Он взял книгу и стал ее листать как-то бережно и боязливо, будто те пятнадцать тысяч были разложены между листами.

— Да, брат ты мой, и за что платят! За то, что пишет! Да нынче все

грамотные и все могут писать. Так у государства и денег не хватит. Все пишут, а читать кто будет? Некому читать-то, вот смехота! Тут только на дежурстве и считаешь, если спокойно... А вы потеряли — это на сколько? В рублях.

Хотелось послать его далеко-далеко, но обострять отношения было не в моих интересах.

— Не много, — сказал я, чтобы не разжигать аппетит младшего комсостава,

— А все-таки! — сержант даже привстал.

— Тысяч на пять, — сходу соврал я.

— Почти «Жигули»! Стоит искать, ты, Зайцев, не попускайся. Если лейтенант ничего не решит, я сам с тобой пойду. Мы этого проходимца на краю земли съедем.

— Никакой он не проходимец, это единственная моя надежда. Я молился бы на него, если бы он увез папку и сохранил ее. Потому что в другом случае ее просто выбросили.

— Куда?

— Не знаю. В мусор.

— А мусор куда?

— Стоп! На свалку.

— А где свалка?

— Я понял. Черт! Где же лейтенант?

— Значит, так. Беги в гостиницу, стой рядом с администратором. Я все устрою. Это по первому варианту. А по второму надо набросать планчик. Беги, Зайцев, точно тебе говорю.

Я побежал. Еще не подошел к окошку, а уже увидел улыбку администратора.

— Давно бы так, товарищ Волков. Я ведь тоже при служебных обязанностях. Вот, позвонил генерал, просил вам помочь. Нашли мы вашего сменщика по номеру: Глазун Александр Иванович, инженер, город Челябинск. Тут я и адрес, и место работы списала. И телефончик служебный.

Я схватил бумажку как спасение.

— Фамилия генерала случайно не Воронцов?

— Воронцов!

— Молодец.

— Еще какой! Хоть генерал, а голос молодеватый.

С бумажкой я побежал в номер. На ходу вспомнил, что ждут в редакции, времени уже одиннадцать часов, а у меня перепечат-

ки, которые могут пойти в номер. Заказал Челябинск. Позвонил в редакцию.

— Никаких объяснений не принимаю, — выслушав меня, ответил заведующий сельхозотделом. — Пьесы ты можешь писать и терять в нерабочее время, а поскольку ты на стажировке, то будь добр стажируйся. Ты что, в самом деле потерял пьесу?

— Нет, я пошутил.

— Послушай, ну как можно! Я двадцать лет работаю в газете и ни разу не потерял ни одного черновика, не говоря уж про блокноты. Я все храню. Представь себе, у меня богатейший личный архив.

— Когда будешь великим, Толя, ты облегчишь работу своим биографам. Если дело не терпит, пришли курьера, я все выправил еще до встряски, сам приехать не могу, заказал Челябинск.

— При чем тут Челябинск?

— Долго объяснять. Есть надежда, что пьеса там.

— В Челябинске? Старик, ты спятил. Кто ее туда выслал?

— Толя, я все объясню, когда приеду. Ты пришлешь курьера?

— Нет, терпимо. В общем, приезжай, расскажешь подробнее. Ужасно интересно. Ну, чао!

— Чао! Подлец, хоть бы притворился!

Длинные гудки межгорода сорвали мою злость.

— Челябинск берете? Номер на проводе.

— Алло! Челябинск! — заорал я.

— Да. И говорите спокойно, потише, я вас хорошо слышу, — приятный женский голос.

— Здравствуйте, извините, пожалуйста, мне нужен Александр Иванович Глазун, инженер.

— У нас такой не служит.

— Как не служит?! — испугался я. — Он только что был в Тюмени в командировке и оставил в гостинице этот номер телефона как свой служебный.

— Все верно, но это я, Александра Ивановна Глазун.

— Простите меня, ради бога, Александра Ивановна, вы вслед за мной заняли номер 421, правда?

— Верно. Вы тоже жили в этой камере?

— Да, да, камера, а не номер.

— Нам с вами одинаково не повезло.

— Но я только ночевал.

— А я и ночевать не стала. К вечеру выбила другое место.

– Вы не видели на подоконнике зеленую папку?  
– Нет, а что случилось?  
– Это важная папка. В ней рукопись моей пьесы, единственный экземпляр.

– И она пропала?

– Если вы ее не взяли.

– Бог с вами, как можно! Почему вы так решили?

– Потому что это последняя надежда. Раз вы ее не взяли, значит ее выбросили в мусорный ящик.

– Но ведь там люди!

– Конечно, Александра Ивановна. Значит, вы мне ничего утешительного не скажете...

– Тысячи моих слов вас не утешат, я думаю. Папки я не видела, точно. От безделья я стояла у окна, довольно долго смотрела на город. Я впервые была в Тюмени. Нет, это абсолютно точно, если бы папка была на подоконнике, я бы ее непременно заметила. Вы мне верите?

– Да, конечно верю.

– Только вы не отчаивайтесь. Слышите? Вы, наверное, начинающий писатель?

– Долго начинающий.

– Вы только не отчаивайтесь. Вспомните историю: многие великие теряли свои рукописи. Сколько вам лет?

– Уже тридцать.

– Послушайте, мы с вами ровесники. Не скисайте, у вас голос упал. Вы меня слышите?

– Да, конечно.

– «Конечно!» Что за тон! Как ваша фамилия?

– Зайцев. Федор Зайцев.

– Отличная фамилия. Вы будете самым крупным зайцем в нашей литературе. Я в это верю. Не теряйтесь. Очень жаль, что ничем не могу помочь.

– Спасибо вам. Извините.

– Да бросьте вы! Телефон мой не теряйте. На премьеру не забудьте пригласить. До свидания.

– Всего вам доброго!

В Челябинске положили трубку. Какой приятный голос. Наверное, сильная женщина, уверенная, дерзкая. Ровесница...

В дверь постучали. Новая дежурная смотрела на меня виновными глазами.

– Ваша папка потерялась?

– Да.

– Дуся призналась, что вчера вынесла ее в мусорный ящик.

– Как! Вчера? Но ведь я ушел из номера еще три дня назад.

– Вот, Варя все знает, при ней это было.

Только сейчас увидел, что за ее спиной стоит другая, тоже немного испуганная женщина.

– В тот день, тринадцатого, мусора было мало, и горничные не стали выносить мешки. Дуся, Евдокия-то, принесла в дежурку зеленую папку и положила ее на шкаф. Я видела. Только я, конечно, внимания не обратила. Потом, ночью уже, делать нечего, я ее достала, а очков с собой не было, так и не прочитала ничего.

– Но вы ее держали в руках?

– Держала.

– Какая она? Что вам запомнилось?

– Зеленая, корочки плотные, и там такая защелка, железная.

– Стальная.

– Стальная. И много бумаги зажато.

– Чистой? (Господи, может не та!)

– Нет, исписанной. Но я не читала.

– А что вам бросилось в глаза, на первой странице, может быть, что-нибудь необычное?

– Черта во весь лист, слева, снизу доверху, вроде как поля в тетрадке у Ваньки моего.

Сердце мое заколотилось: она.

– А потом, потом!

– Сегодня на смену пришла, слышу разговоры про зеленую папку. И Дуся какая-то развеселая. Я ее спрашиваю: «Дуся, говорю, не ту ли папку ищут, что на шкафу лежит? А она отвечает: «Кабы лежала. Я ее вчера вынесла». «Зачем, говорю, вынесла, ведь такая сердечная папочка». «Ну и черт, говорит, с ней, вынесла, пусть не бросают».

Сомнений не оставалось. Помню, что мне стало плохо, я поблагодарил женщин и запер дверь. Только сейчас понял, как устал. Сил не было даже раздеться и прямо в костюме лег на кровать. Странные чувства охватили меня. Я вдруг всем сердцем ощутил, что потерял людей, которые жили и действовали в этой пьесе, которых придумал, сочинил из десятков знакомых мне ранее и которых поставил в труд-

ные обстоятельства. Неловкие, слабые поначалу, они потом обрели силу, мучились, страдали, возмущались и каждый, как умел, отстаивал свою позицию в отношении к инициативе, с которой было поручено выступить их совхозу, чтобы развернуть районное социалистическое соревнование за получение высокого урожая зерновых в очередном году пятилетки. Секретарь парткома Головачев, капитан Головач, фронтовик, кристальный человек, страдающий от своей честности; директор совхоза Абрамов, хозяйственник до последней косточки, ради интересов совхоза готовый пойти на любую авантюру и планирующий эту инициативу использовать как способ кое-что дополнительно выкроить для хозяйства; механизаторы Паша Лукин, Олежка Дребезгов; дорогой моему сердцу балагур и шутник Кузьма Романович, во всем сомневающийся старик, беспокойный и справедливый; и тетя Поля, уборщица совхозной конторы, которая открывала и закрывала пьесу своими простосердечными рассуждениями о суете мира и о дефиците человеческой доброты. Они год жили рядом со мной, мы спорили и находили решения, мы вместе смеялись шуткам Кузьмы Романовича и грустили, когда намекнулось, что молодой Кузьма был влюблен в Полюшку, а вот жизнь прожили хоть рядом, да врозь. Мы вместе искали честный путь к инициативе, и каждый на отношении к ней проверил себя на честность, на порядочность и на совесть.

Теперь я потерял их всех разом. Слезы душили меня. Никогда столько горя не было на моем сердце.

Тут, наверное, я немного уснул, потому что, услышав телефонный звонок, долго не мог очнуться. Схватил трубку.

— Зайцев? Генерал Воронцов. Ну, как дела?

— Плохо.

— Что, не дали адрес?

— Все есть, но ничего уже не надо. Горничная призналась, что папку она выбросила в мусорный ящик.

— Вопросов нет. Быстро спускайся вниз, я сейчас подъеду.

— Зачем?

— Я нашел ту контору, которая от вашей гостиницы мусор отвозит. Далее. Нашел водителя, который лично вывозил на мусорку твою пьесу. Тьфу, черт, то есть, я отделяю пьесу от мусора. Значит так, его номер 11-09. Едем в автобазу, ищем шофера.

— Зачем, сержант?

— Дай ты мне хоть часок побыть генералом. Спускайся!

Холодная вода кое-как освежила. Поймал себя на том, что боюсь надеяться. Это так больно — терять надежду. Уж лучше съездить просто, без всякого расчета. Думать о худшем, тем слаще будет лучшее. Нет, никаких рассуждений, еду просто так.

Милицейский УАЗик стоял у подъезда. Я сел. Воронцов тронул машину.

— Ты почему почернел, Зайцев? — уже без бравады спросил он.

— Не должно быть.

— Видок у тебя... Едем в базу.

Машина неслась по главной улице. Август — хорошая пора для города. Не очень жарко. Зелень омыта ночным дождем. Горожан он радует: нет пыли. В деревне эти дожди центнерами смывают урожай, исподволь готовят затяжную уборку. Их не любят. Вот и разберись, а ведь все — советские люди. Я, наверное, улыбнулся этому выводу, потому что Воронцов ухватился за возможность поговорить.

— Рано отбой играть, Зайцев, надо до конца бороться. А как иначе? Ты думаешь, я тебе из-за того помогаю, что дорого стоит пьеса? Ничего подобного. Парень ты путевый, понравился мне. А если мне человек понравился, я в лепешку расшибусь. И тем более — писатель. У нас, верно, все грамотные, надо еще, чтоб настоящие были писатели. Понял?

— Понял, Воронцов, спасибо тебе.

— Так-то. Приехали.

Это было какое-то спецавтохозяйство, занимающееся очисткой города. Столько «мусорных» машин вместе я никогда не видел. Сколько же сраму производит город, если нужно содержать такой парк, чтобы вывозить. Горы мусора... С трудом заставил себя отвлечься, потому что эти горы представились мне штабелями зеленых папок.

Сержант тем временем воевал в диспетчерской.

— Еще раз даю вводную: машина 11-09, гостиница «Колос», вчера, вторая половина дня. Вон сколько данных! Тебе же нужно сказать, где водитель.

— Господи, запутал совсем, — молоденькая диспетчерша кое-как пришла в себя. — Да вон он, у гаража, только что заехал.

Я тоже увидел эту машину и почти побежал к шоферу.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Вчера гостиницу «Колос» вы обслуживали?

— Вчера? Да, я. Что-нибудь не так?

- Нет-нет! В ящике вы не заметили зеленую папку?
- В мусоре? — уточнил водитель.
- Да, в мусоре.
- Вы знаете, я столько контейнеров перевозжу, в каждом рыться не будешь.
- Конечно, но может случайно...
- Нет, честно говорю, не видел. Что-то важное потеряли, документы или как?
- Очень важное. Пьеса там была у меня.
- Ишь ты! — испугался водитель. — Вот ведь как, знатьё-то — не грех бы и посмотреть.
- А там, где вы сваливаете, мусор... там...
- Ой-ой-ей, не знаю, что и сказать. Вы вот что. Вы с милицией? Давайте-ка, я с вами. Вот ведь беда-то!
- Шофер, мужчина уже немолодой, с солидной сединой, так искренно расстроился, что мне пришлось его успокаивать.
- В прошлом году был случай, с одного магазина связку документов вывезли. Хватились, а им всем тюрьма улыбается без этих бумаг. Три дня — отпуск без содержания, и мусор рыть. Своими глазами видел, как они связку эту целовали. Тьфу!
- Место для свалки выбрано удачно. И от города недалеко, и в низком месте. Огромное поле, покрытое курганами. Через него — дорога.
- Мусор у нас закапывают. В траншеи трамбуют и курган сверху. Так воздух чище, — поясняет водитель. — Вот сюда правь, к трактору.
- Чумазый тракторист, человек в больших годах, копался в моторе, увидев прибывших, а более того — милиционера, он нехотя спустился с гусеницы. Суть дела ему изложил наш новый знакомый.
- Искать поздно, — вынес приговор тракторист. — Поздно, это я вам говорю. Сегодня полста машин работают, сделали по три рейса. И все в одну траншею. Даже если бы не трамбовал, и то вряд ли... А я, как назло, утюжу с самого утра. Так что бесполезно.
- Я принял это как должное, потому что иного не ждал. Отошел в сторону, закурил. Я прощался со своими героями, которых, кроме меня, не знал никто.
- Здорово переживает парень. Он кто? — спросил тракторист.
- Писатель, — ответил ассенизатор.
- Хороший?
- Плохой не стал бы убиваться.



– А ты, сержант, знаешь его?

– Конечно, – ответил мой генерал. Кто-то тронул меня за плечо. Обернулся — тракторист. Улыбается.

– Не тужи, браток. Перетерпи. В жизни еще всякое будет. Это я тебе говорю.

Что я мог ему ответить, несостоявшемуся моему зрителю и читателю?

– А раз душа у тебя болит —ты пиши.

Отзывчиво на доброту сердце русского человека. Никогда не забуду горькие поминки на городской свалке, и всех тех людей, которые помогли мне поверить в себя и снова взять чистый лист бумаги, чтобы рассказать, как потерял и как искал пьесу «Инициатива», и как потеря эта обернулась для меня удивительными находками.

*1975*

**НЕ ЖИВУТ В КРЕМЛЕ ЛАСТОЧКИ**  
*Документально-художественное повествование  
о бывшем Первом заместителе Председателя  
Совета Министров СССР Владилене Никитине*

*Гнездо ласточки разорять грех.*  
В.И.Даль.

**1.**

Никитин выходил из дома рано утром и пешком шел в Кремль. Никто и ничто не мешает, можно спокойно пройти по тихой еще Москве, подышать утренней прохладой. Кивнув на приветствие офицера охраны, прошел в Кремль и направился вдоль неестественно чистой древней стены. Ему нравилось это место, здесь много зелени и тишины, здесь легко думается и дышится. Какие-то новые, неожиданные звуки услышал он, и они радостной волной отозвались в груди: ласточки. Не бывший сентиментальным, Никитин любил этих птиц и относился к ним трепетно и немножко суеверно.

С ласточками связана память об отце, он погиб под Ленинградом в 1942 году. Соседская бабушка Анна внушала босоногому мальчишке: «Видишь, птички прилетели, глину в клювиках принесли, гнездышко себе и птенчикам своим лепят. Это ласточки. Их нельзя зорить. Воробышков тоже нельзя, но ласточек больше того. А то беда придет». «Я не буду зорить ласточек», - сказал мальчик. В это время во двор вбежала плачущая мама и, прижав к груди мальчика, почему-то назвала его незнакомым словом сирота. Когда мальчику объяснили, что папа никогда не вернется, что это большое горе, он пошел к бабушке Анне и строго спросил: «Бабушка Анна, к нам зашла беда. Почему, бабушка Анна, ведь я не зорил ласточкино гнездышко?» Старушка молча погладила мальчика по голове и поцеловала в маковку.

Много лет спустя Никитин был назначен начальником районного управления сельского хозяйства. В райцентре ему отвели домик предшественника, и сразу после посевной он решил обновить надворные постройки. Начал было разбирать сарай и остановился: на

перекладине под листом шиферной кровли в глиняной вазочке гнездышка лежали четыре белых в пятнышках яичка. Бедная птичка вилась и щебетала над головой жалобно и грозно, в стремительной атаке почти касаясь его крылами. Никитин позвал сыновей, показал им гнездо и почти словами бабушки Анны предупредил, почему его нельзя трогать. К великому недоумению соседей, ремонт приостановили, пока птенцы не вылетели из гнезда.

Никитин прошел по ухоженному газону и с изумлением увидел под зубчатым выступом стены маленькую новостройку, птички уже хорошо поработали, почти соорудив глиняную полусферу. Редкое шемящее чувство появилось в сердце.

Каждое утро он подходил к тому месту, откуда видно было гнездо, стоял несколько минут, испытывая странное смешение грусти и радости. Никто не видел его в это время, иначе поизощрялись бы кремлевские острословы, комментируя неожиданное поведение жесткого и своенравного Первого заместителя Председателя Правительства СССР.

## 2.

Он вырос без отца и рано ушел от мамы в самостоятельную жизнь. Об отце знал, что погиб в Великую Отечественную войну. Иногда Владимиру казалось, что он помнит его лицо. Он напрягал свою нереальную память-зарничку и, кажется, видел отца, но потом с горечью осознал, что это поздняя память, и образ вторичный — с фотографии в мамином альбоме.

Отец Валентин Степанович Никитин родился в 1915 году, тоже рано остался без отца, погибшего в Первую мировую за царя и отечество, окончил железнодорожное училище и дослужился до диспетчера станции Омск. Увлеченный, как и вся довоенная молодежь, авиацией, он учился в летной школе, но в 37-м был обвинен в троцкизме и арестован. Сидел в Комсомольске-на-Амуре, обвинений не признал и ничего не подписал. Освободили. В начале Великой Отечественной призвали, но в авиацию не пустили, навверное, помешало «троцкистское» прошлое. Служил в разведке, из очередного задания не вернулся...

Все это Никитин узнал, будучи взрослым и самостоятельным человеком. Мама Анфиса Алексеевна в юности работала в комсомоле, была руководителем учреждений культуры в Заводоуковске, директором Ишимского кинотеатра имени 30-летия ВЛКСМ, в одной из

комнат которого они и жили, получила почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

В послевоенные годы они с мамой жили в Тюмени, в районе, который назывался «сарай». Зимой учеба в школе, летом не только ребята забавы, но и заботы об огороде, о пропитании.

По весне, когда кончались все запасы, ребяташки ходили на большие загородные огороды и собирали прошлогоднюю мороженую картошку. Дома ее сочили на терке, в кашницу добавляли муки и пекли оладьи. За всякими столами потом сиживал Никитин, и яства разных народов доводилось пробовать, но те тепленькие оладышки всегда помнил и благодарил свой народ за изобретательность и выдумку.

Полноводная Тура несла тысячи кубометров леса для Тюменского дерево-обрабатывающего комбината. Он шел в плотях, надежно увязанных и скрепленных. К досаде плотогонов, крепеж часто не выдерживал нагрузок, и бревна уходили в свободное плавание.

Под стенами Свято-Троицкого монастыря трое пацанов нетерпеливо дожидались, пока солнышко поднимется повыше и чуть-чуть потеплеет.

— Володька, сегодня твоя очередь воду греть, — напомнил рассудительный Гриша. — Федька вчера первым лез.

Федька хоть и калмык, и имя ему другое, но это русское ему нравится, и он охотно на него окликается.

Володька потрогал воду босой ногой — холодно. Но плыть надо, вон опять на волнах покачивается длинное сосновое бревно. Он сделал три шага назад, резко оттолкнулся и нырком ушел в воду. Крича и отфыркиваясь, он подплыл к бревну, обнял его левой рукой, и правой сильно, чтобы преодолеть течение, стал грести к берегу. Его относило, но вот уже Федька подплыл ко второму концу и помогал толкать. Гриша дежурил на берегу, чтобы кто из местных «монастырских» ребяташек не стащил одежду и инструмент.

Бревно выволокли с трудом, прокатив по заросшему травой берегу. Надернув штаны и рубахи, начали большой и острой пилой (Федькин отец дядя Ислам наточил) отрезать короткие чурбаны, чтобы можно было в руках вынести на высокий берег, а там тележкой дотащить до дома. Третье лето вот так они заготовливают дрова для обогрева своих неказистых домишек.

На прошлой неделе, когда они, каждый с тяжелой чуркой в руках поднялись в гору, их опять, как и минувшим летом неоднократно,

поджидал незнакомый милиционер. Перепуганный Федька бросил свою чурку и спрятался за Володьку, а полено, подпрыгивая и переворачиваясь, легко устремилось к воде.

— Это что за безобразие? — строго спросил милиционер. — Все трое за мной в отделение.

— Не надо нас забирать, мы ничего не украли, — упрямо сказал Володька.

— А дрова? Вы же воруете государственный лес.

— Это он в плотях государственный, а когда отвяжется — он уже топляк. Вот мы и ловим, что еще не утонуло. Все равно ведь пропадет,— резонно заметил Гришка.

— А вдруг вы от плота отвязали? — не сдавался милиционер.

— Что вы, дяденька, на плотях охрана, а наши бревна вон плывут.

Милиционер снял фуражку и подошел к обрыву, на воде покачивались несколько полузатонувших бревен.

— Давайте так, — подобрел он. — Я у начальства уточню. Если что — дрова придется забрать, а если что — тогда таскайте. Завтра чтобы на этом месте были!

Вторую неделю не идет, наверное, начальство ничего не имеет против того, что в домах нескольких мальчишек из «сараяв» будет тепло от дров, которые они заготовят сами, сохранив столь дорогие деньги на хлеб и одежду.

Поздним осенним вечером в домик, где квартировали Никитины, пришел дядюшка Ислам. Как и многие взрослые калмыки, сосланные в Тюмень во время войны, он плохо говорил по-русски, но Володя понял, что маму арестовали.

— Ты будешь жить у нас, — дернул его за рукав Федька. — Собирай штаны и книжки.

Дядюшка Ислам вместе с другими калмыками работал на деревообрабатывающем комбинате «Красный Октябрь». Володя учился вместе с Федькой и жил в их доме. Придя из школы, они бежали на большую обкомовскую улицу, которую пленные немцы мостили булыжником. Володя первый раз пошел туда, подобрав камень-окатыш, чтобы бросить его в фашистов, за то, что они убили его отца. Ненавистные немцы оказались худыми и беспомощными мужиками, работающими под охраной красноармейцев с винтовками. Володя незаметно отбросил в сторону приготовленный камень.

Ненависть к фашистам за горе и слезы и жалость к этим пленным смешались в нем. Вместе с Федькой они побежали домой, отрезали

по куску хлеба, добавили несколько вареных картофелин, завернули в газету. Немцы сидели на камнях небольшими группами и тихо разговаривали. Володя показал им сверток, один из них встал, красноармеец понимающе отвернулся, и ребята бросили им еду. Навсегда запомнил Володя благодарный взгляд чужого человека.

Когда взрослые приходили с работы, Федькина мама варила большой чугунок картошки, вываливала ее на стол и все ели, прикусывая солеными огурцами. На столе в стакане горели несколько лучинок, которые мальчишки обязаны были нащепать из сухого полена дров. Тут же под свет лучины доделывали уроки.

Никитин, конечно, не мог знать, что судьба еще раз сведет его с калмыками, и он по крупицам будет вспоминать эпизоды своего немножко калмыцкого детства.

После долгого разбирательства Анфису Алексеевну Никитину освободили, но жить ей предписали по месту ссылки, в северном поселке Ларьяк. Летом 1948 года она приехала за сыном. Предстоял долгий, больше месяца, путь на пароходе.

Колесный пароход шел медленно, когда кончались дрова для паровой машины, команда и пассажиры высаживались на берег и пилили лес. Нижневартовск, несколько десятков домиков и рыбацкие избушки на берегу. До Ларьяка еще 500 километров пути...

Летом по Большой воде в поселок завозили продукты на весь год, этот день был праздником. В следующем году в Ларьяке высадилась первая партия геологов с тракторами и автомобилями. Коренные жители и сосланные «кулаки», никогда не видевшие подобного чуда, позакрывали окна и не выходили из домов.

Первыми осмелели ребяташки. Начальник экспедиции организовал катание людей на машинах...

Через три десятилетия этот район дал миллиарды тонн нефти, поддерживая тогда и сегодня экономику страны. Нижневартовск стал столицей этого края, город с населением более 300 тысяч человек, а лету до него из Тюмени — полтора часа...

### 3.

Офицер военкомата внимательно посмотрел на юношу и строго спросил:

- Аттестат получил?
- Да, — ответил юноша.
- Надо отвечать: «Так точно!».

— Так точно, получил, товарищ майор!

— Во, молодец! Поедешь поступать в военно-морское училище. Сегодня получишь направление на медицинскую комиссию. Сдашь экзамены, и через четыре года морской офицер. Все девушки — твои.

Израненный на войне и направленный в комиссариат на легкий участок службы, майор с восхищением смотрел на крепкого рослого парня. Он выбрал его из десятков достойных ребят, вручив единственное направление в училище. Но Владимир Никитин не прошел строгую медицинскую комиссию, обнаружившую повышенное давление. Повторное обследование подтвердило незначительный перебор, и ему отказали в направлении.

Владимир поехал в Новосибирске и поступил в институт инженеров водного транспорта — пусть не военный, но все же флот. Выпускники школ середины пятидесятых мечтали о флоте, об армии, пропаганда страны-победительницы звала молодых людей в ряды ее защитников, комсомол шефствовал над Вооруженными Силами, человек в погонах был любимым героем книг и фильмов, и даже прибывший на побывку солдат становился центром внимания молодежи.

Проучившись два года в водном институте, Владимир, подхваченный волной целинной эйфории, поехал в новосибирскую деревню на освоение новых земель. Целина в его жизненном варианте — это прозаическая работа. Строили фермы. Из столбов и жердей загоны городили для скота. Обошел тысячи деревенских домов, в которых их бригада монтеров зажгла электрические лампочки. Месяц работал прицепчиком на тракторном плуге, и в ночную смену, чтобы сонным не свалиться под лемеха, бросал на металлическое сиденье крупные гайки — для обеспечения бдительности...

Были и свободные вечера, танцы под баян в сельском клубе. Тогда он вряд ли понимал, что это сказывается родство с атмосферой естественной простоты отношений, доверчивости и доброжелательства, зов крови нескольких поколений предков, живших сначала в Центральной России, а потом в Тобольской губернии, пахавших землю, растривших хлеб и домашний скот.

До середины 17 века дошел Никитин в поиске своих корней, огромную работу провели ученые и исследователи, восстанавливая его родословную. Он попросил с учетом всех известных сведений сделать герб рода, и ему предложили варианты, один из которых он принял, попросив завершить композицию хлебом и солью. Специалисты геральдических наук не знали такого прецедента, но согласились,

и Русская Геральдическая Комиссия внесла в свой Геральдический Матрикул этот герб, выдав владельцу соответствующую Грамоту.

Не колос, промежуточный итог трудов земледельца, а хлеб в его натуральном виде, с солонкой, обещающей гостеприимство, должен быть символом крестьянина.

Когда он получил выполненный в рисунке мощный ствол своей родословной, после бурного и эмоционального семейного обсуждения долго в одиночестве сидел над застекленной рамкой, испытывая душевное волнение, какого не знал никогда. Словно корни мощных стволов четырех фамилий — Никитиных, Коротаяевых, Ведерниковых и Ефремовых, вынесшие его на своих ветвях из петровских и екатерининских глубин, питают его и сейчас. Его, рожденного в 1936-ом, названного по желанию бабушки сложносоставным именем Владимирен и бывшего до обращения к паспорту и удостоверениям просто Владимиром.

Хлебнув целины и почувствовав себя принадлежащим к крестьянскому роду, Никитин выбрал для учебы Омский сельскохозяйственный институт, инженерный факультет. Отсюда, из Омска, ему не очень далеко до Заводоуковска, куда на каникулы приезжала к родителям из Москвы одноклассница Лора, Элеонора Старых, студентка технологического института. Хотя, если пришлось бы, он добрался бы сюда через всю страну.

— У тебя хоть на билет-то деньги есть? — спрашивали товарищи по комнате в общежитии.

— Откуда?! — Владимир махнул рукой. — Доберусь!

И он бежал не на вокзал, куда идут пассажиры, а на товарную станцию, потому что знал: пойдут на запад составы. На угле, если его разгрести у борта вагона, можно спокойно спать до самого Заводоуковска, а то и с сопровождающим на площадке последнего вагона коротать время.

Поздно вечером в свете неярких станционных фонарей он спустился с вагона и побежал к своему однокласснику и другу Коле Кабанову, будить не стал, забрался в сено и уснул, опьяненный особенно приятными после угля запахами высохшего разнотравья.

Утром Колина мама вышла доить корову, увидела грязные, в угольной пыли ноги, торчащие из сена, и разбудила сына:

— Вставай, отмывай друга.

Коля пощекотал пятку гостя, и когда тот выполз, стряхивая с себя сено, крикнул:



– Мама, это Володька! Здравствуй, черт чумазый!

По окончании института Элеонора Старых распределилась в Восточную Сибирь, но что-то вмешалось, подправило ее путь и привело в Омск. Владилен еще учился, но они поженились, чтобы уже никогда не расставаться.

Сын Саша на шестидесятилетия отца рассказал им анекдот из американской жизни. Президент с супругой подъехали к заправочной станции, и она сказала мужу, что хозяин заправки ухаживал за ней в колледже. Президент засмеялся: «Вышла бы за него, была бы сейчас королевой бензоколонки». «Нет»,- ответила жена. — «Это он был бы президентом Соединенных Штатов». К удивлению Саши, папа не засмеялся, он наклонился к маме и поцеловал ее в щеку. Саша с восторгом обнял их обоих и сказал, что он их очень любит

#### 4.

Вспоминая это время, Никитин признавал, что уход из благополучного и многообещающего института инженеров водного транспорта и поступление в Омский сельскохозяйственный институт — не просто результат случайного стечения обстоятельств: шел мимо, увидел вывеску и подал заявление. Все было гораздо сложнее...

Работая на целине в бригаде монтеров линий электропередач, он заходил в дома сибирских крестьян, видел, как скудно по сравнению с горожанами они живут, и это возмущало его. Почему?

Став министром, он ходил на обед в столовую для сотрудников, отказавшись от номенклатурного кабинета. Стоя в общей очереди, слышал разговоры чиновников и ходоков с мест, сам участвовал в незатейливых обменах мнениями. Он не пользовался персональным министерским лифтом. Все это вызывало недоумение окружающих, казалось странным. Действительно, до хорошо отрежиссированных публичных поездок в трамвайчике и заснятых десятками камер посещений участковой поликлиники оставались еще многие годы. А для Никитина все это было естественным, и только потом он понял, почему: он крестьянин по происхождению, по плоти, даже если судьба поднимала его на высокие посты в области, в республике, в государстве.

С дипломом сельского инженера-механика Никитин в 1961 году приехал в Тюмень и получил направление в опытно-производственное хозяйство местного сельхозинститута. Потом год работал инженером Ишимского межрайонного управления сельского хозяйства, отказавшись от преподавательской должности в техникуме, куда и

был направлен из области. Уловку простили, потому что не куда-то сбежал, а ближе к производству.

Шестидесятые годы прошлого столетия были временем частых реорганизаций системы руководства сельскохозяйственным производством. После ликвидации межрайонных сельхозуправлений как не оправдавших себя, Никитин получил новое назначение и поехал в соседний Казанский район главным инженером теперь уже районного управления.

Весна 1963 года. Молодой специалист в колхозах и совхозах помогал в организации технического обслуживания, эксплуатационного ремонта тракторов и почвообрабатывающей техники, организовывал завоз запчастей, топлива и смазочных материалов. Он с виду недоступен и хмур, но, когда надо, сбрасывал плащ и вместе с механизаторами находил и устранял неисправности. За таким занятием и застал его первый секретарь Тюменского обкома партии Борис Евдокимович Щербина, он вместе с районными руководителями подъехал к агрегату незаметно, спросил о причине остановки.

— Агроном остановил, — охотно пояснил тракторист, стараясь перекричать грохот старенькой дэтушки. — Говорит, норма высева занижена, поехал другие агрегаты смотреть.

— А там кто — в мазуте и белой рубашке?

— Никитин, главный инженер управления, — ответил секретарь райкома Федор Яковлевич Стрекалев.

— Ну-ну, похвально, очень даже похвально, — заметил Щербина и, кивнув механизаторам, сел в машину.

Прошел почти год, началась большая подготовка к разукрупнению районов, как и должно быть, началось движение руководящих кадров, опытные хозяйственники уходили на районный уровень, толковые специалисты становились руководителями. В соседний район поехал начальником сельхозуправления директор Усовского совхоза Сладковского района Николай Алексеевич Чернухин, его место осталось вакантным. Щербина в телефонном разговоре со Стрекалевым попросил предложить кандидатуру.

— Борис Евдокимович, нет у меня готовых директоров.

— А тот парень, что в прошлую посевную под сеялкой лежал, — он где?

— Работает, Борис Евдокимович.

— Вот его и направь.

— Так он даже не член партии...

— Я думаю, это не самая большая проблема.

Стрекалев знал, что Никитин поступил в аспирантуру родного института, но выбор ему предложил. Никитин сказал, что аспирантуру придется отложить до лучших времен. Как оказалось, лучшие времена в этом смысле не наступили. Уже в министерском кабинете ему аккуратно намекнули, что есть возможность («при вашем-то опыте») получить достойную ученую степень, но он не дал повода для продолжения разговора, и к этой теме больше не возвращались.

Дорога из Казанки в Усово в апреле непроходима и непроезжа, если только ты не спешишь к новому назначению. Никитин спешил, потому, преодолевая знаменитые афонские липуны, снимая газик, зависший в колее, копая кубометры грунта и выстилая опасные места срубленными тут же молодыми осинками, он подбирался к Усово, самому южному селу Тюменской области, в котором за год работы инженером управления был только раз и почти ничего не помнил.

Усовский совхоз — хозяйство крупное, пять деревень, пять отделений, и производство солидное. Никитин понимал, что только инженерных знаний мало, чтобы быть хорошим руководителем, значит, надо учиться у людей, у тех, кто знает больше. Он никогда не считал себя карьеристом, но самолюбивым был, и относил самолюбие к положительным качествам человека. Более того, считал его двигателем общественного прогресса, потому что на большое, серьезное и чаще всего рискованное дело способен только самолюбивый человек. Сколько видел он в своей жизни людей, лишенных этого чувства, они были аморфны, безынициативны и ненадежны.

Бухгалтер Серебряников, инженер Кожевников, агроном Солоненко, зоотехник Константинов составляли команду директора. Они учили его и учились сами, обсуждая и споря до хрипоты над экономическими анализами и расчетами, над мероприятиями по снижению затрат в земледелии и животноводстве. Они учили людей, рядовых механизаторов и животноводов, потому что только через знание новых технологий и эффективную организацию труда лежит путь к высоким производственным результатам. Они персонально отвечали за обучение кадров по своим специальностям, и спрос был строгий.

Сибирский писатель Иван Ермаков опубликовал в это время очерк о сладковских животноводах и назвал его удивительно просто и поэтично «Петушиныные зорьки». О должности совхозного управляющего отделением он сказал, что это руководитель среднего звена в том

смысле, что находится посередине, в аккурат между административным молотом и производственной наковальной. И каждый день его «бьют, гнут, жмут, плющат, наждачат, закаливают в огне и воде, испытывают на разрыв, на износ, на гипертонию, неврастению и инстинкт самосохранения»

Когда Никитин прочитал эти строки, вспомнил своих управляющих: Покровка – Лемзин, Пелевино – Марчук, Усово – Коваленко, Васильевка – Ермохин, Большой Куртал – Ярков. Он их принял такими, какими они были, не заменил, но «гнул и мял», к себе приспособивал, сам к ним приноравливался. Очень демократический порядок управления, когда все решения обсуждаются с руководителями подразделений и специалистами и принимаются сообща.

Совхоз – первая самостоятельная работа, первое ощущение ответственности хозяина и не только перед государством, но и перед каждым тружеником, которых около полутысячи. Самым суровым наказанием Никитин считал крепкий мужской разговор, в котором не особо выбирают выражения. Приказы писал только тогда, когда того требовал порядок, инструкция.

Он очень полюбил осеннюю пору уборки урожая. За несколько дней, отведенных природой, надо подвести черту под годом работы огромного коллектива, а возможности людей природа тоже ограничила. Потому руководитель должен создать такие условия, в которых комбайнер, шофер, тракторист мог сытно поесть после многочасовой грязной, шумной и монотонной работы, помыться и уснуть хотя бы три-четыре часа в сутки. Все в деревне живет по законам уборки, своего рода необъявленное чрезвычайное положение: магазины работают только ранним утром и вечером, кинофильмы в клубе крутят только в непогоду, когда уборка затихает, отменяются свадьбы и гостевания. Разработана такая система оплаты труда, которая стимулирует высокую производительность при хорошем качестве и позволяет квалифицированному механизатору заработать за сезон на мотоцикл «урал».

## 5.

Первая весенняя посевная молодого директора была радостной и трудной. Не все получалось, как хотелось, но люди работали дружно, подгонять никого не надо, погода не очень баловала, но, как говорили механизаторы, не мешала. Посевные агрегаты оборудовали хорошим освещением, и наиболее опытные ребята работали

сутками, поспав перед рассветом в полевом вагончике или прямо в тракторной кабине.

Никитин осмотрел весь фронт полевых работ, и уже к вечеру выехал на готовое к севу поле, накануне подбороненную пашню неожиданно хорошо обдуло. Здесь встретились с управляющим Лемзиным, который на лошадке изучал обстановку.

— Когда сюда сеялки переходят? — спросил директор.

— У меня расчет, что завтра к вечеру. Не знамо это поле подошло...

— Решай, командир, земля готова.

— Решалось бы... Два сцепа сейчас на парах заканчивают, план другой был, но придется переиграть, сюда их приведу.

— Давай, я ждать буду.

Управляющий побежал к своей кошевке, запряженной лихой серой кобылкой и попылил по лесной дороге. Никитин проехал на газике метров сто вглубь поля, еще раз убедился: держит пашня. Теплое солнце нагрело нутро машины, он открыл дверцу, положил на руль большие руки, уткнулся в них лицом и заснул. Наверное, все сказало-сь понемногу: и многодневная усталость, и пленительная тишина лесного поля, и предчувствие того, что все идет как надо, отсеется.

Лемзин приехал вперед агрегатов, примотнул вожжи к кошевке, чтоб лошадь не запуталась, подошел к машине и увидел могучую фигуру директора, согбенную над крохотным рулем.

— Начинайте, ребята, с того края, пусть он поспит.

— А чего это он? — веснучатый парень с любопытством кивнул в сторону машины.

— Кышь, рыжий! — шумнул на него тракторист. — Ты лучше за маркером следи, скоро совсем темно станет.

Часа через полтора агрегаты подошли к машине вплотную, тракторист осторожно, с запасом объехал ее сначала с одной, потом с другой стороны, объеял место стоянки директорского газика.

Недели через три совхозная комиссия по обследованию всходов заехала и на это поле.

— Помните, Владилен Валентинович, как тут сеяли? — спросил Лемзин.

Никитин улыбнулся, прошел по молодой зелени и увидел клин черной земли со следами его машины. Лемзин понимающе кивнул. Никогда больше не слышал он каких-либо разговоров об этом случае, видно, люди понимали, что при такой работе всем нелегко — и рядовым, и командирам.

## 6.

С первыми морозцами деревня по утрам оглашалась поросячьим визгом: били свиней. Простое вроде занятие превращалось в целый ритуал. Огромные куски мяса, отливающего матовой белизной много раз прошпаренной и прочищенной шкуры, вывешивали под сараем на свежем морозце. Хозяйка, уже успевшая осолить длинные и толстые ремни теплого сала, ставила на чисто выскобленный стол огромную сковороду шкварчащей свежатины. Мужики, вымыв руки и обсуждая, сколь хорошо мясо и сколь велик запас, садились и выпивали по стаканчику водки.

Никитин поражался так и не истребленной, живучей общинности деревенского бытия. Задумавший строить новый дом выписывал дяляну, брал в совхозе трактор и с соседом, кумом, сватом за выходной тросами волоком натаскивали березовых бревен, в другой выходной ладили сруб в несколько клетей по три-четыре ряда, чтобы сподручней. К весне дом стоял на толстых комлевых чурках под углами, отдавая свежей зеленыю неэкономных, щедрых прослоек мха в пазах между бревнами. Такие воскресники назывались «помочами», денег за работу никто не брал, да и не принято было, зато за столами сживали, и это объединяло, так же, как и работа.

Леня Иванов, шофер, зашел в кабинет подписать накладную на кубометр соснового теса.

— Что строить собрался? — спросил директор.

— Ворота, — односложно ответил Леня.

— У тебя хорошие ворота. Неужели машиной зацепил?

— Да что вы, Владилен Валентинович! Сосед поставил резные, жена покоя не дает: делай новые. Буду теперь лобзиком выпиливать.

Тоже общинность. Один сделал, другой перенял, а обличье села выигрывает.

Впервые тогда он услышал столь раннюю утреннюю песню. Доярки в открытой машине, оборудованной простыми скамейками, ехали с утренней дойки с дальних выпасов и пели душевную песню. Заметив директорское недоумение, водитель его газика философски хмыкнул:

— Бабы! Они всегда поют.

И оказался прав. Никитин слышал их пение во время дойки, когда, управляясь с аппаратами в разных концах большого коровника, они, неведомо какому дирижеру подчиняясь, выводили мелодию ладно, впрочем, нимало об этом не заботясь. Такую слаженность дают

только многолетние спевки. Слышал на покосе, где каждый занимается своим делом- с вилами, грабелями, а то и на вершине стога, а песня одна, общая. Слышал на зерновом току, когда мелодия прорывалась сквозь грохот очистительных и погрузочных машин...

А в предпраздничные вечера, задвинув в угол зрительного зала тяжелую трибуну, с которой только что парторг рассказывал о всемирно- историческом значении празднуемой даты, женщины пели со сцены, и песни их не были рассчитаны на праздничное торжество обстановки, хорошее освещение и громкие аплодисменты односельчан. Они пели так же душевно, как в поле, в дороге или дома.

Здесь он впервые столкнулся с таким количеством человеческой доброты. Поколение, вынесшее страну на своих плечах из войны и разрухи, всю жизнь проработавшее за палочку трудодня, не отмеченное ничем, кроме красной косынки, плюшевой жакетки да почетной грамоты; поколение, не видевшее на своем столе ничего, слаще морковки и лесной ягоды, сохранило умение поддерживать друг друга добрым словом и делом, не разучилось улыбаться и радоваться самой малости — хорошей погоде, спелому хлебу, солнцу, детям, незнакомому человеку.

Они говорили иногда об этом с Лорой и приходили к выводу, что во всем по-хорошему виновата природа, не выпустившая деревенского человека из своих материнских объятий. Пусть он на время убегает к технике, в кино, к телевизору и даже в город, но все равно возвращается, как всякий раз возвращается в отчий дом загулявший за полночь добрый молодец.

Никитин понимал и ощущал, как природа незримыми нитями связывает его неумную, своенравную натуру, делает для него нужными и желанными изумрудную зелень майских всходов, вороново крыло осенней пахоты, колыхания тучной пшеницы и звон спелого колоса. На берегу глубокого озера в лесной чашине, в окаеме молодых березок, наряженных в белые с крапинками берестички, он ощущал первобытную суеверную робость человека перед темной силой воды. На вольном просторе оконечностей забежавших сюда казахстанских степей он подставлял лицо сухому ветру, который доносил, кажется, ароматы алмаатинских яблок. Он становился частью природы, становился крестьянином, и это было нормальное и желанное возвращение к естеству, потому что сотни лет его предки жили трудом на земле.

В самом конце 1966 года Владилену Никитину предложили новое

дело — возглавить работу по созданию сельскохозяйственных предприятий «Главтюменьнефтегаза» в районе Сургута, Нижневартовска, Мегиона и Нефтеюганска, будущих баз развивающегося топливно-энергетического центра страны.

## 7.

Сургут встретил южного директора жестоким морозом и резким ветром. На площади перед аэровокзалом подошел к одинокому газнику, крытому заиндевевшим белесым брезентом.

— До конторы нефтяников довезешь?

— А ты кто?

— Какая тебе разница, кто я?

— Я Никитина встречаю.

Никитин взорвался:

— Так какого хрена ты в машине сидишь!? Хоть бы бумажку на стекло прилепил. Поехали, я — Никитин.

Сургут, город геологов и нефтяников, все больше балки и бараки, ближе к центру брусовые двухэтажки и здания новой постройки. У конторы «Тюменьнефтегаза» еще раз осмотрелся: да, не производит впечатления современного города, но, куда ни кинь взгляд — силуэты башенных кранов, эмблем и символов строящихся городов.

Начальник объединения Василий Васильевич Короляков принял сразу, но не гостеприимно.

— Ты зачем приехал?

Никитин не ожидал такого вопроса и ответил просто:

— Работать.

— А деньги на обратную дорогу у тебя есть?

— Я не собираюсь ехать обратно, но деньги есть. — Никитин начал злиться.

Короляков рассмеялся:

— Уедешь! Посмотришь, какая тут жизнь, померзнешь и сдернешь отсюда... — и уточнил, куда.

Никитин встал со стула:

— Кончай-ка, дядя, ругаться, а то я тоже могу! — и пошел к дверям.

— Стой! — крикнул Короляков. — Вернись, сядь. Я ведь не со злобы, просто много идет пустых людей. Давай документы.

Полистав бумаги, он подошел к окну и неожиданно предложил:

— Вон наш автобус стоит, он сейчас в Нефтеюганск идет. Совхозная база от города недалеко, сам доберешься. Оцени ситуацию, мож-



но ли там сделать хорошее хозяйство, чтобы иметь свои продукты хотя бы для ребятишек.

Пройдя позже по магазинам и столовым объединениям, он был поражен скудостью их прилавков и бедности блюд. Молоко из порошка, яичница из порошка, картошка — на вес золота. «Питание — как у космонавтов, только что не из тюбиков» — невесело подумал Никитин.

В автобус, маленький и холодный, набилось много людей. Легонькое пальто не грело, и когда водитель дал команду выходить, чтобы облегчить машину при переезде через реку по льду, Владилен приседаниями и бегом пытался разогреться, но мороз холодными прикосновениями обыскивал его тело и ничего хорошего не обещал. Люди перешли реку, облегченный автобус спокойно выбрался на высокий берег, опять расселись, чертыхаясь и кашляя. Владилен чувствовал, что еще часа езды на морозе ему не выдержать и наклонился к соседу, мужчине простому и трезвому, обладателю большой сумки с водкой. Сумки были у всех пассажиров, все везли продукты и спиртное. Мужик все понял сразу и достал бутылку. Владилен так промерз, что чувствовал, казалось, хруст в мышцах при движении. Он за несколько приемов выпил ледяную, неожиданно тягучую жидкость, закусил куском мерзлой колбасы, сосед понимающе кивнул: мол, доедешь.

Водитель подвез Никитина к дому директора только что образованного совхоза. В доме жарко топилась печь, Владилен обнял круглую горячую спасительницу и не отходил от нее, пока теплота не смогла ко сну.

Разогнав сонливость крепким чаем, они сидели за кухонным столом, говорили о завтрашнем дне сельского хозяйства нефтяников и газовиков, когда в местных магазинах можно будет купить свежее молоко, настоящие яйца, картофель и овощи.

В обед следующего дня Никитин вошел в кабинет Королякова, тот сухо поздоровался и спросил:

— Ну, как?

— Будем работать, — в тон ему коротко ответил Никитин, понимая, что шеф не любит длинных разговоров.

Корольков внимательно на него посмотрел.

— Хорошо. Тогда иди, выбирай квартиру, — и показал рукой в сторону новостроек.

— Но там же одни фундаменты!?

— А ты что, представить не можешь? Тут будут прекрасные двухэ-

тажные дома для наших рабочих и специалистов, с теплом, с ванной. Вот проект застройки, выбирай себе дом.

Никитин ткнул в бумагу пальцем, Короляков с удовольствием, как будто подписывал ордер на вселение, жирным красным карандашом перечеркнул квадратик на ватмане.

— Пальтишко спрячь до лета. Попросил принести со склада для тебя полушубок самого большого размера, так что извини, если тесноват, других нет. Вон, на вешалке...

Полушубок, действительно, был маловат, а квартиру Никитин получил через месяц. И с Василием Васильевичем они потом работали дружно.

Прежде чем принять окончательное решение, где, что и сколько строить, Никитин, понимая, что другого опыта нет и надеяться больше не на кого, много встречался с местными жителями, спрашивал, что растет на их огородах, какой скот держат люди и где добывают корма.

Параллельно шла работа со специалистами Свердловского проектного института, которые впервые столкнулись с такой ситуацией, что заказчик требует отказаться от четкого следования строительным нормам и правилам, а руководствоваться конкретными условиями. Никитин требовал заложить в проекты двойные двери на фермах, поднятые над грунтом деревянные пола, систему принудительной вентиляции.

— Это вы на юге можете делать по инструкции, а в наших краях будем строить так, как диктует природа. Не написаны пока инструкции для северных ферм и теплиц.

Северные варианты тепличных комбинатов тоже проектировали, одновременно обучали людей новому ремеслу.

Для новых объектов с Большой Земли шли строительные материалы.

Неожиданно сложно решался вопрос по картофелю. Никитин отверг официальную ориентировку на выращивание собственного продукта, обсчитав все, доказал, что привезти картофель из сельских районов дешевле, чем выращивать в условиях северного лета. Надо только построить хорошие хранилища. Так же основательно занялись заготовками овощей, и уже следующей зимой в магазины и общепит регулярно поступали свежие капуста, морковь, свекла. Молоком начали снабжать сначала детские сады, больницы, школьные столовые, потом оно появилось в свободной продаже. Построенные птицефабрики давали яйцо. Северяне, особенно ребятишки, стали заметно здоровее, и это подтверждали медики. Они посвежели лицом

и окрепли духом. Большая Земля, о которой говорили как о чем-то далеком и недоступном, кажется, сама пришла к людям.

Пустых людей, по определению Королякова, Никитин на Севере встречал мало. Судьба чаще сводила его с простым и мужественным народом, который приехал не только заработать, хотя никто этого не скрывал и не афишировал. Они приехали доказать себе и другим свою состоятельность, отвечая на порыв души. Вся пропаганда огромной страны была поставлена на то, чтобы романтизировать Север, героями называли его людей, и они сами привыкли к этому, хотя по жизни чужое слово романтика заменялось русским— работа.

Никитин тоже не особо задумывался о материальных благах. Просто пригласили директора Усовского совхоза, молодого и, наверное, перспективного, в обком партии и предложили начать новое дело. Идея создания подобной структуры в своем Главке принадлежала Виктору Ивановичу Муравленко, ее поддержали в обкоме. Муравленко попросил на должность организатора расторопного и энергичного парня. Ему предложили Никитина. Муравленко принял его, объяснил задачу, позвонил в Сургут Королякову, попросил обеспечить всестороннюю помощь и поддержку. Новому руководителю золотых гор не обещал, говорили о трудностях и о значении работы для освоения богатств Тюменского Севера.

В обкоме Никитин для приличия сказал, что новизна дела его несколько смущает, с ним согласились и добавили, что не рассчитывали на незамедлительное «да». С направлением на половинке листа он и полетел в Сургут

## 8.

Три года напряженной работы прошли незаметно, жизнь продолжалась. В ходе очередного реформаторского эксперимента решено было ликвидировать Сургутскую структуру «Главтюменьнефтегаза», обосновав это отлаженной транспортной схемой и надежной связью. Жизнь отвергла такой вариант, и скоро подразделение было восстановлено. Говорят, кто-то во время ликвидации прибрал вывеску, так что на новую тратиться не пришлось. Никитину тогда предложили работу в Сургуте или перевод в областной центр, но он как будто обрадовался переменам, словно ждал появившейся возможности и на первой же беседе в обкоме попросился в село.

— Куда именно? — поинтересовались товарищи.

— Все равно, куда. В деревню...

Его попросили обождать пару дней и предложили в Исетске возглавить управление сельского хозяйства. Он знал, что этот район под Тюменью, и хотя ни разу там не был, но согласился сразу.

В кабинете новый начальник появлялся редко, с утра уезжал в хозяйство, встречался с руководителями, заходил в цеха, где готовили технику к посевной, бывал на вечерних дойках. Десятки встреч, сотни человек в день, решенные и нерешенные вопросы, твердые обещания и категорические отказы, а в результате такое количество эмоций, какого хватило бы на несколько лет жизни.

На областном совещании сладковские коллеги рассказали ему, что усовский механик Тимофей Битков предложил: «Мы в Исетск трех начальников управления дадим, верните нам нашего Никитина». Он не скрывал, что ему приятно такое предложение.

Когда осенью этого же года Никитина избрали председателем Исетского райисполкома, заговорили о таинственных пружинах,двигающих молодого человека по ступеням власти. Сам он знал, что никакой мохнатой руки наверху у него нет, спокойно относил неожиданное повышение к случайно сложившимся обстоятельствам и продолжал работать еще более напористо и энергично, предоставляя желающим посудачить полную свободу воображения.

Каждый, кто знал основы кадровой политики и систему партийного обучения, воспитания и расстановки кадров, конечно, понимал, что Никитин попал в обойму руководителей с выраженной перспективой.

Он помнил довольно примечательный случай. На совещании партхозактива в Сладково первый секретарь обкома Щербина за ошибки в работе разносил соседа и друга, директора совхоза Якова Аверина, и вдруг он, имевший блестящую память на имена и лица, обратился к Никитину:

— За такие упущения надо перед судом ставить, так, товарищ Никитин?

Владилен встал, немного растерявшись, но четко ответил:

— Я бы так быстро не решал, надо разобраться.

Щербина тогда отчистил и его за горох, убранный «вполовину», с большими потерями, и тоже пригрозил ответственностью. Борис Евдокимович, будучи чутким психологом, не мог не отметить независимой самостоятельности и прямоты начинающего директора, умевший ценить незаурядных людей, он запомнил этого человека. Они встречались еще несколько раз, и только Никитин не придавал зна-

чения этим встречам, вынося из них лишь удовольствие от общения с умным человеком. Первый серьезный и обстоятельный разговор состоялся при направлении председателем райисполкома.

— Исетский район — традиционно хороший, тут земли замечательные, люди работающие, — спокойно говорил Борис Евдокимович. — Ты еще успеешь в этом убедиться. Председатель райисполкома — не просто хозяйственник, это уже ступень политического работника. На тебе ответственность за здоровье, отдых, учебу людей, за то, чтобы они хорошо жили и были довольны избранной ими властью.

Об этом не принято говорить, но каждое новое назначение, всякий раз дающее новую должность, новые права и полномочия, многого требовало взамен. Никитину не в новинку было уходить на работу ранним утром и возвращаться, когда многие семьи уже блаженствовали у телевизоров, обсуждая семейные дела и общественные события. В кабинете посетители с просьбами и проблемами, руководители отделов, телефонные звонки часто прерывают разговор. В райисполкоме обсуждалось противодействие инфекционным болезням, проведение районных спортивных соревнований, итоги учебной четверти в школах, последствия бурного таяния снегов, строительство жилья, рост поголовья скота и его продуктивности, расширение посевных площадей и увеличение сбора зерна, рентабельность производства и доходность хозяйств.

Доверие людей всегда добавляло ему сил и помогало работать лучше и эффективней. Первый секретарь райкома партии Владимир Петрович Мансуров не опекал и не одолевал каждодневным контролем и мелкими поручениями. Никитин знал о постоянной зависимости многих своих коллег от партийных руководителей и ценил, что Мансуров нашел верную тональность в их взаимоотношениях. Самолюбивая его натура не потерпела бы мелочной опеки, и конфликт был бы неизбежен. С другой стороны, свобода в выборе способа решения обсужденных и согласованных в райкоме решений, раскрывала Никитина как специалиста, организатора, государственного работника. Все это поднимало планку его ответственности: он принимал решения, и только он отвечал за их последствия. Полная самостоятельность лишала его возможности уйти в сторону, даже если бы он этого захотел.

Очередной пленум обкома КПСС избрал В.П.Мансурова секретарем обкома по сельскому хозяйству. В районе бурно обсуждался возможный преемник. Мало кто, и, прежде всего сам Никитин, до-

пускал, что он может быть рекомендован первым секретарем райкома. Но у Щербины было другое мнение.

Обсуждая с товарищами возникшие кадровые вопросы, Борис Евдокимович назвал Никитина единственным кандидатом на первого в Исетске. Он явно благоволил к этому энергичному, напористому и очень серьезному человеку, организаторские способности и скрытый потенциал которого у него не вызывали сомнения. Да, опыт руководящей работы на районном уровне не велик, потому что еще молод, но бьют не по годам, а по ребрам, считал Щербина, и не встретил возражений. Второй секретарь обкома Геннадий Павлович Богомяков знал Никитина еще по Сургуту, где часто бывал в длительных командировках, помогая местным руководителям решать огромной важности задачи. Первый раз судьба свела его с северным крестьянином в кузове попутного вездехода «урал» по дороге на промыслы, Никитин этот случай помнил.

Не особенно любивший кабинетную тишину, новый первый теперь подолгу засиживался, стараясь объемнее увидеть то, что называется Исетским районом, и с этих дней есть суть и содержание его работы, его служебных обязанностей. Он еще со времен совхоза нашел этот способ — подняться над суетой сегодняшнего быстротекущего дня, со стороны, с высоты даже посмотреть на свои дела и увидеть, что надо предпринять уже завтра, а с чем уже опоздали. Кто из тех, кто рядом и в чем способен помочь, а кто уже мешает, отставая и сдерживая.

Никитин улыбнулся, вспомнив писательские рассуждения о месте руководителя среднего звена в совхозной системе управления, и не без основания предположив, что в областной схеме первый секретарь райкома и есть большой руководитель среднего звена, и уж точно его место между областным тяжелым молотом и массивной районной наковальней.

Будучи крестьянином по духу, а не только по образованию, он отчетливо понимал ценность каждого метра пахотной земли. Наверное, это понимание усилилось, укрепилось в северный период его жизни, когда после длинной и морозной зимы люди с детской непосредственностью радуются каждому зеленому росточку.

На первом своем совещании с руководителями и специалистами по проведению уборки урожая и осенне-полевым работам вновь избранный первый секретарь всерьез заговорил о культуре поля:

— Мы озабочены необходимостью увеличения сборов зерна, и в то же время теряем сотни гектаров на недопустимой бесхозяйствен-

ности: телеграфные столбы на полях опахиваем с запасом в десятки метров, одиночную березу среди поля храним, будь-то она у нас последняя. Под каждым лесом у нас нейтральная полоса в пятьдесят метров по всей протяженности поля. Нет у нас ничьей земли, она наша, и надо ее беречь и эффективно использовать.

Плохо тому, кто не понимал Никитина с первого слова. Уже на следующий день он устроил разнос председателю колхоза прямо на объекте своего повышенного внимания, дав понять всем, что его требования — не каприз, не прихоть, что это пусть маленькая, но хозяйственная, экономическая задача, и Никитин не для того ее обозначил, чтобы кто-то имел право игнорировать.

Это направление в работе райкома получило дальнейшее развитие, было замечено руководством уже по результатам, обком партии и облисполком приняли совместное постановление, одобряющее работу Исетского района по наведению порядка на земле, по расширению посевных площадей. Для молодого руководителя такая оценка его работы была хорошим знаком.

Район находился на подъеме, но все в мире материально, и всякий рост требует вложений — труда, средств, мыслей. В селе Шорохово развернули строительство крупнейшего в области свиного комплекса, пустили первую очередь на 24 тысячи голов. Уже на стадии строительства выяснилось, что проектировщики из Свердловского института положили в основу будущего предприятия сумму лучших на тот момент вариантов технологических решений, однако не все они удачно состыковывались. Выход из тупиковых ситуаций искали на месте, выматывая нервы и изыскивая средства. Никитин каждый понедельник проводил на объекте планерку, вникая в мелочи, ставя задачи и срывая погоны с не очень расторопных начальников. Государство, вложив в производство немалые деньги, требовало отдачи.

Специализация хозяйств и концентрация производства стали главными направлениями развития сельской экономики. В колхозе «Россия» начали строить комплекс для откорма крупного скота, в колхозе «Ленинский путь» — межхозяйственный овцеводческий комплекс, в «Сибири» — комплекс направленного выращивания нетелей. Никитин любил бывать на этих стройках, с которыми связано будущее района и не только в производстве: животноводство переводилось на промышленную основу, менялось даже традиционное название профессий, появились операторы по уходу, кормлению и обслуживанию...

Еще в Усово, встречаясь с доярками и видя этих молодых женщин, утративших красоту от нечеловеческого переутомления и великого недосыпания, Никитин испытывал необъяснимую неловкость и стыд перед ними. Уже тогда он поставил под сомнение целесообразность проведения первого доения коров в пять часов утра. Чтобы к этому времени приехать на дальние пастбища в открытом кузове грузовой машины, а то и, в весенне-осеннее бездорожье, в тракторной тележке, надо встать в половине четвертого. Сдав молоко и вымыв доильные аппараты, они возвращались домой, будили спящих детей, готовили завтрак, отправляли мужей на работу. А прилечь среди дня отдохнуть — Боже тебя упаси! В деревне не принято днем спать, и не имеет значения, когда ты поднялся и сколько поработал до солнцевосхода.

Никитин тогда говорил со специалистами и даже со стариками, пытаясь выяснить, что заставляло годами, десятилетиями превращать работу доярки в наказание. В собственном дворе — там все понятно, пастух выгоняет табун в шесть утра, значит, коровы должны быть доены. А выгоняет рано, чтобы по холодку попасть стадо, потом поднявшаяся жара загонит коров в лесную чашу или в полувысохший водоем, и они будут стоять, погрузившись в мутную жижу и вытянув вдоль воды шеи, лениво пережевывая жвачку нахватавшей с утра травы.

У Никитина было предположение, что в первые годы колхозной жизни установили столь ранние сроки утренней дойки с учетом затрат времени на доставку продукции до молоканок, примитивных перерабатывающих предприятий, чтобы молоко не испортилось. Но со временем, когда появился относительно быстроходный транспорт, этот фактор перестал быть определяющим, однако доение, как и тридцать лет назад, начинали очень рано. Никитин пришел к выводу, что решающую роль сыграла бытовавшая тогда теория, что корова тем больше дает молока, чем чаще ее доят, потому для таких теоретиков время ночного отдыха и доярки, и животного — безвозвратно потерянная продукция. Значит, буди доярку и поднимай удои. Вот и мучились женщины-рановставки, вот и устраивались трехкратные и даже четырехкратные доения.

Никитин тогда решительно заявил, что пора прекратить издеваться над людьми, и дал команду зоотехнику изменить порядок трудового дня в животноводстве. Но инициативу руководителя остановили строгим предупреждением из райкома: «без самостоятельности». Он собирался дать бой гнилым теориям и их покровителям и попросить хотя бы в порядке эксперимента сместить утреннюю дойку на



более позднее время. Только обострять отношения не пришлось, скоро он получил назначение на Север и сдал дела.

В Исетске Никитин вновь обратился к этой проблеме, и вновь не получил поддержки, но теперь ситуация с правами была иной, и он принял волевое решение. Шуму вокруг простого на первый взгляд вопроса было много, даже доярки, в чьих интересах проводились эти перемены, приняли их с сомнением:

– Потеряем молоко, Владилен Валентинович!

– Согласен, на первых порах потеряем, но нагоним.

В Солобоевской бригаде колхоза «Победа» первого секретаря поддержал авторитетный бригадир Базилевич:

– Молоко свое мы возьмем, но посмотрите, бабоньки, сколь для вас благ открывается. И с муженьком ты утром попотыгаешься, – (тут бабоньки чуть ли не с кулаками кинулись на острослова), – и детишек приберете. А ордена, какие за высокие надои Родина для вас кует, никуда не денутся.

Концентрация животноводства на крупных комплексах требовала резкого увеличения производства грубых кормов, а в условиях района, где освоены все даже лесные сенокосы, четко контролируется соотношение посевов зерновых и кормовых культур, заготовки сена можно увеличить лишь за счет урожайности.

Никитин поручил агрономам думать, как поднять травы на лугах. Удобрения, подсев – все это надо бы делать, и все это правильно, но в любой практически год травам не хватает влаги, а коли так, то надо дать земле воды столько, сколько надо. Легко сказать...

– Поливные установки...- осторожно заметил агроном управления.

– Сам о них думаю, но это же куча проблем...

Промышленность поставляла селу поливные установки дождевального типа, но это полукилометровое сооружение не на всех площадях могло работать.

В июне 1974 года Никитин собрал в колхозе «Сибирь» всех деревенских руководителей и специалистов, здесь только что смонтировали «Волжанку», фантастически смотревшуюся на зеленом покрове луга.

– Попробовали? – спросил председателя колхоза А.Н.Викулова.

– Не успели, Владилен Валентинович

– Я к тебе людей собрал очаровывать, а не посмеяться над нашим с тобой неумением и выдумкой. Срыв недопустим, головой отвечаешь.

Он успокоился, когда тысячи струй взвились в воздух, и радуга зависла над лугом, когда мужики, солидные руководители и степен-

ные специалисты, полезли под струи, смеясь и радуясь, как дети, когда Викулов, счастливый от исполненного долга, самозабвенно заявил:

— Да я с этих лугов, Владилен Валентинович, по три укоса возьму!

Поливные луга и пастбища появились в каждом хозяйстве, новые технологии в выращивании и заготовке кормов позволили району обеспечивать кормами выросшее поголовье скота. Рукотворную радугу над лугами Никитин мог бы занести в свой актив, но он не вел подобного учета.

## 9.

— Кое-кого в обкоме смущают твои отношения с руководителями хозяйств, несдержанно себя ведешь, — доверительно сказал Никитину обкомовский знакомый. Он не стал уточнять, кто этот «кое-кто», знал, что не новый первый секретарь Геннадий Павлович Богомяков, ГП, как называли его партработники, избранный после перевода в Москву Бориса Евдокимовича Щербины. Он часто бывал в районе, у них складывались отношения, лишенные ненужных условностей, допускающие самые доверительные разговоры.

В зимнее время, не столь напряженное, свободное от изматывающих полевых кампаний, Никитин в выходной день мог вместе с женой Элеонорой Александровной поехать в гости к одному из руководителей хозяйств. Лепили пельмени, гуляли по селу, топили баню, после сидели за столом и долго беседовали. Его раздражали условности бытия первого секретаря: если он к кому-то в гости — кумовство, за стол сел — пьянка. Во-первых, не к каждому руководителю он в гости шел, да и то только по приглашению; во-вторых, в разговорах этих дел хозяйственных решалось не меньше, чем в официальной обстановке кабинета за зеленым сукном. Что касается выпивки — да, но только после баньки, только для приличия, в соответствии с обычаем.

Переступив через косность и официоз, Никитин предложил 8 марта, международный женский день, отмечать всем районным комсоставом с женами, да не в тесной столовке, а в лесу, под открытым небом.

— Женам не надо ничего рассказывать, только посмотрите в последний момент, чтобы в туфельках не уехали, — предупредил мужчин.

На небольшой лесной поляне расчистили бульдозером снег до прошлогодней желтоватой травы, до медных березовых листочков; столы тесовые сколотили, скамейки широкие. Импровизированная кухня горячие блюда к столу готовила, из которых самыми автори-

тетными всегда были пельмени. Такая радость для женщин — до слез благодарности...

— Смотри, чтобы после очередного застолья руководители тебя по плечу похлопывать не стали, нашим людям слабинку нельзя давать, вмиг выпрягутся, — предупреждали Никитина, но он этого не опасался, видел, что мужики правильно его понимают. Он давно заметил, что по службе всегда оказывался младше своих подчиненных. В совхоз пришел 27 лет, в Исетское сельхозуправление на 34-ом году.

Он никогда не был замкнутым, каким мог показаться со стороны, считал естественное поведение, вытекающее из характера, надежным и понятным людям.

Всегда имея реальную власть, редко использовал приемы наказания, ставил себя на место нарушителя, и потому часто сдерживал эмоции, если человек просто ошибся. Но горе тому, кто испортил дело по пьянке, по распущенности, по нежеланию работать, как надо. Оказывается, люди умеют это видеть и ценить, и почти всегда у него складывались хорошие отношения не только с теми, кто работал под его руководством, но и с начальниками, стоящими над ним.

В самом начале уборки урожая Богомяков позвонил Никитину и сказал, что в два часа будет у него, и они вместе посмотрят, как идет косовица хлебов. Добавил, что время дорого, и встречать его не надо. Выехал перед обедом, на поле, примыкающем к тракту, три комбайна косили пшеницу, оставляя за собой полосы сияющей на солнце стерни и высокие валки хорошо уложенных стеблей. Следом за комбайнами шла бричка, запряженная нерезвой, послушной лошадкой, и в бричке сидела женщина. Богомяков остановил машину, первая осенняя картина страды была прекрасной.

На кромке поля, где комбайны, выключив жатки, делают разворот, женщина соскочила с брички, то и дело нагибаясь и срывая горсти несрезанных колосьев, подбежала к комбайну, остановила и что-то громко кричала молодому механизатору, стоящему на мостике и опустившему голову. Потом погрозила ему кулаком и аккуратно положила охапку колосьев поперек валка.

Пройдя сотню метров и осторожно, впервые в этом году, перешагивая через хлебные валки, Богомяков подошел к женщине. Она управляла упряжь и с интересом смотрела на идущего.

— Ты, видать, сам пахарь, если на колосья наступить опасаясь?  
— встретила она первого секретаря обкома.

— Пашу, мать, но в более широком смысле. А вот вы что тут делаете?

– Контроль я, – представилась хозяйка. – Верой Ивановной зовут. В войну еще пахала и сеяла, трактористкой была, потом подучилась, агрономила на отделении, теперь вот на пенсии. А вы кто будете?

Богомяков назвал себя, Анна Ивановна смутилась.

– Вы уж простите меня, я хоть и тридцать лет в партии, а вас первый раз вижу. Да. Собрал нас, таких вот бывших активистов и хлеборобов Владилен наш Валентинович, попросил помочь, подстегнуть наших ребят по качеству. Вот, воюю...

– И много у вас претензий к комбайнерам?

– Да что зря говорить, Геннадий Павлович, хорошо работают, чисто, а где напакостят, что ж, поругаю.

– Кулаком, видел, грозили. Не обидятся?

– Кулаком?! Да не может такого быть! Кулаком? Чтой-то я не припомню! А какая обида? Я им всем бабушка, каждого с пеленок знаю.

Переговорив с Никитиным по текущим делам, Богомяков осторожно спросил про новую форму контроля. Никитин ответил:

– Я даже не ожидал, Геннадий Павлович, как мощно это повлияет. Сейчас был в колхозе, комбайнеры в голос: «Уберите стариков, чуть что не так – хоть в землю зарывайся, со стыда стораешь». А совесть – это посерьезней, чем приговор суда. Ничего, пусть пока ветераны подежурят...

## 10.

Когда телефон звонит длинно и прерывисто, значит, вызов междугородний. Никитин снял трубку.

– Здравствуй, Владилен, Муравленко.

– Виктор Иванович, рад вас слышать, здравствуйте!

– Поздравляю тебя с избранием первым, мои наилучшие пожелания в работе. Хочу к тебе подъехать, как ты на это смотришь?

– Хорошо смотрю, Виктор Иванович. Когда ждать?

– Да хоть завтра.

– Решено.

Муравленко он поехал встречать на границу своего района, так повелось, дорогих гостей хозяин встречал на кромке своей земли. В непродолжительной и содержательной беседе во время назначения на северное сельское хозяйство Никитин увидел в начальнике Главка личность сильную, властную, но не давящую силою своего должностного положения. Муравленко тогда возлагал большие надежды на создаваемую Никитиным структуру, неоднажды поддерживал его, и

после реформирования предлагал остаться в системе Главка. Никитин поблагодарил и отказался, сославшись на тягу к сельскому хозяйству настоящему, с полями, с просторами, с журавлиным криком.

В Исетске Муравленко был впервые, посмотрели новостройки, съездили в хозяйства, посидели за чаем. Никитин понимал, что Виктор Иванович просто хотел отдохнуть, потому не досаждал ему своими проблемами, хваля район, людей и природу.

Виктор Иванович оценил деликатность хозяина, но после двух-трех таких встреч спросил:

— Почему ты у меня ничего не просишь? Ведь Главк сильный, можем хорошо помочь.

Никитин ответил сразу:

— Нам очень нужны тяжелые гусеничные тракторы. Проводим большую работу по мелиорации земель, дорожному строительству, да самое простое дело — силос в траншеях утрамбовать нечем.

— Сколько надо?

— Пятьдесят.

— Получишь. Новые не обещаю, но рабочие, с капремонта, дадим.

Назвав эту цифру — пятьдесят, Никитин говорил о желаемом, но не реальном, потому что знал, как мало такой техники идет в село, область за год такого количества не получает. Тяжелые тракторы С-80 и С-100 в деревне были редкостью. Муравленко не забыл об обещании, уже через месяц привезли первые пять машин, потом еще и еще, и район надолго решил проблему с земляными работами и со всякими другими, которые могла выполнять только тяжелая гусеничная техника.

## 11.

На заседании бюро райкома обсуждался вопрос, на который в последнее время центральные органы обращали все более детальное и деловое внимание. За годы работы в руководящих органах Никитин научился отличать проходные документы от решений, за которыми последует материально-техническое обеспечение, просматривается необходимость большой и конкретной хозяйственной работы. Таким ему представлялся вопрос руководства сельским строительством.

Возведение животноводческих комплексов шло медленнее, чем требовалось, строители не успевали укреплять материальную базу и наращивать мощности, хозяйства не всегда вовремя предоставляли проектно-сметную документацию. Вопросы взаимодействия и выне-

сены были на бюро, чтобы на каждом проблемном участке иметь ответственных работников, отвечающих за ход и качество строительства.

Телефонный звонок раздался в крайне неподходящий момент, когда Никитин в довольно жестком режиме дожидая начальника строительной мехколонны Виктора Федоровича Эрлиха. Он, все еще продолжая говорить, поднял трубку и в том же тоне установки, однозначности, не допускающем возражений, произнес дежурную фразу:

- Слушаю, Никитин.
- Ты что такой сердитый? — явно с усмешкой спросил Богомяков.
- Бюро веду. Здравствуйте, Геннадий Павлович.
- Вопросов еще много?
- За час управлюсь.
- Хорошо, работай по плану, а через три часа я тебя жду.

Один из тех немногих случаев, когда руководитель, не зная повода приглашения к большому начальству, ничего специально не готовит, только систематизирует статистические данные, еще раз — сам с собой — сверяет основные направления работы, и в путь. В дороге все равно возникают варианты вопросов, которые могут интересовать секретаря обкома.

К первому он прошел сразу, и Богомяков, не имевший обычности ходить вокруг да около серьезного вопроса, начал с главного.

— Принято решение рекомендовать тебя начальником областного управления сельского хозяйства. Не буду скрывать, это мое предложение, товарищи поддержали, к работе приступишь завтра.

Странно, но выйдя из обкома, Никитин не испытывал восторга по поводу только что состоявшегося назначения, было грустное чувство неизбежного расставания с Исетском, похожее на то, какое испытал, уезжая из Усово на Север, но здесь все крупнее, масштабнее. Впереди то же самое сельское хозяйство, только в масштабах всей области.

Он опять вспомнил юношеские возмущения бедностью крестьянского бытия, свое решение жить и работать для села. Теперь надо работать, потому что — кто, если не ты?

Областное управление сельского хозяйства было важной структурой в экономике региона, который находился на масштабном историческом подъеме. За последние годы село достаточно успешно выполняло задачу по обеспечению Севера продуктами, и ему работать можно было только лучше. В активы страны записывались новые миллиарды кубометров природного газа и миллионы тонн нефти, темпы освоения новых месторождений опрокидывали старые пред-

ставления о сроках и нормах. Реализовывалась установка центральных органов на максимальное обеспечение газодобывающих и нефтяников продуктами питания собственного производства, и эта задача полностью ложилась на аграрный сектор экономики, который возглавил Никитин.

Кабинетной работе он предпочитал живое дело, когда в районах удавалось найти решение вопроса, выросшего в проблему, когда поддерживал доброе начинание, помогал людям в бытовых делах, когда просто поговорил с крестьянами — будь то на полевом стане, в красном уголке фермы или на собрании районного актива. Это было интереснее, но жизнь требовала и кабинетной работы.

В управлении он сменил Николая Алексеевича Чернухина, избранного секретарем обкома по селу, как сменил когда-то его в Усовском совхозе. Председателем облисполкома был Лев Николаевич Кузнецов, блестящий специалист сельского хозяйства, прошедший все ступени, начиная с директора совхоза, великолепно разбиравшийся во всех вопросах. Никитин не любил промежуточных обсуждений важных проблем, к примеру, на сельхозотделе обкома или у зампреда облисполкома, которые проводились, как он считал, «формы для». На них не могло быть принято заметное для сельского хозяйства решение. Но дисциплине подчинялся, формальности соблюдал, хотя не скрывал неуважительного отношения.

— Не любишь ты партийную дисциплину, Владилен, — попенял ему Чернухин.

— Мне хоть бы соблюсти ее в разумных пределах, где уж там любить, — отшутился Никитин. Сопричастность к большому делу сближала их, и часто выводила отношения из официальных в простое человеческое понимание.

Тюменская область в последнее десятилетие была на виду всей страны, и люди ее тоже были известны. Москва быстро раскусила, что в сложнейших условиях Тюменщины руководители созревают быстро, они самостоятельны до неуправляемости, инициативны до авантюризма, умеют рисковать и готовы отвечать за свои решения. Партийные организации кадрами занимались серьезно, потому многие работники были готовы к выполнению более сложных задач. Время от времени то один, то другой получал высокое назначение, давая возможность расти тем, кто рядом. В эти годы тюменцы Б. Е. Щербина, Ю. П. Баталин и В. В. Никитин были заместителями Председателя Совета Министров СССР, В. Г. Чирсков, В. С. Черномырдин,

Ф. К. Салманов — министрами Союзного Правительства. Многие были заместителями министров, на других важных постах.

Стало известно, что Кузнецов получил предложение на должность заместителя министра сельского хозяйства СССР. Никитину хорошо работалось с председателем облисполкома, и любое изменение казалось нежелательным, но Лев Николаевич дал согласие и скоро уехал в Москву. Вопрос о замене обсуждался на всех уровнях.

Никитин, зная логику подобных выдвижений, определил для себя широкий круг возможных кандидатов, включая всех секретарей обкома и заместителей председателя облисполкома. Себя он среди претендентов не видел, как, впрочем, и многие другие. Но у ГП было свое мнение. Ему нравился этот рослый крепкий сибиряк, прошедший все ступени работы в селе, современно мыслящий, способный на самые неожиданные решения и поступки, и всегда выигрывающий. Смелый, но не опрометчивый, решительный, но не авантюрист. Семья прекрасная, двое сыновей — школьников. Молод. Для большой работы 39 лет — не возраст, но молодость, как известно, проходит.

Богомяков пригласил Никитина в конце рабочего дня, попросил подробно рассказать о работе управления в последнее время, хотя всегда был в курсе всех дел не меньше начальника. Никитин подробно говорил о внедрении новых технологий в свиноводстве и птицеводстве, обосновал, что именно эти отрасли вытаскают проблему снабжения Севера яйцом и мясом; коснулся важных вопросов зернового производства.

О своем решении рекомендовать Никитина председателем облисполкома Богомяков сказал просто, не возводя его в степень.

— Думаю, бюро обкома примет такое предложение, но ты же понимаешь, последнее слово за Москвой.

Москву смущало прежде всего нарушение десятилетиями сложившейся логики должностного роста, прохождения по служебной лестнице. В Тюменской области, как и в других регионах, председателем облисполкома избирались чаще всего секретари обкома или заместители председателя облисполкома, курирующие вопросы сельского хозяйства, но никогда — начальник сельхозуправления.

Во многом неординарный Богомяков остановил свой выбор на Никитине по той же причине, по которой рекомендовал его на управление: будучи сам крупным специалистом нефтегазового направления, он видел в Никитине столь же одержимого крестьянина, знающего, понимающего и, самое главное — чувствующего землю и жи-



вущих на ней людей. Его чутье осторожного и в то же время решительного хозяина бережно определяло лучшие направления в работе. Если он «брал» вопрос, можно было не сомневаться, что все будет решено. Никитин никогда не ловчил, в грехах и ошибках признавался, исправлял сам, не требуя помощи. Свое мнение отстаивал так, что переубедить его можно только упрямыми фактами.

Богомякову потребовались несколько встреч в Кремле и на Старой Площади, чтобы отстоять свою позицию. Никитин, приглашенный в столицу, обошел десятки кабинетов, завершающим был прием у секретаря ЦК Кириленко. Он пожал гостю руку и пригласил:

– Проходи, хулиган.

Никитин явно растерялся:

– Андрей Павлович, не могу понять, чем заслужил?

Кириленко засмеялся:

– Уж больно ловко вы, тюменцы, сосьвинскую селедку вперед нас вылавливали. Вот с тех пор хулиганами вас считаю.

Некоторое время назад Кириленко работал первым секретарем Свердловского обкома, а река Сосьва с ее уникальной селедкой протекает на Северном Урале почти на стыке двух областей. Видно, крепко досаждали тюменские мужички, если секретарь ЦК до сих пор помнит..

Разговор был серьезный и обстоятельный, Кириленко пожелал Никитину успехов. Направление предстояло оформить постановлением Политбюро.

Наступил день открытия сессии областного совета народных депутатов, но Москва молчала. В обкомовском аппарате было состояние, близкое к шоку. Только за час до начала работы сессии Богомякову положили на стол документ: Политбюро рекомендует Никитина В.В. на должность председателя Тюменского облисполкома.

Вновь избранный председатель вместе со своими заместителями проанализировали возможные пути дальнейшего развития сельскохозяйственного производства.

Рост производства мяса был обеспечен всеми факторами, кроме одного. Построены мощные комплексы, есть маточное поголовье, но животноводы все время живут в режиме ожидания вагонов с фуражом из госфондов. В то же время руководство области признавало, что полагаться на собственное зерновое производство чрезвычайно рискованно, резервы традиционного гектара не велики, а все возрастающие потребности животноводства требуют роста производства собственных комбикормов.

Дефицит зерна в Сибири прежде всего связан с дефицитом осадков, а засушливые года случаются нередко.

Тогда было принято решение параллельно с интенсификацией пойти по пути значительного увеличения посевных площадей. Никитин, имеющий некоторый опыт подобной работы в Исетском районе, сразу уловил главное в идее Богомякова. Это снимало вопросы производства зерна в области и способствовало решению стратегической задачи снабжения жителей городов нефте-газового комплекса продуктами животноводства.

Как и ожидалось, новое направление в сельскохозяйственной политике области хозяйственниками было встречено далеко не однозначно. Новые земли — прежде всего результат большой работы по раскорчевке лесов, введение окультуренных площадей в пахотный оборот, здесь не обойтись расшиванием полевых закутков и выравниванием конфигурации полей

На большом совещании, проводимом по этой теме, Никитин выступил с докладом, который опровергал все существующие, но еще не заявленные контрдоводы. Он привлек обширный научный материал, причем, не только по земледелию, но и по его истории, и оказалось, что именно этот аргумент наиболее убедительный. Докладчик напомнил основные этапы освоения юга Тюменской области в 17-19 веках, сославшись на документы тех лет, сказал, что распахиwali и засевали не столько пустошные, сколько освобожденные от лесов земли.

Начало XX века, знаменитая, так и не завершенная, Столыпинская реформа. Целыми деревнями из центральных губерний России и западных ее окраин переезжали люди в Сибирь, перевоза все, что можно, даже разобранные рубленые церкви вместе со священством.

— Таким образом, наши предки создали клин продуктивной пашни, и в годы целинной эпопеи мы увеличили его до двух миллионов гектаров. Ответьте сами себе на простой вопрос: почему надо считать это пределом? Кто определил, что на юге нашей области должны работать на нужды народа два, а не три и не четыре миллиона гектаров? У нас огромные резервы увеличения посевных площадей, и грош цена рассуждениям, что, сводя лес и распахивая эти массивы, мы нарушаем экологию. Чистой воды чепуха! В сельских районах тюменского юга распаханность составляет от 5 до 15 процентов территории, а на юге нашей страны — многократно выше. У нас 70 процентов занято лесами, причем, специалисты могут указать нам сотни тысяч гекта-

ров леса сорного, непригодного к применению в народном хозяйстве, не удовлетворяющего даже бытовые потребности населения. Нельзя строить свою позицию в экологических спорах, используя недостаточную осведомленность людей.

Далее Никитин сказал о двуединстве задачи: повысить отдачу гектара, грамотно занимаясь агротехникой, интенсификацией в самом широком смысле этого слова. Но ведь случается, что не только «два дождя в мае» — ни одного нет, и тогда самая передовая агротехника не гарантирует урожай, пашня даст самую малость, как это не однажды случилось.

— Вот на такой случай мы и должны иметь резерв, дополнительные посевные площади. По десять центнеров на двух миллионах гектарах — это два миллиона тонн, а с трех — уже три миллиона. Вы знаете, как нужно нам это зерно. Поймите теперь, что многое в будущем зависит от того, как мы сегодня занимаемся освоением новых земель.

После совещания Никитину было проще говорить с руководителями районов и хозяйств, им известна была его позиция. К этому времени работу области по расширению посевных площадей одобрил Центральный Комитет партии. После нескольких лет изучения полученных результатов Москва провела в Тюмени всесоюзное совещание по этой тематике, подчеркнув тем самым государственное значение того, что делалось в области.

В Голышмановском районе, проезжая с руководителем района и директором совхоза по полям, Никитин попросил остановить машину.

— Ты почему этот колок не сведешь? — обратился он к директору и заметил, как вспыхнуло лицо молодого еще человека, местного парня, работающего в должности первый год. — Он же просится в пашню! Ты его за год раз десять объезжаешь, а тут работы на один день. Чтоб нынче же убрал!

Когда прощались, первый секретарь райкома очень броский красавец Борис Васильевич Прокопчук сказал Никитину:

— Колочек тот уберем, Владилен Валентинович, но вы и директора нашего поймите: у него тут роман начинался в студенческие годы. Так сказать, память сердца.

— Не зря хоть мемориал-то стоит?

— Вторым в декретном отпуске.

— Молодец. Но колочек — убрать, и так памяти хватает.

Новый начальник облсельхозуправления Юрий Романович Клат, распределяя между районами поступающие от нефтяников и газовой-

ков тяжелые гусеничные тракторы, отмечал, что «северная вахта» Никитина создала крепкую систему личных отношений с руководителями крупнейших предприятий Севера, которая сейчас работает на интересы деревни. Мощные бульдозеры и погрузчики были основой так называемых «отрядов плодородия», выгребавших миллионы тонн перегной с животноводческих ферм и щедро вносивших его на поля.

Торфодобывающие предприятия, оставшиеся без работы после перевода на газ Тюменской теплоэлектростанции, переориентировались на поставку торфа в качестве удобрения.

Никитин имел основания быть довольным проводимой работой: до 13 млн. тонн органики вывозили на поля в год, до 10 тонн на гектар пашни. Для большинства серых, оподзоленных, суглинистых почв это единственный способ поднять их плодородие. Улучшалась структура пахотного горизонта, нарастал гумусный слой. По всеобщей оценке, это были годы решительного улучшения качества земли.

Выравнивание конфигурации полей, сведение колков, припахивание придорожных обочин открывали путь на просторные пашни современной высокопроизводительной технике. Поступающие в хозяйства мощные К-700 в агрегате с комплексом сельскохозяйственных машин поднимали производительность труда, сокращали сроки полевых кампаний.

## 12.

Статистика не только все знает, она еще дает возможность думающим людям делать выводы, выходящие по своему значению за пределы компетенции этой важной науки.

За годы интенсивного развития топливно-энергетического комплекса Тюменского Севера, в которые входят две пятилетки председателя облисполкома Никитина, население области выросло с 1,2 млн. до 3 млн. человек. В то же время количество сельских жителей осталось без изменений — 700 тысяч. Никитин часто вспоминал короткую и емкую реплику А.Н.Косыгина в ответ на просьбу руководителя одного из нефтегазодобывающих управлений, выступавшего на областном собрании партийно-хозяйственного актива.

— Алексей Николаевич, мы сегодня имеем все необходимые продукты питания, за это большое спасибо нашим крестьянам. Но в Тюменской области не растут фрукты, а дети иногда просят яблок.

— Фрукты мы вам привезем самолетами. А вы дайте стране нефть.

«Все необходимые продукты» — это то, что поставлял сельский

юг. Нагрузка на деревню была огромная, значение ее работы слишком велико, чтобы позволить оплошность, просчет, промах.

Улучшенная и расширенная пашня давала более 2 млн. тонн зерна в год, а его все не хватало, потому что постоянно увеличивалось поголовье скота и птицы.

Никитин отправил из кабинета на свежий воздух «остыть» обкомовского пропагандиста, предложившего бросить лозунг вместе с миллионом тонн нефти и миллиардом кубометров газа в сутки добиваться увеличения поголовья скота тоже до миллиона. Крупного скота действительно имели 950 тысяч, 600 тысяч свиней, полмиллиона овец. И все это огромное стадо надо кормить сытно и с избытком, чтобы оно не только украшало статистику, но и улучшало те ее цифры, где молоко, мясо, яйца.

Чтобы хоть как-то отблагодарить селян, государство отказалось от регулирования размеров личных подсобных хозяйств граждан. Ушлие газетчики тут же придумали короткую формулу этой политики: «хозяйство личное — забота общая». Поразительно, но труженики села, отдающие много сил общественному производству, вдруг развернули такие подсобные хозяйства, что излишки полученной продукции стали заметным источником пополнения общегосударственных продовольственных фондов. Только молока от личных хозяйств область закупила до 50 тысяч тонн в год.

Заготовками картофеля занималась потребительская кооперация, ее подразделения в районах получали задание брать картофель безо всяких ограничений, более того, в малые деревни направлялись грузовики, чтобы принять продукт прямо на огородах. Ежегодно в закромах оказывалось до 200 тысяч тонн картофеля при областной потребности в 150 тысяч. Все излишки с удовольствием отгружали республики Средней Азии, направляя тюменцам вагоны с дарами южной природы. Яблоки на прилавках магазинов перестали быть редкостью.

Еще в бытность директором совхоза у управляющего Покровским отделением, крупным, по объему производства сравнимым с некоторыми хозяйствами, Никитин увидел в рубленом коридоре дома большой ящик, обитый железом и закрытый такой же крышкой. Перехватив взгляд директора, Лемзин поднял крышку: зерно, пшеница, отборная, сухая, отливающая золотизной.

— Это, Валентиныч, запас. По нынешним временам, может, и ни к чему, все годы вроде без хлеба не бываем, но уже привычка, храню

год-два, потом меняю. Привычка с тех пор осталась, когда год на год не попадал, вот и создавали запас, чтоб не голодовать.

— Хорошая привычка. Нам бы и в хозяйстве такой сусек неплохо иметь.

— Неплохо, — согласился Лемзин. — Но в своем доме я хозяин, а в совхозе над вами еще сколько радетелей! Не дадут.

Конечно, никто бы не разрешил Никитину в отдельно взятом Усовском совхозе создавать и хранить резерв фуражного зерна на случай недорода в следующем году, не должен советский руководитель быть таким пессимистом. Да, но должен смотреть вперед хоть на один год, чтобы в массовом порядке не вырезать скот, если неурожай.

Область после уборки урожая легко выполнила первую заповедь и рассчиталась с государством по нархозплану заготовок зерна. Никитин обратился в Совет Министров с запиской, в которой просил разрешить в порядке эксперимента (он несколько раз порывался вычеркнуть это слово, но оставил в угоду общему стилю письма) Тюменской области заложить в районах резерв фуражного зерна сверх потребностей текущей зимовки как страховой на будущий год. Официальный отказ он получил позже, а через три дня позвонил хороший товарищ из Совмина и сказал, что мысль правильная, и положение в области позволяет ставить такой вопрос, но разрешат едва ли, потому что российский баланс зерна вроде не получается. Никитин и сам понимал, что, как только где-то возникнет напряжение, сработает система, из ЦК позвонят первому: нужен хлеб! Зашевелится вся цепочка вплоть до лемзинского сусека, как было не в столь отдаленные времена.

Понимая, что потребности южных городов в картофеле и овощах за счет общественного производства полностью закрыть не удастся, приняли решение поддержать создание дачных кооперативов, дать землю всем горожанам, кто хочет на ней работать. Дело это было новое и несколько даже неожиданное, потому что Тюмень, еще вчера бывшая «столицей деревень», о дачах как местах семейного отдыха или ведения подсобного хозяйства, речи не вела. Оказалось, что под нужды дачных кооперативов, которые росли со скоростью июльских грибов, требуются сотни гектаров земли. Пригородные хозяйства, естественно, не хотели отдавать горожанам плодородные земли, участки отводились как результат компромисса в местах, не особенно благоприятных. Богомяков и Никитин вдвоем на «уазике» объехали все сколько-нибудь пригодные для пользования места, благо, будучи за-

ядлыми охотниками, бывали здесь многократно. Приняли решение выделять дачникам не четыре, как это было заведено по стране, а по шесть соток. Только много лет позже к такому размеру дачного участка пришли и соседи. Деятельные дачники, какими быстро стало почти все население города, с завидным упорством и трудолюбием творили чудеса на своих шести сотках.

Тюменской области, как и ряду других регионов, была поставлена задача добиваться самообеспечения продуктами питания. Конечно, это не значило, что область осталась один на один с проблемами. В частности, Центр брал на себя обеспечение комбикормами вновь введенных объектов по производству быстрорастущего мяса. Инициатива передавалась на область, следовательно, и ответственность возлагалась на местную власть. Такая кооперация руководство устраивала. Никитину было поручено изучить вопрос и внести предложения, он скоро доложил их Богомякову. ГП не сразу согласился на вариант, предложенный председателем облисполкома, но когда Никитин заверил, что у него есть предварительная договоренность с Муравленко, который поддерживает идею и даже обещал «публично проявить инициативу», секретарь обкома дал добро.

Никитин пригласил к себе всех руководителей нефтяных, газовых, геологических и строительных Главков, которые по должности были заместителями своих Союзных министров, и, коротко обрисовав всем известную ситуацию с продовольствием, сказал:

– Мы должны построить на юге области десяток птицефабрик, разом и навсегда закрыть вопросы по яйцу и мясу птицы. У области нет достаточных строительных мощностей для этого. Просим Главки помочь.

Никитин видел, что приглашенные относятся к предложению без энтузиазма. Но встал Виктор Иванович Муравленко и сказал, что серьезность такого варианта полностью отражает сложность положения с продуктами на Севере, что области без нашей поддержки строительных вопросов не решить, а, коли Москва обещает построенные фабрики подпитывать госфондами кормов, грех не воспользоваться этой возможностью.

– Я сейчас даю команду своим заместителям, чтобы все вопросы облисполкома по строительству птицефабрик решались незамедлительно.

Такого даже Никитин не ожидал, не смотря на предварительную договоренность с Муравленко. Все знали Виктора Ивановича как че-

ловека взвешенных решений, чуждого всяческой стихийности, и он находит предложение уместным и выполнимым. Его авторитет был столь значительным, что ни у кого из участников совещания не появилось возражений.

Когда прощались, Никитин пожал Виктору Ивановичу руку и посмотрел в глаза. Он увидел в них улыбку умного и благородного человека.

Эту программу реализовали быстро. Районы выделили площадки под строительство, помогли людьми и техникой, и уже к осени птицефабрики в Ишиме, Голышманово, Аромашево, Омутинке, Заводоуковске приняли птичье поголовье, и фуры со свежим яйцом пошли по зимникам в северные города.

Никитин всегда внутренне следовал опыту и природе людей, умевших мобилизовать все, чтобы добиться нужного результата, заставить себя и других работать на грани человеческих возможностей, а иногда и сверх того. Для него был примером выдающийся военачальник и механизатор, умеющий работать творчески, знающий все смежные ремесла. У охотничьего костра Виктор Иванович Муравленко признался друзьям, что считает образцом для подражания маршала Жукова и председателя Госплана Байбакова. А Никитин учился у Муравленко, ценил его опыт, уважал мнение.

В 2002 году Никитин летал в Тюмень на открытие памятника Виктору Ивановичу Муравленко. Только вернулся домой, звонок из тюменского радио: журналистка сожалеет, что не смогла взять интервью раньше, и просит вспомнить, когда была последняя встреча с Муравленко и о чем они говорили.

– Встреча была вчера. О чем говорили? Я еще раз сказал спасибо учителю и старшему товарищу.

– А он? – осторожно спросила журналистка.

– Он помнит, как мы работали, критикует, что сегодня дела идут хуже, что плохо заботимся о тех, с кого начиналась слава и богатство родного края.

Он долго еще рассказывал ей о легендарном начальнике «Главтюменьнефтегаза»...

«Лес рубят – щепки летят» – это потом суть народной мудрости истолковали как оправдательный аргумент Сталина, якобы не считавшегося даже с человеческими жизнями во имя достижения поставленных целей. А ведь воистину не бывает дроворуба без щепы, это знает всякий, кто хоть раз был в лесу и держал в руках топор. Реше-



ние больших дел находится на грани возможного и невозможного. Нельзя выиграть бой, не имея неизбежных потерь. Наверное, отсюда и появилось фраза о победе ценой малой крови...

У послевоенного поколения были образцы людей, умеющих организовать и повести за собой людей и в бой, и в поле, и на поиски нефти. Руководить народно-хозяйственным комплексом — это не вести в бой армии и дивизии, здесь нет жертв, разве что по глупости или недосмотру какого-нибудь прораба; но четкое видение желаемого результата, понимание единственно верных к нему путей, тонкий расчет финансового, производственного потенциала и людских возможностей — все по тем меркам и по тем же критериям.

Появилось предложение воспользоваться ситуацией, и на окраине Ишима, южного, почти сельского городка области, построить не просто птичник, а современную птицеводческую фабрику. Председатель облисполкома не собирал совещания в кабинетной тиши, а вывоз руководителей строительных организаций Тюмени прямо в чистое поле. История умалчивает, знает ли отечественная и мировая практика производственного строительства подобные примеры, когда вчерне изготовленные чертежи-схемы комплекса переносились на местность по принципу: «Нечего тут мерить, ты ему рукой покажи!». Никитин шагал поперек обширного пригородного пустыря, оставляя после себя колышки, обозначающие размеры будущих корпусов, и после каждого обмера обращался то к одному из сопровождавших его строительных начальников:

- Это твой цех.
- Твой корпус.
- Принимай.

Когда после этой непродолжительной процедуры они вернулись в прохладный затемненный кабинет председателя Ишимского райисполкома, Никитин, все еще возбужденный и, видимо, подогреваемый необычностью вынашиваемого проекта, коротко сказал:

— У нас два месяца срока. Никто не снимает с вас ответственности за дела организаций, все планы и задания остаются в силе. Но там процесс более или менее отлажен, поручите управление заместителям и сделайте все, чтобы через два месяца, и ни днем позже, Ишимская птицефабрика приняла маточное поголовье.

— Владилен Валентинович, это невозможно, даже если мы построим корпуса. Нужна начинка, оборудование, корма, сами куры, наконец.

Никитин с усмешкой посмотрел на говорившего. К тому времени многие руководители уже знали, что лучше «не подставляться» председателю облисполкома, он умел одной фразой возразить, дать оценку, научить не задавать глупых вопросов и не умничать. Анекдотом прокатилась по области история о том, что встретивший его на границе своего района первый секретарь решил «подсластить» гостю и доложил, что асфальтированная дорога, по которой они едут, построена во исполнение наказов избирателей. «А если бы выборов не было?» — хмуро спросил Никитин, и надолго отбил у хозяина тягу к разговорам.

— Спасибо за беспокойство, дорогой, но оборудование уже заказано, и не переживай: петухов нестись не заставим, кур завезем. А вот если корпус не сдашь ко времени...

Густой мужской хохот испугал голубей на исполкомовской крыше...

— Сроки нереальны, Владилен Валентинович, практически нереальны.

— Теоретически — наверное, а практически... Отцы наши эвакуированные заводы в условиях сибирской зимы разворачивали в тайге, и через три месяца выдавали танки. Танки, заметьте, не яйца, а тут есть существенная разница. Закончим дискуссию. Через две недели мы определенно сможем сказать, кто умеет организовать работу в экстремальных условиях, а кто только разницу ищет между теорией и практикой. Все. Встречаемся в следующую пятницу.

Они встречались еженедельно, да и не по одному разу, многие из крупных строительных начальников жили в Ишиме безвыездно, контролируя и организовывая дело. Росли фундаменты и стены, днем и ночью из Тюмени поступал железобетон, без всякого идеологического вдохновения коллективы соревновались, кто быстрее выполнит задание. Никитин приезжал, смотрел все на месте, обсуждал с руководством ход строительства, высказывал резкие замечания по отставанию.

После поездок докладывал Богомякову. Тот, зная натуру своего товарища, спрашивал:

— Не очень круто, Владилен?

— Круто, Геннадий Павлович, но все оправдано, если к зиме получим продукцию, закроем потребности Ишима, и дадим дополнительно продукты Северу. Дело того стоит...

Как он и планировал, параллельно со строительством завозили и монтировали оборудование, все тюменские птицефабрики получили задание подготовить необходимое количество молодняка. Часть вопросов контролировал заместитель председателя облисполкома Ю.Р. Клат.

Два месяца напряженного труда строителей, монтажников, руководителей закончились полной готовностью нового производства, через день двор огласился птичьим гомоном. Торжеств по поводу открытия не было, и красных ленточек не разрезали. Никитин вместе со строительными руководителями обошел весь объект, поблагодарил строителей, пожелал успехов птицеводам, посмотрел на новенький красный флаг над дирекцией и уехал в Тюмень.

— Честно говоря, я не очень верил в возможность выполнения такого объема работ за столь короткое время, — сказал Богомяков. — Может быть, отметим начальников трестов?

— Я поблагодарил их от имени обкома и облисполкома.

— Считаешь, что этого достаточно?

— Считаю, что это награда, я только передал ее.

Очень скоро Ишимская птицефабрика вышла на производство нескольких тысяч тонн мяса в год.

Семидесятые годы — время крупных решений, их масштабы наблюдались во всем— от космоса до сельского хозяйства. Первый опыт показал, что свиноводческие комплексы действительно способны быстро закрыть мясной дефицит. Деньги для столь масштабного строительства государство находило. Тюмень в числе первых ухватила за эту возможность, остро ощущая нехватку мяса. Почти одновременно завершалось освоение плановых мощностей свинокомплексов в Карасуле, Шорохово, Новой Заимке. Сотни тысяч полновесных советских рублей были вложены в эти проекты, и они ответили таким количеством продукции, что Тюмень стала городом без мясных и колбасных очередей.

Никитин на одном из совещаний с руководителями сельских районов не отказал себе в удовольствии констатировать как факт зримого успеха тюменского крестьянства наличие такого количества продуктов в городских магазинах. Но следующая фраза председателя согнала благодушные улыбки:

— Но это еще не все. Впереди у нас более сложные задачи, и о них мы сегодня будем вести речь.

### 13.

Отношения Богомякова и Никитина, первого секретаря обкома и председателя облисполкома, были и служебными, и личными. Когда люди десять лет вместе отвечают за огромную область, встречаются каждый день, согласовывают важнейшие решения, мужественно пе-

реживают неудачи, трудно по-хорошему не заподозрить их во взаимных симпатиях. В то же время они, как говорил Никитин, «работали дружно, но не в обнимку». Он не чувствовал другой зависимости от первого, кроме зависимости от уважения.

Было, что их мнения не совпадали. Богомяков не давил силой властного авторитета, он предпочитал аргументировать свою позицию, после чего Никитин чаще всего соглашался.

Все вопросы развития области рассматривались очень тщательно. Историю области нельзя представить без Б.Е.Щербины, Г.П.Богомякова, многих других, кто принимал важнейшие решения. С проектных разработок вокруг каждого документа шла серьезная борьба.

Когда уже просматривалась огромная перспектива области на нефть и газ, в научных кругах возникло множество идей по поводу методов освоения этих несметных богатств, в которых вахтовый был не самым экзотическим. Предлагалось выселить людей, затопить газонефтеносные площади и осваивать их с плавучих платформ, как это делают на морских шельфах. Такой вариант можно было изучить, но, как у нас бывает, идея нашла неожиданное одобрение у самых влиятельных людей на верху, была опасность рассмотрения ее как основной. В область были приглашены ведущие специалисты Академии наук СССР, провели серьезное обсуждение и приняли рекомендации разрабатывать месторождения традиционным способом со строительством поселков-спутников и параллельным использованием в наиболее труднодоступных местах вахтового варианта.

Как-то Никитин увидел на рабочем столе Богомякова стопку книг, и успел прочитать несколько названий на корешках — это были новые романы советских писателей. ГП перехватил взгляд и пояснил, что сегодня получил бандероли из издательства.

Он много читал и много знал. Никитин видел, как легко и свободно общался он с приезжающими в область ведущими деятелями советской культуры.

Владилен Валентинович считает, что многие в области и стране не понимали Богомякова, воспринимали его в одной плоскости, а его надо видеть объемно. Он один из немногих теперь людей, обладающих уникальной информацией о Тюменской области, о большом и важном периоде ее развития вместе со страной, о ее выдающихся людях.

Он ко многим обращался на «ты», и это было чаще всего верным признаком уважения и особого расположения. Никитин редко об этом говорил, но всегда понимал, что как руководитель он вырос под влиянием Геннадия Павловича, а поскольку стиль ГП — «высказывай свое мнение и отстаивай его» — он никогда не опасался быть непонятым, никогда не оправдывался, а объяснял. Здравый смысл и взаимная доброжелательность были основой их отношений во время совместной работы.

#### 14.

Знать, не по собственной воле, не по душевному желанию попал в Сибирь род Никитиных, одна его веточка, один побег, но разросся, распустился, и поди, сыщи теперь всех Никитиных, по белому свету разбросанных. Вот и эта молодая женщина в столовой райцентра, она лицом так похожа на него, что Владилен поначалу даже смутился, а потом больше всего опасался, что кто-то из гостеприимных хозяев заметит сходство его с этой красивой и крепкой официанткой. Пройдя после обеда помыть руки на кухню, он спросил у пожилой повара фамилию молодухи, и даже обрадовался, когда услышал чужую. Но повара, помешав в котле и вытерев полотенцем пот со лба, постепенно добавила, что это фамилия мужнина, а девичестве та бабочка была Никитина.

Владилен жалел потом, что не поговорил с однофамилицей, возможно, сходство обликом не случайное, родной, может быть, человек встретился на пути, а он обошел, не спросил, не остановился...

С годами он чаще стал задумываться, кто он и откуда, сожалел, что почти нет близких родственников. Даже себе не мог объяснить причин этого чувства, но оно возникало и волновало, обозначая пустоты, которые остались от погибшего отца, от несостоявшихся сестер и братьев. Жена, сыновья — это свое, родное, это гаранты его счастья. У него много друзей, искренних, настоящих, не только по работе, но больше из детства, со школы и института, из тех краев, где «наследил» трудом и результатами. И все же, все же...

Он все собирался еще раз заглянуть в тот райцентр, найти ту официантку, но скоро не сумел выехать, а потом в делах и во времени та встреча стерлась, затуманилась. Но, видно, не до конца, не совсем, потому что наступал момент — и как зеленая поросль после дождя на вроде иссохшем уже склоне — брызнет она в сознании родным образом, берея генетическую память и трогая душу

## 15.

Всю уборку того года он провел в районах Ишимской зоны, где когда-то работал. Погода стояла хорошая, убирали дружно, настроение было прекрасное. Подъехали к комбайнам в Яровском совхозе Казанского района, механизаторы обедали, принимая от поварахи глубокие тарелки с густыми шами, в которых не понять, чего больше — картошки или мяса; и чуть поменьше тарелки с горкой картофельного пюре и двумя широкими, как рукавицы, котлетами.

Гости, а среди них больше хозяев, только что из столовой, от приглашения отказались и сели с механизаторами в тени развесистых берез. Никитин расспрашивал об оплате труда, как идет техника и когда думают закончить уборку. Мужики, сдерживаемые присутствием местного начальства, отвечали кратко. Как водится, Никитин спросил о просьбах, встречных вопросах.

— Есть вопрос, — молодой мужичек хотел было встать, но передумал и сел, где стоял, подобрав под себя ноги. — Вот у нас рыбхоз в Казанке, Яровское озеро ему понравилось, тут сырок и карп хорошо живут. Дело вроде правильное, только куда теперь бедному крестьянину податься? Мы все выросли на этом озере, в войну с него вся деревня кормилась, потому с голоду не сдохли, а теперь не то, что сеть поставить — выехать на стекло нельзя, поймают — ничем не отмажешься, попадешь в браконьеры. Правильно это?

Никитин посмотрел на председателя райисполкома Николая Петровича Хевролина, тот кивнул:

— Так и есть. Мы продублировали ваше решение, но на домашних озерах надо бы разрешить рыбалку, Владилен Валентинович.

— А как работает рыбхоз?

— Хорошо работает, по прошлому году добыл пятьсот тонн, больше половины рыба ценных пород.

Ничего конкретного Никитин сейчас сказать не мог, пообещал подумать, пошутил:

— При вашей зарплате, мужики, грех с сетями возиться, на пятерку купишь сырка до отвала, только косточкой не подавись.

— Э, нет, Владилен Валентинович, — в тон ему ответил комбайнер. — Как и в любом деле, тут не только результат, тут еще и процесс важен.

Шутку встретили дружным хохотом.

Рыбный вопрос имел продолжение уже в облисполкоме.

— Об этих письмах решил доложить вам лично, все они из сель-

хозрайонов, и касаются использования озер,— помощник положил на стол папку с письмами.

Он хорошо помнил начало этой истории. Под давлением Центра область тогда пошла навстречу предложениям Минрыбхоза и согласилась на передачу его хозяйствам всех сколько-нибудь пригодных для рыбоводства озер. Опираясь на этот документ и еще на какие-то ведомственные установки, рыбхозы объявили себя полновластными хозяевами на озерах, что вызвало резкое неприятие населения. Люди исстари селились возле озер, чтобы пользоваться тем, что предоставила им природа. И вдруг появилась организация, заявившая, что она хозяин на озере, а люди вокруг — потенциальные браконьеры.

Каждое обращение на тетрадных листах было подписано десятками фамилий, обратные адреса: Казанка, Бердюжье, Сладково, Армизон — районы, где созданы и неплохо работают рыбхозы. Но побочные явления явно не добавляют авторитета властям.

Через день на столе появилось заключение юридического отдела, подтверждающее правоту рыбхозов, запрещающих всякий промысел на освоенных ими озерах.

На письма он поручил ответить, что вопрос решается. Знакомый из Совмина посоветовал не проявлять инициативу, в постановление правительства изменения внесут едва ли, а неприятностей себе навнешь. В первой же поездке в Москву побывал в отделе ЦК, там не оставили никаких надежд, больше того, предупредили о недопустимости самоуправства. Еще раз убедился, что отделы руководящего органа партии превратились в отраслевые отделы соответствующих министерств, и что централизация достигла крайней отметки, когда бердюжскими озерами пытаются руководить из Москвы.

Но вопрос-то надо решать, людей, живущих у озера, нельзя отлучать от того, чем они пользовались веками. Никитин всю ситуацию доложил Богомякову, не утаив и разговор в ЦК, предложил принять специальное решение облисполкома, регулирующее взаимоотношения рыбхозов и населения на озерах деревенских, так называемых домашних. ГП согласился, но предупредил: готовься, сопротивление будет большое.

Решение приняли и опубликовали в печати. Граждане получали возможность рыбачить в установленные сроки несколькими сетями с ограниченным размером ячеи. Кажется, компромисс был найден, но «телега» в столицу все-таки ушла, и началось то, о чем предупреждал Богомяков. Телефонных звонков было много, но этим дело не ограничилось.

Никитину доложили, что в приемной заместитель министра рыбного хозяйства. О его вылете в Тюмень он уже знал, попросил пригласить.

— Да как вы смели принять такое решение!?! — с порога закричал гость. Никитин был готов к разговору и держал себя в руках, подозрительно спокойно объяснил, почему область вынуждена была пойти на такие меры. С первой фразы понял, что слова отскакивают от гостя, как от стенки горох, но когда тот перебил хозяина кабинета, Никитин резко изменил тон и спокойно сказал:

— Вон отсюда!

Гость сидел, вытаращив глаза.

— Ты что, не понял? Выйди из кабинета. Если сам не можешь, то я помогу.

Реакция последовала незамедлительно: звонок из министерства, из Совмина, потом из ЦК. Богомяков осторожно пересказал Никитину разговор с ответработником ЦК, в котором тот настаивал на освобождении от должности председателя облисполкома, допустившего бестактность по отношению к работнику Центра.

— Ты его крепко? — спросил ГП.

— Крепче некуда.

— Тогда терпи.

Страсти улеглись довольно скоро, но Никитин вывод для себя сделал: если ты прав — защищай свою правоту, не по матушке, конечно, но до конца, до предела. Много позже, бывая на родине, он узнавал, что деревенских рыбаков никто особо не притесняет в их простецком промысле, и с улыбкой вспоминал заваруху, случившуюся с вопросом о водопользовании...

## 16.

Февральским вечером позвонили из аппарата Верховного Совета СССР и предложили в составе парламентской делегации поехать в королевство Марокко.

— Какая сейчас там погода? — спросил Никитин.

— Жара, — ответил чиновник аппарата. — Во всяком случае, Владилен Валентинович, теплее, чем у вас в Тюмени.

«Это точно», — подумал он и отодвинул тяжелую портьеру окна: наружный термометр показывал ниже тридцати.

До столицы государства города Рабат добрались без особых приключений, в аэропорту советскую делегацию встречала большая груп-



па депутатов законодательного органа королевства, однопалатной палаты представителей во главе с молодой красивой женщиной. Осыпав любезностями, хозяева проводили гостей в отель и предложили встретиться через четыре часа.

Делегация имела четкие инструкции руководства и согласованную программу визита, ничего особенного и сложного, стандартный набор встреч и бесед.

На пороге зала приемов гостей встретила та же красивая гостеприимная хозяйка, радушие и благожелательность в переводах не нуждаются.

— Господа, вы можете называть меня по имени — Амина, я независимый депутат, руководитель парламентского комитета по вопросам женщин нашего королевства, по профессии врач, училась во Франции, у меня хорошая клиника, — сказала она. — Я буду сопровождать вашу делегацию, таково поручение руководителя палаты. Надеюсь, наше общение будет приятным, — и она пригласила в зал, где уже собралась большая группа депутатов, в основном мужчин. Делегация Верховного Совета тоже была чисто мужской, потому Амина выделялась в среде сосредоточенных мужчин красивым строгим платьем и открытой улыбкой.

— Владилен, почему наши депутатки так не одеваются, как Амина? — возмущался за ужином ровесник и давний знакомый по работе в парламентской комиссии ВС, которую возглавлял Никитин, рабочий депутат Виктор. — Ведь красивые у нас бабы, а посмотришь — одеты как-то скучно, официально.

Никитин засмеялся:

— Наши в официальной обстановке сразу перестают быть женщинами, они становятся депутатами, членами и делегатами. Но главное, чтобы в головах порядок у каждого свой был.

— Да, голова поважнее костюма будет, — согласился Виктор.

Амина вместе с делегацией посещала предприятия по переработке сельхозпродукции, государственные и частные школы, больницы. Никитин много говорил с ней, при посадке в машину поддерживал под локоть, и она с улыбкой заметила, что это в полном соответствии с официальным, но не местным этикетом. Арабская страна хоть и не очень строго, но придерживалась своих обычаев.

Рассказ Никитина о жизни коренных народов Тюменского Севера неожиданно вызвал у хозяйки серьезный интерес:

— Господин Никитин, я могу поехать к вам, посмотреть местные

условия и построить большую клинику для ваших народов. Думаю, это будет выгодный бизнес. Это не противоречит вашим законам?

Что он мог ответить ей, человеку с другого края земли, проявившему такое сочувствие к трудностям неизвестных ей народов? Иного своего руководителя годами приходится убеждать, что надо, наконец, из огромного объема государственных вложений выделить толику для больницы или детсада. Все, в конце концов, решают люди, даже после почти случайного официального знакомства.

Визит был кратким, перед отлетом прием в палате представителей, пышные речи марокканских политиков, дежурное ответное слово членов советской делегации. Закончив официальную часть речи, Никитин повернулся в сторону Амины:

— Сердечно благодарю вас, госпожа Амина, за то, что вы всегда были с нами, заботились о нас. Поверьте, мы всегда будем помнить, что в далекой Африке живет такая чудесная женщина. Спасибо вам.

После перевода Амина слегка смутилась, мужчины аплодировали, наверное, чуть энергичнее, чем допустимо на официальных приемах.

— Мы можем пока не прощаться, я провожаю вас в аэропорт, — сказала Амина. Самолет уже был готов к отправке. У трапа, еще раз пожав хрупкую руку хозяйки, Никитин, внутренне освободившись от бремени парламентских обуз, чисто по-мужски, по-русски сказал:

— Не хочется с вами расставаться, Амина. Жаль, что я женатый человек, а то увез бы вас в Тюмень.

Она улыбнулась:

— Законы моей страны разрешают быть второй женой, и я готова лететь с вами.

Переводчик проговорил эту фразу быстро и бесстрастно, как это умеют только переводчики, а в арабской речи Амины Владилена улавливал тонкостей интонации — шутка, конечно, не могла она так говорить всерьез. Приходилось разыгрывать им же предложенную ситуацию, импровизировать и не терять достоинства.

— Ну что вы, Амина, нельзя вам в Сибирь, у нас сейчас сорок градусов мороза.

Женщина вела свою игру более тонко, перехватывая инициативу:

— Я состоятельный человек, я лечу в Париж и покупаю самую теплую шубу, — в ее голосе не было насмешки, не было и просьбы, она как бы приглашала к дальнейшей игре в слова. Никитин явно смутился, еще раз поклонился даме и поцеловал руку, сказав, словно извиняясь:

– Вам не придется этого делать, Амина.

Самолет взял курс на Европу. Никто из товарищей не беспокоил Никитина вопросами. Он смотрел в иллюминатор на уплывающее из-под ног Марокко и думал об открытой, и в то же время загадочной африканской женщине. Она рассказала все о своей французской учебе, о работе в парламенте, о клинике, но ничего — о своей семье, о личной жизни. Если здесь это не принято, то разговор у трапа отступление от нормы, возвращение к женским началам и просто бабий душевный выплеск...

## 17.

Другая, сугубо мужская окраска еще одного визита запомнилась Никитину на всю жизнь: республика Того, 1982 год.

За сутки перелета из Москвы в столицу Тоголезской республики Ломе члены советской парламентской делегации стали больше похожи на измотанных туристов, чем на официальных лиц. Никитин, самый рослый и крепкий из всех, невесело пошутил:

– Товарищи, в отеле душ, чашка местного кофе, и на прием в Национальное собрание.

Товарищи шутку не приняли, Никитин, как руководитель делегации, знал программу и, вполне возможно, просто информировал о порядке работы.

Визит депутатской делегации был почти формальным, предстояли встречи в местном парламенте, обмен опытом, обсуждение общих проблем. Делегацию сформировали не сразу, многие депутаты отказывались лететь на край света в никому неизвестное Того, а Никитин согласился сразу. Ему нравилось бывать там, где нет границы между реальностью и сказкой, между прошлым и настоящим. В страны Африки и Латинской Америки он ездил с удовольствием, к удивлению руководства, не только не просил включить в делегации для поездки в Европу или Штаты, но отказывался, когда предлагали.

– Это замечательно, что вы охотно идете на африканское направление, ваша внешность для таких мест идеально подходит, — польстила ему пожилая сотрудница аппарата Верховного Совета.

– Что вы имеете в виду? — Никитин так выразительно на нее посмотрел, что та смутилась и пролепетала что-то о фигуре крепкого русского мужика. Тут она была права, Никитин легко конкурировал с рослыми африканцами, и возможно, кому-то из руководства нравилось, что советская страна представлена столь внушительно.

Номер в отеле Владилену не очень понравился, какой-то унылый, серый, но холодный душ и крепкий ароматный кофе восстановили силы, и через пару часов он уже беседовал с депутатами Народного Собрания. На родине только что похоронили Л.И.Брежнева, Никитин принимал соболезнования и заверял в неизменности курса. Менялись кабинеты, темы, визит подходил к концу.

В программе была встреча руководителя делегации с Президентом Того, но Никитина предупредили, что Президент может посчитать уровень делегации не достаточно высоким, и встреча, возможно, не состоится.

— Ничего не случится, если не встретимся, — резко ответил Никитин. — Наша задача — поддерживать межпарламентское сотрудничество, мы ее выполнили, а Президент может принимать или не принимать — это его дело.

Он знал, что Президент генерал Эйадема имеет огромный авторитет у своего народа, его портреты не только на стенах зданий и в газетах — они на майках, на автомобилях и в самых неподходящих местах. О Президенте ходили легенды: он все видит и все знает, он разоблачил несколько путчей, он бессмертен, его самолет трижды падал, но президент остался жив и невредим.

Утром накануне отъезда Никитину сообщили, что Президент примет советского гостя, но только очень коротко, буквально для протокола. «Черт с ним, схожу, если интересы политики того требуют, хотя на мой характер...»

Во дворце все говорило о скором отъезде хозяина: стоял кортеж машин, бегала обслуга, охрана посматривала на часы. Президент сидел в глубоком кресле — здоровый большеголовый негр. По обе стороны две неподвижные черные собаки, и только цепкие глаза выдавали их готовность броситься по первому жесту хозяина. Сзади так же неподвижно стояли два телохранителя.

После приветствия и обмена любезностями Никитин осторожно открыл портфель и вынул двух белых куропаток — чучела, искусно приготовленные северными тюменскими мастерами. Владилен не ожидал такого эффекта: затемненный зал, черная охрана, черные собаки, черный Президент, и две белоснежные птицы, как светлое послание из другого мира, как радость, как сказка.

— Что это?! — Президент горящими глазами глядел на чудо.

— Эти птицы живут на моей родине, на Севере, на другом конце земли. Их зовут белые куропатки.

— Там есть охота?

— Конечно, там замечательная охота. — Владилен знал, что говорил, потому что, бывая в северных командировках, выкраивал денек для любимого занятия.

Когда сотрудник службы протокола вошел во второй раз и напомнил о времени выезда, Президент выгнал и его, и охранников и собак, пересел из роскошного кресла ближе к гостю и попросил со слезами на глазах:

— Еще расскажи...

Четыре часа просидели два заядлых охотника, в полном соответствии с этим статусом рассказывая друг другу охотничьи были и небывлицы, загоня переводчика в тупик: как перевести на французский классическое русское: «Я его сначала ошарашил, а потом к-а-а-к...!»

— Все! Решено! Приглашаю тебя завтра на слоновью охоту! Ты у себя на севере еще неизвестно, когда слонов пострелять сможешь, я хочу, чтобы ты рассказал там, у себя, о нашей охоте. Ты хороший парень и хороший охотник!

— Я не могу, дорогой генерал, завтра заключительная встреча в Народном собрании и вылет на родину.

— К черту собрание!

— Не могу..

Президент очень огорчился, но потом смирился, они простились, крепко стискивая друг друга в плечах.

В отеле он был удивлен небывалой прежде предусмотрительностью и вниманием персонала, ему и всем членам делегации тут же предложили более комфортабельные номера.

Парламентарии уже складывали чемоданы, когда Никитина пригласили в вестибюль. Два крепких парня на уровне плеч держали большой ящик с ручками.

— Господин Никитин из Страны Белых Куропаток? Примите подарок от Президента.

— Что это?

— Бивня слона, которого Президент убил вчера на охоте.

— Но я не смогу вывезти бивни из страны, это запрещено вашими законами.

— Президент специально для вас изменил закон, все формальности улажены.

Никитин действительно благополучно довез бивни африканско-

го слона до Москвы. Он часто вспоминал о знойной Африке, о черном Президенте («чернее не бывает») и о белых куропатках, так круто изменивших ход беседы двух политиков и подтвердивших истину, что и в дипломатии человеческие отношения являются важным фактором.

## 18.

Никитину нравилось работать с Николаем Константиновичем Байбаковым. Много лет возглавляя Госплан Союза, он знал экономику страны во всех измерениях, умел определять главные направления ее развития и регионы перспективных капиталовложений. Поэтому он с удовольствием бывал в Тюмени, хотя расстояния и нагрузки выматывали его. Он умел создать вокруг себя творческую атмосферу поиска оптимальных решений. Под его влияние люди попадали сразу и очень продуктивно работали. Никитин видел все это, и сам, покоренный силой и энергией такого человека, становился уверенней и крепче.

Было уже за полночь, когда в кабинете Богомякова закончили обсуждение результатов поездки по Северу Председателя Госплана. Он часто бывал в области, координируя на месте деятельность многих и многих ведомств и министерств, уточняя объемы требуемых капитальных вложений и анализируя эффективность освоения выделенных. Вся страна знала, что область стремится к суточной добыче миллиона тонн нефти и миллиарда кубометров природного газа, что есть все основания надеяться на выход к этим показателям в ближайшие месяцы.

Байбаков заметно устал за четверо суток перелетов и переездов, совещаний и разговоров со специалистами, острых вопросов и недосяпания, но был удовлетворен работой.

— У меня самые хорошие впечатления от встреч с вашими людьми, — сказал он, — хотя замечу: не все так, как хотелось бы. Обратите внимание на мои замечания, на будущей неделе встретимся в Москве с вами, Геннадий Павлович, или с вами, Владилен Валентинович. Не хотел опережать события, но, видимо, придется. В ближайшее время будете встречать Алексея Николаевича. Он давно собирался к вам, но сейчас, похоже, вопрос решен, потому что просил подготовить самую подробную информацию по области.

Никитин еще не встречался с Председателем Совета Министров СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным, потому с особым

волнением вместе с Богомяковым встречал его в аэропорту «Рошино». Косыгин сдержанно поздоровался и прошел к машине. Началась серьезная и объемная работа. После продолжительного разговора в обкоме все руководство вылетело на Север. Гость предупредил, чтобы не устраивали встреч, нельзя терять времени. Поэтому до конца дня успели побывать на промыслах, встретились с руководителями нефтедобывающих предприятий региона. Вечером опять разговор в узком кругу. Никитин поражался памяти этого человека, хранящей сотни цифр не только союзной статистики, но и чисто тюменские показатели. Неожиданным было и ровное, уважительное отношение высокого гостя ко всем участникам встреч и разговоров, он никогда не повышал голоса, вопросы задавал негромко и очень конкретно, в случае заминки отвечающего с сожалением качал головой.

После визитов ответственных работников на область не сыпались, как из рога изобилия, материальные ресурсы и деньги, но дела заметно улучшались. Глубокое проникновение в суть вопросов заставляло руководителей всех уровней находить ошибки и просчеты, устранять их и добиваться положительных результатов. Наверное, это и надо было считать теми внутренними резервами, о необходимости поиска которых все время говорили идеологи и пресса.

Бывший первый секретарь обкома, министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности Б.Е.Щербина прилетал в родные места чуть ли не ежемесячно. И дело не в том, что после многих лет работы здесь остались друзья и товарищи, а в том, что Тюмень была передним краем и для его министерства, как она была для него определяющим регионом, когда он стал Заместителем Председателя Совета Министров СССР, курирующим вопросы топливно-энергетического комплекса страны. Щербина приезжал не отдыхать, а работать, и вместе с ним по двадцать часов в сутки были на ногах руководители области.

Никитин однажды в течении года отмечал в карманном календарике дни, в которые в области находились представители центральных органов его уровня приема, и под Новый год показал наблюдения Богомякову. От души посмеялись: редкие дни не были помечены. Ни тот, ни другой ни словом не обмолвились о дополнительных заботах, нагрузках и, что греха таить, волнениях в связи с приездом партийных и государственных руководителей

## 19.

Всю жизнь у Владилена Валентиновича был ненормированный рабочий день. Это значит, что работа становилась основной частью жизни, она не давала свободы для беззаботности, праздности, увлечений, даже для друзей и родных.

Сыновья Виктор и Александр видели отца не часто, он не имел возможности вмешиваться в их школьные дела, но мама Элеонора Александровна, если это требовалось, обращалась к авторитету папы:

— Что я скажу вечером отцу?

В семье был муж и отец, но никогда не было высокого должностного лица. Элеонора Александровна работала, распространенная на Тюменщине фамилия позволяла ей быть не особенно заметной, ее руководителей никто в известность не ставил, сама гражданка Никитина ничем и никогда родства с «тем» Никитиным не выказывала. Но было...

— Лора, поговори со своим, пусть он даст нам трехкомнатную квартиру, — смущенно попросила ее подруга-сотрудница. — Не бойся, я никому не скажу, я сама случайно узнала, что он твой муж.

— Ты можешь говорить или не говорить — это ничего не меняет. Муж не обсуждает со мной свои служебные дела, и у нас не принято просить. Даже если я ему что-то скажу, это ничего не изменит, поверь мне.

Скорее всего, ей не верили, но она никого не собиралась убеждать.

Виктор заканчивал среднюю школу, мама, обеспокоенная надвигающимся временем выбора, спросила мужа, что он хочет посоветовать сыну. За поздним ужином произошел конструктивный разговор.

— Я думаю, что ему следует учиться, — просто сказал Владилен Валентинович. — А где — это ему решать. Ты же не думаешь, что мы с тобой должны это определять. Ты после школы из заштатного Заводоуковска уехала в Москву и закончила один из лучших вузов страны. Я тоже, между прочим, без нянек, помотавшись по Сибири, нашел свое место.

Наверное, он считал единственно правильным и нормальным, когда юноши — тем более юноши! — сами определяют свой путь в жизни. Он полагался на их сообразительность и соответствующую возрасту степень ума, немножко на пример свой и мамы, всегда бывших рядом и всегда выполнявших нужную и интересную работу. Наконец, он полагался на необоримое вмешательство породы Никитиных, доподлинных корней которой он еще не знал, но чувство-



вал, что он не один в этом мире, и знал, что это понимание придет и к его сыновьям.

Сыновья закончили сельскохозяйственный институт, оба стали инженерами, как и отец, оба служили в Советской Армии. Военный комиссар немало был озадачен, когда ему на стол положили призывные документы Никитиных— вчерашнего школьника и выпускника вуза. Это сыновья Никитина, которого он знал как председателя облисполкома, способного спросить не только с полковника, спросить до пота, до неожиданно гулкого пульса в ушах. Но он не знал его как отца, и мог только предположить, как тот отнесется сразу к двум повесткам в его семью.

На очередной семейной встрече, уже после отправки ребят в войска, родственники за столом допытывались:

— Скажи, Владилен, у тебя в самом деле был военком по поводу ребят?

— У меня много людей бывает, - уклончиво ответил Никитин.

— По городу ходят байки, будь-то пришел к тебе чин и спрашивает, как быть с сыновьями, призывать их или выдать «белые» билеты?

— Интересно. А дальше?

— Что вылетел он из твоего кабинета, фуражку подхватил и ходу. А ты за ним дверь с такой силой хлопнул, что чуть портьеры не отскочили. Было?

— Ну, это напрасно. Портьеры у нас в здании хорошо закреплены.

## 20.

Выйдя на невиданные объемы добычи нефти и газа, область не снимала с маршрутов геологические партии, регулярно подтверждая крупные подземные залежи углеводородного сырья. В результате страна имела положительный баланс по нефти и газу, прирост разведанных запасов превышал добычу. Казалось, этому чуду не будет конца...

Страна зарабатывала на экспорте топлива огромные деньги, часть их возвращалась к истокам — в регион добычи, и превращалась в красивые дома, элегантные кинотеатры, больницы, детские сады и школы — в современные города. Когда на сессии Верховного Совета страны Никитин доложил, что усилиями всего советского народа на севере Тюменской области ежегодно в суммарном выражении вырастает новый город на 200 тысяч жителей, зал встретил его слова аплодисментами. Фразу о том, что Тюмень на строительстве осваивает

средств больше, чем Украина, он предусмотрительно выбросил, чтобы не обижать украинских товарищей и не заводить никого по поводу «чрезмерной помощи Тюмени».

В этот раз на Север он улетал без объяснения жене, надолго ли, сказал только:

— Я буду звонить, не беспокойся, северные медведи меня знают, не заломают. — Но два дня не звонил, и только вечером, часов в шесть, сказал коротко:

— Все закончил, вылетаю, буду часов в десять.

Он ввалился в квартиру, пахнувший морозом и тайгой, бросил в кресло портфель и обнял жену:

— Ты представить себе не можешь, Лора, какие события произошли в эти дни!

Элеонора Александровна редко видела мужа в столь взволнованном состоянии, она ничего не спрашивала, ждала, потому что он сам расскажет все.

— Ты помнишь, в Усово мы отводили место под строительство новых домов? Это был праздник, новая улица появится! А сегодня я отводил место (вдумайся, Лора!), отводил площадку под строительство города. На Севере будет новый город. Имя ему красивое дали: Ноябрьск. Площадку определили, началось проектирование. Мы пришли в те края всерьез и надолго, это точно!

Финансирование строительства жилья и объектов социального назначения шло в основном через облисполком, и Никитин отвечал за каждый рубль. На селе при нехватке специализированных строительных организаций развивалось строительство хозяйственным способом, когда сами руководители находили материалы, людей и технику, а государство выделяло средства. Никитин хорошо знал строительную обстановку, и для себя делил руководителей на тех, кто ищет способ, как построить, и кто ищет довод, как оправдаться, что не строит.

Первую роль в организации строительства играли, как это ни странно звучит, первые секретари райкомов партии. Никитин, бывая в районах, встречался с ними, помогал финансированием, решал все возникающие вопросы. «Хорошо помогать тому, кто сам работает» — Никитин повторял эту фразу часто, и она полностью отражала его отношение к инициативным и предприимчивым людям.

На встрече со студентами Тюменского сельхозинститута его попросили построить первый в городе закрытый плавательный бассейн именно

в их институте. Никитин мог отказаться, сославшись на отсутствие подобных объектов в планах, да в ближайшее время и не будет, потому что все средства государство направляет на Север, но аргументы показались слишком громоздкими и не очень понятными для молодежи, и он осторожно, с оговоркой, пообещал поискать возможность.

Одного из своих старых и надежных знакомых, руководителя строительного треста, работающего в основном в северных краях, он попросил, считая момент подходящим, выручить его:

— Пообещал сельхозинституту плавательный бассейн, а ничего не получается. Не дело, в конце концов, что в нашем городе нет ни одного плавательного бассейна! Тебе не обидно?

— Да я как-то не думал.

— А ты подумай.

— Говори прямо, Владилен Валентинович, знаю, что втянешь меня в историю.

— Втяну! Сделай бассейн, где-нибудь в Урае хозпостройкой расходы закроем.

Вряд ли молодая крестьянская поросль студентов, плескаясь в чистой воде первого тюменского бассейна, подумать могла, что создан он как склад для хранения стройматериалов в далеком северном городе. Никитин был убежден, что подобные злоупотребления властью государство ему простит. А других он не имел.

Какое-то московское ведомство запретило индивидуальное жилищное строительство в областных центрах, обосновав такое решение необходимостью возведения современных микрорайонов из многоэтажных построек. В Тюменский горисполком поступали десятки заявок от людей, желающих построить свои собственные жилые дома, а власти, выполняя указание сверху, писали отказы. Волна возмущения и негодования переметнулась в областные инстанции, и Никитин в рабочем порядке поручил заместителю изучить вопрос основательно. Ему доложили: до сотни граждан ежегодно просят отвести место под индивидуальное строительство, а некоторые просто разрешить на месте снесенного дома построить новый. Поручил подготовить проект решения облисполкома с положительным результатом рассмотрения обращения граждан. Юрист облисполкома визировать проект отказался.

— Почему? — спросил его Никитин.

— Решение незаконно, Владилен Валентинович, его все равно отменят.

— Ты его завизируй, а я подпишу. Если отменят — нам с тобой общат, а люди будут строить свои дома со ссылкой на наше решение.

Город получил формально незаконное решение, и жилищное строительство под контролем архитекторов развернулось на всех его окраинах.

## 21.

Каждый год Москва давала большое количество знаков для награждения особо отличившихся передовиков социалистического соревнования и руководителей производства. То один, то другой крупный хозяйственник получал Ленинскую или Государственную премию, Звезду Героя Социалистического Труда, почетное звание. Никитин горячо поздравлял свежих кавалеров, иногда по поручению Центра лично вручал награды, и никогда его не смущало, что тюменский газ и тюменскую нефть связывают с именами лауреатов и орденосцев, им куют золотые знаки и пишут вензели почетных дипломов. Руководителей области награждали редко, и это было нормально. Считалось, что они выполняют свой долг, что во всех наградах, заработанных в области, есть и их доля. Они не были выше этих наград и самих награжденных, они просто были чуть в стороне. Часть этого почета зачислялась на их невидимые и неосязаемые счета.

Борис Евдокимович Щербина много сил вложил в Тюмень и хлебную, и газово-нефтяную, воспитал и собрал в единую команду столько выдающихся специалистов, давших жизнь Тюменскому топливно-энергетическому комплексу и ставших со временем министрами союзного правительства, Героями и лауреатами. Он ушел из области на повышение, и рубцов на сердце было у него больше, чем орден. Героем Социалистического Труда он стал в связи с 70-летием со дня рождения, будучи Зампредом Правительства СССР.

В Совете национальностей Верховного Совета страны депутату Никитину поручили возглавить комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, и работы оказалось много, особенно при формировании бюджета. Депутаты жили в Москве неделями, обсуждая вопросы и готовя решения, встречаясь со членами правительства, отстаивая интересы своих регионов и округов. Потому сессии и проходили в несколько дней без особых заминок и сбоек, что была проведена огромная подготовительная работа. Никитин вместе с другими тюменскими депутатами защищал интересы области, ходил на заседа-

ния других комиссий, и, если считал, что не все предложения пройдут, брал слово на заседании палат или совета.

Некоторое время спустя он оценит тюменский период своей работы как самый чистый. Легко не было, два фактора сдерживали работу: катастрофическая нехватка времени и постоянный дефицит материальных ресурсов. Все остальное было с избытком: энтузиазм деятелей, а не говорунов; энергия молодых и крепких руководителей, сильных не только духом; братство и товарищество, предполагающие жесткую критику, а если надо, то и выволочку. Наконец, все были охвачены феноменом необозримой перспективы региона. Они занимались не политикой. Они занимались экономикой. А это выше политики. Это вообще ее основа.

## 22.

Никитин не мог знать, что министр сельского хозяйства РСФСР Леонид Яковлевич Флорентьев, проработавший в этой должности 17 лет, уходя в отставку, в числе других возможных кандидатов на освободившуюся должность предложил и председателя Тюменского облисполкома. Тогда назначение получил Виктор Петрович Никонов, будущий секретарь ЦК по селу. Шел десятый год служения Владилена Валентиновича в должности председателя, с первым секретарем обкома Богомяковым они составляли интересную творческую пару. У них сложились хорошие должностные и личные отношения, что в любой работе, имеет определяющее значение. Каждый день приносил новые вопросы, и каждый день, каждый год – как первый: напряженный, интересный и трудный.

Никитин не согласился с заявлением одной модной руководящей киногероини, что трудно научиться управлять тремя, а дальнейшее количество подчиненных уже значения не имеет. Руководить вообще сложно, три человека у тебя в подчинении или тысячи. Есть производство, объективные возможности его развития, есть возможности руководителя. Если есть рост продукции на выходе, в чем бы она не измерялась – в тоннах, кубометрах, рублях, зарплате людей, их благосостоянии, собственном удовлетворении – можно говорить о руководителе как о состоявшемся. Мера всему – эффективность производства.

Как всякий человек, имеющий способности организатора и лидера, он умел определить в человеке главное. Опыт и навыки можно приобрести в процессе работы, но порядочность, если ее нет, не по-

лучишь вместе с записью в трудовой книжке, ее не раздают в профкомах по случаю праздников.

В кругу друзей высказывал сожаление, что ушли в прошлое дуэли, и само понятие человеческой чести как-то изменилось. Бывают случаи, когда надо в морду дать подлещу, но тебя же посадят, назвав это хулиганством. А как себя защитить? Ну, не писать же, в конце концов, заявление в партийную организацию!

«Честь имею!» — не просто слова из лексики тех времен, это и обозначение позиции, и отношение к собеседнику, и утверждение собственного статуса. Надо иметь право так сказать. И как многие такое право утратили или не имели вовсе!

В значительной степени это черта поколения, воспитанного в духе постоянного борения с трудностями. Но это и черта характера Никитиных — не искать легких путей в жизни.

Его направляли преподавателем в сельскохозяйственный техникум, читай себе лекции в тепле и за ветром — он идет на инженерную должность. Когда расформировали Ишимское межрайонное управление, начальник, однофамилец, крутой и решительный человек Петр Александрович Никитин, предложил остаться в городе: квартира есть, работу подыщем. Нет, Владилен поехал в Казанский район, а оттуда еще глубже, в Усовский совхоз, из-за чего пришлось бросить аспирантуру, потому что невозможно одновременно хорошо руководить хозяйством и успешно готовить кандидатскую диссертацию.

Никитин называл это изучением жизни снизу, познавать обстановку сверху — пустое дело. Следование этому правилу привело к формированию качеств и знаний, необходимых для большой и ответственной работы.

Назначение министром сельского хозяйства РСФСР состоялось в 1985 году. Тюмень покидал с тяжелым чувством. Здесь знал буквально всех, вплоть до руководителей хозяйств,строек, промыслов. Здесь все было, как дома. Он в своем смятении был похож на дерево, перемещенное в другие условия, дерево взрослое, вросшее в грунт основательно, со своей кроной и тенью. Наверное, сказывался и возраст, все-таки под 50 — это не 27 усовских и не исетских 33 года...

Оказывается, будучи уже длительное время государственным служащим, и, следовательно, чиновником, он себя к этой категории не относил, впрочем, не находя у себя страсти к бумажному творчеству и перемальванию одной и той же темы в десятках документов. Он не любил чиновников в чистом виде и не понимал их.

Структура министерства показалась ему излишне сложной и громоздкой, но он не знал пока, как можно ее изменить, не сделав хуже. Но некоторые изменения произошли очень скоро. Запретил запрашивать какие-либо бумаги с мест сверх того, что установлено общим порядком, зная, сколько хлопот доставляют эти срочные телеграммы, зная и то, что чуть выше, в Совмине и ЦК, сидят люди, которым крайне нужна горячая оперативная информация, чтобы при случае блеснуть перед вышестоящими тончайшими знаниями обстановки в территориях. Был у Никитина еще один довод, для себя. Он хорошо знал, как рождается оперативная информация, ведь ее истоки — в первичных ячейках производства, директорам и председателям которых ой как не до нее, когда бухгалтер стоит над душой: «Сколько народилось поросят, район спрашивает?» «Скажи: двадцать», хотя знает, что не более десяти. Потом все это корректируется в районе, в области, и завтра счастливый чиновник ублажает начальника такой цифрой, что у того возникает желание незамедлительно поделиться приплодом со странами социалистической ориентации, если, конечно, там разрешено вкушать свинину. Никитин хорошо знал, что начальству стремятся говорить то, что оно желает услышать, и невозможно руководить, не владея обстановкой.

Первым после представления на заседании Совета Министров его поздравил Юрий Серафимович Мелентьев, министр культуры. Он был депутатом Верховного Совета России от области, они часто встречались, министр активно помогал районам своего округа и области в целом.

— Мы с вами будем сотрудничать, все программы развития сельской культуры мы разрабатываем совместно с вашим ведомством, так что будем дружить...

— ...министерствами, — со смехом дополнил Никитин.

Мелентьев, несмотря на «неключевую роль» своего ведомства, был в Совмине человеком заметным и авторитетным, с ним считались и мнение его выслушивали с интересом. Чаще всего выходя на трибуну не с рапортами о победах, а с проблемами культуры огромной республики, Мелентьев находил убедительные доводы и веские слова, никогда не казался просящим, но разъясняющим, ведущим, инициативным. Никитин знал, что столь высокая трибуна, с которой даже министр может сойти безработным, высвечивает человека, всю его сущность. Тут не словчишь, не спрячешься, не попросишь время на

подготовку — экспромт, экзамен, зачет на знание дела. Мелентьев показывал примеры в умении достойно завершить самый неприятный официальный разговор.

Год прихода Никитина в Москву стал началом поиска новых форм организации труда в сельском хозяйстве. Секретарь ЦК Никонов, бывший недавно российским министром, собрав всех, кто имел отношение к селу, поставил задачу:

— Новые формы работы в сельском хозяйстве мы не считаем самоцелью, они лишь средство достижения более высоких результатов. Мы не должны ничего придумывать, наша забота — найти в практике или науке ростки новых экономических отношений и развить их. Идеи должны пойти снизу, но, как вы понимаете, они не могут возникнуть на всей плоскости сельхоздеятельности, найти эти места, эти коллективы, поддержать идею, дать ей жизнь...

У Никитина еще по Тюмени были хорошие связи с новосибирскими учеными, и он попросил их познакомить с новыми разработками в организации труда. С этого началось обращение к арендным отношениям как способу вывести, наконец, крестьян к результатам труда, отбросив в прошлое приоритет отработанных часов и наработанных гектаров.

## 23.

В первые же дни работы в министерстве он попросил своих заместителей в меру их полномочий незамедлительно решать все вопросы Тюмени.

— Прошу об этом не потому, что я выходец из тех краев, а потому, что проработал там 25 лет и хорошо знаю, какое бремя по обеспечению продуктами нефтегазового комплекса несет тюменская деревня, как ей нелегко даже в сравнении с другими регионами. С областью будем работать, исходя из того, что она сегодня определяет экономическую мощь страны. Обращаются тюменцы — решайте положительно, не можете — я помогу. Это моя позиция как государственного работника. Прошу об этом помнить всегда.

А гости с родины бывали часто. Регулярно заходил Богомяков, и не только повидаться, но и поставить перед министром ряд вопросов. Никитин улыбался и обещал решить. Председатель облигпрома молодой красавец Борис Васильевич Прокопчук, сладковский не только по месту начала карьеры, но и по рождению, приходил к Никитину с его согласия, минуя главки и заместителей. Бывали руково-



дители колхозов и совхозов, просто знакомые по совместной работе. Но были особенно радостные встречи.

Из приемной сообщили, что пришел Александр Ковалев из села Усово Тюменской области и просит доложить. Саша, совхозный снабженец, выполнявший любые поручения, «толкающий» любые вопросы в областных снабженческих органах. Жена, бывало, жаловалась, что уехал, последние деньги из дома взял, хлеба купить не на что, и Никитин отправлял ее в совхозную кассу за авансом.

Саша вошел смущенный, неожиданно прилично одетый, с портфелем. Обнялись, обменялись вопросами, как семьи, как дети.

— А я все по снабжению, Владилен Валентинович, мотаюсь, — сказал гость.

— В столицу тоже по нужде?

— На юг путевку дали, решил вот к вам заглянуть. Кое-как нашел вашу контору. Хорошо у вас, — он по-хозяйски окинул взглядом кабинет.

Никитин расспросил о совхозе, о людях. Частица сибирского села вошла незримо в кабинет вместе с гостем, его шумной разговорчивостью, с его оканьем, и те, с кем начинали двадцать лет назад: механизаторы, доярки и скотники, специалисты и управляющие.

Никитин попросил чаю, отключил телефоны и сказал помощникам, что его нет ни для кого, слушал рассказ Саши и наслаждался атмосферой беззаботной молодости, в которую приятный разговор вводил его чувства.

Гость встал: пора уходить, но видит хозяин, что мнетса парень, никак не насмелится сказать.

— Наверное, просьба есть какая, ты говори, Саша, мы с тобой сегодня все можем решить.

— Да какие просьбы, Владилен Валентинович, шапку я тебе сшил, ондатровую, на твою голову в Москве не вдруг купишь. — И он достал из портфеля завернутый в газету подарок.

— Спасибо, Саша! — Трогательная товарищеская забота задела сердце. Попрощались, он набрал телефон своей квартиры.

— Лора, сегодня я покажу тебе самую дорогую в мире шапку, — сказал жене без предисловий и объяснений.

— Какую шапку, ты о чем?

— Не беспокойся, я немного растроган, я только что побывал в Усово, приеду — все расскажу.

Демобилизовавшийся из армии Виктор приехал в Москву, где он,

согласно закона о военнослужащих, был прописан в квартире родителей. Красотами столицы он любовался недолго, как-то за ужином заявил, что возвращается в Исетск.

— И что ты там собрался делать? — спросил отец.

— Буду работать в хозяйстве.

— Для этого не надо ехать под Тюмень, в Подмоскovie работы хватает, к тому же и выписываться не обязательно.

В сложном положении оказался старший Никитин: то ли негодовать на сыновье упрямство, то ли гордиться продолжением своего характера. Особенно резанули его по сердцу слова Виктора, что там ему места и люди знакомы, и потому поедет он домой.

Через крупный разговор прошли, а кончилось тем, что Виктор выписался из московской квартиры и уехал в Исетск. Работал инженером в хозяйстве, потом в райцентре, много лет жил в Тюмени, а потом открыл свое дело, и сегодня агрофирма Никитина одна из лучших в области

## 24.

Во время первых выборов народных депутатов СССР Никитину предложили баллотироваться несколько регионов, в том числе и Калмыкия. Он дал согласие и поехал на встречи с избирателями.

В сельских клубах и городских домах культуры, на полевых станах и дальних выпасах всматривался он в лица своих сверстников, пытаясь поймать Федькины черты. Небогатая жизнь у калмыков, но это удивительный народ, добрый, трудолюбивый, героический. Никитин слышал, что калмыков — Героев Советского Союза в процентах к числу населения больше, чем у любой другой нации нашей страны.

Велик народ, который умеет прощать. Калмыки могли бы обидеться на советскую власть, они имели на это право. В ходе избирательной кампании Никитин познакомился с калмыкским поэтом Давидом Кугультиновым. Все лучшие черты своего народа впитал этот человек, вместе с ним перенесший тяжелое время изгнания в далеком от родины Норильске.

— Давид, ты так часто цитируешь Пушкина. Почему?

— Я нахожу у Александра Сергеевича ответы на любые жизненные вопросы.

— Ты заучиваешь его стихи?

— Нет. Они живут во мне. Я знаю, наверное, все стихи Пушкина. Наверное, все.

Оба они были избраны депутатами, вместе приходили на заседания и сидели рядом. После назначения Первым заместителем Председателя Совета Министров СССР Никитин сказал Кугультинову, что придется снимать депутатские полномочия, этого требует закон. Поэт возмутился:

– Это плохой закон, если он такое требует. Мы будем настаивать, чтобы тебя оставили депутатом от калмыцкого народа.

Напрасно Никитин убеждал друга, Кугультинов взял слово и попросил Президента сделать исключение для калмыцкого депутата Никитина. Горбачев не оценил искренности и безыскусности обращения наивного поэта и сухо заметил:

– Это ты, Никитин, сидишь рядом и подговариваешь товарища Кугультинова?

Давид движением руки остановил вскочившего было Никитина, и этим все закончилось.

В начале 1989 года возникли разговоры о несостоятельности Агропрома как системы организации сельскохозяйственного производства, закупок, переработки и материально-технического снабжения села. Когда на заседании коллегии Росагропрома впрямую спросили об этом Председателя Ермина, Лев Борисович проинформировал, что у Генерального есть по этому поводу какие-то соображения. В перерыве Никитин подошел к группе членов коллегии.

– Ваше мнение, Владилен Валентинович, реформирование реально, или обойдут тучи стороной?

Он знал, что здесь можно говорить откровенно, хотя всегда опасался не самой передачи его мнения, а неизбежного извращения при передаче, к тому же он предпочитал по серьезным вопросам высказываться публично, а не кулуарно. Но свое мнение сказал:

– Система Агропрома, на мой взгляд, лучшее, что придумано в руководстве сельским хозяйством. – С ним согласились. – В нашем народе говорят: от добра добра не ищут, но Генеральный имеет «соображения», а коли так, то перемены будут, вы это знаете. Только ситуация и время выбраны не лучшие.

В марте прошел очередной пленум ЦК, который без предварительной подготовки и детального обсуждения принял постановление о роспуске Агропрома. Пленум «поддержал инициативу снизу» и сослался на необходимость «коренного реформирования управления агропромышленным комплексом, искоренения административно-

командных методов руководства, вмешательства сверху в хозяйственную деятельность».

Следом появилось правительственное постановление, ликвидирующее Агропром и передающее функции государственного контроля за производством в республики, а на союзном уровне образующее Государственную комиссию Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам, получившую название Продовольственной комиссии.

Такие крутые развороты были недопустимы в контексте экономических, а более того — политических перемен. Распустив Агропром, Центр разорвал связи, соединяющие в единую организационную систему около 70 отраслей производства и видов деятельности. Доля АПК в валовом объеме продукции составляла четвертую, а в национальном доходе — пятую часть, он формировал до 80 процентов розничного товарооборота, 34 миллиона человек были заняты в этой системе.

Никитин понимал, что невозможно противодействовать этим изменениям. Не находя в них рационального и разумного, отгоняя догадки и предположения об осознанном шаге к хаосу, который неизбежен при ослаблении государственных функций в слабом и раннем организме сельского хозяйства, он воспринимал случившееся как очередной эксперимент над тысячей трудовых коллективов, из которых больше половины составляли колхозы и совхозы.

Не только в союзных республиках — в областях и краях России появились новые настроения, провоцируемые Центром. Названные опрометчиво «местным эгоизмом», на деле они были прогрессирующим зародышем разрушительной центробежности и прообразом грядущих суверенитетов.

В утвержденном Правительством положении о Продовольственной комиссии на нее возлагалось совершенствование экономических отношений, взаимоотношения между отраслями промышленности, разработка общесоюзных программ, вопросы научно-технического прогресса, формирование государственных фондов продовольствия и госрезервов.

В условиях, когда все вопросы, связанные с производством, переданы на места, и Центр не имеет рычагов влияния на перераспределение продукции, реализация этих задач представлялась довольно проблематичной.

После очередного трудного разговора в ликвидируемом Росагроп-

роме Никитин в кругу своих товарищей высказался, что он не завидует тем, кто будет работать в этом органе. Он не знал, что судьба готовит ему этот крест, что Голгофа ждет, и что роли в драме уже распределены.

## 25.

В Верховном Совете накалялась обстановка вокруг должности председателя Продовольственной комиссии Правительства страны. Горбачев рекомендовал на этот пост первого секретаря Волгоградского обкома Калашникова. Находящаяся в эйфории от неожиданной свободы, большая часть депутатов в принципе не воспринимала партийных работников. Кроме того, в Волгограде были организованы якобы стихийные митинги протеста «голодующих волжан», инсценировки с пустыми кастрюлями целый день показывали по телевидению. Кандидатура Калашникова была провалена.

Срочно собравшийся пленум ЦК лихорадочно искал выход из положения. Возникшую кандидатуру Егора Строева, первого секретаря Орловского обкома, поддержали все, Строев возражений не высказал, но наутро отказался идти в Верховный Совет на утверждение, заявив самоотвод.

Группа депутатов-аграрников была заметной силой на Съезде народных депутатов и в ВС. Аграрным комитетом руководил сильнейший хозяйственник и рассудительный человек, краснодарский первый секретарь Вепрев. Именно в этом комитете и возникла кандидатура Никитина. Вепрев позвонил ему поздно вечером:

— Комитет поддержит вас абсолютным большинством, и вы сами понимаете, что у Верховного Совета нет ничего против. Вы наш министр, партийного прошлого почти нет, компромата, надеюсь, не припасено. Ну, как, убедительно?

— Для Верховного Совета, возможно, но меня убеждать не надо. Вы же знаете, какая роль отводится Продовольственной комиссии, ее руководитель обречен на медленное сожжение. А мне только 53, жить хочется.

— Живите себе, дорогой, еще сто лет. Приезжайте завтра ко мне, поговорим обстоятельно.

В утренней беседе Никитин обратил внимание еще на одно обстоятельство: его кандидатура не одобрена ЦК и Горбачевым. Здесь есть один плюс, это придаст предстоящему обсуждению и утверждению окраску самостоятельности, независимости, но и большой минус: как

потом работать с Горбачевым, если на одной из ключевых в правительстве должностей ты оказался без его согласия?

Вепрев понимал пикантность ситуации, но, как и Никитин, видел, что слишком рискованно предпринимать хоть что-то, способное уменьшить шансы на утверждение. Дело, конечно, не в личных амбициях. Сельское хозяйство раздирали противоречия надвигающегося рынка, всегда находящееся в особом экономическом режиме, оно первым отреагировало на очередной эксперимент обострением социальных проблем.

Никитин согласился на встречу в депутатском комитете и уехал к себе. Ничего не надо готовить специально, обстановку на селе он знал, депутатские вопросы предусмотреть невозможно, видение завтрашнего дня есть, но свое, профессионально — хозяйственное, лишенное политической окраски. Тактика поведения на комитете ему ясна: объективная картина положения дел, реальные, а не иллюзорные перспективы снабжения страны продовольствием, все и до конца, самая неприятная правда. По другому нельзя. Не поддержат, так хоть информацию получают, объемнее смогут увидеть село, некоторые, наверное, до сих пор считают, что баранина и баранки — не только созвучные слова...

А если рекомендуют для утверждения? Да, в таком положении он еще не был. Сколько получал назначений, всегда имел пусть не афишируемое, но выраженное желание работать. Впервые все было не однозначно, приходилось анализировать, сопоставлять позиции одних, других, третьих... Шла большая игра, в ней участвовали эквилибристы и коверные, гимнасты и гиревики, все это проходило под аккомпанемент мастеров разговорного жанра.

Участвовать в этой комедии Никитин не хотел, но все бросить и уйти — правильно ли, честно ли по отношению к людям, с которыми работал все жизнь? Что скажут, а если не скажут — что подумают крестьяне в Казанке, Усово, Исетске, на Тюменщине, в родной России, которую в ранге главного крестьянина республики проехал он от субтропических мандариновых рощ до ягельных оленьих пастбищ. Свято место пусто не бывает, и на это есть много желающих, только эти люди не от сохи, не от поля, не от деревни. Едва ли крестьянину легко будет работать с городским начальником, такое у нас уже было, и плохо кончалось как для того, так и для другого.

Никитин прошел в зал заседаний аграрного комитета, увидел много знакомых лиц, к нему подходили, здоровались, доброжелательно

кивали. Никитин говорил недолго, резко, эмоционально. Он менее всего походил на человека, испрашивающего должность, скорее, это врач, хорошо знающий состояние больного и доказывающий коллегам преимущества своей методики лечения, готовый, впрочем, принять советы и рекомендации.

Вопросов было много, по сути, по существу, они касались аграрных проблем, а не личности кандидата. Лишь демонстрирующий огромную заботу о русском крестьянине журналист Черниченко винил Никитина в разорении села, в угнетении крестьян, в развале сельского хозяйства. Никитин воспринимал все спокойно и ответил:

— Я не мастак вести абстрактные дискуссии, я хозяйственник, и готов в конкретном разговоре с необходимыми статистическими обоснованиями показать, что мы имеем в сельском хозяйстве, а что могли бы иметь без шараханий и экспериментов. Можно посмотреть, что уже потеряно и, кажется, безвозвратно. Но большинство членов комитета это знают в силу своего профессионализма.

Был еще один вопрос:

— Вы с желанием идете на эту должность?

Никитин поднял на зал усталые глаза:

— Не буду говорить о желании, но подчинюсь воле моих товарищей по работе на селе.

Вепрев поставил вопрос на голосование. Депутаты подняли руки, Никитин заметил, как метался взгляд Черниченко, и как дважды поднималась и опускалась его рука.

Николай Иванович Рыжков пожал руку:

— Поздравлять не буду, знаю, что это еще не все. Завтра Верховный Совет, представлять буду я.

Никитин молчал, Николай Иванович понял, что ожидаемого вопроса не будет, усмехнулся:

— Горбачев с вашей кандидатурой согласен. — И сразу предложил: — Давайте обозначим общую линию.

Они долго работали над основными положениями своих выступлений на сессии.

## 26.

Зал заседаний Верховного Совета гудел, депутаты обнимались, раскланивались друг с другом, усаживались в привычные кресла. Появление Рыжкова зал встретил степенно. Никитин давно отметил всеобщее уважительное отношение к этому человеку будь

то в Совмине, в ЦК или регионах. Он слегка завидовал его спокойной манере общения, ценил информированность и глубокие знания экономики.

Рыжков говорил спокойно, но голос его слегка звенел, обозначая места наивысшего напряжения и сдерживания эмоций. Зал не мог этого не понять.

– Не считая менее важными другие проблемы народного хозяйства страны, мы все должны сегодня понимать, что проблемы сельского хозяйства являются основными причинами социальной напряженности в обществе.

Никитин обратил внимание, как недовольно передернулся Горбачев, резким движением снял очки и полуприщурившись осмотрел зал. Рыжков охарактеризовал кандидата как опытного, взвешенного и принципиального управленца, сказал, что его хорошо знают в Центре и в регионах, в сложных условиях реформирования экономики он способен обеспечить эффективную работу нового правительственного органа.

Никитин начал свою речь с обозначения болевых точек агропромышленного комплекса, которое не добавляло ему очков как претенденту на должность. Это исключало всякие подозрения в карьеристских соображениях кандидата и рельефно показывало остроту проблем. Едва ли это было приемом, в такие мгновения человек невольно обнажает сущность.

– Если не решить стартовые вопросы, любая форма управления становится не жизнеспособной. В частности, необходимо избавить сельское хозяйство от долгов, образовавшихся в годы неуважительного отношения к крестьянскому труду, хотя бы сохранить образовавшееся соотношение цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; повысить фондо- и энерговооруженность села. Потребуются крупные капиталовложения. Содержание государственной казны всех не удовлетворит, надо искать дополнительные активные резервы.

В подтверждение своих выводов Никитин привел цифры финансирования, поставок техники и оборудования, сокращения производства. Он закончил свое выступление без ожидаемых заверений «приложить все силы и знания, чтобы оправдать ваше доверие». У микрофонов в зале уже стояли «птенцы перестройки», они, кажется, жили у тех микрофонов, всегда готовые сказать гадость ораторам не их породы. Отличался ленинградский профессор права Соб-



чак. Ни мало не стесняясь очевидной некомпетентности, он задавал вопрос, и, не дожидаясь ответа, тут же лепил следующий. Лукьянов, реагируя на возмущение зала, попросил формулировать вопросы поконкретнее.

– Когда, наконец, в стране не будет очередей? – выкрикнул Собчак.

– Я считаю, что мы вместе с вами должны решить этот вопрос, – ответил Никитин.

Два часа стоял он на трибуне, развивая основные направления программного выступления, отвечая на выпады молодой и довольно подержанной оппозиции, удивляясь, как быстро переполюсовалось сознание у вчерашних монополистов на право трактовать теорию социалистической экономики, всю жизнь кормившихся консультированием ЦК и правительства.

В выступлениях депутатов было много критики вчерашних и сегодняшних действий руководства, но по общей тональности Никитин понял: утверждают. После голосования первым поздравил Рыжков. Горбачев пожелал успехов на благо народа и родины. Никитин ответил, что других целей у него нет.

Утром 27 июля он впервые вошел в кремлевский кабинет первого заместителя председателя Совета Министров СССР — Председателя Продовольственной комиссии правительства. Вошел, чтобы ровно через 13 месяцев выйти в никуда, получив красиво обставленную отставку от Президента. Даже этот срок — 13 месяцев — не кажется случайным во всей чертовщине, происходящей в стране

## 27.

Никитин тогда не мог даже предположить, что ближайший год будет временем все возрастающего противостояния Генсеку и Президенту с его неудержимой, словно подгоняемой кем-то, страстью к реформированию. В русском языке чужое слово «реформировать» означает постоянную работу по улучшению чего-либо, изменению в лучшую сторону, а происходящие перемены не давали повода рассчитывать на положительный результат. Они вызывали к жизни процессы неожиданные и непредсказуемые, в том числе возрастание эгоизма регионов, особенно прибалтийских и закавказских республик, перерастающего в нечто большее, уже проявившееся центробежными стремлениями, неловко прикрываемыми успокаивающими заверениями.

На первом заседании коллегии Продовольственной комиссии Никитин поставил задачу:

— Еще отрабатывается наша структура и комплектуется аппарат, но с первых дней мы должны подхватить выпавшие из государственной системы контрольные и управленческие функции, потому что республики охотно выполняют только ту часть официальных документов, которая работает на их самостоятельность. И так будет продолжаться, к сожалению. Мы начнем с укрепления государственных резервов, с надежного обеспечения продовольствием промышленных центров, армии и флота.

По мере докладов заместителей Председатель заметно мрачнел. Картина оказывалась еще серьезней, чем он мог допустить, и вырисовывалось то, чего он больше всего опасался: государственные интересы, бывшие недавно главным и единственным для чиновника любого ранга, зримо разделились на две части, не только не составляющих одно целое, но порой противопоставляемых, исключаящих друг друга. Под крышей государственных интересов вызревал сорняк личных интересов чиновника.

— Ряд республик и областей, — докладчик перечислил около десятка регионов, — задерживает поставки мяса, растительного и сливочного масла, круп и других продуктов в союзный фонд. Нарушаются установленные нормативы запасов по основным позициям. На уровне руководителей исполнительных органов власти мы эти вопросы решить не можем.

Эту только что нарождающуюся тенденцию, прообраз, предтечу грядущего парада суверенитетов мягко назвали местным эгоизмом.

Давно зная и искренне уважая Н.И.Рыжкова как порядочного человека, грамотного и опытного организатора, он порою до возмущения не принимал его строгое подчинение партийной дисциплине, хотя понимал, что для такой природы это есть продолжение порядочности. Как учили древние, твои недостатки — продолжение твоих достоинств.

Никитин не был посвящен в тонкости подготовки пленума ЦК по выдвижению кандидата в Президенты СССР от коммунистической партии, как руководящей и направляющей силы общества. Решение можно было спрогнозировать, потому на заседание шел без особого интереса, планируя только повстречаться с несколькими товарищами с мест и решить вопросы, которые не для телефона и требуют разговора с глазу на глаз. Такие встречи состоялись, и их градус

оказался выше. Обсудив хозяйственные вопросы, собеседники переходили к повестке пленума.

— Ты же не считаешь, что Горбачеву нет альтернативы в партии?! И я так не считаю. Почему бы демократическим путем не обсудить и другие кандидатуры?

Собеседник, давний и верный товарищ, хорошо знавший Горбачева еще по Ставропольскому краю, давно не скрывал неуважительного к нему отношения. Поговаривали, что Генсеку известны оценки его деятельности, даваемые бывшими соратниками, но обходилось без последствий. К тому же это были кулуарные разговоры, не выходившие за пределы узкого круга.

— Я говорил со многими, в принципе согласны, что надо развести должности Генсека и Президента, но есть опасность раскола ЦК.

— Смотря что называть расколом. Я тоже считаю, что опасно для страны всю власть сосредоточить в руках одного человека, тем более с такими слабостями, какими наделен наш.

Они не называли имя альтернативного кандидата, наверное, каждый по своей причине. Никитин искренне считал, что партия должна предложить Съезду народных депутатов кандидатуру Н. И. Рыжкова, и был уверен, что он предпочтительней Горбачева своим признанным опытом хозяйственника, тактом и сдержанностью, а главное — отстраненностью от партийно-политической суеты, которую большинство депутатов воспринимало как корридные быки красный платок мотадора. Разговор об этом с Николаем Ивановичем он не считал возможным. Возникновение его кандидатуры в ходе пленума допускал, но был уверен, что развития это направление не получит, даже если среди членов ЦК такой вариант обсуждается.

Горбачев, открывая пленум и оглашая повестку дня, показался Никитину чуть взволнованней, чуть неуверенней, чем в других ситуациях. Как водится, первой при выдвижении назвали его фамилию, и дежурные аплодисменты прокатились по залу.

— Будут ли у членов ЦК другие кандидатуры? — протокольный вопрос завис в воздухе, и зал настороженно затих, когда прозвучала фамилия Рыжкова, и несколько выступающих поддержали это предложение. Горбачев наклонился к уху Лигачева, который вел обсуждение, и тот предоставил слово Рыжкову.

— Это же нарушение регламента, Рыжков не обязан сейчас выступать! — безнадежно, с отчаянием даже, громко сказал сосед Никитина.

Николай Иванович был явно смущен, он поблагодарил за выдвижение, подчеркнул важность для положения в партии выдвижения согласованного кандидата от КПСС, заметил, что у него много работы в правительстве и попросил его кандидатуру не обсуждать. Зал нездоровой тишиной отреагировал на его выступление. Горбачев не к месту повеселел.

Пленум ЦК проголосовал за Горбачева. Через день он стал Президентом страны.

## 28.

В который раз за столетие в стране возник вопрос о земле, озвучен он был на съезде народных депутатов устами людей, от земли далеких чрезвычайно. Витийствовали вчерашние завлабы и просто лаборанты неведомых политических лабораторий, доктора всяческих наук, обеспечившие безоговорочную защиту неприличным объемом цитат всего сонма теоретиков и практиков от Маркса до Горбачева. Даже поэт, предусмотрительно сменивший редкую фамилию на хохляцкую, одолжив в костюмерной у знакомого режиссера расшитую чужим, но красивым узором украинскую косоворотку, явился в ней на Съезд и тоже возопил о несчастном крестьянине, лишенном земли, и требовал немедленно вернуть ее тем, кто на ней работает.

Никитин выругался и выключил телевизор, по которому смотрел трансляцию со Съезда. Вот откуда ветер дует, и постановка вопроса о земле на большом совещании у Генсека продиктована отнюдь не экономической целесообразностью, как он пытался преподнести. В предварительном разговоре с Горбачевым он не стал скрывать своего резко отрицательного отношения к надуманной проблеме введения частной собственности на землю. Он, всю жизнь проработавший в сельском хозяйстве, знающий тысячи крестьян — от механизаторов-полеводов до руководителей крупнейших аграрных регионов, ни разу не слышал, чтобы решение экономических вопросов упиралось в общегосударственную, общенародную собственность на землю.

По этому поводу Никитин провел необычную встречу, даже в ЦК предпочли сделать вид, что ничего не произошло. Он пригласил ответственных сотрудников посольств в основном капиталистических стран, курирующих вопросы экономики, и прямо спросил, готовы ли они рассмотреть возможность приобретения сельскохозяйственных земель в Советском Союзе. Дипломаты вежливо улыбались, прихлебывая вино, ели икру и заверяли, что это невозможно,

советская власть никогда не будет продавать землю. Наиболее откровенный скандинавец доверительно сказал Никитину, что эти люди могут купить вашу землю, но только с одной целью: чтобы вы на ней не работали.

На совещание к Горбачеву было приглашено много нужных, а больше не очень нужных людей. Никитин отыскивал взглядом хороших знакомых, здоровался кивком головы. Он обстоятельно готовился к выступлению и потому не вступал в разговоры, чтобы не отвлекаться, не растерять настрой и сосредоточенность. В большой степени сложность этого выступления состояла, с одной стороны, в необходимости высказать свое мнение аргументированно и убедительно, иначе вообще зачем на трибуну выходить. С другой — выдержать установку Рыжкова: не особенно обозначать оппозиционность своего мнения горбачевскому, вроде как невинность соблюсти. Николай Иванович посоветовал не обострять отношения, хорошо зная, что Генсек никогда и ничего не прощает. Никитин и без того у него не очень желательная персона, потому что оказался в первом круге руководителей страны не с его подачи. Владилен в сердцах бухнул что-то вроде «мне с ним детей не крестить», на что сдержанный Рыжков резко заметил:

— Имейте в виду, если они сумеют вас смять, у нас не будет второго Никитина. Не потому, что вы незаменимы, просто сегодня в Верховном Совете иные настроения, и другого крестьянина они просто не пустят.

Горбачев во вступительном слове обозначил предмет разговора, и все пошло чинно и гладко. Соловьи перестройки с разной степенью угодливости пытались подвести правовой и исторический фундамент под заявленное Генсеком желание узаконить куплю-продажу земли. Когда Никитин поднялся для выступления, Горбачев его остановил:

— Владилен Валентинович, твое мнение я знаю.

— Но товарищи не знают, — ответил он, проходя к трибуне.

Он начал с краткой характеристики состояния сельского хозяйства и перспектив обеспечения населения и армии продовольствием. Картина была далеко не безоблачной. Говорил о сокращении капиталовложений, о потерях в энерговооруженности, о вреде непродуманных реформ системы управления отраслью.

— Судя по ходу сегодняшнего совещания, мы на пороге очередной ошибки. Принятие закона о купле-продаже земли, введение права частной собственности не имеют под собой ни экономической, ни

тем более нравственной основы. Земля не может быть товаром. Сегодня проблема не в том, кто хозяин земли, а в том, кто и как, насколько эффективно на ней работает, насколько работающий на земле человек может распорядиться результатами своего труда.

Выступивший следующим председатель союзного совета колхозов Василий Стародубцев полностью поддержал Никитина и прямо заявил, что крестьяне не поймут партию и государство, если такой закон будет принят.

Горбачев поблагодарил участников и распустил совещание, оно не приняло никакого документа, даже рекомендаций. Разговоры о земле сами собой успокоились, и к этой теме на верху власти не возвращались.

## 29.

Аппарат ЦК готовил очередной пленум по обсуждению Платформы ЦК КПСС к 27 съезду партии. Никитину предложили подготовиться к выступлению. Понятие «платформа» было выужено из лексикона времен внутривнутрипартийной борьбы, и призвано было придать подготовительной работе оттенок дискуссионности.

Полгода работы во главе Продовольственной комиссии дали огромное количество информации для размышления. Он все больше утверждался во мнении, что система Госагропрома, объединяющая производство, снабжение и переработку, и составляющая единый хозяйственный комплекс, была лучшим изобретением за все годы советской власти, и только с недобрыми намерениями можно было инициировать ее развал. В сознательном уничтожении государственной структуры, сохраняющей и обеспечивающей определенный порядок в сложнейшем секторе экономики, и без того подверженном влиянию десятков субъективных факторов, Никитин еще раз убедился, когда в ЦК и рабочих органах верховной власти вдруг стали критиковать Продовольственную комиссию. Он мог бы еще понять, если бы речь шла о недостатках в ее работе, в конце концов, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но речь вели опять о неудачной схеме управления!

Завершающийся хозяйственный год принес неутешительные результаты. Производство снижалось, продовольственные фонды формировались с большим напряжением. Но в проекте Платформы ЦК общая тональность оценок спокойная, оптимистическая, выдержанная в лучших традициях демагогического шапкозакидательства.

— Ты выступление на пленуме готовишь? — спросил его ответственный цеховский работник, не раз бывавший в области и уважавший тюменцев. — Жди отбоя, поговаривают, что не стоит приглашать тебя на трибуну.

Однако официальное указание так и не поступило, потому он тщательно готовил текст, выверяя каждое слово, не только мысль, оценку или предложение.

С трибуны он посмотрел в зал, неоднородный: и напряженно сосредоточенный, и только что улыбочиво аплодировавший. Мелькнула мысль смягчить выражения, затушевать оценки, все равно останутся конкретные предложения, задача в основном будет выполнена. Начал речь. Отметил, что в проекте правомерно подтверждено сосуществование всех форм хозяйствования на селе, подчеркнул необходимость скорейшего решения социально-экономических проблем деревни, укрепления материальной базы сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности.

— Все это важно, и повторяется не впервые, — осуждающе и четко выговорил оратор. — Настало время от слов переходить к делу. С пустым желудком сложно сохранить равновесие на любой платформе.

Зал напряженно замер. Никто еще так резко не осмеливался обозначить пропасть между реальным состоянием народа и вдохновенным романтизмом цеховских теоретиков. Никитин не мог видеть, как вытянулось лицо Горбачева, как нервно заерзали в президиуме.

— Надо найти, наконец, возможность материализации проводимой политики. Люди уже не могут заставить себя поверить высоким решениям, настолько часто они не выполняются.

Он не мог промолчать о том, что возмущало его в последнее время.

— В адрес Продовольственной комиссии Совмина СССР, проработавшей всего полгода, раздаются негативные оценки из кабинетов самого разного калибра. Хочу заявить, что комиссия еще не успела показать ни своих преимуществ, ни своих недостатков. Душить ее рано. Вы только вдумайтесь, это уже более чем двадцатая форма управления сельским хозяйством за советский период. Хорошо уже то, что она не способна в условиях самостоятельности республик препятствовать развитию инициативы на местах.

— Наш народ может и хочет работать. Надо избавить его от необходимости стоять в очередях, унижающих человеческое достоинство, видеть социальную несправедливость распределительных механизмов.

Он говорил еще об аморфности экономических утверждений проекта, о неизбежности мер по укреплению дисциплины и общего порядка жизни.

В перерыве к нему подходили даже малознакомые люди, жали руку, говорили слова одобрения, более близкие просто стояли рядом, и уже этим обозначали свою поддержку.

— Что вы смотрите на меня, как на обреченного? — возмутился Никитин.

— Почему «как»? — пошутил Вепрев. — Вы же понимаете, что сейчас готовят тезисы заключительного слова с разносом вашей позиции. Он все припомнит: и срыв мягкого выхода на продажу земли, и ваши речи в Верховном Совете.

В заключительном слове Генеральный даже не обмолвился о неоординарном выступлении Председателя Продовольственной комиссии, как будто его и не было вовсе. Никитин даже разочарование испытал, он ко всему был готов, но только не к умолчанию. Нельзя предположить, что выступление не замечено, что оно в русле общих оценок итогового документа. Получалось, что Горбачеву проще сделать вид, что ничего не произошло.

— Разве дело в том, сказал он или не сказал!? — возмущался Никитин. — Я же не для Горбачева выверял каждое слово, я хочу, чтобы ЦК обратил внимание на вопиющие обстоятельства, которые сегодня не хотят замечать. Ведь люди в стране о них знают не меньше меня и говорят. Почему мы не хотим слышать? Почему документ к съезду принят в таком рыхлом, полумертвом виде

### 30.

Работа в Продовольственной комиссии и в Кремле отнимала много времени и сил. Он дал своим заместителям такой уровень самостоятельности, что они практически решали все вопросы во взаимоотношениях с регионами, и только самые важные и конфликтные докладывали председателю. Он обращался к Рыжкову или к Президенту, как теперь стали называть Генсека. Горбачев ни разу не напомнил о его выступлении на пленуме, не комментировал его позицию и тем более не упрекал, хотя всего этого можно было ожидать. Не вдаваясь в тонкости президентских соображений, Никитин был удовлетворен тем, что серьезные расхождения в главных, принципиальных подходах не мешали им совместно решать текущие вопросы.

Самостоятельность республик в вопросах производства не толь-



ко предоставляла им возможности, но и возлагала обязанности по заготовкам и переработке. Возможности Продовольственной комиссии для оказания поддержки в экстренных случаях были очень ограничены. А случаи такие возникали, потому что новшества в верхних эшелонах власти ничего не изменили пока в психологии людей как занятых в производстве, так и его организаторов на верху управления.

Товарищи из украинского Совмина обратились к Никитину с просьбой оказать помощь комбикормами, собственные запасы, по их расчетам, не обеспечивали проведение зимовки животноводства и получение планируемой продукции. Никитин поручил просчитать по республике баланс зерна и получил ответ, что она способна прожить за счет собственных запасов, если разумно их использовать. Такой ответ был дан в Совмин. Украина пожаловалась в Политбюро, и Никитина попросили объясниться.

Служивцы редко видели его в таком состоянии. Он был возмущен беспардонностью своих коллег и другими качествами, позволившими перевести практический вопрос комбикормов для свиней в плоскость политических отношений республики и центра; он был потрясен открывшейся перспективой перерастания подобных конфликтов в долговременную конфронтацию, которая неизвестно чем может закончиться.

Побывав недавно в качестве гостя на съезде аграрников в Чехословакии, Никитин видел, как не восприняли лучшие представители крестьянства кучку демократов, пробившихся на форум и пытавшихся обрадовать делегатов, что они с ними. «Зато мы не с вами», — был ответ, и молодых людей буквально вынесли из зала. Никитин видел, как западные репортеры, осчастливившие съезд по такому случаю своим присутствием, снимали изгнание с азартом чертей, подмешивающих угли в присподней.

На заседании Политбюро украинские руководители обрушили на Продовольственную комиссию обвинения не в возможной угрозе недокорма крупного рогатого скота, а в игнорировании интересов республики в развитии животноводства. Никитин, перебродив накануне, выступил спокойно, еще раз огласил расчеты и уточнил, что в условиях самостоятельности как первого этапа перехода к цивилизованному рынку, республики должны полагаться в основном на свои силы, учиться правильно считать и поменьше искать высоких покровителей. Позицию Никитина неожиданно для него поддержал Горбачев, обещавший все-таки поддержку украинским животноводом.

После заседания к Никитину подошел Владимир Васильевич Щербицкий, недавно ушедший в отставку первый секретарь ЦК компартии Украины, но продолжающий пока оставаться членом ЦК партии. Он всегда подчеркнуто уважительно относился к Никитину, называл его сибиряком, поддерживал. Взяв под локоть и отведя от образовавшейся компании, Щербицкий очень серьезно сказал:

— Ты сегодня по самолюбию моих земляков проехался крепко, я с тобой согласен совершенно, но они не согласны, а их влияние на Генсека чрезвычайно велико. Будь осмотрительнее, чтобы шею не свернуть.

В приемной кремлевского кабинета его ожидали товарищи из аграрной группы народных депутатов. Никитин, еще не остывший после дискуссии в ПБ, поздоровался с каждым, пригласил в кабинет, попросил подать чай и кофе.

— А пьют коньяк нардепы новой волны? — задорно спросил он, зная, что тут все свои, и никто не истолкует его вопрос иначе, чем следует.

— Пьют, Владилен Валентинович, но в другой раз. — Вепрев сказал это серьезно, дав понять, что разговор у них чрезвычайно важный.

— В Верховном Совете возникло много вопросов по обеспечению продовольствием. Неделя пребывания депутатов в округах подпитала их негативной информацией, потому толкуют, кто во что горазд. — Вепрев снял и протер очки. — Мы решили предложить вам, Владилен Валентинович, прийти на совместное заседание обеих палат, ответить на вопросы, снять недоуменную, недоброжелательную пелену таинственности с продовольственной темы.

— Я готов это сделать, и уверен, что разговор будет полезным, — согласился Никитин. — Только положение действительно очень серьезное, с экономической точки зрения, мы все больше зависим от импорта, что крайне нежелательно, накладно и, главное, бесперспективно. Но есть негативный политический результат, я, возможно, не должен такого говорить, но времени нам отведено не много.

— Мы тоже понимаем эту боль, — сказал один из депутатов. — На встречах в округах люди задают такие вопросы, ответов на которые нет.

— К разговору я готов, мне нечего скрывать от депутатского корпуса. Но не ждите, что у меня есть готовые ответы на все вопросы. Будем искать ответы вместе.

Он шел на эту встречу с таким настроением: положение очень сложное, депутаты должны принять верное решение. Сообщение вы-

строил достаточно спокойное, но вопросы начались с провокационных выступлений прибалтийских и закавказских депутатов вперемежку с выпадами политиков из пределов московского Садового кольца.

— Когда накормите народ?! — кричал худощавый Собчак, и, глядя на его товарищей по агрессивности гладкого Станкевича и округлого Попова, Никитин хотел было съязвить, но сдержал себя.

Два часа он отвечал на вопросы, выслушивал замечания и предложения. Раскрывая только обозначенную в информации тему возрастающего оттока сельского населения в города и образовавшегося дефицита рабочей силы в деревне, Никитин говорил о недопустимости со стороны государства неуважительного отношения к сельскому труженику, сокращения фондов на дефицитные товары для Центросоюза, обслуживающего деревню, прекращения внеочередной продажи легковых автомобилей победителям социалистического соревнования.

— Сегодня 28 марта, в стране начались весенне-полевые работы. Государственная политика по отношению к крестьянству должна измениться, иначе жатва будет безрадостной, иначе нам не снять с повестки дня вопрос продовольственного обеспечения народа.

### 31.

Он всегда знал и чувствовал, кого представляет, потому его позиция, его суждения были чужды конъюнктурности в угоду сегодняшней ситуации, они основывались на многовековом опыте совестливого и порядочного русского крестьянства, а Россия вся и Союз весь вышли из крестьянства. Говори правду, и не надо ничего запоминать, — эту мудрую фразу услышал он когда-то от пожилого человека, еще директором совхоза возвращался из поздней поездки в Тюмень и подсадил его по дороге. Слова эти только сформулировали его понимание: правда — единственное, что будет всегда. Тебя поймут, если ты мужественно, не опасаясь неприятных и вполне возможных последствий, отстаиваешь интересы тех, кого представляешь — в совхозе, районе, области или Москве — тебя поймут. И оценят. Но это будет потом. А в момент, когда надо выбирать, сказать правду или смолчать, ты один на один с собой. Можно смолчать, и никто не будет знать, что ты не сказал правды. Можно сказать, обозначить себя нежелательной правдой, и попасть в категорию чужих, поплатиться карьерой и положением.

Он всегда ограждал свою работу от идеологического обрамления,

и даже в Кремле, где идеологизированы даже стены, воздух и речи, он упрямо называл себя хозяйственником, и признавал продуктивной только идеологию единомышленников. Когда его обвинили в самоотстранении от политической работы, он зло ответил, что одни об этом болтают, а другие делают.

И на пленуме ЦК можно было поприветствовать Платформу к съезду, не убыло бы, никто бы не осудил, а можно сказать, как он: на голодный желудок на любой платформе хреновато. И последствия для оратора были бы другие. Тут тоже его идеология...

Он был в числе тех, кто не только резко выступил против еженедельных отчетов государственных руководителей якобы перед народом на телевидении, но и решительно отказался идти на запись, и только влияние Рыжкова заставило его подчиниться. Он считал подобную процедуру издевательством, ибо она ничего не добавляла, а в условиях реальной уже нестабильности устанавливала по меньшей мере странные отношения народа и власти. Что можно сказать о работе министра за неделю? Тракторист вспахал сто гектаров, комбайнер намолотил тысячу тонн зерна — об этом можно доложить. А что доложить о каждодневной рутинной кабинетной чиновничьей, по сути, работ.

## 32.

На фоне непрекращающихся заявлений бывшего ставропольского комбайнера, а ныне Генсека и Президента о всемерном содействии и всенародном внимании к крестьянству, село все больше обделялось. Сокращались поставки техники и капитальные вложения в строительство, даже фонды товаров повышенного спроса не обеспечивались, и для сельского жителя стало проблемой купить не только легковой автомобиль, но и стиральную машину, холодильник, мебель.

Практически ничего не менялось после острых, кричащих выступлений Зампреда Совмина СССР на пленумах, сессиях и совещаниях. Никитин использовал все возможности, хотелось от души хлопнуть дверью и послать всех... Сдерживал все время возникающий вопрос: а что изменится? Никитин не считал себя незаменимым, но вечным крестьянином себя считал, и знал, что мало кто после него будет вот так безоглядно, не опасаясь за последствия, противопоставлять неприятную правду соловьиным трелям, и тогда еще на одного заступника деревни станет меньше.

Еще раз перечитал текст обращения к Президентскому совету: каждая позиция многократно выверена, каждое слово — его. Понимал, что случай беспрецедентный, когда Первый заместитель Председателя Правительства обращается к совещательному органу при президенте, состоящему в основном из общественных деятелей, далеких от деревни. Да и отношения совета с Президентом были закрыты от посторонних. Наверное, это прежде всего имел ввиду Никитин, когда писал не официальным лицам и органам, а лучшим представителям нации, как следовало понимать.

За неполный год работы в сейфе появилась объемистая папка переписки с разными государственными и партийными инстанциями. Это были поистине драматические документы, драматизм возрастал еще и потому, что ни на один из них не было получено положительного решения. Списание 43 млрд. руб. долгов с сельхозпредприятий Никитин не считал шагом вперед, потому что оно только снизило бремя материальной ответственности, но ничего реально хозяйствам не добавило.

В обращении Никитин предлагал организовать встречную торговлю с колхозами и совхозами, поощряя сверхплановую продажу продукции, для чего выделить тракторы, комбайны, автобусы, легковой транспорт и другую технику. Для продажи передовикам производства через Центросоюз поставить легковые автомашины, мотоциклы, телевизоры, холодильники. Подчеркнул, что это может компенсировать невыполнение государственных обязательств перед сельскими тружениками по торговле товарами повышенного спроса за перевыполнение планов прошлых лет.

Председатель Продовольственной комиссии еще раз обозначил тенденцию на сокращение капиталовложений в агропромышленный комплекс с 33 процентов бюджета до 27 процентов, причем, сокращение в основном коснулось перерабатывающего сектора и социальной сферы, общая цена недовода объектов составляет 3 млрд.руб.

В обращении говорилось о необходимости льготных кредитов и целевого финансирования села, увеличения поставок техники, строительных машин, удобрений и химических средств.

Никитин, суровый реалист и производственный прагматик, особых надежд на этот документ не возлагал, не ждал чуда. Общее направление движения страны не обещало ничего хорошего, и был вопрос, который он задавал себе все чаще: по глупости это делается или сознательно? В то время он не смог бы объяснить, пишет ли он эту

бумагу, чтобы можно было с чистой совестью говорить об использовании всех возможностей, или действительно есть шанс, ибо Президентский совет призван отстаивать государственные интересы, а продовольственное обеспечение страны уже переходит в компетенцию международных посредников. Мы все очевиднее зависим от импорта, что делает государство легко управляемым извне.

Подписав обращение, Никитин усмехнулся мысли о том, что подписал собственную отставку — так явно обозначился предел, до которого он дошел в попытках обратить внимание первого руководителя страны на родную деревню.

Так сурово оценивая обстановку, Никитин не мог знать, как низко поставят деревню будущие правители России, громогласно заявляющие, что они живут и работают только во благо народа. Уже через десять лет многократно упадут все основные показатели. Выпуск тракторов и комбайнов снизится до уровня 1933 года, поголовье скота окажется на уровне 1885, а овец — 1750 года. Производство мяса сократится в шесть раз, цельномолочной продукции — в три раза, и это будет соответствовать показателям первого послевоенного десятилетия.

### 33.

Первым, с кем общался Никитин по приходу на работу, был Председатель Правительства. Текущие разговоры по очередным неотложным делам были сдержанными, только суть, никаких комментариев и эмоций. Владилен видел, как страдает Николай Иванович от бессильных попыток остановить сползание страны в пучину экономического хаоса. Они говорили иногда и о большем: уменьшается политическое влияние партии по всем направлениям, истончается единящая роль центра, слабеет государство. Владилен на всю жизнь запомнил холодок по спине от горьких слов инженера Рыжкова, даже в этой ситуации мыслящего техническими категориями: «Мы все ходим по колено в бензине». Он не стал договаривать, что в такой обстановке достаточно искры — по глупости или специальной — восплает и рухнет исполинское сооружение по имени Советский Союз.

Горбачев выехал в очередное турне по стране, демонстрируя неистребимый оптимизм и обещая толпам случайно прорвавшимся через охрану граждан немедленно разобраться с теми, кто мешает революционной перестройке. Эти сцены Никитин видел в вечерних телевизионных новостях.

Утром следующего дня вернувшийся в Москву Президент позвонил ему по телефону, усталым голосом сказал:

— Владилен, у меня было много неприятных моментов при встречах с трудящимися по поводу табака. В стране плохо с табаком!

— Обстановка мне известна, Михаил Сергеевич. Ведущие табачные фабрики закрыты, потому что нет сырья. Мы постоянно поддерживаем контакты с болгарскими товарищами. Я неоднократно предлагал принять постановление Политбюро о выделении валютных ресурсов для снятия напряженного положения. Дайте нам валюту, и мы в три дня изменим обстановку, а через неделю-две поступит свое, отечественное табачное сырье нового урожая.

— Да, конечно, надо подумать. Мы тут обменяемся в Политбюро. — Он что-то еще невнятно проговорил, потом миролюбиво и четко произнес: — Послушай, Владилен, а что если мы тебя освободим?

Никитин выдержал паузу.

— Если это нужно для улучшения обстановки в стране, я готов.

— Ну-ну, не надо торопиться, — и он положил трубку.

Зная, что раздраженность делу не помощница, он уехал с работы, дома повозился с внуками, детьми Саши, позвонил старшему сыну Виктору в Тюмень, где он жил и работал.

Августовская ночь тиха и безмятежна, но только не в Москве, где даже в полночь шум города доносится до двенадцатого этажа. Владилен несколько раз выходил на лоджию и подолгу смотрел, как с запада собираются тучи, широко охватывающие столицу и черным козырьком нависающие над ней, прогоняя звезды с предчувствующего перемены чистого неба. Молнии ударили одна за другой, витиевато расписываясь и исчезая. Грома не было слышно. Потом рванул ветер, и потоки дождя покатались по крыше, по трубам, по стеклу лоджии, по улице. Только что бывшие яркими, фонари стали матовыми. Машины побежали медленно и робко. Гроза быстро прошла над городом, освежив мертвые камни и живую зелень. Подмосковье заканчивало уборку урожая, если кто-то не успел, дождь не в радость. После грозы уже ни о чем не думалось, и он уснул безмятежным и крепким сном, чтобы через несколько часов встать бодрым и работоспособным.

Утром приятный женский голос пригласил его на заседание Политбюро на Старую площадь. Через полчаса позвонил Рыжков, обменялись информацией, в конце разговора Николай Иванович предложил:

— Давайте в десять тридцать встретимся для уточнения зернового баланса.

— Николай Иванович, в десять Политбюро. Меня пригласили.

— Я ничего не знаю об этом. Пока прервемся, я вам перезвоню.

Никитин нажал клавишу аппарата и долго еще держал трубку. Что-то пробуксовывает бюрократическая машина, нестыковочки получаются.

Звонок Рыжкова вернул в реальность.

— Политбюро отменяется, Владилен Валентинович, Президент приглашает Президиум Правительства по итогам своей поездки по стране. Подходите ко мне прямо сейчас.

Они обговорили складывающееся по результатам хлебозаготовок положение с продовольственным зерном в стране, и Никитин несколько раз перехватил внимательный взгляд Рыжкова. Наконец, тот спросил:

— Что-то случилось, Владилен Валентинович?

— Пока ничего. Вчера президент предложил мне отставку. — Он пересказал короткий разговор с Горбачевым слово в слово.

— Почему вы не позвонили мне прямо вчера, почему?

— Не хотел беспокоить, Николай Иванович.

— Почему он сегодня мне ничего не сказал? Ерунда какая-то получается. Не там ищем причины неудач, не там.

Рыжков попросил Никитина не предпринимать ничего на сегодняшней встрече, она рабочая, и пройдет ровно. После он встретится с Горбачевым, и вопрос будет снят. «Надолго ли?» — хотел спросить Владилен, но удержался, чтобы не расстраивать Николая Ивановича.

Члены президиума Совмина заняли места за столом, Горбачев осмотрел всех сквозь стекла очков.

— Можно начать.

Он долго говорил о своей поездке, о встречах, о критических высказываниях людей, пристукивая о стол торцом толстого красного карандаша в наиболее эмоциональных местах, и припивая молоко из большого гладкого стакана. Потом без всякой связи заговорил о нехватке табака, о мате разгневанных мужчин, и объявил, что подписан Указ об отстранении от должности Никитина, курирующего табачный вопрос.

Рыжков встал:

— Михаил Сергеевич, это поспешное решение, снятие Никитина не решит проблему.



— Дискуссия окончена, Указ подписан.

— Тогда и меня освобождайте, — неожиданно громко и резко сказал Рыжков, — потому что я отвечаю и за Никитина.

Горбачев не был готов к такому развороту событий и несколько оторопел:

— Хорошо-хорошо, давайте отложим, — и закрыл совещание.

Утром 30 августа 1990 года Указом Президента СССР «Об ответственности должностных лиц за неудовлетворительное состояние снабжения населения табачными изделиями» освобожден от должности Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР — Председатель комиссии по продовольствию и закупкам Никитин Владилен Валентинович.

### 34.

Он быстрым шагом вошел в свою приемную, помощнику бросил: «Машину!» и распахнул двери кабинета. «В последний раз?» — спросил себя и кивнул: «Решено». Развязка наступила, правда, пока для него одного. В комнате отдыха налил стакан коньяка, не рюмку, не полстакана, — полный стакан, как это было в молодости, здоровой и беззаботной. Выпил, приложился к лимону. Осмотрел стол и собрал личные вещи: сувениры, блокноты, книги. Коньяк успокоил. Выйдя к машине, велел водителю ехать к воротам, а сам пошел к заветному месту у Кремлевской стены. Тишина насторожила. Гнезда не было. Проходивший мимо рабочий ответил, что поступила команда почистить стены...

## ЭПИЛОГ

Никитин больше не выходил на работу, хотя формально числился в должности, потому что Верховный Совет трижды отклонил утверждение Указа Президента об отставке Первого заместителя Председателя Совета Министров СССР. В канун Нового года Горбачев произвел реформирование правительства, распустил Совмин и образовал Кабинет Министров. Никитину привезли полный расчет и трудовую книжку с записью об увольнении в связи с реорганизацией Правительства СССР.

## И НЫНЕ И ПРИСНО

### *Роман*

*Стане, Анастасии, с душевным трепетом посвящаю.*

Река долго, тысячи лет и тысячи километров, разбегалась по дикой, необжитой народом степи, чтобы, в предчувствии скорого исчезновения, напрячь накопившиеся силы и метнуть их в мощном броске на Гору, отринуться, понять безнадежность усилий, и тогда попытаться уйти от неизбежного уже слияния с важными водами Большой Реки. От угрозы раствориться в этих водах и течь дальше вместе под чужим уже именем, Река, оттолкнувшись от Горы, хотела было повернуть вспять, но своеволия испугалась, заложила широкую, неохватную петлю, внутренний берег размывла и низвела до заливного луга, внешний возвысила, обустроила, украсила логами и оврагами, вырастила березовые леса, населив зверем и птицей, набросав в них охапками кусты смородины и малины, россыпи ежевики, костянки и клубники с земляникой, спрятав выводки груздей, опять и обабков.

Человек, ступивший на край Горы, обомлел от невиданной красоты, кликнул сотоварищей, и молча стояли они у края, обозревая, сколь видно было, желанное место. Умыли лица своей чистой водой незнакомой Реки, поклонились Востоку, и охнула от прикосновения топора белая береза, которой суждено было лечь в оклад первой избы. И назвали то место Зареченька.

Седой зимой через убродные суметы снега с трудом протискиваются лоси и козы, направляясь в подлески, где вихревой ветер озорно выметает опушки, оголяя засохшую траву, малый кустарник и золотой березовый лист, который тоже годится в пищу, если неволят морозы и падера. Кабаны семьями выходят на кормежку, поросятки хрюканьем и повизгиваньем ободряют отца, который буровит снежную залежь, разрывая уже промерзшее одеяло осоки и шумихи, скывывает кочки, и молодняк беззаботно отыскивает корешки, похрумкивает лакомством, взметнув бирьки и сладострастно прищурив

глаза, а мамаша чутко пронюхивает воздух, отыскивая признаки человека или волка.

Лютой зимой небо опускается так близко к земле, что соединяются в едином порыве снежная круговерть и незримая пыль облаков; солнце не находит сил, чтобы разорвать это месиво, оно злится, краснеет и порой удается ему кинуть свой суровый взгляд на своевольную стихию; а если нет — чудные дива случаются в небесах: солнце разведет по обе стороны от себя собственное отражение, и тогда всему живому на земле явятся три солнца, чтобы утратить зверя, напугать птицу, смутить думающего человека.

Зато летом, когда схлынет разлив Большой Реки, и обнажатся размашистые луга, буйно идет в рост все живое и зеленое, изумрудностью подернется местность, звери спустятся с Горы на приволье, выведут весеннего рождения детенышей и будут кормиться тут, пока Человек придет и заявит свои права. Человеку тоже полюбились эти места, он распахал гривы и засеял злаками, он тысячи скота развел на вольных кормах, он дома поставил и объединил их в деревни, он храмы возвел посреди села с гулким колокольным звоном. Человек придет и спугнет зверя, выкосит все ложбинки и низины, наметит округлые стога, высокой изгородью защитит свой труд от звериного озорства.

Тысячи гроз прогремят над Зареченькой и тысячи дождей омоют ее, многие поколения родятся и закончатся на этой земле, прославив ее многими плодами крестьянской работы и отважной дерзостью на бранном поле. Река все так же тиха и напориста, радостная в своей синеве; Гора холодна и хмура, все так же огрызается оголенными провалами логов и оврагами; зареченская долина горда зеленью трав и золотом хлебных полей. И многоликая жизнь проносится надо всем, вечная и бесконечная...

## 1.

В первый день православного Рождества молодой человек, совсем еще подросток, вместе с родителями только что прибывший из Варшавы, вернулся из ближайшего костела со службы, позавтракал и вышел в сад Царскосельского дворца, где семейству были отведены комнаты. Для тринадцати лет был он довольно высок, строен, чист лицом, серые глаза и прямой нос делали его взрослее и серьезнее. Отца, как знатока важных старинных документов, Государь лично пригласил вместе с семейством служить при дворе, занимаясь только что найденными в архивах бумагами, их следовало привести в по-

рядок, частично перевести и дать толкование Императору. О важности сих бумаг юный Бронислав думал менее всего, его восхитил Петербург, зная по гравюрам все сколько-нибудь выдающиеся здания и памятники города, он узнавал и Медного Всадника, и Адмиралтейский столп, и Невский проспект, но как широко открылись они его взорам, как далеко вышли за пределы книжных познаний!

Он прошел по хорошо очищенной от снега липовой аллее, глубоко вдыхая воздух незнакомого и родного города, в памяти роились десятки строк русских поэтов о зиме и снеге, но ни одну не мог он поймать, чтобы остановить все стихотворение! «Какая прелесть!» — он сел в беседку, думал и о снеге, и о новом для него празднике, и о городе, в котором предстояло учиться и жить неизвестно сколько. И как круто иногда разворачивает человека судьба, он был в Варшаве, учился в гимназии, занимался языками и отцовской исторической наукой, но где-то что-то меняется, в интересах Империи нужны какие-то меры, и вот вся семья едет в чужие края, хотя и в столицу. Отцу не очень хотелось, но указ был именной, потому выполнение необходимо.

Бронислав не сразу заметил невысокую девочку в расшитой шубке и шапке с соболиным хвостом, которая шла по аллее в сопровождении дамы средних лет, изредка подбегала к невысокому снежному брустверу, хватывала пригоршню мягкого снега, лепила комочки и бесцельно бросала их в сторону раскричавшихся ворон. Бронислав вышел из беседки и поклонился дамам.

— Мадам, я не знаю этого мальчика. Кто он? — звонким голосом спросила девочка.

— Ваше Высочество, это неприлично! — зашипела воспитательница.

— Ничего не нахожу неприличного, я девочка, а не дама, к тому же, мы не на балу. В моей аллее именно в час моей прогулки появляется незнакомый мальчик, и я хочу знать, кто он. Что тут неприличного? Ну-с?! — обратилась она к покрасневшему незнакомцу. Он уже понял, что перед ним одна из Великих Княжен.

— Меня зовут Бронислав, мы только что прибыли из Варшавы.

— Замечательно! Это вас поселили с северной стороны дворца?

— Право, не знаю, я еще не ориентируюсь, где здесь север.

Девочка залилась веселым и громким смехом:

— Север здесь в том же направлении, что и в Варшаве. Мое имя Анастасия. А вас я буду звать Броня, нет, просто Боня. Вы не возражаете?

– Нет, Ваше Высочество!

– Ну, вот, и тут то же самое! Даю вам право звать меня по имени. Приходите после обеда к пруду, солдаты сделали горки и каток, ведь сегодня Рождество. Вы католик?

– Да, Ваше Высочество.

– Все равно приходите, будет праздник.

Воспитательница опять вмешалась:

– Праздник устраивает Государь, и Вы не можете приглашать без его согласия.

Анастасия ответила резко:

– Папа разрешил мне приглашать, кого захочу. Вы мне надоели, я убегаю.

И она понеслась по аллее, оставив не очень расторопную воспитательницу.

Бронислав был поражен, все случившееся казалось ему сном, наваждением. Лицо Анастасии, челка каштановых волос, выбившаяся из-под шапки, большие голубые глаза, четко очерченные губки, приглашение, которым он не знал, как воспользоваться. Дома обо всем рассказал отцу.

Пан Леопольд Лячек был очень крепкий сорокалетний мужчина, густые с сединой волосы зачесывал назад, ходил прямо и гордо, лицо брил, при работе надевал очки, и они закрывали его густые брови и темно-серые глаза. В суждениях, как всякий ученый, был резок, компромиссов не признавал.

– Ты поступил недостойно, сын мой, в тринадцать лет следует знать, что неприлично как бы случайно оказываться на пути дамы. Я полагал бы на праздник не ходить, не думаю, что твое отсутствие будет замечено, а вот явление может вызвать нежелательные разговоры. Мы поляки, сын, и не нужно этого забывать.

Чтобы не переживать, Бронислав совсем не выходил из квартиры. Он смотрел в окно и представлял княжну Анастасию на катке и высоких горках, которых вообще никогда не видел.

Утром следующего дня отец привел в дом пожилого мужчину, представив его учителем языков. Мужчина был слегка помят, безразличен и хмур.

– Сын, это господин Синиэль, Жан Саниэль, знаток языков, он сейчас не в духе после праздника, но весьма образован и способен к передаче знаний. Приглашен был для обучения младших детей Государя, но проявил свою слабость, и отвергнут. Мне разрешили взять

его. Господин Саниэль, моего сына зовут Бронислав, скажите еще раз, какие языки вы будете давать.

Француз пожевал губами и начал перечислять:

— Европейские почти все, без скандинавских, латынь, если изволите, иврит или идиш, на выбор. Продолжать?

— Хорошо, об условиях мы договорились. Завтра можете приступать.

Три раза в неделю по три часа Бронислав с Жаном отдавали занятиям, через месяц решено было остановиться на французском, испанском, итальянском и русском, еще латынь и арамейский, на древнем семитском настоял отец, считающий обязательным знать язык Господа своего.

Потом стал приходиться учитель математики и естественных наук, отставной профессор Петербургского университета Маковцев. Георгий Михайлович отметил большие способности своего ученика и заверил мальчика:

— Через пару лет вы успешно выдержите экзамены в университет, это я вам обещаю.

Бронислав выходил на прогулку дважды: днем и уже в темноте, очень хотелось увидеть Анастасию, но он боялся появляться в аллее в час ее прогулки. В этот раз он оделся очень легко, предполагая пройти вдоль дворца несколько раз и вернуться к занятиям: языки требовали усидчивости.

— Так вот вы где! — услышал он знакомый голос, и сердце застучало прямо в горлышке: Анастасия! — Почему вы, сударь, не соблаговолили явиться на праздник в Рождество и теперь скрываетесь от возмездия уже месяц?

Она стояла перед ним одна, без сопровождения, невысокая, коренастенькая, улыбчивая, голубые глаза ее беззаботно радовались. Он молчал. Ее устраивало его смущение, она наслаждалась властью над этим странным поляком.

— Вас не пускают из дому? — вдруг спросила она.

— Что вы, вовсе нет, я много занимаюсь, и потом... Я так бестактно вел себя там, в аллее, простите мою невоспитанность.

— Господи, и вы о том же. Все хотят воспитывать, а я хочу жить и радоваться. Когда я купаюсь в пруду, только папенька может меня оттуда вынуть. Или влажу на дерево. Да, я лазаю по деревьям не хуже мальчишек. Мне так весело, что все внизу просто от страха за меня повизгивают, а я вижу весь мир вокруг значительно больший, чем они, несчастные. Потом приходит папа и командует. После обеда мы

гуляем в саду, почти в любую погоду, присоединяйтесь к нам, мои сестры очень добрые и красивые. Наследник часто болеет, потому что у него особый режим. Жду вас завтра в аллее.

И она побежала в сторону парадного подъезда.

Бронислав только теперь почувствовал, что продрог, дома мама сделала ему компресс и растерла водкой ноги, но к ночи поднялась температура, мальчик бредил, произносил странные слова из только что заученных, утром температура снизилась, он спал весь день. Вечером отец сел у постели:

— Надо быть осторожней, сын, это Россия, простуда — самая распространенная болезнь русских. Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, папа, но я хочу тебе сказать, что скоро будет война, я знаю это от канцлера Вильгельма.

— Матка Боска! — взмолился отец. — Откуда взялся канцлер? Он приснился тебе?

— Нет. Просто я его видел и узнал, что война с Россией начнется этим летом, все как-то связано со смертью Франца-Фердинанда.

Леопольд обнял сына:

— Маленький мой, тебе это привиделось в бреду, у тебя был жар, успокойся.

— Я спокоен, папа, — сказал сын слабым голосом и снова уснул.

Когда он через две недели появился в аллее, все четыре княжны: Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия прохаживались, тихонько о чем-то говоря. Мальчик скользнул в беседку, но был замечен.

— Боня, я жду объяснений. Представляете, назначила молодому человеку свиданье, а он уже дважды не явился. Что мы с ним сделаем?

Старшие улыбнулись, раскланялись с потрясенным мальчиком и оставили детей одних. Татьяна предупредила:

— Стана, ждем тебя через четверть часа.

Анастасия вошла в беседку:

— Как все мило, скоро весна, вы это чувствуете? Вы болели?

— Да, я простудился.

— Ах, это, очевидно, в тот случай, простите меня, я видела, что вы легко одеты, но не подумала о последствиях. Наследник тоже лежал в эти дни, в доме очень тяжело. Его спасает старец Григорий. Как ваши науки?

— Мои учителя не дают покоя, считают, что через два года можно сдавать в университет.

— Да, вы будете студентом, в гуще молодежи, а мы обречены до-

жидаться своих принцев дома. Папенька только следующей зимой выведет в свет Ольгу и Татьяну, это он уже объявил, а когда до меня очередь дойдет?

— Григорий — это кто?

— Святой. Да, святой человек, он многих пользует, а для Алеши просто спаситель, у него очень нехорошая болезнь. Григорий крестьянин, из глубины Сибири, в нем сила и дар от Бога. Все, довольно, я побежала, сестра у меня строгий воспитатель. Когда вы придете?

— Наверное, через три дня.

— Прощайте! — и она опять резво побежала по аллее, оставляя ему приятные воспоминания и тревогу от странной новости: Григорий. Надо спросить отца.

Дома ему вдруг сделалось дурно, он хотел было позвать маму, но почти без чувств опустился в кресло, и сильная боль с волнами набегавшим шумом сжала его мозг. Он оставался в сознании, оно путалось, какие-то новые мысли проносились и исчезали, новые лица мелькали, как в кинематографе, он едва успевал узнавать: Государь, царица, княжны, наследник. Потом Анастасия, в слезах. Далее какие-то люди, мертвые тела, простыни, запах серы. Бронислав закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Ему стало легче дышать, но в голове был беспорядок. Он не мог дать толкование, что с ним, откуда эти картины и эти мысли, именно мысли, не было же никаких слов, но он странным образом знал, что видел... их гибель.

— Мой Бог! — прошептал мальчик. — Избавь меня от этой кары, я ничего не могу понять, ничего не хочу знать, я очень болен.

К приходу отца он оправился, занимался математикой, когда тот вошел в его комнату.

— Папа, видимо, я болен, в моей голове не все в порядке. Я уже говорил тебе о войне, сегодня еще более страшные известия. — Он сам испугался этого определения, потому что оно показалось ему наиболее точным: известие, кто-то неведомый извещает его о том, чего не знает еще никто на белом свете. — Я не хотел бы говорить о содержании, оно ужасно. Может быть, в Петербурге есть хорошие доктора, папа, я боюсь. И сегодня я узнал о старце Григории, кто это, он действительно чародей? Может быть, следует обратиться к нему?

— Боже тебя сохрани от общения с этим человеком! — испугался Леопольд. — Это страшный человек, в нем действительно есть сила, но никто не может твердо сказать, от кого она. Недаром его фамилия Распутин. Это страшный человек! Тебе не надо его знать.



В тот же день Бронислава на выходе из дворцовой ограды через главные ворота обогнала запряженная тройкой карета с открытым верхом, сидевший в ней бородатый мужчина в темной накидке и низкой шляпе, из-под которой распадались в обе стороны пряди темных волос, резко повернулся в сторону и встретился взглядом с мальчиком. Карета уже пронеслась, когда раздался зычный голос:

— А ну, разверни!

Кучер придержал коней, карета катилась навстречу Брониславу. Он уже понял, что в карете сам Распутин.

— Остановись, юноша! — приказал тот голосом, которого невозможно было послушаться. — Подойди сюда. Молодец. Еще раз посмотри мне в глаза! Ах, ты! Все, не следует боле. Ты чей?

— Бронислав Лячек, из Варшавы.

— А папаша твой кто?

— Историк, он работает с бумагами для Государя.

— Приходи ко мне на городскую квартиру, поговорить с тобой хочу.

— Меня папенька не отпустит.

— Эка причина! Папенька сам тебя и привезет. Все, пошел! — И он привычно хлопнул кучера по спине.

Вечером Леопольд пришел домой в слезах. Ни жена, ни сын еще не видели его таким расстроенным.

— Я получил высочайшее указание сегодня после ужина поехать с сыном к Распутину. Бронислав, где он мог тебя видеть?

— Сегодня во дворцовых воротах, он проехал на тройке, потом вернулся.

— Он говорил с тобой?

— Только несколько слов. И велел посмотреть в глаза.

— Мой Бог, что надо этому человеку от простого поляка?

Жена Ядвига, никогда не выражавшая своего мнения и говорившая очень редко, к чему привык даже сын, вдруг подала голос:

— Что плохого успел ты узнать о старце за месяц жизни при дворе?

— О, если бы ты знала хоть сколько! Это сам дьявол, он пьяница и развратник, но обладает некой темной силой, удачно лечит гемофилию наследника и тем вырос в глазах императрицы. О нем говорит весь Петербург.

Карету подали сразу после ужина, Леопольд долго молился, обнял жену, поцеловал сына. Мальчик не понимал столь высокой взволнованности отца.

Молодая женщина провела их в квартиру Распутина, которая пока-

залась Брониславу тяжелой и запущенной. Старец вышел к ним в роскошном халате и стоптанных башмаках, пригласил сесть, сам откинулся на большую продавленную тахту. Бронислав со страхом и любопытством на него смотрел: фигура крепкого мужика, широкоплечего, мускулистого; неопрятен, самоуверен, длинные темные волосы ниспадают по обе стороны головы, прикрывая бледное узкое лицо, заросшее беспорядочной бородой, даже крошки пищи показались мальчику в спутанных волосах. Но глаза этого человека поразили гостя: большие, светлые, сверкающие, пронизывающие и ласковые.

— Пан, я тебя позвал, чтобы ты согласился парня своего отдать мне в ученики. Помолчи! Я сегодня первый раз его увидел и нашел в нем способность. Ну, это уже мое дело. Так отдашь?

— Милостивый государь, — церемонно начал Леопольд, но Распутин перебил его:

— Я не о милости прошу, а ради твоей же пользы. Ты не замечал за парнем ничего необычного?

— Нет! — соврал пан и покраснел.

— Ты пошто врешь мне, святому человеку, я же тебя насквозь вижу! Парень твой одарен особой способностью, какой нету у простых людей. При мне он будет присмотрен и в рамках, пока я жив, никто до него не коснется, но ты учти, что акромья меня тьма желающих заполучить такой подарок.

Потом повернулся к Брониславу, который все время молча сидел в кресле и наблюдал за старцем:

— Скажи мне, сынок, тебя пугают догадки какие-то, мысли незнакомые, не свои?

— Да, сударь.

— Я же говорил! — торжественно воскликнул Распутин. — Анна, мадеры!

Та же женщина внесла поднос с тремя бокалами и бутылкой вина, старец мастерски ее откупорил, налил всем по полному:

— За наше сотрудничество во имя Государя Императора и Святой Руси!

— Подождите, пан Распутин, — отец так и не взял наполненный бокал. — Мы ни о чем не договорились. Давайте начнем с того, что если и есть в моем сыне какие-то особые способности от Господа нашего, как могу отдать его вам, православному, человеку иной веры?

Распутин громко расхохотался:

— А как же ты, польская твоя сущность, определил, какому богу я

молюсь, если мне самому сие неведомо? Вот что, пан, по приезде во дворец буду вызывать твоего парня, и не вздумай перечить. А пока прощайте. Анна, проводи!

Несмотря на большое смущение и даже страх, Леопольд возмутился:

— Умеют же русские сотворять себе кумиров! Старец! Я думал, действительно, старик, а он моим летам ровесник!

Бронислава не особо заботили предложения Распутина и реакция папеньки, он все больше растил в своем сердце алую розу почитания и боготворения Анастасии, которая, как ангел небесный, опустилась перед ним, чтобы смутить и испытать его душу. Он был совершенно уверен, что Господь все продумал за них и свел здесь, в неожиданном Петербурге, чтобы она, красавица и шалунья, вторглась в его размеренную жизнь, измяла ее, возмутила, заставила беззаботного подростка страдать и чувствовать. Завтра надо бежать в аллею, она придет, светлая, как наступившая весна, в легкой накидке, с распущенными богатыми своими волосами, непременно с зонтом от яркого солнца. Если с нею будет воспитательница, разговора и вовсе не получится, да и не будет никого — не намного смелее станет влюбленный мальчишка. И тогда он придумал: письмо! Во всех романах именно письмо выручало молодых людей, когда они лишены были возможности говорить откровенно. Бронислав сел, развернул лист бумаги и замер с пером в руках над белым его пространством. Еще мгновение назад все казалось так просто, а перо не хотело касаться листа, потому что автор так и не нашел еще первого слова. Он хотел обратиться, как и положено: «Ваше Высочество!», но такое показалось ему черес-чур официальным, да и сама Анастасия несколько раз возмущенно отвергала подобное обращение, вздернув губку: «Ну, вот еще!». И тогда он написал:

«Княжна Анастасия! Не имея возможности каждый день видеть Вас и говорить с Вами, я страдаю и остаюсь один на один со своими чувствами. Вы обратили на меня свой взор, сделав обыкновенного человека счастливейшим из всех, и я бы не хотел злоупотреблять Вашим вниманием ко мне, которое, возможно, для Вас ничего и не значит. Мои занятия и желание поскорее закончить подготовку не оставляют времени на праздные размышления, но Ваш образ всегда со мной, он в душе моей, и ничем уже теперь его оттуда не вынуть. Я передам Вам это письмо при встрече, и, если это позволительно, просил бы милостиво ответить мне письменно. Преданный Вам Бронислав Лячек».

Вопреки опасениям, Анастасия была в аллее одна, воспитательница сидела с книжкой в дальней беседке. Не доходя нескольких шагов, молодой человек остановился и чопорно поклонился даме. Княжна улыбнулась и тоже кивнула.

— Давайте будем гулять, сегодня такой воздух! Наши все ушли к пруду, смотрят, как садится лед. Вы должны ценить, что я отказалась от столь интересного зрелища ради встречи с вами. — Она кокетливо посмотрела на него.

— Благодарю вас, Ваше Высочество!

— Прекратите сию минуту! Я же разрешила называть меня по имени, тем более, когда мы одни. Я вас зову Боня, вы меня... Настей, так будет приличней. Меня домашние зовут неожиданно и мило — Стана, все буквы в имени местами переставили, получилось забавно, но это только для очень близких, вы не обижайтесь. А еще мы из первых букв своих имен составили коллективное имя для всех сестер: ОТМА — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Ну-с, довольно. Что еще интересного в эти дни случилось, расскажите, страсть люблю новости.

— Я был вместе с папой в гостях у Распутина.

— Вот как? Отчего такая честь? Что он вам сказал?

— Пригласил он потому, что заметил во мне какие-то способности, сказал, что берет меня к себе на воспитание и для развития этих способностей.

— А способности какие? Боня, не томите душу, у вас есть выдающиеся способности, а я об этом ничего не знаю! Это не честно!

— Право, не знаю, как сказать, Распутин видел меня всего мгновение, и сразу остановил карету, говорил со мной минуту, а вечером вызвал к себе. Понимаете, мне стали являться некоторые картины будущего, возможно, это бред, сон, фантазии, но Распутин настаивает.

— Вы согласились быть его учеником?

— Папенька категорически против. К тому же я готовлюсь в университет, мистика меня не интересует, я хотел бы основательно заняться русской историей и языками.

— Боня, я могу об этом рассказать сестрам или маме?

Бронислав смутился:

— Не уверен, Княжна, что это следует предавать огласке.

Она обрадовалась:

— Хорошо, пусть это будет нашей маленькой тайной.

— Княжна Анастасия!

— Настя!

– Княжна Настя!

– Вы неисправимы! Продолжайте, а то забудете, что хотели сказать.

– Как можно! Я многое хотел вам сказать, но доверился бумаге и передаю это письмо.

– Благодарю вас. Если сочту нужным, отвечу и пришлю лично вам прямо завтра. Чур, уговор: письма прятать как можно лучше, если сестры узнают о нашей переписке, я получу внушение. Мамочка очень строга к этому. Прощайте!

И она тихонько пошла в обратную сторону, предоставив ему не сказанное счастье еще раз пройти по ее следам, оставленным на не совсем просохшей дорожке.

Молодой человек еще не мог знать тогда, какое чудесное, единственное в природе человека состояние переживает он, какие изумительные по чистоте и силе подсознательной памяти дни и ночи, ибо и ночами Она виделась ему светло и радостно, и отношения эти, и дневные редкие, и почти постоянные ночные, отличались от суетности и обыденности бытия, наполняли жизнь и сны похожими ощущениями непреходящего счастья. Бронислав три дня в неделю, когда удавалось видеть Княжну и говорить с нею, считал самыми главными в своей жизни, он нисколько не думал о завтрашнем, будучи безо всякого сомнения уверенным, что все выполнит, постигнет науки, заработает средства, сделает имя – все, чтобы быть достойным самой лучшей барышни на земле. Он помнил грустные слова Анастасии, что их удел – дожидаться во дворце своих принцев и сделать брак не результатом чувств, но инструментом политики, но он знал из европейской истории немало примеров, когда даже наследные принцы отказывались от короны во имя любви, и были счастливы. В его мечтаниях образ веселой шалуньи и несравненной красавицы был всегда рядом, и никакая фантазия не могла заставить его допустить, что все может быть иначе.

Мальчик-слуга принес ему на серебряном отцовском подносе пакет с царским вензелем:

– Пан, вам письмо от Ее Высочества, только что принесла из апартаментов ее фрейлина.

Бронислав вскрыл письмо:

«Боня, можете мною гордиться, я сама рассказала маме о нашем знакомстве, она строгая, но справедливая, и сестры мои, всегда буду им благодарна, отзывались о наших встречах в самых лучших тонах. Потому сегодня приглашаю вас к вечернему чаю, который имеет быть

в пять часов вечера. Будут сестры и наследник, я ему сказала о вас, он жаждет познакомиться. Анастасия».

Он забросил уроки и стал выбирать костюм для визита, мама была перепугана и все время подсказывала некоторые детали поведения за чаем. Едва дождавшись половины пятого, Бронислав пошел к парадному, но тут же был встречен незнакомой барышней чуть старше Анастасии:

— Простите, сударь, если вы пан Лячек, то мне приказано передать вам извинения Ее Высочества княжны Анастасии. Вас не могут принять, потому что в доме несчастье, мне разрешено сказать вам под секретом: неожиданно заболел цесаревич Алексей. Княжна завтра в одиннадцать будет в аллее. Извините, я спешу.

Удрученный Бронислав повернул было обратно, но мощный и хорошо знакомый голос остановил его:

— Паныч, я очень спешу к больному царевичу, обожди меня тут, ты мне крайнехонько нужен.

Распутин в холщовой крестьянской рубаше, широких шароварах и хромовых сапогах, домашний и деревенский, нелепо смотрелся в Царскосельской роскоши, но Бронислав понял, что его привезли таким, каким застали в квартире или в гостях. Странно, но старец не пугал молодого человека, в отличие от отца, он не видел ничего такого, что могло бы препятствовать их общению. Прошло более получаса, прежде чем Распутин появился в дверях:

— Иди сюда.

Бронислав поднялся по ступеням. Офицер охраны хотел было что-то сказать, но старец отвел его взмахом руки.

— Иди за мной.

Они прошли коридорами через две залы, Распутин отворил огромную дверь в довольно просто обставленную комнату.

— Здесь будем говорить, царица отвела мне этот угол на случай, если придется заночевать. Ну, тебе об этом знать не надобно. Так вот, милай мой. Ты, определенно, слышал, что я непростой человек, а Божий, мне многое дано, вот сейчас наследнику кровотечение остановил. Доктор Боткин не мог, а я сделал. Евгений Сергеевич ученый человек, а я крестьянин. Ну, довольно об этом. Тебе видения были, какие, скажи? Сон ли являлся или в сознании происходит?

— В сознании, но в болезни, а то и в огорчительных моментах.

— Что видишь, слышишь?

– Вижу лица, чаще знакомые, просто по портретам, слов не слышу, только мысли, то есть, знаю, что они знают.

– Вспомни один момент, к примеру.

– Видел канцлера Вильгельма, потом принца Франца-Фердинанда, потом стал знать, что принца убьют, и потому начнется война, нынешним летом.

Распутин вскочил и стал нервно ходить по комнате.

– Пан Распутин, не нужно этому придавать значение, я в тот день был в горячке, возможно, это бред.

– Если бы, паныч, если бы. Не могут одинаково бредить сразу несколько человек. Что еще видел, другие картины?

– Ничего существенного, в основном юношеские мечтания.

– Ах, как ты толково врешь! Хотя и на этом спасибо. Кто еще знает о твоих видениях?

– Только папенька.

– Скажи ему.. А, впрочем, он и без того молчит, как камень. Потребуешься – найду сам. Беги домой, да хранит тебя Господь!

И он широким размашистым русским крестом осенил польского католика.

Анастасия еще раз прислала свою девушку, и Бронислав, наконец, отправился на чай. Анастасия встретила его на просторном крыльце, провела в малую столовую, где уже сидели и беседовали Ольга, Мария и Татьяна. Молодой человек поклонился, девушки привстали, приветствуя гостя, красивая и кокетливая Мария радушно улыбнулась:

– Бронислав, мы уже знакомы, так будьте проще, садитесь, теперь же подадут чай.

Анастасия села напротив гостя, спрашивала об учебе, о скорых экзаменах и тихонько о разговоре со старцем Григорием. Юноша столь же тихо отвечал ей через стол, и тихий этот, как бы полусекретный разговор, рассмешил сестер. Они встали, чтобы уходить, когда в залу вошла императрица в простом просторном платье, комнатных туфлях и с высокой прической. Бронислав вскочил и склонил голову:

– Мамочка, позволь тебе представить моего товарища Бронислава Лячека. Он с отцом прибыл из Варшавы, мы познакомились три месяца назад.

Александра Федоровна кивнула и попросила юношу сесть:

– Это о вас, точнее, с вами говорил старец Григорий Распутин?

– Да, Ваше Величество.

– Почему, скажите мне откровенно, вы не имеете желаний сотруд-

ничать, или как это лучше сказать, быть вместе со старцем? Поверьте, он очень многому мог бы вас научить.

— Конечно, Ваше Величество, но этому противится мой отец.

Царица недовольно повела головкой:

— В интересах Империи и Государя ваш отец должен это сделать.

— И уже совсем тихо, чтобы не слышали дети, добавила: — Старец находит в вас некую силу, которую наши враги могут использовать против России. Попробуйте внушить это своему папе.

Она встала:

— Дети, продолжайте прием гостя, я заберу Ольгу, она нужна мне для работы.

Когда царица вышла, Бронислав почувствовал, как он ослаб, ноги дрожали, чашка с чаем прыгала в его руке. Анастасия весело смеялась:

— Бони, успокойтесь, я же говорила, что мама знает о вас, потому нет ничего предосудительного, что вы у меня на чае.

Они еще несколько времени болтали о пустяках, пока Бронислав не услышал удары больших напольных часов: пора уходить. Анастасия проводила его до дверей, он осторожно наклонился к ее руке, но так и не посмел коснуться.

Вечером отец был очень взволнован, ходил по комнатам в своем длинном цветном халате и возмущался всем: и вмешательством в его работу каких-то людей из Иностранной коллегии, и уже второму визиту этого грязного развратника Распутина, который непременно требует отдать ему сына на воспитание, хотя пан Лячек искренне не может понять, чему способен научить юношу безграмотный и бескультурный мужик, которого эти странные русские почитают почти за святого.

— Ты только подумай, дорогая Ядвига, сегодня он ворвался в мой кабинет, сбросил со стула пачку ценнейших бумаг времен Ивана Великого, и рухнул на него, едва не развалив. Ты знаешь, что он мне сказал? Ты никогда не догадаешься! Ему, якобы, известно, что я выкрещенный еврей уже в третьем поколении, и скрываю это, что он отнимет у нас сына, потому что в Брониславе есть некоторый талант, что вполне естественно, и тот талант зачем-то потребовался этому безумцу. Ты знаешь, он грозил отправить нас в Сибирь. Без сомнения, Распутин был нетрезв, но о Сибири он выразился достаточно уверенно. Меня это крайне волнует, Ядвига.

Жена пыталась его успокоить, что угрозы какого-то Распутина не могут иметь последствий для ученого, занимающегося изуче-



нием древних документов, а сына никто не может забрать без согласия отца и матери.

Но на другое утро в кабинет, где работал пан Лячек с помощниками, явился полицейский чин, вручил хозяину под расписку предписание Государя Императора в трехдневный срок отбыть в Тобольск для работы с документами, обнаруженными там в хранилищах Кремля.

— Но, Пресвятая Мария, тут еще столько дел, лишь самое начало! — заплакал пан Леопольд.

— Все будет опечатано и сдано на хранение, куда следует, это не ваша забота.

— Могу я узнать, чем вызвано столь срочное перемещение?

— Только не у меня, — важно сказал полицейский чин. — Я это предписание получил сегодня утром под строгим секретом. Трое суток, пан, я прослежу.

Бронислав был в смятении: уехать в Сибирь, так далеко от Анастасии, не иметь возможности видеть ее, слышать озорной и такой милый голос. Он вышел в парк, вошел в ту беседку, с которой и началось их знакомство, он был уверен, что она очень скоро придет сюда тоже. И она пришла, взволнованная, прямая:

— Бони, я все знаю от мамы, это старец внушил ей, что вы опасны, поскольку не желаете идти к нему в ученики. Мама настаивала, чтобы вас, в крайнем случае, отправили обратно в Варшаву, но старец был неумолим: подальше, в Сибирь! Вы же знаете, он оттуда родом, возможно, надеется там найти с вами общий язык. Бони, я буду писать вам письма.

— А я принес вам подарок, заказал давно, принесли на прошлой неделе, но все как-то стеснялся. Вот.

И он подал ей хрустальный флакон в форме пышного букета фиалок, внутри бутонов которых виднелась крохотная пробочка. Княжна заплакала:

— Бони, как вы узнали, что фиалки — любимые мои духи?

— Ваше Высочество, запах фиалок всегда окружает вас, даже в моих снах.

— Бони, мы еще столь юны, что не можем говорить о чувствах. Но я верю, настанет время, когда мы скажем друг другу все. Напишите мне сразу по приезде. А флакон этот с моим поцелуем — (она прижала к губам хрустальные цветы) — храните как память обо мне. Уверю вас, все будет хорошо.

— Княжна!

– Прекратите!

– Дорогая Княжна! Выслушайте меня и не думайте, что я сумасшедший. Мне дано это знание странным путем, и о нем стало известно Распутину. Скоро будет война, потом еще какие-то события, и потом ваш путь тоже лежит в Сибирь. Я не могу вам этого объяснить, но нас ждет большое горе. Знаю только, что увижу вас еще раз. Видимо, за это знание ваш старец и невзлюбил меня. Прощайте!

Он зарыдал и кинулся аллеей в сторону своего подъезда. Через два дня в мягком вагоне поезда под наблюдением молодого человека из полиции семья Лячков отбыла на восток.

## 2.

Тимоха Кузин после смерти отца, церковного старосты и уважаемого человека в селе, был принят обществом как хозяин, и мать его, крутая и властная женщина, терпеливо сносила все выходки сына.

– Ты пошто иконы не отдал комсомольцам, когда они приходили с религией бороться? – ворчала она. – Слышно, в самой Самаре с храмов кресты сбрасывают и иконы жгут прямо на паперти, а ты все поперек.

Тимохе шестнадцать лет всего, ростом не велик, грамоте обучен не особо важно, зиму в ликбез проходил, «рабы не мы, мы не рабы», плюнул, но расписаться мог. Зато отцовскую библию и другие книги читал еще по родительскому наущению, как-то стал просматривать Откровения и испугался: вот он, конец света, все сходится! В уезде, рассказывают, демонстрация вольных женщин проходила на днях, впереди всех совершенно голая шла с плакатом «Бога нет, и стыд долой!».

– Иконы трогать не позволю, – ответил он матери. – И в колхоз ихний вступить не буду.

– Заберут все, злыдень!

– Мое все со мной останется, – ответил Тимоха.

Трое местных активистов пришли раненько, чуть свет, не стесняясь, прошли в передний угол, старший вынул из кармана дождевика тетрадку:

– В колхоз, стало быть, не подаешь? А сколько сеять будешь?

– Сколь Бог даст.

Трое засмеялись:

– Он даст!

– Открывай шире рот, чтобы не промазать.

– Двойным налогом будешь обложен, как единоличник. Это пер-

вое. Второе. Мельницу и кузницу мы у тебя реквизируем в пользу колхоза, нечего на народном несчастье рожу наедать.

«Про несчастье ты правильно сказал, хоть и другое имел в виду, а насчет рожки ошибся, кроме добрых слов от людей мало чего нажил батюшка мой», — подумал Тимоха.

Отец Павел Матвеевич мастеровой был, углядит где какую новинку, смотришь, а он уж дома такое сообразил, и Тимка тут же, рядом, присматривается, перенимает. Кузницу давно поставили, и по хозяйству что сделать, и для соседей, лемеха к плугам ковать наловчился, зубья боронные, в журнале высмотрел рыхлитель земли, соорудил такой же под парную упряжку. Мельницу сделал от ручного привода, зато жернова из Самары привез, тонко мололи, хлеб славный получался. С самой осени ни дня мельница не стояла, все кто-нибудь с мешком-двумя приедет: «Матвеевич, смелем?». «Отчего не смелешь, если крутить будешь?». За услугу с мешка котелочек зерна, так, для вида, названье одно, а не плата. Мать ворчала, а он посмеивался: «У нас своей пшенички полные амбары, эту пойди да курам вытряхни».

Ближе к обеду подъехали на подводе колхозники, по наряду, в глаза не глядят:

- Тимофей, откуль тут начинать, чтобы не нарушить?
- А с любого краю, все едино ничего у вас работать не будет.
- Что уж ты так?
- Потому что правда. Увезете и сложите костром, все так и сгинет.

Колхоз, он и есть колхоз.

Отсеялся Кузин вовремя, пашню заборонил, в ночь хороший дождь прошел. Как только застучали капли по оконным стеклам, встал Тимофей перед иконой Николы Угодника и молился до самого рассвета. Почитал этого святого больше других, потому что в раннем детстве явился Никола Тимке и его дружку Ваське, они за гумнами овечек пасли. Зима была суровая, все корма кончились, вот и отправили их отцы на вытаявших бугорках посторожить овечек, может, хоть прошлогодней травкой попользуются. Овцы пасутся, а ребятишки на солнышке греются, и смотрят — мужчина идет со стороны оврагов, там и дорог-то никогда не было, да и не пройти, такие потоки талой воды несутся. А мужчина в фуфайке, на ногах ничего нет, и голова не покрыта. Проходит рядом, молчит, только один раз в их сторону посмотрел. Не по себе стало ребятишкам, собрали они овец и домой. Отец ворчит: «Какой мужчина вам показался? Кто в такую пору будет по степи бродить? Скажи лучше, что надоело, вот и пригнали овец».

А Тимошке страшно, он в дом вошел, козушек скинул, а взгляд чужой чувствует, поднял глаза: «Господи, вот же кто был, Никола Угодник был на гумнах». Мать выскочила на крик и перенесла на лавку обмякшее тельце сына. Отец уже спокойнее с ним говорил: «Босиком по снегу шел? И без шапки? А как же ты по иконе узнал? Лысый? И взгляд? Ты с ним глазами встретился? Господь тебя благослови! Лежи, отдохни маленько».

Утром пришел колхозный нарядчик:

– Велено обоим с матерью да пару лошадей с боронами на сев.

– А мы отсыялись еще вчера, – с вызовом ответил Тимофей.

– Ты Ваньку-то не валяй, я про колхозный сев говорю. Там еще начать да кончить осталось.

– Скажи своему истукану, что мы не колхозники и на работу нас наряжать не надо.

– Какому истукану, ты чего мелешь?

– Истукан – это идол был у язычников до прихода Христа, ему поклонялись. В колхозе теперь свой истукан, но я крещеный православный христианин, и в другую веру не обращаюсь.

– Ну, Тимка, не миновать тебе ГПУ, если слова твои передам, благодаря бога своего, что я ничего не понял, скажу только, что ты отказался.

Все лето чуть не каждый день навевывался Тимофей на свое поле. Пшеница взошла ровная и чистая, и раскустилась богато, и трубку выбросила. А когда колос стал наливаться, вовсе весело на душе стало: быть доброму урожаю!

В августе начали жать, мать вязала снопы, Тимофей составлял в суслоны, на гумно везти не торопился, потому что погода стояла сухая, зерно дозревало в колосе. Намолотили столько, сколь и при отце не бывало, глухой ночью Тимофей перевез десяток мешков домой, да не в амбар, а под крышу избышки на ограде, осторожно доски с фронтона снял, мешки поднял, старой соломой надежно укрыл и доски на место. Днем все зерно на гумнах в мешки ссыпал, одну подводу к колхозному амбару подвез. Председатель, присланный из Самары партийный счетовод овощной конторы, сосчитал мешки и усмехнулся:

– Не густо ты, Кузин, отгрузил родному колхозу.

– Сколько положено по квитанции, столько и привез. – Хотел добавить насчет родного колхоза, но воздержался.

Председатель открыл тетрадку, нашел нужную строку:

– Три десятины пшеницы, рожь, овес, просо. Так. С трех десятин ты не меньше трех сотен пудов намолотил, да поболее, у тебя

хлеб хороший стоял. А сдаешь — десять мешков? Нет, не любишь ты советскую власть!

— Дак ведь и она меня не очень любит, гражданин председатель. Сказано товарищем Сталиным, что всякий человек волен жить так, как он хочет, а вы у меня мельницу разворотили, кузню сломали. Где они сейчас? У конюшни свалены в кучу.

Председатель поискал глазами кого-то, но не нашел, велел взвешивать и высыпать зерно.

— А про любовь мы с тобой еще поговорим. Ты у меня как чирей на заднице, все люди как люди, а он единоличник! Ты мне всю отчетность портишь, Кузин, и я тебе обещаю, что ты или в колхоз вступишь, или из села долой.

— Нет такого права! — Тимофей взорвался негодованием. — Нету! Продналог доведен государством — я его выполнил, и делу конец!

Председатель тоже закипел:

— Я буду определять, выполнил ты или нет, понял? Вот жду подмогу, должен подъехать уполномоченный, это специально для таких, как ты, создан партией орган, вот он и выдаст тебе квитанцию, чтобы ты от государства ни зернышка не закурковал!

Уполномоченный приехал вечером на паре вороных лошадей, с человеком в форме и при кобуре. Среди колхозников тоже оказались несознательные, которые помимо колхозной работы подсевали свои полюшки, они тоже облагались, как единоличники, но платить не хотели. С ними разобрались быстро, Тимофея уполномоченный посадил прямо перед собой, рядом бросил полевую сумку и кобурю:

— Почему вы, молодой человек, не хотите жить, как все советские люди, в колхоз не вступаете, от комсомола отказались, иконы, говорят, до сих пор в доме храните. Это правда?

— Да, гражданин начальник, все как есть.

— Вы меня правильно поймите, Тимофей Павлович, человек вы молодой, даже можно сказать — юный, а ведете себя как отчаянный контрреволюционер. Кстати, вы знаете, кто такой уполномоченный НКВД? Вот мы сейчас сидим с вами и мило ведем беседу. Я нахожу, что человек вы начитанный, хотя официального образования не имеете, с вашим знанием народа здешнего вы могли бы стать крупным политическим работником.

Тимофей мял в руках кепку.

— Я говорю с вами, как с равным, потому, что вы отличаетесь от всей этой серой массы. Но я могу сейчас же лишить вас жизни. Вот какая нынче острая политика.

— Я не интересуюсь политикой, тем более такой политикой, которая напрочь отрицает Христа, а я верующий человек, и таким останусь.

Уполномоченный очень удивился:

— Это кто же вам сказал, что мы отрицаем Иисуса нашего Христа? Это провокационная глупость неграмотного сектанта. Вы-то знаете десять заповедей, так я вам признаюсь, что коммунисты считают эту его установку чуть ли не своей программой в области морали. Да! Мы боремся с церковниками, которые извратили учение Христа и великую философию сделали догмой. Важна мораль, к которой призывал Иисус, а не завывания хора из десятка старух, чад от паникадила и просфорки в конце службы, а то еще и вино как кровь Христова. Согласитесь, что это чушь.

— Никогда не соглашусь, потому что причастие, которое вы высмеиваете, сам Господь совершил первым и нам заповедал. Как от этого можно отказаться?

— Я вам отвечу. Со временем. Не сразу, но можно. Вам, наверняка приходилось наблюдать, как младенца отлучают от груди. Время подошло, а он еще не понимает. Нужны дополнительные усилия, чтобы вызвать у младенца отвращение к тому, что вчера еще он считал самым важным. Теперь к делу. Мне рассказали о вашей мельнице, маслобойке и прочих изобретениях. Не стану вникать в детали, наверняка там не все совершенно, но сама способность мыслить уже заслуживает внимания. Продналог ваш оставим в покое, хотя у меня есть сведения, что вы сумели-таки припрятать от советской власти энное количество пудов. Ну-ну! Об этом никто не узнает, только мне интересно, за что вы не любите советскую власть? Ведь вы же ее совсем не знаете! Только за ее отрицание церкви?

Тимофей осмелел настолько, что уже не контролировал своих слов:

— За уничтожение крестьянина тоже не могу уважать. Как же можно согнать всех в одну артель и заставить работать не для будущего хлеба, а для крыжика в тетрадке у бригадира? Раньше тоже артельно работали, например, дома строили или другой подряд, но тогда люди собирались сами, по интересу, а не абы как. Если ты, к примеру, лодырь, кто тебя в артель возьмет? А в колхозе всем можно, и труженник, и лодырь — всем одна отметка в тетради. Думаете, после этого хлеб вырастет? Да ни в жисть! Уж коли вы про мои запасы знаете, до конца скажу, за все разом отвечать. Колхоз намолотил нынче едва ли по сорок пудов с десятины, а у меня чуть не сто обернулось. Отчего? Оттого, что свое, я жил в поле, а не по наряду ездил.

Уполномоченный внимательно осмотрел Тимофея: ростом мал, но кряжист, крепок, ум цепкий, прямота даже опасная. Надо прибрать его к рукам, такие ребята могут горы свернуть!

— Давайте так: управляйтесь с хозяйством и приезжайте в Самару после революционных праздников. Мы с вами спланируем всю дальнейшую жизнь. Согласны?

Тимофей промолчал.

— Ну, что ж, на первый раз и этого достаточно.

С матерью своею, которая уже успела смириться с судьбой и была готова жить, да и жила по новым законам власти, Тимофей своими думами не делился. Он запряг в легонький ходок резвую лошадку, которую еще отец Павел Матвеевич назвал Певуньей и поехал к священнику Тихону, последнему оставшемуся в округе протоиерею, хорошему товарищу отца. Священник был в храме один, он вышел из алтаря настороженно, но, увидев знакомого, улыбнулся:

— Милости прошу в храм, сын мой, а я уж боялся, что одному придется служить последний молебен.

Тимофей встал на колени:

— Благослови, батюшка!

— Господь тебя благословил! Восстань, Тимофей, и начнем молиться, ибо к вечеру велено мне покинуть храм.

— И куда же вы?

— Об этом потом. «Миром Господу помолимся!» — воспел протоиерей и заплакал.

Тимофей несмело продолжил службу, и благодарный священник только через минуту смог присоединить свой голос. Так они вдвоем читали тексты Евангелия и пели псалмы и тропари. Окончив службу, наверное, самую краткую за всю трехвековую историю храма, они благословили друг друга, обошли все иконы, намоленные многими поколениями православных, каждой поклонились и к каждой приложились. Встав в алтарных дверях и не посмевавший войти в святая святых, Тимофей заметил, что нескольких икон нет на привычных местах.

— Я собрал самые старые иконы и в промасленной тряпице предал земле. Место я зарисовал, все думал, кому довериться, да вот тебя Господь послал. А теперь воспоем «вечную память» всем, кто молился в этом храме, и покинем его до прихода Антихристовых слуг. Я не смогу видеть, как они будут... — голос его задрожал, он заплакал и вышел на паперть, трижды встав на колени и опустив голову до затоптанных и давно не мытых плах церковного пола.

Во дворе дома священника они сели под навесом в плетеные ивовые кресла. Отец Тихон успокоился, но говорил только о храме:

— Иоан Четвертый после Казани повелел заложить этот храм Воздвиженья Креста Господня, тысячи народов молились здесь, и своих, и проезжающих в восточные сибирские края, кто по интересу, а кто и не по своей воле, но нога врага не ступала тут. И что же? Приходят вроде русские люди, крещеные, православные, заявляют, что Бога нет, потому церковь должна быть ликвидирована. Собрали всю позолоту и серебряную утварь, ну, да Бог бы с ней, пусть, коли нужна она голодающим людям. Но служить-то отчего нельзя? Нет, нельзя, сейчас вера будет другая. Мне показывали портрет их нового бога, так это же сатана, воистину сатана! Троцкий фамилия, но, слышал, что он из евреев, Бронштейн. Если так, то они православие вырвут с корнем, они давно к нему тянулись, но Государь охранял церковь Христову. Так они сначала Государя убрали, а теперь до веры дорвались. Попов, говорит, будем вешать, — сказал он безразлично. — Видно, все на круги своя, и нам предстоит пройти путь мучений Господних.

— А дочки ваши как же?

— Отправил в Самару, к сестре своей Апросинье, она скромно живет, возможно, не тронут. А тебя ко мне что гонит?

Тимофей рассказал о встрече с большим начальником и о его предложении ехать учиться, предположил, что единолично жить ему не дадут, а в колхоз идти противно его духу.

— Мать-то проживет без тебя?

— Там еще сестра, проживут, они и в колхоз готовы, да и хлеба я приберег малость.

— Тогда надо тебе уходить как можно дальше. Сначала учебой заманят, потом властью искушение сделают, богатством. Можешь не устоять и продашь душу свою, прости меня, Господи!

Совсем опечалился Тимофей, но он шел за советом и получил его.

— Куда же податься, отец Тихон?

— В Сибирь надо идти, там места глухие, да и народ другой, возможно, судьба повернется. Я все время от староверов вести имел, Епархия мои сношения с раскольниками не одобряла, но мне любви были их убеждения и твердость достойная, потому я списывался и многое знал. До последнего времени большими общинами в таежных краях жили, властям неведомые. Вот к ним бы тебе пристать!

— Как можно, отец Тихон, ведь ересь учение их!

— Глупо сказано, а ты повторил. Учение их чисто Христово, это



мы отступники, убоялись всенощного бдения, разом служим и вечернюю, и заутреннюю службу, за животом идем, а не за верой. Ну, довольно, теперь и об этом говорить уже поздно. В Сибирь, сын мой, там спасение.

— А вы?

— А за мной вот уже и legionеры!

На телеге подъехали трое милиционеров.

— Гражданин Анохин? А вы кто? У нас ордер только на одного.

— Это случайный прохожий, зашел водицы испить.

— Небось, святой, — хохотнул рябой конвоир.

— А ныне в России всякая вода святая, — негромко произнес отец Тихон. — Прощай, сын мой Тимофей. Да, виденье то, что при батюшке Павле Матвеевиче поведал, храни в сердце своем, оно тебя еще и спасет и призовет.

— Э-э-э, да парень этот тоже, видать, не простой, может, и его прихватим?

— Сказано же тебе, что ордер на одного, вот одного и вези. А ты готов всю деревню разом пересажать, — лениво ответил старший.

— Всех их надо к ногтю, всех, одна это шайка-лейка, — брызгал слюной рябой.

Тимофей подошел к священнику. Он уже разоблачился, ряса и крест лежали в телеге, на отце Тихоне была простая фуфайка.

— Благословите, Отче!

— Господь с тобой!

Телега загрохотала по замерзающей уже земле.

Дома он собрал мешок с пожитками и двумя булками уже подсушенного хлеба, помолился перед иконой Николая Чудотворца, матери сказал:

— У властей я бумагу взял, что в город подался, а где окажусь — сам не знаю. Писать буду редко. Тятину могилку не забывайте.

— А мы как же? — всхлинула сестра.

— Пишитесь в колхоз, так и скажите, что брат бросил, жить чем-то надо. Вас примут, весь инвентарь в исправности, пара лошадей, примут. Худо-бедно — прокормитесь, а там видно будет.

Поклонившись матери в пояс, он еще до рассвета подался в сторону станции, в «телятнике» больше молчал, прислушивался, из всех мужиков выделил двух бородачей, видно, братьев, держались они степенно и с достоинством, в мешках острый Тимкин глаз заметил плотницкий инструмент.

— Отцы честные, не подскажите ли, где сыскать мне работу, чтобы по силам и семью прокормить. Мать у меня осталась в деревне.

— А ты отчего из деревни махнул?

Тимофей наклонился к ним поближе:

— В колхоз не хочу, вера не позволяет. А единолично жить не дают.

— Ты каких краев? — поинтересовался старший.

— Самарский.

— А что робить можешь? — младший спросил.

— По хозяйству все могу, а настоящему делу не обучен, отец рано помер.

— Топор из рук не выпадат?

— Нет! С топором мы в товарищах.

— Вот что, — подытожил старший. — Меня зовут Трифоном, а его Агафоном, мы из-за Москвы, едем по вызову в Екатеринбург, Свердловск по-нынешнему, рубить больницу в районе. Могу взять, но условия у меня суровые: ни мата, ни водки, работа от темна до темна, потому что больница большая, а сдать надо к осени. Оплатой не обижу, включу в договор, если документы в порядке.

Тимофей кивнул.

— Тогда спи пока, я перед станцией подниму.

Тимофей свернулся калачиком под нарами и уснул. Ему снилась длинная и чистая дорога в березовом лесу, он шел по ней с незнакомым мужчиной и говорил о светлом. Солнце в верхушках берез разбивалось вдребезги и осыпало их звездами своих осколков. Сбоку на дорогу вышел мужчина в фуфайке, с непокрытой лысой головой и босой. Тимка остановился: «Это Никола Угодник, я хочу ему поклониться». Он упал на колени и трижды прочитал «Отче наш». Когда поднял голову, никого рядом не было, а дорога впереди виделась ухабистой и размытой дождями.

— Топор ты держишь правильно, а удара настоящего нет. Погляди, тебе следует чашку угловую вырубить, это с четверть надо выбрать. Я ударяю по три раза с каждой стороны, ты долбишь, как дятел, слушать тошно, не то, что глядеть. — Трифон не ворчал, не ругался, он учил. — Ты в кузнице бывал?

— Конечно!

— Видал, как кузнецы работают: у них на каждый удар расчет, потому что попусту махать молотом накладно, к вечеру падешь, а сделанного нету. И у нас так. Силу в топор вкладывай, когда опускать начал, пока он летит, пусть рука отдохнет. Понял?

Тимофей легко осваивал новую работу, Трифон с Агафоном его хвалили, но он сильно уставал, и, когда работа заканчивалась (Трифон кричал: «Точи топоры к завтрашнему дню!»), Тимофей уходил в старый больничный пристрой, где обитала бригада, мылся холодной водой из бочки, наскоро ужинал и молился. За упокой души отца своего раба Божьего Павла, за здоровье матери и сестры и всех родственников, просил Николая Угодника дать ему сил отработать этот подряд. Засыпал сразу, но и вставал, как только поднимались старшие.

Когда стали ставить сруб на мох, пригласили сельских девчонок мох раскладывать по пазам. Одна шустренькая, Нюркой зовут подружки, все к Тимке жметя, где он, там и она с охапкой мха. Вечером Агафон шепнул ему:

– Ты чего это от девки бежишь? Гляди, вон она, в роще, тебя поджидает. Иди, я Трифону не проболтаюсь.

– Нет, дядя Агафон, не пойду. Жениться мне еще нельзя, ни дома, ни хозяйства, а просто так – грех это, блуд.

– А я бы сблудил, – вздохнул Агафон, – да брательник тоже больно правильный, он и бабе жаловаться не будет, сам всыплет.

– Верующий брат-то?

– Староверы мы, двоеданы, ну, это по-старому, теперь уж отходит эта мода, а брат чуть что – в рыло. Я-то не особо верующий, а этот – того и гляди, крылышки вырастут.

– Не богохульствуй, дядя Агафон, грех это.

Агафон махнул рукой:

– У вас с братом все грех, а я как гляну на девчонок, когда у них подокры ветром приподнимет, в глазах темно. Твоя-то рыженькая вся в соку, наклонится за мохом, груди того и гляди из кофточка выпадут, а сзади и смотреть больно.

– Все, дядя Агафон, сил нет ваши искушения слушать. Тот уж грешник, кто согрешил в сердце своем. А вы совсем погрязли в грязных мыслях.

Агафон вздохнул и собрался уходить, только Тимофей заметил, что тот не в пристройку направился, а к лесочку, где между берез прогуливалась Нюрка. Он и сам видел, что ладная девка, что к нему льнет, и охота было схватить ее в охапку, обнять и потискать, только боязнь греха держала его. Он прилег в своем закутке и сразу уснул, даже сон видел, что лежит дома на теплой печке, а мать подтыкает одеяло под бок, чтобы не поддувало. Очнулся, потому что кто-то рот ему перекрыл, сперва ничего не понял, а вырвавшись

из объятий, Нюрку узнал, обняла она его крепко и целовала тоже крепко, и совсем голенькая была:

— Тима, чего ты меня сторонись? Я ведь не пройда какая, я честная, полюбился ты мне, а дядя Агафон научил.

Тимофей уже ничего не понимал. Они были счастливо молоды и неопытны.

Лето приближалось к сентябрю, на стройке все чаще появлялся заведующий больницей Василий Алексеевич. Трифон доложил начальнику:

— Завтра к обеду будем первую матицу подымать да укладывать, надо бы на кухню пирог рыбный заказать, такой обычай.

Заведующий кивнул:

— Закажем, и про обычай знаю, сам приду и спирта по этому случаю выпишу.

Трифон возразил:

— Спирта не надо, больным его оставьте, мы люди непьющие.

— Совсем, что ли? — удивился Василий Алексеевич.

— Навовсе. Вера не позволяет.

— Так вы не христиане разве?

— Самые что ни на есть настоящие православные, только старой веры, — сурово ответил Трифон и стал работать топором.

Толстое бревно, аккуратно обтесанное под квадрат, было готово к подъему. С торцевой стороны здания положили поката, ровные длинные слеги, пропустили под матку три прочных веревки, с краев и посередине, одни концы закрепили наверху, за другие приготовились тянуть. По такому случаю пригласили больничных рабочих — одним тут не справиться. По команде Трифона трое наверху потянули веревки и трое внизу помогли им, дружно упираясь в матку крепкими жердями. Тяжелая матка со скрипом продвигалась по лагам, Трифон монотонно давал отчеты:

— Три, четыре — пошла, перехватились, три, четыре — пошла.

Когда матку водрузили в подготовленное место, Тимку направили по ней привязать посередине пирог, завернутый в чистый бабий платок. С другой стороны к Тимке вышел Трифон с топором, внизу уже проинструментированный стоял Василий Алексеевич.

— Готов, Лексеич? — и Трифон ударил по веревочкам, пирог камнем полетел прямо в руки заведующего. Раздался гул одобрения, народу собралось много, все-таки событие, да и про спирт слух прошел. Пирог разрезали, каждому досталось по кусочку. Трифон первым вытер губы и поднялся:

– С великой нас всех работой, благодарностью и за помощь, и за соблюдение обычаев русского. А теперича пошли паужинать.

После сдачи больничного корпуса заведующий выдал работникам полный расчет и еще по рабочему костюму, сапогам и фуфайке. Тимофей таких денег вовек не держал в руках. Трифон научил:

– Попроси Нюру, пусть мешочек сошьет и к рубашке тебе под мышку приторочит, иначе улизнут твои денежки.

Вечером Василий Алексеевич пригласил всех на ужин в больничной кухне, пообещал, что спиртного не будет. Благодарил за работу и предлагал остаться:

– На первое время работу вам найду, пока лес подвезут, а потом опять будем новый корпус делать. Соглашайтесь, расценка хорошая, добыю в райфо, чтобы разрешили премиальные в договор включить? А? Соглашайтесь, мужики.

За всех ответил Трифон:

– Спасибо тебе на добром слове, Лексеевич, хороший ты человек, только оставаться нам никак нельзя, семьи у нас дома, детки. Вот Тимофей вполне может остаться, он человек свободный. Его пристройте, а весной, Бог даст, мы подведем, если все сложится.

– Тогда и я тоже до весны, дядя Трифон, дома мать с сестрой, пишут, что неладно в колхозишке-то.

Заведующий пообещал завтра подводу дать до станции, Агафон с Трифоном пошли спать, к Тимошке пришла Анна.

– Ну, и что ты плачешь, дуреха? Как же я домой-то не поеду, подумай сама. А тебя пока взять не смогу, потому сам не определен, как жить стану – неизвестно.

– Бросишь меня, ни девка, ни баба, ни мужняя жена. Я тятю сказала, будто замуж меня возьмешь, а то он убил бы, что хожу к тебе ночами.

Тимофею жалко было оставлять Нюрку, свылся он с ней, да и девка она хорошая, добрая.

– Грех мы с тобой сделали, Нюра, Бог не простит. Не венчаны в постелю упали, как муж с женой.

– И что из того? – грозно спросила Нюрка.

– А то, что грех, молиться надо.

– Ишь, как ты заговорил! Чтой-то я не помню, чтоб ты молился, когда за груди меня ухватил и лобызал, как теленок. Аль забыл? И почему твоей Бог тогда тебя дрючком не дернул, чтобы ты охолонул?

– Дьявол, Анна, по пятам ходит, все норовит в грех ввести. Человек слаб.

— Дак вы еще пополам с дьяволом со мной игры под одеялом уст-раивали? Ну, Тима, не думала я, что ты такой злой да хитрющий, и хорошо, что не позвал к себе в деревню, а то всю жизнь каялась бы, что с недобрым человеком связалась.

Тимофей понял, что лишнего наговорил. Он уже молился за свой грех, вот только на исповедь сходить некуда, до ближайшей церкви день езды. «Сатана подсунил мне Нюрку, и не устоял. Слаба вера, вот и впал во искушение. За зиму отмолю», — успокаивал он себя после первой ночи, но потом Нюра приходила снова, и Тимофей забывал о своем раскаянии.

### 3.

Возвращался Арсений с лесозаготовок сильно физически окрепший и возмужавший, тайга его не вымотала, потому что все-таки не за комель бревно брал, а за вершинку, она полегче, — так шутили в тайге... Он был хорошо одет, в кармане шерстяного пиджака лежали заработанные деньги. Купил билет до Ишима, больше некуда ехать, кроме Лидочки Чернухиной, чьим братом все это время просуществовал, пока чекисты отлавливали всех, кто хоть какое-то отношение имел к старому режиму.

О расправе над царской семьей узнал от приехавшего из Екатеринбурга инженера Игумнова, тот не первый раз бывал на производстве и заметил толкового паренька из рабочих.

— Сообщили, что расстреляли только Николая Александровича, но это чушь, убили всех.

— Как же всех!? За что? Стану за что? Алешу? Неправда! Это подлая фальшивка, вброшенная в народ, это ложь, потому что эта власть может только лгать, лгать...

Он задохнулся и рухнул ничком, ударившись лицом о землю. Инженер напугался и неожиданных выкриков вдруг разгорячившегося молодого человека, и внезапного обморока. Игумнов крикнул людей, Арсения унесли в лазарет, трое суток он был без сознания, спокойный доктор назвал это шоком и сказал, что лечить нечем, само должно пройти, организм молодой.

— А причина в чем? — спросил он Игумнова.

Инженер соврал, что молодая жена у парня при родах померла.

Через неделю Чернухина отправили на работу, потому что встала шпалорезка, и никто, кроме него, не мог разобраться. Арсений нашел причину поломки, сказал слесарям, что надо разбирать и прилег на прохладных ровных шпалах.

Слесари, присланные из вагонного депо, привычно копались в машине и переговаривались. Арсений дремал, но слово «царевна» подняло его.

– Вот кум и говорит, что младшенькая царевна, не знаю имя, сбежала.

– Да ну, враки это, куда там сбежишь, когда кругом солдаты?

– Ну, не знаю, за что купил, за то и продаю. Только кум сказал еще, что по всему городу тревога, и поезда обыскивают. Значит, было дело, не без того...

Арсений с трудом удержался от вопросов, он и без того верил, что Стана, проворная и решительная, действительно могла обмануть охрану и скрыться. Почерневшая от горя его душа снова освятилась любимым образом, и жизнь обрела смысл, и до встречи с Анастасией, казалось, остались только мгновения, так долго он ее ждал.

В станционном ресторане за соседним столиком заметил мужчину, и странное дело: само лицо никого не напоминало, а вот профиль... профиль Арсений узнал, он принадлежал офицеру охраны Его Императорского Величества, именно тому офицеру по фамилии Урманский, который неоднократно перекрывал ему доступ в апартаменты Их Высочеств, когда он приходил по приглашению Княжны, а девушка из покоев еще не успевала выйти для встречи. Взволнованный Арсений не знал, что делать: подходить небезопасно, неизвестно, кем сегодня состоит при власти этот по-деловому одетый и чисто выбритый гражданин; с другой стороны, если и признает, что мало вероятно, едва ли заговорит всерьез. Наконец, Арсений решился и сел напротив Урманского:

– Простите, милостивый государь, чтобы не вызывать ваших сомнений, напомню о себе сразу: в четырнадцатом году вы неоднократно преграждали путь во внутренние покои одного из важных зданий под Петербургом молодому человеку, почти мальчику. Это был я. Тогда фамилия моя была Лячек, отец привез нашу семью из Варшавы. А потом спасала меня от вашей бдительности прислуга молодой особы по имени Анастасия.

Урманский побледнел, но быстро взял себя в руки:

– Всего, что вы тут наговорили, достаточно, чтобы поставить нас обоих к ближайшей стенке. Прошло столько лет, как вы меня узнали? И кто вы сегодня, если не Лячек?

– Моя новая фамилия нужна была, чтобы спастись, но не это главное. Умоляю, хоть что-нибудь сверх того, что писали газеты о гибели фамилии. Хоть что-нибудь!

– Черт побери, как вы меня признали? Я же изменил лицо!

– Но остался профиль, который почему-то запомнился мне больше. Не беспокойтесь, я не стану вас тревожить и не буду больше спрашивать, если вы скажете мне хоть что-нибудь.

– Ищите за городом место «Ганина яма», их тела, прости Господи! сбросили в шахту. Это все. И будьте осторожны, там могут быть агенты. А теперь прощайте. Хотя нет, где вас можно найти при случае?

– Не могу точно сказать, еду в Ишим, но сколько там буду – неведомо, надо искать подходящее место.

– В первое воскресенье июня, в полдень, можете быть здесь, в открытой пивнушке за вокзалом? Это крайне важно.

– Буду.

– Прощайте. До встречи.

Арсений вышел из вокзала, прошел площадь, около часа пешком шагал в случайно выбранном направлении, наконец, остановил бойкого мужичка на доброй лошадке:

– Отец, сколько возьмешь до «Ганиной ямы»?

Мужик утратил веселость, подстраховался:

– «Четыре братца»? Туда без особой нужды не ездят. Вам какая потребность?

– Служебная. По тайному сыску я. Документ предъявить?

– Да мы что, не люди, что ли, и без того видать, что по делу человек, а не просто из любопытства.

– Что же любопытного в тех местах? И почему мне называли «Ганиной ямой», а вы о «братцах»?

– Да как вам сказать? Когда-то четыре больших сосны там росли, вот и братья. А еще говорят, царя с семьей там в шахту спустили в восемнадцатом, да кто знает?

– Значит, довезешь?

Сухая погода спасла дорогу от канав и колдобин, ехали молча, Арсений прилег на раскинутый войлок, подложив котомку под голову. Ни о чем не думалось, точнее, он боялся думать. Это первая встреча с нею неживою. Он вспоминал ее лицо за чайным столом, в летней аллее, в тамбуре вагона и в окне губернаторского дома в Тобольске. Картины менялись, она улыбалась, грозила пальчиком, печально махала ручкой. Появилась просторная поляна в сосновом лесу, грязная, запущенная, с таинственной ямой посередине, контуры часовни возникли и исчезли, а потом Стана оказалась совсем рядом, и «Меня здесь не ищи» – странная фраза возникла в сознании. Арсений сел. Солнце стояло в зените.



– Еще не скоро? – спросил возницу.

– Да почти что....

Мужик остановился прямо посреди дороги.

– Отсюда пожалуйста пешком, нежелательно мне там появляться, вмиг попадешь в списки.

Арсений подал ему деньги:

– Подождите часа два. Если не будет меня, уезжайте. Но подождите. За обратный путь плачу вдвое.

Он пошел указанной тропинкой. Поляна открылась неожиданно быстро, людей не было, хотя трава примята изрядно. Заметил несколько огарков свечей. Грубыми сосновыми жердями на необтесанных столбах огорожено жерло колодца или шахты. Арсений подошел ближе и положил голову на пахнущее смолой дерево изгороди. Кладбищенская тишина. Одинокий комар прозвенел над ухом и скрылся. «Меня здесь не ищи!» – что это: ее указание или фантазия воспаленного мозга? Если не здесь, то где же?

«Стана, милая девочка, дай знать, если ты тут, я навсегда останусь рядом. Дай знать».

Он обошел изгородь по кругу и остановился перед неожиданной россыпью лесных фиалок, ноги подкосились, он почти без памяти встал на колени перед любимыми цветами Княжны. Опустившись лицом в траву, он несколько минут молча прислушивался к себе – нет, ничего не шепнула ему Анастасия. Стоя на коленях, вытер платком лицо и вздрогнул: фиалок не было! Осторожно осмотрелся – ни одного цветка. «Я должен был сорвать хотя бы одну былинку, или это было видение? Если так, то действительно она дает знать, что тут ее нет. Жива?».

Арсений встал, поправил одежду и поклонился огороженному месту. Странно, но у него так и не возникло чувства, что он кланяется праху дорогих ему людей. Стараясь не думать об этом, он пошел в сторону ожидавшей его подводы.

– Остановись, сынок! – услышал он слабый женский голос. – Прости меня, я все время за тобой наблюдаю, так и промолчала бы, да что-то тебя мучает.

Арсений только теперь заметил маленькую сухонькую женщину, одетую монашкой, довольно старую.

– Не грешно ли созерцать чужие страсти? – спросил он.

– Нет, сын мой, если бескорыстно. Я тут рядом живу в землянке, молюсь за безвинно убиенных царя, царицу и детушек их.

— Вы их знали?

— Конечно! Но не видела никогда, слышала только, что младшенькая царевна, Настасья, Божественным промыслом спасена была и теперь жива.

Арсений поднялся над чахлыми сосновыми порослями, над зловещей ямой, ему виделся Царскосельский парк и маленькая девочка в простенькой шубке, бросающая в него снежки. «Господи, ты услышал меня, прости, я много раз был несправедлив, обвиняя тебя в бессердечности. Прости меня, за Анастасию я всю жизнь буду молиться и бояться тебя». Он с трудом пришел в себя, счастливый и плачущий, подхватил монашку на руки, рыдал и смеялся, еще ничего до конца не понимая:

— Где она сейчас? Почему вы знаете, что она спаслась? Как найти?

— Опустит меня на грешную землю, — попросила старушка. — Негоже монашке в мои лета мужские руки ощущать. А слух такой, что жива она осталась волей Божией и спасается в монастыре.

— Где, в каком?

— А кто ты будешь, мил человек, чтобы все тебе выложить? Может, ты из органов да по ее душу?

— Бог с вами, матушка, я знал ее девочкой в четырнадцатом году, потом мы расстались и виделись только на мгновение в восемнадцатом в Тобольске и в Тюмени.

— Перекрестись!

— Нет, матушка, креститься пока не стану, с Господом у нас особые отношения, но честью своей клянусь, что говорю правду.

— Поверю. Поезжай в Долматовский монастырь, его тоже разогнали, но несколько монашек спасаются, спросишь среди них матушку Евлоху, должно быть, жива еще. Она знает. А теперь ступай.

Ишим показался ему нищим и грязным, он прошел от вокзала узкой и разбитой улицей к дому Лидочки Чернухиной, сестры и жены. Она так испугалась его появления, что даже слова вымолвить не смогла. Девочка лет пяти сидела в углу комнаты и играла тряпичными куклами. Он поднял ее на руки:

— Как зовут тебя, дочь моя? Знаю, что дочка у меня есть, а имени не знаю. Ну, как же имя твое?

— Анастасия.

Арсений пошатнулся, дыхание смешалось, сердце стучалось наружу в самом горлышке. Он нащупал табуретку и тяжело сел. Лида испугалась:

— Что, Арсюша, не нравится имя тебе? Так сам же сказал.

— Когда? Что ты несешь, когда я мог тебе это сказать, ежели мы не виделись более пяти лет? — он с ужасом поднял на нее глаза. Лида, испуганная, села перед ним на корточки, заботливо заглянула в глаза.

— Во сне мне явился и сказал, чтобы дочку назвала Анаста-сией.

Арсений огляделся:

— Где мама?

— Схоронила прошлым летом, неделю только и похворала. Деньги мне твой человек приносил, но я не тратила много, тебя ждала. А разве письма через него нельзя было передать?

— Нельзя. — Он сказал это слишком строго, смутился, поправился: — Нельзя, Лида, письмо — не деньги, его ничем не оправдать в случае чего.

Она пожарила ему картошку на керосинке, все лепетала что-то, а Арсений держал на коленях девочку с любимым именем, родную кровь свою, но отцовское чувство не проклюнулось еще в глубинах истерзанной души.

— Ты мой папа?

— Конечно, Настасьюшка, это твой папа. Только, Арсюша, может, лучше тятей называть? Папа — это по-вашему, а мы же... из простых.

— Не знаю, решай сама.

— А где он был? — не унималась девочка.

— Далеко. Денежки нам с тобой зарабатывал. Арсюша, я тебе принесу деньги-то, они у меня прибраны.

Он впервые за много лет лежал под мягким одеялом рядом с молодой и красивой женщиной, матерью его дочери. В том он нисколько не сомневался, потому что тихонько осмотрел головку ребенка и за левым ушком нашел, что искал: большую родинку, сопровождавшую всех представителей рода Лячеков уже много веков. Не знавший женской ласки, он порой находил поступки и слова Лиды вульгарными и пошлыми, но теперь это была его жизнь, и надо было к ней привыкать. Странно, но он не испытывал ревности, хотя более четырех лет молодая женщина жила одна, без мужа, да и тот энкаведешник, наверняка не сразу от нее отстал, тем более, что братец скрылся так неожиданно. Об этом не думалось, даже если и был кто-то у Лиды, она имела на это право, потому что он, муж и отец их ребенка, был неизвестно где, она имела право, а он не мог ее ни в чем упрекнуть.

Утром он сказал, что завтра уедет на неделю, потом вернется и устроится на работу.

— Все будет хорошо, правда, Анастасия?

Он заглядывал в ее лицо и видел то, другое, это так сильно пугало его, что девочка дважды принималась плакать. Часть денег из привезенных с лесозаготовок он попросил Лиду хорошенько прибрать, с собой взял самую малую сумму.

— Арсюша, как с документами-то быть? Мы же не брат с сестрой, да и теперь все увидят, что семья. Может, уехать куда?

— Куда? — тоскливо переспросил Арсений. Как он мог сказать ей, что живет только крохотной надеждой, даже иллюзией, и все остальное для него за пределами жизни. — Дай мне неделю сроку, потом займусь семейными делами.

В Долматовском монастыре, до которого добирался несколько суток, его приняли при входе три монашки очень настороженно, а когда спросил о матушке Евлохе, старушки и вовсе закрестились:

— Слаба телесно стала настоятельница, — проплакала одна из них. — Ты бы, мил человек, сказал, по какому делу к ней, и кто ты есть, и откуда про матушку узнал? Без того не можем доложить, слаба она.

Арсений рассказал все, что касалось Анастасии, умолчав о смене имени и почти нелегальном своем положении. Он заметил, что более всего подействовало упоминание о монашке у Ганиной Ямы, похоже, старушки знали о ней:

— Жива еще? — удивилась старшая. — Когда ты ее видел?

— Неделю назад.

— Ишь ты, жива! Молитесь о ней, сестры! Посиди тут, я дойду до матушки, потом позову, если Бог даст.

Настоятельница приняла его в своей келье. Она сидела на жестком топчане, накрытом суконным солдатским одеялом, два грубо сработанных табурета и маленький стол чуть в стороне, в углу и на стенах старые закопченные иконы, перед Спасителем горит лампадка. Арсений поклонился матушке в пояс и поздоровался.

— Бога, стало быть, не признаешь и лба не крестишь? — скрипучим голосом констатировала монашка.

— Простите, матушка, веры нет, а обманывать не могу.

— И то хорошо. Что сказала тебе сестра наша при могиле невинно убиенного семейства Государева?

— Сказала, что Ее Высочество Анастасия Николаевна чудом осталась жива и обитает где-то в монастыре, а где точно, про то у вас велено было спросить.

— Это как же ты смог в душу ее войти, коли она крест целовала о святой тайне?

— Не знаю, матушка, наверно, горе мое ее убедило, что надо помочь.

— Пусть так. Молиться будем за отступление ее от слова клятвенного. Сестры пересказали мне твое бытие, только скажи: откуда у тебя сама мысль родилась о чуде спасения Княжны? А если все погибли, и ты упокоенную на небесах уж много лет на земле ищешь? Арсений зарыдал, опустившись на корточки и закрыв лицо руками: — Матушка, я и сам думаю, будь я уверен, что она погибла — мне бы легче стало, я бы немедля к ней ушел. С такой мыслью и Яму эту искал, с такой думкой и плакал на безобразной той ограде святого места. Но с детских лет была у меня странность: знать о событиях за много времени вперед, за это меня Распутин хотел к себе взять, а папенька возмутился, вот тогда-то и отправили нас в Сибирь. Я после ареста родителей вообще никому не говорил о своих предвидениях, в народ ушел, пытался семью завести, да эта власть все приломала, я даже ребенка своего принять не могу, потому что жена моя по документам сестра, чем и спасли меня, когда в тифу лежал. На днях к Ганиной Яме на подводе ехал, прилег и не уснул даже, как родной голосок ее услышал: «Не ищи меня тут, нет меня здесь». Я понимаю, что эта способность дана мне свыше, и голос этот не мог быть случайным, это она говорила мне. Значит, жива, я верю в это, а коли так — найду ее.

Настоятельница сидела на своем ложе, сложив большие руки на коленях и шепча молитву. Арсений трепетно молчал. Наконец, она открыла глаза:

— Скажу сестрам, чтобы накормили тебя и в дорогу дали чего. А пойдешь ты, раб Божий, в Чусовскую обитель, я там жила когда-то, только нынче разорено все, сказывают, осталась одна пристройка, там и обитает Княжна под именем сестры Марии, так она назвалась сама. Об истинном ее лице знают только немного человек, ты должен будешь ей записку передать с обозначением себя и ваших отношений, тогда она выйдет к тебе. А ежели обман — грех на тебя падет и на весь род твой!

Арсений все еще стоял на коленях, молча поклонился старухе до самых сухих ног ее, поднялся, спросил:

— Что я могу сделать для вас, скажите?

Монашка засмеялась дребезжащим смехом, потом с улыбкой перекрестила свой беззубый рот:

— Да чем же ты, невера, погрязший в земных делах, можешь помочь нам, кто всякое мгновение рядом с Господом? Молись, в этом спасение.

— Спасибо вам, но мое спасение найти ее, без нее не буду жить, не могу.

— Обожди. Дьявол за тобой по пятам ходит, грешные мысли внушает. Сам лишишь себя — Господь не примет душу, тогда и там, на том свете, не встретишь ее. Молись, ибо в Боге сила! Иди!

Он вышел за ворота монастыря и только тут вспомнил, что не спросил, где же находится Чусовская обитель.

«Ничего, найду сам» — и зашагал в сторону тракта.

Небо подернуто обрывками туч, неяркое солнце изредка прорывается в прорехи между тучами, разгоня земной сумрак и веселя природу. Арсений шел, уверенный, что его ждет удача, что в скромной монашке с полузакрытым лицом он узнает ту, которая вот уже десять лет живет в его душе и в его измученном сердце.

В назначенное время, в воскресенье, он был в условленном месте, полковник Урманский и еще двое мужчин в простых костюмах, ничем не отличающиеся от публики выходного дня, сидели за столиком и пили пиво. Арсений подошел со своей кружкой, для конспирации поискал глазами свободное место и шагнул к нужному столику:

— Позвольте, граждане?

— Вы бы еще сказали «господа». «Позвольте!». Теперь так никто не говорит, теперь говорят: а ну-ка, подвинься!

— Перестаньте ёрничать, Евстафий Евграфович, совсем смутили молодого человека. Арсений, я не буду называть вас по отчеству, понимая, что оно тоже вымышлено. Мы пришли на встречу с вами с единственной целью: определиться, с нами вы или вне нашего движения. Мы, группа русских офицеров, оставшихся в России не по своей воле, здесь, на Урале, готовим переворот, едва ли надо говорить, что подобные группы действуют во всех губерниях. Нам нужны преданные люди. Если вы готовы служить России, включайтесь в работу.

Арсений с недоумением смотрел на пожилых уже людей, нехотя глотающих противное пиво, и с трудом верил в реальность разговора.

— У вас, я вижу, есть сомнения?

— Да, и немалые. Я несколько лет проработал на лесозаготовках, потом на переработке древесины, то есть хочу сказать, что немного знаю истинное настроение так называемых масс. Народ только что начал более или менее нормально жить, с продуктами как-то проще

стало, деньги чего-то стоят. Власть ругают потихоньку, но свою, местную, на центральную молятся, вне зависимости от партийности. Боятся или уважают — в нашем случае все едино. Прийти в рабочую бригаду и предложить выступить против власти — да вас сдадут в ту же минуту, тем более, что в каждом коллективе, буквально в каждом, созданы ячейки большевиков. Переворот невозможен, господа.

Урманский заерзал на стульчике:

— Выходит, зря я вам доверился, вы и сами, наверное, готовы нас сдать ГПУ?

Арсений осуждающе на него посмотрел:

— Вы недостаточно знаете жизнь. Наверное, можно вредить на производстве, устраивать аварии, иными словами, мешать, исполнять свой долг, но это даже не часть движения к перемене власти. Я убежден, что большевики настолько крепко ухватились за власть, им так нравится править страной, хотя они вовсе не умеют этого делать. Ленин кухарок призывал к руководству государством, и это случилось, большинство начальников на местах не квалифицированной кухарки, но это временное дело, они сильно, напористо работают с молодежью. В жизнь входят молодые люди, совсем не знающие старой России, и они с нами не пойдут никогда.

Один из друзей Урманского спросил:

— Арсений, вы достаточно образованы и подготовлены. Это университет?

— Нет, самоподготовка.

— Давайте, я определяю вас в лесное управление инспектором по кадрам, например, а далее посмотрим.

Неожиданное предложение поставило в тупик Арсения:

— Я подумаю над вашим предложением, тем более, что оно совпадает с моим намерением уехать из Ишима, где меня знают и могут разоблачить. Но прежде у меня еще одна миссия.

Урманский спросил:

— Мы можем о ней знать?

— Конечно. У меня есть сведения, что Великая Княжна Анастасия жива и находится теперь в одном из монастырей. Моя задача — найти ее.

Все трое смотрели на него с недоумением:

— Сударь, — говорил, наконец, третий, до сих пор не произнесший ни слова, — ваша информация совершенно не имеет под собой почвы. У меня на руках копия заключения следователя Соколова, который после освобождения Екатеринбург от большевиков по по-

ручению Александра Васильевича Колчака проводил расследование, все сводится к тому, что спастись никому не удалось, да и возможности такой не было.

— Может быть, это фальшивка? — упавшим голосом возразил Арсений.

— Голубчик, я служу в таком ведомстве, где фальшивок не держат. Копия подписана лично Николаем Алексеевичем Соколовым, а я с его рукой знаком.

Арсению стало плохо, он вышел из стола и, наклонившись, убежал в кусты. Его стошнило, видимо, резко поднялось давление. Чуть отдышавшись, вернулся, извинился и сел на свое место.

— Не имею оснований не верить вам, как и верить, пока сам не получу убедительные доказательства. Мне нужно побывать в Чусовской обители, по легенде (он уже допускал употребление такого слова) там живет монашка, назвавшаяся Анастасией.

— Милейший, по слухам, такие Анастасии живут чуть не в каждом городе и даже за границей. Конечно, очень хотелось, чтобы кто-то из фамилии остался в живых, выбрали Анастасию, она самая юная и, говорят, шустрая была. Вы хорошо знали ее, сударь?

— Да. Я хотел бы ознакомиться, насколько это возможно, с заключением господина Соколова.

Урманский написал на клочке бумаги какой-то адрес, вся компания поднялась и ушла. Арсений, потрясенный новостью, остался за столиком. Вокруг шумел город выходного дня. Гуляли мамыши с детьми, молодые пары, обнявшись, сидели на садовых скамейках, милиционер в белой форме с черной кобурой на ремне регулировал движение редких машин на соседнем перекрестке.

Арсений снова почувствовал себя плохо, он неожиданно осознал простую вещь: дом смерти и святой крови совсем рядом, почему же он раньше об этом не подумал?! Как пройти к печально знаменитому Ипатьевскому дому, боялся спрашивать, и подждал людей пожилых. Только третий из остановленных подробно описал, как можно добраться, уточнил, что в доме теперь музей революции и лучше о нем так говорить, и еще посоветовал особого интереса не проявлять, потому что всегда есть агенты.

«Опять агенты!» — вздохнул Арсений и пошел в указанном направлении. Через час он был перед небольшим двухэтажным домом с красной вывеской. С ужасом прочитал, что площадь называется площадью народной мести. Он смотрел на окна второго этажа, где жила



семья, вот у этого окна она стояла, возможно, протирала по утрам стекла от ночной влаги. Входя во двор, он представлял, как выносили ее тело из подвала, возможно, вот тут она лежала до погрузки в кузов автомобиля. Экскурсия юных пионеров проходила по зданию, и венцом воспитательной работы было посещение расстрельной комнаты. Арсений пошел за детьми, что-то слышал о справедливом возмездии, а сам смотрел на стену, избитую пулями, кирпичная кладка во многих местах была оголена. Его мозг заполнился выстрелами и криками, среди которых он искал Ее голос, но не находил, от запаха крови и пороха у него закружилась голова, и он уже не помнил, как охранник вывел его во двор.

— Чего это ты сковырнулся? Жалко, небось?

— Да нет, после тифа я, а там душно.

— Посиди тут, в сторонке, я на службу пойду.

Арсений осмотрелся. Он сидел на большом камне, видимо, оставшемся еще от строительства дома, рядом с кучей строительного мусора, всего, что вынесли из дома после ремонта, в том числе и из подвальной комнаты. Он обомлел, лихорадочно разгребал битый кирпич и куски штукатурки, что-то искал, еще не понимая, что, наконец, поднял плитку штукатурки, на белой стороне которой проступали бурые круглые с потеками пятна. Он завернул плитку в платок и быстро вышел на улицу.

По указанному в записке адресу нашел хорошую квартиру, хозяин которой ни о чем не спрашивал, накормил, провел в комнату с постелью и оставил папку с бумагами. Арсений достал плитку штукатурки и положил перед собой на столе.

«Судебный следователь по особо важным делам при Омском Окружном Суде Н. Соколов, 19 марта 1919 года, № 46, г. Екатеринбург.

По имеющемуся в моем производстве делу об убийстве отрекшегося от престола Государя Императора Николая Александровича и членов его семьи...».

Он читал до глубокой ночи, а когда выключил электричество, лунный свет упал на белую пластинку штукатурки, и капли крови ятно выступили на ее поверхности. Арсений закрыл руками лицо и так просидел до рассвета. Когда хозяин постучал в комнату, Арсений вышел, оставив на столе бумаги, отказался от завтрака и пошел в город. Чтобы навсегда вычеркнуть живую Анастасию из своего сердца, сохранив в нем память о нескольких часах, проведенных рядом и о нескольких годах надежд и поисков, ему осталось побывать в Чусовской оби-

тели. Он, нервный и чувственный человек, оставался суровым реалистом, когда в диалог вступали документы. Объемная итоговая записка расследования Соколова или протокол — как угодно его называй — был составлен весьма квалифицированно и убедительно. И хотя были мгновения, когда Арсений терял самообладание, оставив бумаги, безутешно рыдал на кожаном диване, он находил в себе силы и возвращался к бесстрастному тексту, который одинаково тщательно описывал детали дороги, места уничтожения тел, оторванный женский пальчик и обрывки девичьих интимных одежд.

В Чусовской обители он оказался не единственным посетителем, несколько старушек, тихонько переговариваясь, поджидали кого-то из-за ворот. Вышла высокого роста старуха, похожая на мужика, густо сказала:

— Вам, сестры, нынче отказано в беседе, приходите на следующей неделе. А ты, молодой человек, чего хочешь?

Арсений уже достал из мешка помятую тетрадку:

— Я попрошу передать записку сестре Марии, она ждет ее.

— Пиши, я потерплю.

«Помните ли вы о флаконе любимых Вами духов, которые я осмелился подарить Вам, а потом Вы вернули их мне как память? Ваш Боня».

Старуха ушла, и скоро в калитке появилась молодая монашка, по самые глаза повязанная черным платком. Арсений метнулся было ей навстречу, но что-то остановило его.

— А почему вы не написали, какие именно были духи? — чужим голосом спросила монашка.

— Это вы должны уточнить, если вы та, за которую себя выдаете.

— Конечно, как могла забыть. Это моя любимая сирень. А вы? Я не помню вас...

Арсений не почувствовал разочарования, он молча поклонился, взял свой мешок и направился к дороге.

Круг замкнулся. Как жить, когда ее нет? Чем питать сердце и радовать душу? Он свернул с дороги в лес, упал на траву и затих. Бессонная ночь, ожидание встречи и горькое разочарование опустошили его физически, он забылся тяжелым сном много пережившего человека. Во сне он видел Лиду и дочку Стану, потом рядом с ними появилась Анастасия, она улыбалась и гладила Стану по головке. Ему сказала: «Не следует обо мне печалиться, мне хорошо тут. Не ищи меня, меня нет там, где ищешь. И девочку эту беру под свой покров».

Арсений проснулся бодрый и сильный, быстро пошел в сторону станции. Сну он не удивился, а обрадовался: ей хорошо, это она сама сказала, и Стану маленькую признала, добрый знак. Значит, и брак с Лидой косвенно благословила. Домой, домой, и к священнику на исповедь, не может человек без веры общаться со святой душой. Только примет ли православная церковь истинного католика? Ну, это пусть батюшка решает, если надо – приму православную веру, измены тут нет.

С этими добрыми мыслями пришел он на железнодорожный вокзал. Двое не очень молодых, но крепких мужчин, одного из которых он видел вчера в той пивнушке, взяли его под руки и повели в сторону. Арсений сопротивлялся, но хватка у ребят была крепкая, они сели в легковую машину и поехали по вечерним улицам города.

– Вы меня арестовали? За что? Я не совершил преступления, я рабочий человек, – вспомнил он, наконец, спасительную линию поведения.

– Сиди спокойно, там разберутся, на кого ты работал, рабочий человек, – посоветовали из темноты слева.

Его со двора ввели в здание с затемненными окнами, провели коридором и открыли высокую двухстворчатую дверь.

– Товарищ следователь, арестованный Чернухин доставлен.

Тот махнул рукой, сопровождение исчезло.

– Ты понимаешь, где находишься?

– Нет, гражданин начальник.

– Это ГПУ, сюда в гости не ходят, мы занимаемся особо опасными государственными преступниками.

Арсений обрадовался:

– Тогда, гражданин следователь, мне бояться нечего, я для государства кроме пользы ничего не делал.

– Это хорошо, расскажи-ка мне, чем ты занимался в последние годы, где жил, что работал.

Арсений решил сказать, как было на самом деле, ведь все равно они узнают, если еще не знают:

– Живу в Ишиме, но пять лет почти работал на лесозаготовках по комсомольскому направлению. И в тайге работал, и на переработке, на распиловке то есть.

– Образование имеешь?

Арсений знал, что покойный брат Лиды окончил три класса.

– В школу ходил, но не очень тянуло.

– Так. А в комсомол когда вступил?

— Когда в депо смазчиком работал. Пришел человек, мы с ребятами написали заявления и получили документ. По тому документу и в тайгу уехал.

Следователь поддакивал и, кажется, мало интересовался тем, что говорил Арсений.

«Или все знает, или это его не интересует, потому что арест связан со встречей в пивной», — подумал он.

— Нескладно у тебя получается. Молодая беременная жена, работа есть, поросеночка держите, живете дружно, и вдруг ты на пять лет скрываешься, именно скрываешься из города. А жена тебя ждет, замуж не выходит, хотя, извини, по нашим данным, выбор у нее был.

Арсений всеми силами старался сохранить самообладание. Он почувствовал, что именно в эту минуту решается его судьба, ошибись он хоть в слове, хоть в интонации — провал. Откроется не только Урманский, с которым, по большому счету, у него общих дел не было, но откроется перемена имени, подмена недорезанного буржуя на пролетарского парня, да не по существу, а только по форме, а это столько вызовет вопросов, что никогда на них не ответить, и ни один следователь не поверит, что он не враг и не подлежит аресту или даже расстрелу.

— Гражданин следователь, мне скрывать нечего, ведь кроме жены и меня еще и теща была, это не баба, а ведьма, я только от нее убежал, а почему в лес — мастером там работал наш бывший сосед, Слинкин по фамилии. Тоже семья дома осталась, а его мобилизовали однажды, он и остался, бабенку там себе завел, правда, к семье приезжал. Вот он мне и подсказал.

— В Свердловск зачем приехал?

— Работу присмотреть да перебраться.

— После пивнушки куда скрылся?

— Вот по этому делу и рыскал.

— Фамилия Урманский тебе что-нибудь говорит?

— Не знаем таких.

— А в пивнушке сидели за одним столом, разговаривали.

— Верно, сидел, люблю пиво, но в тот раз негодное было пиво, развели, должно быть. И говорили, пиво же пьем, почему не поговорить?

— О чем говорили?

— Да обо всем, эти трое спорили еще, кто в прошлый раз платил.

— И ни одного из них ты раньше не встречал?

— Так точно, не видел и не знаю.

Следователь устало потянулся, собрал со стола бумаги:

— Посидишь в камере, мы твои показания проверим, если что не совпадет, поедешь допиливать тайгу. Если найду хоть что-нибудь из связей с Урманским и кампанией — расстреляем. Конвой! В камеру. В одиночку.

Лежа на продавленном душном матрасе, Арсений еще раз дословно вспомнил весь разговор со следователем. Судя по тому, что его поджидали на вокзале, они видели, что клиент подошел с поезда и знали, что вернется. Следили за ним в его поездках по монастырям? Если бы да, следователь спросил бы о причине столь странных маршрутов путешествия комсомольца. Он понимал, что Урманский и другие сидят где-то рядом, контрреволюционная организация раскрыта, и он имеет к ней отношение. Если это откроется, он примет смерть достойно, чтобы достойно встретиться Там с Нею. Ему не казалось странным, что, не веря Богу и не молясь никому, он был уверен, что есть место на небесах, где встречаются умершие, там Она, собирая на обильных лугах любимые свои фиалки, тоже думала о нем и ждала встречи, хотя всем сердцем желала ему спокойной жизни на земле. Тот сон с косвенным благословением дочери он воспринимал как вещей. Еще одной мысли он улыбнулся: дочка стала ему ближе и дороже после видения Анастасии.

Трое суток его не беспокоили, три раза в день с грохотом открывалась квадратное окошко, и на откидную крышку швыряли миску с похлебкой. Арсений брезгливо съедал содержимое и ставил миску на место. Странно, но завтрашний день его совсем не беспокоил, он знал два возможных решения и был готов к обоим. В двадцать шесть лет покидать мир нелепо и грустно, судьба Лиды и маленькой Анастасии заставляли замирать сердце, но он не волен был распорядиться их будущим, и это принуждало смириться. Он заставлял себя думать только о Стане, о встрече с нею, о том странном, незнакомом и непознаваемом мире, в котором она живет, и он будет рядом с нею, в это верил. Арсений возвращался в реальность и она была чужой ему, усилием воли уходил в забытье, жил в Варшаве, в Царском селе, видел издали Анастасию, непременно гуляющую с сестрами, мысленно вызывал ее на разговор, но она, грустно улыбнувшись, качала головой.

Несколько раз Арсений возвращался к записям следователя Соколова, находил в памяти описание отдельных деталей, которые убедили даже его своей достоверностью: пряжка от туфельки, он помнил ее, потому что однажды во время прогулки пряжка расстегнулась, Анастасия поставила ножку на край садовой скамейки, и Боня с

волнением застегнул пряжку; бусинка в форме плода шиповника, сестры находили такие бусы безвкусицей, но Стана иногда надевала их; кусок материи по описанию совпадал с тканью ее легкой накидки.

Он настолько погрузился в свои размышления, что не слышал открывшейся двери и вздрогнул от окрика охранника:

— Чернухин, на выход!

В кабинете следователя спиной к двери сидел сутулый, худой человек. Следователь велел Арсению пройти вперед, и тот узнал Урманского, сильно похудевшего, с разбитым лицом:

— Узнаешь ты этого человека?

— Да, — как можно тверже ответил Арсений. — Мы с ним пиво пили за вокзалом.

— А вы, господин Урманский, что можете сказать о молодом человеке?

— Ничего, — спокойно ответил тот. — Или деревенский, или жулик, больно глупо выглядел и говорил.

— О чем?

— Да пустое, про баб, про скверное пиво, пришлось одернуть.

Следователь подписал бумажку на столе и протянул Арсению:

— Все, что видел и слышал — забудь. Комсомольская путевка твоя оказалась верным документом, она тебя спасла. Свободен, и чтобы через пять минут духу твоего тут не было!

Арсений вышел с черного хода, добрался до вокзала и утром был в Ишиме. Лида уже ушла на работу, Анастасия одна играла дома, закрыв дверь на крючок. На стук она спросила:

— Кто там?

— Стана, открой, я твой папа. — Он выговорил это с трудом, понимая, что такой фразой отрезает путь к прошлому.

— Ну-ка, подойди к окну, чтобы я увидела.

Пришлось выполнять. Приподняв занавеску, девочка вскрикнула: «Папка!» и побежала открывать дверь.

Лида пришла поздно, в летний сезон на стройке объявляли десятичасовой рабочий день. Заплакав от радости и обняв мужа, она наскоро приготовила ужин и сидела напротив его, подперев подбородок руками, с жалостливой улыбкой глядя, как он торопливо ест свежие домашние щи.

— Почему ты ни о чем не спрашиваешь? — обнял он прижавшуюся к нему жену.

— Зачем? — просто сказала она. — Надо — сам расскажешь, а нет, так и знать необязательно.

– Обо мне никто не интересовался?

– Приходили из милиции, я отвертелась, сказала, что не знаю, где тебя черти носят, да и соседи подтвердили, что пять годов не жил, и опять пропал.

– Нам уехать надо бы отсюда, Лида, и лучше бы в деревню, сейчас многие из городов в деревню едут, там жить попроще, да и народ чуть другой.

– Решай сам, Арсюша, а мы уж за тобой, как ниточка за иглолочкой.

Он в несколько дней договорился о продаже домика, откопал в поле стеклянную банку под сургучом и старинную семейную шкатулку в пергаментной обертке с бумагами, фотографиями и остатками фамильных драгоценностей. Ночью при свече в бане перебрал документы, сжег наиболее опасные, среди них письма Анастасии, которые помнил до слова, до помарки, до кляксы, остальное крепко связал, уложив во внутрь флакончик фиалковых духов. Духи спрятали быстро, чтобы не тревожить душу, сверток засунул в мешок с другими пожитками, не опасаясь, что кто-то будет его проверять.

Знакомые мужики сказали ему, что в Зареченьке дома стоят недорого, Арсений съездил с ямщиком, который оказался местным, привез его в деревню со странным названием Селезнево, и даже домик помог подыскать: хозяина на повышение отправили в другой сельсовет, вот и случилась нечаянная продажа. Арсений внес аванс, получил расписку, зашел в сельсовет, показал все бумаги, председатель дал добро на переезд.

В деревне ему пришлось начинать все заново, кроме деревянного дела, другого из потребных сегодня он не знал, потому пришел к Савелию Реневу, который держал плотницкую мастерскую.

– Что можешь делать? – спросил он.

– Топор в руках держу, вот и весь навык. – Он опять следил за речью, чтобы не выдать себя каким-то заумным словом, в деревне это быстро заметят. – Но я перехвачу скоро, только покажи.

– Ладно, посмотрим.

Арсений и правда очень ловко перенимал все, чему учили более деловые мужики. Когда хозяин привез станок, который доску строгал, четверть выбирал, красивую фаску мог снять, что дощечку хоть сейчас на обналичку пришивай, Арсений изучил инструкцию и сам настроил агрегат. Ренев втихушку от мужиков дал ему мешок муки и пять пудов картошки. Арсений все принял с благодарностью, как и полагается, хотя ни в чем не нуждался, семейные драгоценности и

сегодня имели спрос, еще в городе он продал еврею-аптекарю маменькину подвеску, сережки и кольцо. Этих денег при скромных деревенских тратах им надолго хватит.

#### 4.

Арсений зашел в сельсовет сдать бумажку от ишимских властей, что он по налогам задолженности перед государством не имеет. В большой комнате толпились какие-то люди, он никого в селе не знал, потому пережидал молча. За это время услышал много новостей: что нынешней осенью будет коллективизация, что увезли вчера органы двух мужиков, которые в восстании участвовали, что на днях будут церковь ломать, подбирают добровольцев. Сдав бумагу, он вышел на воздух: «И тут все то же, вся жизнь превратилась в политическую борьбу, человек не интересуется знаниями, книгами, семьей, все на собраниях, говорят и слушают речи, принимают резолюции, которые никогда не исполняются, кроме пунктов о наказаниях. Как жить? А жить надо, Станочку растить и учить». Он тяжело вздохнул и тут же отметил, что научился этому как-то незаметно.

В обеденный перерыв бригадир привел в столярку невысокого коренастого молодого паренька с котомкой за плечами, из которой торчало отшлифованное топориче:

— Принимайте дополнение, председатель сельсовета с ним договор заключил, будет в нашей артёлке.

Пришедший поклонился всем разом, поздравствовался:

— Меня Тимофеем зовут. Плотницкое дело знаю немножко, уж сколько лет работаю по найму.

— А живешь где? — Для местных мужиков странным было, что человек не живет на одном месте, а ходит по найму.

— И по разговору ты вроде не сибирской породы.

— Это верно, самарский я.

— И где это?

— Про Волгу слыхали? Вот из тех краев.

— Чудно! А чё ж ты дома не робишь?

Тимофей достал топор, большим пальцем правой руки потрогал его, как струну перед игрой на балалайке, легонько вонзил в бревно:

— У меня один недостаток есть, который начальству не гля-нется.

— Тогда понятно. Вино любишь?

— В рот не беру. Но на великие праздники в церковь ухожу на службу.

Он мог бы рассказать, как неплохо устроился при большом про-



изводстве на Урале, как уважал его сам директор Иван Федорович Винярских, которому он сделал мебель для квартиры и кабинета, что вот-вот должен был отдельную комнату ему выделить в бараке. Директор дал указание строительному мастеру Кузина отпускать по его заявлению в любое время, потому что при сборке мебели в квартире обо многом поговорили эти два разных человека, а когда все закончили и за стол сели, Тимофей от рюмки решительно отказался. «Вот, говоришь, вино не пьешь, а куда же ты пропадаешь на три дня чуть не каждый месяц, мастер жалуется, говорит, надоело отпускать?». И тогда Тимофей признался, что уходит он в город на церковные службы, потому как верующий и грешный человек. Его удивило, что Иван Федорович не засмеялся, не запретил, он только сказал: «Ладно, это твое дело, а мастера я попрошу, чтобы он разговоров вокруг этого не заводил». И все вроде уладилось, но однажды подъехал директор к столярке, подо звал Тимофея: «Плохи наши дела, Кузин, меня в райком партии вызывали, кто-то донес, что я потворствую религии и прочее. Надо тебе уходить, прямо сегодня, взять тебя могут». «А вы как же?». «Как? Буду ждать, возможно, отбоярюсь, если мастер не выдаст. Сейчас буду говорить с ним, а ты собирайся, там ребята оперативные».

— В Бога, стало быть, веруешь? Тогда ты ко времени пришел, с понедельника начинают церкву ломать, вот и пригодишься, — развеселился молодой мужичок, сворачивая в бабин платок остатки от обеда.

— Ваш храм я осмотрел снаружи, он и сорока лет не простоял, красивый, точно такой под Пензой есть, и вот глядя ты, в Сибири его копия. А кто ломать будет, объявились таковые?

Мужики засмеялись:

— Хорошую плату обещают, соблазн есть, только боятся мужики.

— Бога боятся?

— Зачем Бога? Высоты боятся.

На понедельник Тимофей попросился у бригадира бревна шкурить, это в низине у мастерской, оттуда не видно, что станут делать с храмом. Несколько человек целый день ходили вокруг, поднимались на колокольню, пробовали стены ломать и пешнями. Вечером он подошел к церкви, тихонько поклонился и перекрестился, бригада добровольцев сидела кружком и распивала две бутылки водки, выданные председателем в виде аванса.

— Не подскажешь, богомolec, как нам своротить этот опиум? — пьяно пошутил старший.

— Не по себе берете, не вами строилось, не вам и взять.

— Что, думаешь, не сломам? Да взрывчатку завтра привезут, так жакнет, что на куски развалится. Велено за ночь по углам ямы вырыть. Бери лопату, участвуй!

Тимофей плюнул и пошел прочь, остановился, поклонился и только собрался было совершить крестное знамение, как услышал сзади:

— Не поможет.

Обернулся. Мужчина чуть постарше и одетый не совсем по-деревенски, стоял за спиной.

— Ничто уже не поможет, не терзайте душу и не вызывайте гнева народных масс.

— Вы кто? — испуганно и с интересом спросил Тимофей.

— Теперь крестьянин, мы с тобой в одной артели будем работать, я отлучался на денек по своим делам.

— Ты усомнился, что молитва может помочь?

— Церковь эту уже ничто не спасет, потому что советская власть так решила, а она на земле сегодня и Бог и царь.

— А я тебе скажу, что в истории было много событий, когда уже все решено, никто, как ты говоришь, не может помочь, а Господь посылал ангела, и все менялось, потому что без Бога ничто не происходит на свете.

— Интересный у нас с тобой разговор получается. Меня зовут Арсений, а ты Тимофей, мне сказали? Жить-то где надумал? Не отвечай, старуха эта зловредная, я уже успел узнать. У меня во дворе, в ограде, избушка стоит, вполне приличная, можешь занимать.

— А семья твоя?

— Жена и дочь, не бойся, лишним не будешь.

Лида поклонилась гостю и пригласила за стол. Тимофей поискал глазами иконы, не нашел, повернулся лицом к востоку и совершил молитву. Лида и Анастасия с удивлением смотрели на нового человека. Арсений одернул:

— Лида, налей нам по рюмочке. Или ты не принимаешь?

— Отчего же? Если по-доброму, глоток вина даже полезен, ведь вино создано Господом, следовательно, для пользы.

— Ишь ты, а как с пьяницами быть?

— Без меры все противно, и польза становится во вред. Со знакомством!

После ужина ушли в избушку. Тимофею понравилось: чистота, порядок. А икон и тут нет.

— Ты, случайно, не партийный? В Бога не веруешь, хотя крещен, должно быть, да и на службы ходил в старое время.

Арсений смотрел на нового знакомого, и сердце подсказывало, что этот человек не случайно появился в его жизни, что он честный и излишне откровенный, но глубоко нравственный, пусть даже исходя из понятий православной морали. Арсений настолько устал прятаться даже от себя, что появление человека, которому можно верить и с которым можно говорить откровенно о вещах, по сегодняшним понятиям, недопустимых, было ему в радость. Он давно чувствовал потребность поделиться своими переживаниями, Лидочка для этого не годится, она сразу станет ахать и жалеть его, а ему нужно понимание и даже совет.

— Не верую, это точно, хотя крещен, но в костеле, я поляк, католик, а сегодня ни то, ни другое. Была у меня любовь, ранняя, юная, мы почти детьми были, но о чувствах друг к другу знали. Потом нас разлучили обстоятельства, потом случился переворот, семья моей девушки была арестована. Мы переписывались с нею, правда, довольно редко, потому что ее положение не позволяло так открыто проявлять свои симпатии, но когда узнал про их арест, молил Бога спасти их, всю семью, грешен и в том, что соглашался на компромисс, чтобы хотя ее одну спас. Этого не случилось. Несколько лет я надеялся на чудо и искал ее среди живых, но, видимо, чудес не бывает. У нас один Бог, и у католиков и у православных, но он отказал мне в единственной просьбе. Я сказал ему в последней молитве, что отказываюсь более поклоняться, хотя знаю, что он есть.

Тимофей слушал, прикрыв глаза, ничем не мешая говорившему. Арсений замолчал. В наступившей тишине слышно было, как корова жует свою жвачку в пригончике за стеной.

— Ты вступил в спор с Богом, это недопустимо. Господь все видит, он и страдания твои видел, и ее мучения тоже, но так надлежит быть. Народ наш согрешил против Бога, едва появились смутьяны, он в одночасье отвернулся от веры. Это все на моих глазах было. Господи! Кресты с себя сдирали с хохотом, иконы жгли кострами, прости их, Господи, они не понимают, что творят! — Тимофей перекрестился. — Царя отрунули, от церкви откачнулись, и вот, пожалуйста, захотели пожить без Бога — поживите. Тут и гражданская война, тут и голод с разрухой, да коллективизация, и это еще не все.

— Что же будет, по-твоему? — с интересом спросил Арсений.

— Будут еще испытания, — уклончиво ответил Тимофей.

— Тогда я тебе скажу. Возникает в мире некая сила, точно не могу сформулировать, но это новая философия, страшная, ненавистни-

ческая, по ней на земле должен быть только один народ, славян не будет совсем. Грядет большая война, весь мир будет гореть. Все, больше ничего не знаю.

Тимофей с ужасом его слушал и сразу спросил:

— А это тебе кто сказал?

— Признаюсь и в этом. Бывает, что узнаю, как будто всегда знал, такое у меня с детства.

— И сбывается? — уперся взглядом Тимофей.

— Если хочешь, назови это «сбывается», хотя я просто вхожу в новую полосу жизни, известную мне, словно это со мной уже было.

— Вот видишь, дар Божий дан тебе свыше, а ты, недостойный, сомнению подвергаешь святая святых — Господа нашего.

— Давай не будем об этом. Пока. Мы вернемся еще к этому разговору, я все хорошо обдумую. Вот сегодня ямы копают под церковь, заложат динамит, все взлетит. Заметь, ничьего согласия не спросили, я знаю по документам, что строился храм на пожертвования купечества и крестьян прихода, значит, народом строился. А народная власть разрушает его, не спросив создателя, сам народ. Как ты это толкуешь?

— Негодная эта власть, мне один чин внушал, что коммунисты от Христа пошли, мол, он был первым коммунистом, потому что радел за народ. Чушь! Маркс ихний придумал коммуну, начали творить дела по всей Европе, во Франции сомустили народ, устроили Парижскую коммуну, на алтаре собора Парижской Богоматери совершили плуто-нический акт!

Арсений понял, о каком акте говорил собеседник, но поправлять не стал.

— Вот она, ихна мораль! А потом перегрызлись все, и у нас этим же закончится, прости Господи! А ты не боишься, что разоблачить могут, у тебя, похоже, и фамилия чужая.

— Честно скажу, устал бояться, не за себя теперь уже, за жену и дочь опасаюсь. Заберут — пропадут они.

— Ты вот что: попроще говори, разговор у тебя чересчур грамотный, сразу знатко, что не из простых.

— Я понимаю и все делаю, но в разговоре с тобой расслабился, это я понимаю. Ты тоже не очень свою веру показывай, не демонстрируй, они этого терпеть не могут, враз статью подведут.

— Да уж чего хитрого! Под Патриарха Тихона подыскали, а для нас, грешных, у них статеек припасено на долгие годы.

Арсений встал:

— За разговор спасибо, отдохай, завтра сильно свои переживания не показывай на людях.

К утру в шести местах под фундаментом церкви были вырыты ямы, приехал грузовичок, солдаты сняли шесть ящиков, долго возились, устанавливая их в ниши и соединяя проводами. Ближе к вечеру все было готово, толпу отогнали от церкви подальше, старший громко объяснял, что обломки могут улететь на сто метров. Размотали провод до карьера, из которого при строительстве брали глину на церковные кирпичи, все приезжие спустились в карьер, старший дал команду, крутанули машинку.

Тимофей стоял на бугре и молился, не отводя глаз от храма. Он видел, что солдаты попрятались в укрытие, понял, что скоро конец, через мгновение землю трянуло, он увидел, что церковь приподнялась над землей, услышал мощный взрыв, и облако пыли закрыло небо. Тимофей упал на колени, уронил голову на землю и плакал: «Прости нас, Господи, не знаем, что творим!». Поднявшись, он испугался, не видение ли: церковь стояла на месте, он бросился с холма в деревню, подбежал к храму, сдерживая обуреваемые его чувства, смотрел на молнии трещин, порвавшие стены, на оголенные красные кирпичи, как раны на белой штукатурке.

Местное и солдатское начальство материлось и боялось наказания сверху. Председатель сельсовета уже позвонил в район и доложил, что взрыв результата не дал, ему устроили выволочку и пообещали взыскать с его зарплаты стоимость взрывчатки.

— Они мне с матерком сказали: неделя срока, чтобы церкви не было, — жаловался он неизвестно кому.

Так и разошлись, каждый при своем: разочарованные зеваки, убитый горем председатель и довольный Тимофей Кузин, получивший еще одно подтверждение того, что ничто не состоится без воли Божьей.

А уже утром, проходя на работу, он увидел возле церкви очень много народа, все шумят, и только один человек, стоящий на паперти, спокоен и уверен в себе.

— Прекратите орать, — громче всех кричал председатель сельсовета. — Пусть товарищ еще раз объяснит.

— Объясню. Каждый копает под фундаментом яму на полтора метра глубиной, но подо всем фундаментом, чтобы он провисал, ни на что не опирался. Тем временем напилим толстых бревен, и бревна эти, как опоры, будем под фундамент подставлять.

— Ага! — Раздался возглас. — Ты туда подкопался, а она тебя и накрыла. Могилу себе рыть?! Не полезу!

– Уймите его! – Уже слезно просил председатель. – Говорите!

– Ничто не обвалится, вы же видели, что на века строилось. Опоры поставили и дальше копаем, опять опора, и так почти до половины церкви. Крепеж должен быть прочным, надо проследить, столбы ставить в два, а то и в три ряда, под всю ширину фундамента, а то и в самом деле беды натворим. Когда все выставили, везде грунт убрали, тогда заваливаем яму сухими дровами, керосином можно сдобрить, и поджигаем по всей длине одновременно. Дрова сожгут опоры, половина церкви зависнет в воздухе и падет сама. Дело верное, промашки не будет.

– Вы бы только знали, какие деньги я ему заплатил за эту выдумку, – опять вздохнул председатель.

– Это не его выдумка, – шепнул Арсений Тимофею на ухо. – Таким приемом еще древние разваливали стены крепостей неприятеля.

– А энтот – кто есть?

– Не знаю, видел где-то, но не могу вспомнить. Ладно, пошли.

Артель собралась, хотели начинать работу, но прибежал старший и сказал, что всем велено идти на церковь, чтоб копать посменно, без перерыва. Тимофей побледнел:

– Братцы, освободите меня от этого греха, я в другом деле отработаю.

Кто-то пытался хохотнуть, но Арсений вмешался:

– Старшой, пусть он тут робит, обойдемся.

Согласились. Тимофей принялся было вязать рамы, но инструмент валился из рук. Он вышел из мастерской и долго молча наблюдал, как до сотни людей копошатся вокруг храма, не поклоняясь, а разрушая его. Десяток подвод возили из леса двухметровые толстые бревна, на месте замеряли размер и отпиливали опору. К вечеру церковь наполовину опиралась уже на временные подставки, председатель торопил, заезжий выдумщик, как прораб, ходил и указывал, где надо усилить опоры. Под алтарем все же полегче, он невысокий и вес меньше, а под основным зданием надо надежно крепить.

– А теперь расширяйте канаву, чтобы дров больше вошло.

Дрова возили со школьного двора, из больницы, от сельсовета, даже по домам в деревне собирали в зачет налогов, поленья укладывали клеткой, чтобы тяга была. Тимофей так и не подошел ни разу, а когда стало темнеть, встал на колени и молился. Внезапно все вокруг озарилось диким пламенем, охватившим храм, керосин пролился к самому основанию, и сухие дрова занялись, языки изуверского пламени лизали стены, церковь терпеливо переносила боль, и Тимофей

чувствовал это. Народ отшатнулся от страшного костра и с ужасом многие смотрели на сотворенное ими, многим жутко было, и страх возмездия проник в души. Жуткие тени неизвестными призраками метались по стенам, и каждый видел в них свои страхи.

— Посмотрите кто, опоры занялись или нет? — просил председатель сельсовета, взволнованно бегавший метрах в ста от пожарища.

— А ты сам глянь.

— Если не сгорят, подпиливать полезешь.

— И полезет, ему партийный билет дороже жизни.

— А ты бы не брякал языком-то...

Вдруг раздался хруст лопнувших стен, и восточная часть храма медленно стала оседать, как бы уходя от людей в землю. Грохотом тысяч обломков и облаком пыли, уплывшим в темное ночное небо, простился храм с потомками тех, кто его строил.

Начальство решило вторую часть ронять днем, слишком много страхов нагнало на народ ночное зрелище.

Собрание по образованию колхоза назначили на вечер в школе, народу собралось немного, в основном мужики, курить запретили сразу, потому что до утра дым не выветрится, а ребятишкам учиться надо. О колхозах уже наслышаны, знали, что неизбежно, как осень приходит, как снег валится — жди-не жди — случится, так и с колхозом. Кто похитрее да поумней, хозяйство тихонько спустили с рук, скотину где живьем, где мясом, благо до города пятьдесят верст, а там базар каждое воскресенье. Инвентарь не так просто сбыть, но и то умудрялись, Степа Каверзнев молотилку гагаринскому колхозу продал и уехал с семьей, даже дом бросил, просил кума присмотреть. Быть или не быть колхозу — это не обсуждалось, сразу стали избирать председателя. Никто не хотел в начальство, тогда партийный секретарь Яша Пономарев предложил Ефима Рожнева, потому что коммунист, в Гражданской участвовал, грамоту знает. Объявили голосование — все подняли руки. Ефим прошел в передний угол, встал к столу:

— Доверие принимаю, будем работать сообча. Только надо бы сначала список составить, кто в колхозе член, а кто просто так пришел, потому что дома делать нечего.

Начали записываться, председатель сельсовета что-то крыжил в своей тетради, после объявил, что не явившиеся хозяева завтра будут доставлены в сельсовет и там напишут заявления.

— А с поселенцами как быть? — спросили из толпы.

— Это которые поселенцы? Никаких, все будут в колхозе.

— А если я, например, не желаю, не хочу в колхоз, тогда как? — в задних рядах встал Тимофей Кузин.

— Тогда из деревни выселим, — весело предложил председатель сельсовета.

— Ну, меня выселять много ума не потребовалось, у меня всего хозяйства — мешок с инструментом. Да и права вам такого советская власть не дала. Товарищ Ленин как говорил: «Не мешайте крестьянину, он сам знает, как ему жить».

— Это тебе лично товарищ Ленин на ухо шепнул?

Арсений только сейчас увидел в первом ряду прораба на крушении церкви и только сейчас узнал его: молодчик из ЧК, который за Лидой ухлястывал и из-за которого пришлось ему долгие пять лет скрываться в тайге и на лесообработке. Кто он сейчас, если ведет себя так вольно? Впереди сидящего спросил на ухо:

— Этот уполномоченный из каких органов?

— Из самих органов и есть, начальник милиции он.

Арсений похолодел: «А что, если он Лиду встретил на улице, который день тут болтается? А если меня сейчас поднимут, ведь узнает, как пить дать — узнает, у таких глаз наметан». И тут же крикнул:

— Чернухина запиши.

— Вот это дело, — одобрил Ефим.

Но начальника милиции понесло:

— Как твоя фамилия? Отвечай быстро.

— Отвечаю, Кузин я, только почему вы со мной как на допросе, я ничего противозаконного пока не совершил.

Начальник милиции очень обрадовался:

— Вот именно «пока», потому что такие, как ты, все время подходящее выбирают, только у нас органы для того и существуют, чтобы всю контру предусмотрительно задушить еще до того, как она поднимет голову против народной власти. А что касается допросов, товарищи, то этот провокатор, который пытается сорвать первое колхозное собрание, не видел еще настоящих допросов и не знает, как непримиримы органы к врагам революции и колхозного строя. Сядь, Кузин, я с тобой потом отдельно поговорю.

Стали обсуждать, что будет обобществляться в колхозе.

— Скот весь сгонять не будем, по корове надо оставить в семьях.

— Нет, только там, где дети есть.

— Славно! — Парфен Лазарев встал с места. — У меня три коровы, я две отдаю колхозу, а Димитрий со Степаном по одной имеют, да по



куче ребятишек, это дело у них лучше получалось, чем хозяйство вести. Они что принесут в колхоз, кроме вшей с гашника?

Степан подскочил к Парфену сбоку и наотмашь ударил его по лицу, кровь так и брызнула. Поднялся шум, дерущихся свалили, пока разбирались, Тимофей с Арсением отошли в сторону.

— Надо уходить с собрания, этот уполномоченный может меня опознать, — шепнул Арсений.

Тимофей кивнул:

— Ты уже записался, а мне оставаться придется, гляди, как бы с собой не увез.

— На рожон не лезь, ты кого учить вздумал, да еще Ленина вспомнил. Он у них сейчас икона, только Ленина из них никто не читал. Будет нажимать — записывайся.

— Никогда! Да я лучше мученическую смерть приму, чем вере своей изменю.

— Ладно, у тебя понятия чуть сместились, не перечь ему, соглашайся со всем, что скажет, а там видно будет. Придешь домой — стукни в окошко.

На стук он вышел, вместе вошли в избушку, от горячей печки веет теплом, потому уютно. Тимофей был расстроен и молчал.

— Не тяни за душу, рассказывай.

— Про тебя больше не вспоминали, а меня оставил после всех, говорил вкрадчиво, противно, все выведать чего-то хотел. Я ему признался, что якобы от женщины скрываюсь тут, в стороне от дома, и адрес дал и имя указал, Анна ее зовут, под Свердловском, работал я там, если проверит, то все подтвердится, других грехов он за мной не знает.

— Про Ленина больше не спрашивал?

— Как же! Зачем, говорит, ты Ленина приплел, коли сам неграмотный, а я отвечаю, что читать могу, вот изучал труды вождя мирового. А на самом-то деле подsunул мне эту статейку старовер один, вместе мы дома рубили, вот он действительно верил, что Христос был первым коммунистом на земле. Верно, там было написано, что крестьянам не надо мешать вести хозяйство, не помню точно, но смысл такой, что не командуйте мужиком, вот что.

— Тимофей, мужик ты добрый, правильный, но не при же в лоб, не навязывай своего мнения толпе, не повторяй ошибок учителя своего.

— Кого ты имеешь в виду?

— Иисуса вашего, он все твердил о правде и об истине, и чем это кончилось?

— Ты считаешь, что можно поступиться истиной в угоду человеческой слабости? Если я верующий человек и блюду свою чистоту и справедливость для того, чтобы спастись, ты думаешь, можно отступить от заветов, поддаться соблазну, если это выгодно сейчас?

— Я тебя ни в чем не переубеждаю, говорю лишь о разумном, не кичись своей верой, они этого страшно не любят. Ну, скажи, кому легче будет, если тебя шлепнут, поставят к стенке и расстреляют как приверженца церкви и врага советской власти? Душа твоя спасется и будет в раю, но жизнь твоя на земле кончится.

— Там будет жизнь вечная, разве ты, грамотный человек, не знаешь об этом?

— Смею тебе заметить, никто об этом ничего не знает. Вот вспомни Нагорную проповедь Христа, там все правда, все, как и должно быть в человеческом обществе. Он учит: живи вот так, и ты будешь спасен для вечной жизни там. Мне грустно оттого, что христианство воспринимает все буквально, хотя истина прямо на виду: здесь, на земле, наслаждайся трудом, женщиной, детьми, живи во всю широту своей души, но соблюдай заповеди Христа, не делай людям того, чего не хочешь для себя, вот и вся премудрость. Бог все создал, ты согласен? Так пользуйся этим, он же для тебя все это создал!

Тимофей слушал внимательно и проникался все большим отрицанием услышанного, наконец, он не выдержал:

— Ты помнишь, как Сатана испытывал Господа в пустыне, чего только не обещал, с тем, как мы живем, и сравнить нельзя, но Христос ото всего отказался. Во имя чего? Чтобы мы, слабые, могли иметь пример мужества и веры, и не поддавались минутным соблазнам.

— Ладно. Ты вот только что говорил про Анну, насколько я понимаю, ты согрешил?

Тимофей смутился и покраснел:

— На мне грех, не устоял я соблазна, уж сильно хороша она, эта девка. Молюсь, каюсь во грехе, и думаю, что вернусь к ней, вот заработаю на обзаведение и вернусь. У ней ведь тоже одна бедность.

Арсений обнял товарища:

— Прости, я не хотел тебя обидеть, но дискуссия у нас была чисто теоретическая, вот я и привлек пример из жизни, не скрою, что неуместный пример.

Тимофей даже прослезился:

— Да об чем ты, Арсений, я без обиды, Бог простит.

— Давай на покой, завтра на работу, а куда нашу артель теперь определяют — неизвестно.

И он тихонько вышел из избушки.

Звездное небо сияло от первых морозцев, его глубина казалась темно-синей, а только что народившийся месяц притаился между звездами, дожидаясь своей полноты и силы, чтобы затмить их, очаровать и оставить потом с тоской дожидаться его нового появления.

Арсений, как только вошел в дом, сразу заметил перемену в поведении Лиды, смятение в ее глазах, излишнее, заискивающее внимание. Она полила ему на руки теплой воды над тазом, он вымыл лицо и шею, тщательно обтерся полотенцем, сел к столу. Дочь тут же унездила у него на коленях:

— А к нам сегодня дяденька приезжал на машине.

— Да? Он тебя на машине не прокатил?

— Нет, он маму прокатил.

Арсений отпустил дочку на пол и встал изо стола. Лида заплакала:

— Арсюша, милый, я тебе все скажу!

— Только не сейчас, пусть ребенок уснет.

Они сидели за столом в избе, Стана в горенке спала на кровати за печкой, самое теплое место.

— Арсюша, Форин приезжал, помнишь, тот из органов, что цеплялся ко мне в Ишиме, он теперь тут служит, в районе, начальником милиции.

— Это я знаю. Что он хочет? — Арсения была мелкая противная дрожь.

— В сельсовет меня увозил, говорит, надо документы посмотреть.

— Она замолчала.

Арсений спокойно предложил:

— Продолжай. Проверили вы документы?

Она рухнула перед ним на колени и завывала в голос:

— Убей меня, родной мой, ради тебя грех взяла на душу, он так и сказал, что все про тебя знает, если откажусь — посадит тебя.

Он охватил голову руками и так сильно сжал ее, словно боялся, что она может не выдержать вскипевшего в ней горя и оскорбления. Господи, да разомкнется ли этот круг, по которому окаянная власть гонит его, унижая необходимостью скрывать свое имя, скрывать ум и знания, вздрагивать при каждом незнакомом человеке, любить одну, а жить с другой женщиной, вглядываться в личико своего ребенка и видеть в нем другие черты, и все чего-то ждать, хотя ум и опыт уже учили, что ничего хорошего в его жизни не произойдет. Арсений унял волнение, с трудом спросил:

— А дальше что будет? Знал я, что в мое отсутствие вы встречались, потом он тебя потерял, видно, не очень искал, теперь вот встретились, и ты подумала, что своим грехом ты можешь спасти меня? Удивительно, что он не арестовал меня уже сегодня, чтобы ночевать с тобой в постели, а не на стульях в сельсовете. — Он поднял руку: — Не говори ни слова, внимательно слушай меня. Я сейчас уйду и уйду навсегда. Меня посадят, если не расстреляют, искать тебя не буду. Анастасию береги. Деньги ты знаешь где, расходишь экономно. Настигнет нужда — поедешь в город, найдешь аптекаря Гольдфреда, запомни фамилию, он поможет, часть моих средств у него. В Стане твое спасение, не потеряй ее, во всех смыслах — не потеряй. Повзрослеет, скажи, что первая дочь ее и всех потомков должна носить имя Анастасия. Запомни это: Анастасия, Стана.

Он прошел в комнату, опустил перед кроватью на корточки и долго смотрел на спящее дитя свое. Встал, взял с этажерки ножницы и аккуратно срезал локон детских волосиков, завернул в платок и положил в карман рабочей куртки. Быстро собрал вещи, бросил в мешок, остановился у порога:

— Прощай, Лида, не от него уйду, а от тебя, и помни мой наказ про Стану.

Лида метнулась было к нему, но он уже закрыл за собой дверь.

В избушку Тимофея постучал тихонько, чтобы не напугать.

— Кто? — услышал он резонный по нынешнему дню вопрос.

— Это я, Тима.

В одном исподнем стоял тот перед ним со свечой в руках и показался исповедальником, пришедшим, чтобы услышать и простить грехи его от имени Господа, но он прогнал эту заманчивую мысль — исповедаться другу своему.

— Дело скверное, Тимофей, начальник милиции Форин, который с тобой говорил, старый мой знакомый и даже соперник, можно сказать, он знает мое истинное прошлое. Ради свободного доступа к Лиде да и во имя революционной законности он ни дня не оставит меня на воле. Потому я уйду. Ты решай сам, как быть. Если спросят — я ушел не попросившись.

— Да куда же ты пойдешь, ведь они везде, в каждой дыре сидит по Форину. Слушай, Арсений, добрайся до Свердловска, там, в Полевском, найдешь заведующего больницей, его зовут Василий Алексеевич, скажешь, что я направил. Он работу даст и приют, а потом оглядишься. Может, и мне сразу с тобой?

Арсений качнул головой:

– Не надо, так нас быстро найдут. Весной приезжай, если захочешь. В саду под грушей с восточной стороны закопан сверток в пергаменте, там бумаги и еще кое-что, когда соберешься, ночью отроешь. Об этом даже Лида не знает. Найди к тому времени фотографа, карточки мне с Анастасии привезешь. Ну, прощай, брат.

– До встречи.

Они обнялись.

## 5.

В ту июньскую ночь над Вакориным прогрохотала такая гроза, какой не помнили даже старики. Отдельно стоявшие березки в придеревенском лесу, где обычно брали веточек на первые свежие веники, подломило и обобрало с них молодой лист. Всю воду домашнего озера подняло и согнало к устью Кашинского лога, устье расперло напором стихии, и оно расшаперилось, разомкнуло берега, пропустив озорную, буйную воду в Нижнее болото. Стога сена только тем и спаслись, что спрятались в лесу, сам лес выстоял, потому что стеной стоял гибкой, местами гнулся, но нигде не сломался.

Василий, объезжая окрестности верхом на отцовской бригадирской лошадке, больше всего был удивлен способности леса, огромного массива слабосильных березок и осин, устоять против такого напора. Даже вода не устояла, а он устоял. Приехал домой, рассказал отцу.

– Хорошо, что сена сохранились, видно, по-хозяйски уметаны стога, молодцы, мужики.

Колхозная жизнь летом не замирает ни на один день, потому что скотина и по выходным кормится, и в праздники надо коров доить, а мужики где с техникой, где вручную стараются сенов заготовить поболее, чтобы зимой не заглядывать на сеновал: а хватит ли до зеленой травки?

Вечером из Копотиловской МТС приехал нарочный по заданию райкома, по случаю непогоды приехал верхом, без седла, с непривычки кое-как слез с лошади и нарасшарагу поковылял в правление. Первого, кого встретил, отправил за председателями колхоза и сельсовета, а заодно и весь народ скликать на митинг. Собрались быстро, нарочный велел вывесить над крыльцом правления красный флаг, толпа похотывала над Митей Грязненным, который три гвоздя согнул, пока палку приколотил к балясине.

Нарочный дождался, пока все успокоится, и снял кепку:

— Товарищи! Меня направил к вам районный комитет большевиков, чтобы сообщить важное сообщение: сегодня утром фашистская Германия напала на нашу страну. Это война, товарищи, а не провокация. Партия призывает всех граждан к соблюдению порядка, объявлена мобилизация, повестки привезут в сельсовет.

Стон прошел по толпе, как будто умер внезапно кто меж людей. Переглядывались мужики, бабы начинали выть, выпуская славившую сердце боль, и был этот плач русских баб тошнее для мужиков, чем объявленная война, завтрашняя мобилизация и даже возможная смерть в бою, потому что так оплакивают только необъемное горе. Так вдовы воют на кладбищах, так по деткам утраченным воют, и плач этот страх должен нагонять на врагов, потому что не только горе в нем слышится, но и отмщение, и проклятье, и кара Господня.

— Обождите, товарищ уполномоченный, у нас с Германией мирный договор. Как она могла его нарушить? — возмутился старичок Евлампий Сергеевич.

— Не могу сказать, товарищ, инструкции не было.

— А ты чего от фашиста ждал? — крикнул Ганя Корчагин. — Мира? Он всю Европу на лопатки положил, а мы с ним все хаханьки устраивали, вот и доигрались!

— Товарищ! Товарищ! Прошу без провокаций! — испугался нарочный.

— Да какая там провокация, когда враг на твоём огороде каштует, — сжался Ганя.

Федор Кныш поднялся на крыльцо:

— Похоже, мужики, всем боееспособным надо бы сухарей подсушить, дома все подобрать, крышу перекрыть или прясло подладить. Неизвестно, сколько мы с ним провошкамся, это только в песне про пядь земли, а если он внезапно начал, значит, готовился, как следует, значит, танками сотни верст может в сутки делать. Ну, это поправимо, нам только подпоясаться... Завтра на работу все, как штык, будут повестки — нас знают, где искать.

— Федя, брагу заводить на случай..., — начала было Татьяна Петровна.

— Какая брага, когда на повестке уж чернила подсыхают. Даже и не придет, сам поеду в военкомат.

— Ты что, Федя? А ребятишки?

— А страна? — в тон ей возразил Федор. — Попрядемся за болотами да за рямом, авось, не найдет немец, так, что ли? И такие разговоры

прекратить! Я коммунист, и Васька вот подрастает, я подозреваю, что ему тоже достанется от трудов моих и тут, в колхозе, и там, на фронте.

— Папка, а в школу не ходить? — спросил Василий.

— Другая школа начинается, сынок. Завтра переговорю с председателем, чтобы подыскал тебе дело по силам, все-таки ты у нас грамотей.

Повестки за неделю выхватили всех работоспособных мужиков. Газеты приходили на третий день, и новости за нездоровым оптимизмом просматривались угрожающие. Враг пер на Москву и Ленинград, стремился к Сталинграду и Кавказу. Райкомовская инструкторша привезла указание избрать председателем колхоза Дарью Зноенко, та со слезами отказывалась, потому что малограмотная, кое-как фамилию выводит.

— Этого достаточно, главное, чтобы колхоз работал, — подытожила инструкторша.

Дарья пришла к Кнышам:

— Вася, айда в колхоз счетоводом, я же ни одной бумажки не знаю.

— Тетка Дарья, какой из меня счетовод, я и колхозных документов в глаза не видал.

— Не скажи, Василий Федорович, у тебя семь классов за плечами. Короче говоря, завтра выходи, как Филимоновича забрали на фронт, так все бумаги и лежат.

Деваться некуда, вышел, потому что поздно вечером закрепить аргументы Дарья пришла председатель сельсовета Федора Унжакова:

— Ты, Василий Федорович, не ломайся, принимай дела, а то знаешь как: «по законам военного времени», — и она угрожающе подняла палец. — Да и мне подскажешь, что к чему, у меня ведь тоже кроме партбилета один ликбез, — уже примиряюще улыбнулась она.

Новому колхозному счетоводу Василию Федоровичу только что исполнилось шестнадцать лет.

В ночь на двадцать второе июня красноармеец, курсант школы ковалей, или, как ее называли солдаты, конской школы, Тимофей Кузин был в наряде. Его пост — угловая вышка, под которой склад с конской сбруей и сарай с телегами, но все равно пост, проверяющий приходил, «Стой, стрелять буду!» приходилось кричать, хотя ходил всегда один и тот же старшина школы Шевчук. С вечера было тихо, совсем безветренно, но для приволжской степи это обманчивая тишина, в любой момент может рвануть ветер, и тогда пыль взвевется столбом, дикие вихри поднимут засохшую степную траву, сломлен-

ные кустарники и долго будут кружить их над степью, пока надоест, а потом бросят где попало. Ближе к полуночи с запада потянуло прохладой, потом только что светлое небо накрылось тучей, да и не туча это, а сплошной низкий морок, и надвигался он на Тимофея, одиноко стоящего посреди земли, угрожающе и с напором. Скоро смена караула, хоть бы не началась буря, а то бежать через весь плац до казармы под ливневым дождем, а у него и плащ-палатки с собой нет. Тьма закрыла уже половину небосклона, когда по границе ее засверкали далекие молнии, как зарницы, и громы свалились на неожиданную их землю, ударясь о нее и раскалываясь на мелкие раскаты.

Тимофей крестился при каждой вспышке неба, приговаривая: «Спаси и помилуй, Господи Иисусе!», хоть и оглядывался, не появился старшина Шевчук, который на днях предложил курсанту Кузину вступить в партию большевиков. Тимофей знал, что категорически отказываться нельзя, потому сослался на малообразованность, а вечером политрук Илюшениа забрал у него все конспекты, через полчаса пришел, швырнул их на кровать и грозно спросил:

— Кузин, ты зачем врешь, что малограмотный? Судя по конспектам, врешь ты сознательно, потому что не хочешь в партию вступать. А теперь объясни мне настоящую причину.

Кузин замялся:

— Вы бы мое личное дело посмотрели, товарищ политрук, я же сидел по нехорошей статье.

— Видел, даже запрос делал, отсидел ты правильно, потому что нельзя местную власть игнорировать, но тебя же освободили, значит, перевоспитали, осознал, значит, свои заблуждения. Служишь ты исправно, хоть и не со своим годом. Ты с какого?

— С тринадцатого. Нынче демобилизация.

— Ну, с демобилизацией пока вилами по воде. — Илюшениа кашлянул: лишнее сказал.

— Все-таки будет война, товарищ политрук?

— Ты такие вопросы только себе можешь задавать и то темной ночью под одеялом. Товарищ Сталин верит Гитлеру, значит, есть основания. Наше с тобой дело быть в боевой готовности, конную тягу артиллерии обеспечить. И о партийности подумай, в случае демобилизации никаких проблем с трудоустройством не будет.

А небо играло в свою игру, словно забавляя одинокого солдата. Молнии сжигали черноту, освобождая знакомые звезды, дождя так и не случилось, а ветер побаловался чуток и тоже перестал. Черное по-



крывало скатывалось к горизонту, и на душе Тимофея стало посветлей, он благодарил Бога за зримый показ ему своего могущества, а потом вспомнил слова священника Тихона: ничто ни в небе, ни на земле не происходит без его желания или разрешения, и, если человеку дано это видеть, то он должен понимать, что хотел внушить ему Господь. «Ведь нас так много на свете, чад его, и как пастух не может знать всех овец в стаде и каждой говорить, куда ей пойти, какую травку кушать и какой водой утолять жажду, так и Пастырь небесный не может говорить с каждым, такая слава снисходила до редких праведников, мы же, в лучшем случае, можем видеть знамения Господни, когда он соблаговолит подать знак людям, что он недоволен родом человеческим и грозит послать свою кару».

«Если мне выпало видеть это явление чудесное, то и понять мне надо его самому, потому что к политруку с такой загадкой не пойдешь. А не явил ли Создатель черное нашествие с западной стороны, и не предупреждает ли тем, что война скоро случится, что до середины неба и земли нашей дойдет черная сила, а потом пошлет Господь Илью Пророка с воинством, и возвосятся священные молнии, и ударят громы, и сгорит вся чернь в рукотворном и нерукотворном огнище».

Пришла смена, Кузин в казарме тихонько разделся и прилег на кровать. Со второго яруса свесил кудрявую голову сибиряк Сема Золотухин, спросил шепотом:

– Гроза на дворе?

– Нет, улеглось. Сема, только никому не скажи, было сейчас на небе знамение, и я так понимаю, что война все-таки придет.

– Тише ты! Услышат – в паникеры запишут.

– Точно тебе говорю, такие явления редко бывают и неспроста.

– Ладно, спим.

После подъема Кузин мог бы еще поспать после ночного караула, но посыльный из штаба велел ему срочно бежать к политруку.

Политрук Илющенко сидел за столом и читал какой-то документ. Кузин доложил.

– Садись. Так говоришь, война все-таки будет?

Тимофей побледнел, но отказаться от веры он не мог, потому признал:

– Так точно, товарищ политрук, будет и достаточно скоро.

– Откуда у тебя такая информация? Только не крути, говори, как есть, обещаю, что наш разговор останется в этом кабинете. Говори.

– Скажу, товарищ политрук.

И Тимофей рассказал все виденное ночью, прокомментировав так, как понял сам.

— Ты веришь в Бога?

— Верую во Единого Бога нашего.

— Ладно. О виденном и о нашем разговоре больше никому.

На столе политрука звякнул аппарат внутренней связи. Он взял трубку и тут же положил ее на место.

— Ты прав, Кузин. Сегодня на рассвете немцы перешли нашу границу. Это война. Беги, объявлено всеобщее построение.

В начале июля в лагере заговорили о войне, точно никто ничего не знал, начальство помалкивало, вопросы задавать не полагалось, тем более политическим, но уголовники из соседней зоны иногда делились подробностями. Выходило, что немцы напали еще двадцать второго июня, громят наши войска по всем фронтам, советские армии охотно сдаются и переходят на сторону Гитлера. Бывший среди политических генерал Невелин открыто говорил, что это чушь, войска сопротивляются, но внезапность удара, о возможности которого говорили старые вояки, позволяет технически подготовленному противнику легко опрокидывать нашу оборону. И о добровольной сдаче армий в плен — провокация, глупость.

Пятнадцатого июля вечером генерала вызвали в контору. Начальник лагеря встретил его дружелюбно, выгнал конвой, предложил чай и папиросу.

— Благодарю, гражданин начальник, от чая отвык, а курить бросил сразу после приговора, наслышан, как трудно в ваших учреждениях с куревом.

— Игнатий Матвеевич, — неожиданно так деликатно обратился к зэку начальник. — Я хорошо знаю ваше дело и уверен, что в связи с новыми обстоятельствами его пересмотрят, фронту нужны грамотные командиры.

— Вы можете мне под честное слово о неразглашении сказать истинное положение на фронтах?

Начальник помолчал, хлебнул чай, встал:

— Положение тревожное, он наступает по всей линии от Балтики до Кавказа. До Москвы рукой подать, Ленинград под угрозой. Наши потери огромны, даже те, о которых сообщают. Мы получили команду срочно выявить добровольцев среди заключенных и оформить дела на досрочное освобождение, я просил бы вас помочь.

Невелин уточнил:

– Политические, конечно, не рассматриваются?

Начальник приободрился:

– Разрешено, конечно, но не все статьи. В отношении высшего комсостава, ученых, хозяйственников будет дополнительная работа. Я просил бы вас выступить завтра на утреннем разводе. Игнатий Матвеевич, вас знают все, вас уважает контингент, ваше слово много значит. Вы согласны?

– Это будут арестантские роты?

– Не для всех, вся мелочь пойдет в войска, более серьезные статьи формируются в так называемые штрафные батальоны. Есть шанс получить амнистию после ранения. Правда, тонкостей я не знаю.

Невелин молчал, хотя понимал, что отказаться он не имеет права, возможно, завтрашнее слово и будет первым его ударом по врагу.

– Я буду говорить, гражданин начальник, но буду говорить так, как считаю нужным. А после этого хоть в карцер.

– Да перестаньте! Вас вызвать на разводе?

– Зачем? Я сам найду место, где спросить слова.

Весь лагерь построен буквой П, такое редко случается, например, при групповом побеге или объявлении результатов проверки коллективной жалобы в Москву, как всегда, не подтвердившейся. Начальник лагеря сообщил о войне с Германией, о временном отступлении наших войск и о необходимости пополнения живой силой.

– Родина обращается к вам, осужденным и отбывающим наказание, с предложением добровольно пойти на ее защиту. Это касается всех, но отдельные статьи будут рассматриваться особо. Заявления будете писать в отрядах на мое имя. На это дается час времени перед работой. Есть ли желающие высказаться?

– Начальник, Украину сдали?

– А Минск?

– Ростов?

– Тихо! – рявкнул начальник. – Я такой информации дать не могу.

– Значит, точно сдали...

И тут раздался упругий командирский голос:

– Гражданин начальник, заключенный Невелин, статья пятьдесят восемь, пункт три, разрешите слово сказать?

– Разрешаю.

Невелин вышел перед тысячей мужчин, даже в хэбэшной робе в нем просматривался военный человек.

— Чтобы не было кривотолков, признаюсь, что вчера начальник просил меня выступить. Однако признаюсь и в том, что и без того разговора я бы не спрятался за спины своих товарищей. Наша родина в серьезной опасности, видимо, плохи дела, если власти обращаются за помощью к тем, кого вчера отгородили от общества. Мы все осуждены, кто за преступление, кто за проступок, кто за неверное слово. Но осудила нас не родина, нас посадило сюда государство, а это разные понятия, товарищи. Власти могут меняться, но родина остается всегда. И сейчас она просит нас защитить ее от захватчиков. Вы знаете, я боевой офицер, генерал, потомственный военный, мои предки служили и царям, и Отечеству. Я участвовал в Финской кампании, мы ее позорно проиграли, мой анализ причин поражения не понравился начальству, и вот я здесь. Сегодня, к сожалению, Гитлер подтверждает объективность моих выводов. Но не время сводить сче-ты и предъявлять обиды. Я прошу руководство лагеря ускорить рассмотрение моей просьбы отправить на фронт в любом звании и в любом качестве.

— Там ведь и убить могут, генерал, — крикнули из толпы.

— Если ты меня смертью пугаешь, то зря язык о зубы трешь, смерти я не боюсь. Лучше умереть в бою за Родину, чем гнить в бараке.

Толпу пошатнуло:

— Прав генерал!

— Распускай сходим, будем маляву писать.

— Во втором отряде бумаги нет, всю в галльон стаскали.

Начальник лагеря скомандовал:

— Всем отрядам разойтись по своим баракам, рабочие задания получите на месте.

Невелин в строю стоял рядом с крестьянином Чернухиным, и на нарах они спали рядом, холодными зимними ночами согревая друг друга. Чернухин был довольно замкнутым человеком, только Невелин замечал, что тот больше, чем деревенский мужик, иногда в беседе он так выразительно проговаривался, употребив редкое слово или выдав такое неожиданное суждение, что генерал смущался. Спрашивать в лагере не принято («вопросы задают в конторе»), а сам Чернухин о жизни своей докаторжной помалкивал. Прошлой зимой жестокая простуда свалила Чернухина, ему дали освобождение, и день он пролежал на нарах, к вечеру температура поднялась, начался бред, в котором Невелину приходилось даже рот прикрывать больному. Он говорил что-то об Анастасии, называя ее «Ваше Высочество», потом

переходил на польский, очень чувственно, со слезой, как бы читал заученные тексты на французском и английском – Невелин помнил кое-что еще с петербургской юности. Ребята насобирали по всему бараку таблеток, Невелин сбегал в санчасть, мест там не было, но лекарства дали. К утру Чернухин успокоился и уснул, кризис прошел.

Через два дня, работая пилой в паре, он, узнав, что бредил, с опаской спросил соседа, не говорил ли в бреде чего-либо необычного.

– Говорил, бугру было что послушать, но нам это не интересно, как вы сами понимаете.

Арсений остановил пилу:

– Что сказал, повторите, это крайне опасно?

Невелин кратко пересказал бредовые речи, упомянул про иностранные языки:

– Не переживайте, кроме меня никто не слышал, иначе давно бы поинтересовались, где сибирский крестьянин получил столь приличное образование. Я и раньше замечал за вами проколы, но стеснялся заводить речи об этом.

Чернухин сел на бревно, вытер мокрое от пота лицо несвежим полотенцем, силы еще не вернулись к нему:

– Спасибо, генерал, я действительно такой же крестьянин, как и архиерей. Если коротко, поляк по происхождению, родителей Государь отправил в Сибирь, а органы прибрали после Гражданской. Меня спас тиф, потом соседка, сердечная русская женщина, приняла меня вместо сына, умершего от тифа же, его паспортом прикрыла от новых властей. С дочкой ее, Лидой, случились у нас чувства, но сложно скрывать, окраина городка, почти деревня. А за Лидочкой стал ухаживать молодой милиционер, она мне и сказала, что он подозревает. Тогда я махнул на Урал, пять лет скрывался, думал, все улеглось. Ан нет, с тем чекистом опять пути схлестнулись, и вот я здесь.

На второй день, попав вдвоем на ремонт завалившегося банного дымохода, они наговорились сполна.

После построения по поводу войны и добровольцев Арсений спросил:

– Генерал, вас действительно могут отпустить на фронт?

– Не знаю, это будет решаться чуть не у Берии.

– Мне не совсем понятна ваша логика, России прежней уже нет и никогда не будет, эта власть вас низвела до раба на лесоповале, но вы готовы ее защищать и даже призываете к этому других. Я знаю, вы порядочный человек, но как это все совместить?

— Вопросом на вопрос. Вы подадите заявление?

— Скорее, нет. И не потому, что я поляк, нет, моя родина — Россия, но как можно воевать за власть большевиков, уничтоживших мою родину и создавших страшное государство?

— Но родина осталась. Представьте на мгновение, что будет с Россией и русским народом, если Гитлер дойдет до Урала? Это не только гибель нации и русской государственности, это крест на цивилизации, в ее интеллектуальном аспекте, это возврат к средневековью на новом техническом уровне.

— Давайте решим так: если вас отзовут на фронт, я пишу заявление добровольца. Но там мы вряд ли встретимся.

— Война большая, но она одна, встречаться не обязательно, важно победить.

Люди не замечали, что слово «война» изменилось по смыслу, оно всегда было в русском языке, с начала века не забывалось: то японская, то германская, то империалистическая, перешедшая в Гражданскую. Эта война была страшной, потому что впервые на человеческой памяти сознание людское перевернулось, сместились понятия, вроде внутри страны жили, своим народом, а сосед соседу враг, брат брату враг, не было фронта в обычном понимании, в каждой деревне линия обороны проходила, в каждой семье, в душе нередко возникали у людей сомнения вплоть до перемены убеждений и смены флага над головой. Потихоньку все успокоилось, хотя отголоски гражданской до последнего времени доносились глухими раскатами: там взяли группу бывших, тут разоблачили. Эта война, сразу названная Отечественной, то есть, за Отечество, за Родину будем воевать захватчика, воспринималась как великое испытание, как проверка на жизнь. Пусть говорили пропагандисты о борьбе двух систем и идеологий, пусть писали газеты о верности советского народа родной власти и родной партии — все было проще: со времен татар и монголов, со времен униженного состояния поработанного народа в сознании вызревало и формировалось понимание сути национальной независимости, в гены потомкам передавалось предостережение от всякого рода соблазнов поискать покровительства под чужими хоругвями или под иной верой, нравственной необходимостью стало жить своим народом, своим миром. Советская власть крепко ломанула народное тело и народную душу, но устоял нравственный хребет, убереглось понимание родины как чего-то неизменного, вне зависимости от названия властей и цветов флагов. Не умея часто сформулировать свое убеждение, люди шли в

бой, не особо задумываясь, потому что так нужно было, умирали на бегу, натыкаясь на встречную пулю или лова снарядный осколок, раненые, мучились в госпиталях, кое-как подлечившись, возвращались к своим или шли на распределительные пункты.

Генерала Невелина увезли в Москву самолетом вместе с несколькими высокими чинами, набранными в соседних лагерях. В последний вечер вокруг него собрались товарищи, с кем сдружился за год работы в тайге.

— Сожалею, что не все вместе уходим, но обещаю, что буду хлопотать перед властями за каждого. Вам, Чернухин, настоятельно рекомендую заявление все-таки написать, и уже с фронта дать мне весточку.

Арсений заявление написал, его вызвал какой-то чин из конторы, небрежно спросил:

— Воинской специальности нет? В армии не служил? Статья серьезная, хотя состав преступления малозначителен. Жди, рассмотрим, но зачисления в регулярную армию не гарантирую, в лучшем случае — штрафбат.

— А что это такое?

Офицер снисходительно на него посмотрел:

— Это команда врагов советской власти, решивших искупить свою вину кровью. Погиб — реабилитирован, ранен — переводят в войска.

Арсений изначально понимал, что лагерники будут использоваться в самых опасных операциях, но не думал, что все будет обставлено так цинично буднично и откровенно. Из лагеря их набрали больше ста человек, пешим строем и под усиленной охраной довели до узкоколейки, платформы с добровольцами паровозик дотащил до полустанка. Долго ждали теплушки, еще в двух местах жгли костры и толпились такие же оборванные и безразличные люди. Подали «телятники», в каких возили эков, так же под охраной дошли до Свердловска. Только что освободившиеся казармы ушедшей на фронт команды приняли новый состав.

## 6.

Штрафники шли к фронту, и фронт шел им навстречу. Арсений, не служивший в армии и не знавший ничего, что касается ее порядков и организации, все равно понимал, что вот эта толпа безразличных в основном и деморализованных людей ни при каких обстоятельствах не будет боевой единицей. Уголовники верхово-

дили и здесь, как в лагере, командиры не появлялись, и откровенных столкновений, драки и резни удавалось избежать только потому, что политические держались дружно. Кормили один раз в день, тут же, у котла с кашей, выдавали сухари и соленую рыбу, все съедалось в один присест, и в пути сохло в горле, у колодцев и родничков ругались и толкались. Арсений ни во что не вмешивался, держался особняком, среди полутора сотен мужиков, одетых в бэушную солдатскую форму, непростиранную, со следами крови и пугающими дырками от пуль и осколков, несложно затеяться, но внимание к себе он замечал.

На ночном привале подсел конопатый паренек с раздвоенной после драки верхней губой, худой и шелудивый, чем вызвал отвращение Арсения.

— Мне велено переговорить с тобой, чтобы ты от стаи не отбивался. — Парень щурился и шепелявил — пару зубов при том ударе он все-таки потерял. — Пахан велел подойти, когда все угнездятся. Понял?

Арсения мелко колотил гнев, но он ответил спокойно:

— Не пойду. Так и скажи: один я, один и останусь.

Парень усмехнулся:

— Ты хоть знаешь, о ком базаришь? Ему тебя пришить — раз плюнуть. Да мне же прикажет, и мамкнуть не успеть.

— Кончен разговор. — Арсений тяжело поднялся: три дня пешего перехода и бескормица вымотали его окончательно. — Вали отсюда и успокой своего пахана: под него не лягу.

— Ладно, мое дело — сторона. — Визитер неохотно встал. — Я ему скажу, что ты завтра подойдешь для личной беседы. — Он криво усмехнулся. — Не буду себе ночь портить дурными вестями, пахан кодлу сбивает, чтобы на передовую в боевой готовности прийти, так что маракуй, пока время есть.

Арсений взял котелок и пошел к реке, пить сильно хотелось, да и пустой желудок водой наполнить, все меньше сосет. В десяти шагах остановил часовой, лягнул затвором.

— К реке за водой можно?

Солдат подошел ближе:

— Принеси и мне котелок, больно пить хочется. Только не вздумай бежать, пуля догонит.

Арсений промолчал, подошел к берегу. От воды несло запахи речной зелени, квакали лягушки, белели в темноте не плотно закрывшиеся кувшинки. С правой стороны мрачной серой стеной стоял ка-



мыш, слева плес, мелководье, утки спят, положив головки под крыло. Как мирно! Как прекрасна жизнь! А что он? В кампании человеческих отбросов идет на верную смерть. Нет, он не раскаивался, что вызвался добровольцем, он всегда помнил слова генерала Невелина, что лучше погибнуть в бою, чем гнить в бараках, и даже сейчас соглашался с ними, но как глупо складывалась жизнь! Только несколько дней из сорока с лишним лет виделись ему светлыми, солнечными. Лицо Анастасии, девическое, почти детское, с капризной губкой и озорными глазищами, и строгое, страдающее, взрослое в проеме полутемного вагона, всегда было с ним. Он жил этим образом, стараясь не вспоминать о Лиде, о девочке с родинкой за ушком, он понимал, что виноват перед ними, но уйти в ту жизнь уже никогда не сможет. Да и доведется ли делать выбор, даст ли суровая судьба шанс остаться в живых? Лучше не думать об этом, он привык готовиться к худшему и почти никогда не ошибался.

Солдат проворчал, почему так долго, и жадно припал к котелку. Арсений заметил человека на полпути к кострам, тот явно старался быть незамеченным. «По мою душу.. Может, вернуться к часовому...?». Арсений подавил страх и пошел навстречу.

— Чернухин, подойдите сюда, здесь света от костров меньше.

Арсений присел на корточки и приложился к котелку. Вода была теплой и пахла тиной, но он не замечал, пил крупными глотками, выигрывая время, чтобы унять противную дрожь.

— Моя фамилия Штепель, генерал Невелин просил за вами присмотреть и помочь, в случае необходимости. Знаем, что к вам подходили уголовники, знаем, что вы отказались участвовать в провокации. Потому предлагаю присоединиться к нашей кампании, политические, как вы заметили, держатся дружно. Одного вас уберут. Что скажете?

Арсений молчал. Он не разделял взглядов этих романтиков от революции и не верил в их завтрашний день, ему противны были заверения в неизбежности грядущего счастья всего человечества, которыми они завершали все ночные дискуссии в бараке, но выбора нет, и ему придется примкнуть к политическим. Да и статья они родственники, так что все логично.

— О какой провокации вы говорили?

— Уголовники рассчитывают получить оружие и воспользоваться им для освобождения.

— Это же полный бред, какое освобождение, нас даже безоружных охраняют автоматчики.

— Они думают уйти за линию фронта. Мы решили предупредить командование. Как вы считаете?

Арсений невольно улыбнулся:

— Странные вы люди... Неужели военные столь наивны, что позволяют вооруженным уголовникам вести себя, как им хочется? Мы с вами в штрафной команде, ничего не изменилось, и в бой мы пойдем при усиленном сопровождении, не исключая, что вообще без оружия.

Штепель, видимо, был озадачен:

— Полагаю, такое невозможно, оружие выдадут, как иначе? Мы же просились на фронт воевать, а не...

Он не смог найти нужного слова и замолчал.

— Спасибо вам за заботу, господин Штепель, я вашим предложением воспользуюсь. — Он поднятой рукой остановил метнувшегося собеседника: тот явно хотел возразить против господина. — Сейчас же подойду к вашему костру, но о докладе начальству советую подумать, вы же знаете, что они с уголовниками быстро находят общий язык, когда дело касается вас. Извините, я пойду, очень хочется спать.

К обеду следующего дня колонна вышла в расположение воинского подразделения, солдаты настороженно смотрели на разномастную толпу грязных и заросших щетиной мужиков. Зэков накормили в сторонке, построили, провели переключку. Рослый молодой мужчина в солдатской гимнастерке без погон, в офицерском галифе и хромовых сапогах, светловолосый, гладко выбритый, встал перед строем:

— Я назначен командиром отдельной штрафной роты, так называется наше подразделение. Моя фамилия Шорохов. Звания нет, обращаться по должности. К вечеру назначу командиров взводов, а сейчас всем отдыхать.

Арсений бросил свой мешок в тени чахлой березки и лег на спину. Безысходность и неотвратимость чего-то страшного угнетали его. Прошел слух, что завтра роту могут бросить в бой. Ничего странного, товарищи командиры, конечно, не знают, да и знать не хотят, что очень многие из вновь прибывших, как и Чернухин, не держали в руках винтовку, для них это не важно, у них свой взгляд на полторы сотни вчерашних заключенных, пожелавших пойти на защиту своей Родины. Они не дадут себе труда разобраться и развести по разным сторонам отъявленных уголовников, готовых ударить в спину и уйти за линию фронта, и таких, как Штепель и его товарищи, искренне уверенных, что их участие на фронтах поможет стране, партии и на-

роду. Странные люди, но Чернухин был удивлен их доброжелательным приемом: Штепель назвал его товарищем генерала Невелина, и Арсений не стал возражать. Потом ему объяснили, что все политические объединены в партийную организацию ВКП(б), руководит ею товарищ Головачев, до ареста был секретарем обкома, из рабочих, убежденный большевик.

— Насколько я осведомлен, вы в партии не состояли, — сказал Головачев. — Но рекомендация генерала дорогого стоит, потому мы считаем вас своим. Вы не возражаете? Хорошо. Товарищи, нам следует просить командира роты, чтобы нас объединили в один взвод. Я бы не хотел идти в бой рядом с уголовником.

Партийного лидера поддержали, и Арсений не стал вмешиваться со своими рассуждениями, что ротный командир постарается разбить стройные идейные ряды ненадежными элементами. Так и случилось. Когда зачитали повзводные списки, партийцы почти равными долями оказались во всех трех подразделениях. Возмущенный Головачев подошел к Шорохову:

- Разрешите, товарищ командир роты?
- Разрешаю, но товарищей тут нет. Говорите суть.
- Мы хотели бы создать отдельный взвод бывших политических.
- Что еще?
- Больше ничего, — растерялся Головачев.

— И на том спасибо. Запомните: приказы командира не обсуждаются. Мы все здесь одной породы, штрафники, люди вне закона, никаких различий по чинам и званиям. Почему я должен вам это разъяснять? Вы не служили? До ареста кем были?

— Секретарем обкома партии.

— Я месяц назад полком командовал. А, возможно, завтра пойду с вами в атаку впереди танков, без артподготовки. Вот так, товарищ секретарь. Рота должна выполнить задачу, и она выполнит или погибнет. Все, идите, я и без того много вам наговорил.

Ранним утром, еще до рассвета, всех потихоньку подняли, кое-как построили. Ротный дождался относительного порядка.

— Рота, слушать внимательно! В двух километрах деревня, которую нам предстоит взять. В деревне до роты немцев. Пойдем тихо, первый взвод прямо по дороге, второй слева, третий обходит справа. Взводные установку получили. К восходу солнца объект должен быть нашим. Для всех вас это первый бой, потому проявляйте мужество и хитрость, по возможности. И еще. Только вперед, за трусость рас-

стрел на месте. Назад не советую, нас прикрывают автоматчики СМЕРШа. Все. Выдать оружие!

Из кузова полуторки солдаты совали в толпу винтовки, рядом старшина давал по пригоршне патронов. Арсений отошел в сторону, дернул затвор и вставил патрон.

— Разобрался? Меня товарищи попросили быть с вами. — Молодой мужчина, Арсений видел его среди политических, тоже обихаживал винтовку. — Взводный у нас военный человек, пойдете, он просил собраться.

У полуторки поднялся шум, винтовок не хватило, почти половина штрафников осталась без оружия. Рябой, знакомый Чернухина, суетился и кричал:

— Беспредел! Я не кабан из пригончика, чтобы на забой идти! Ротный, не пойду без ружья!

Ротный рявкнул:

— Прекратить вой! Приготовиться к броску! Пойдем легкой рысью, и чтоб тихо! Безоружные винтовку добудут в бою. Пошли!

Быстрым шагом, а потом и трусцой направились в сторону деревни. Рябой пристроился рядом с Чернухиным, бежал тяжело, сипя прокуренными легкими.

— Ты не бойсь..., не трону..., ждать буду..., когда тебя убьют..., винтовку захвачу, — переводя дыхание, выговорил он.

Арсений плюнул и прибавил шаг, но скоро вся цепь остановилась. «Идти тихо, впереди посты».

Странное дело, но Арсений так и не мог принять как реальность, что он идет в бой, что в руках у него оружие, которым он должен убить человека, что стоит ему чуть ошибиться, и тот убьет его. Как все просто! Он мог бы признаться себе, что никогда не нажмет на крючок винтовки, не сможет, потому что не знает за собой такого права, и пусть тот, что напротив, берет его на мушку, пусть стреляет — его жизнь уже ничего не стоит, даже этого выстрела. Он шел навстречу бою, не ощущая тех, кто рядом, шел один и в этот раз, как почти всегда в жизни.

Раздалась густая стрельба впереди, яркая ракета неожиданным солнцем взошла над деревенской околицей, неуместное «ура» пронеслось по рядам, цепь радостно рванулась навстречу огню. Арсений видел, как упал рябой напарник, упал неловко, лицом вниз, подвернув под себя безоружные руки, в рассветных сумерках видел вспышки выстрелов от деревни, бежал, не пригибаясь и не поднимая винтовки.

Все закончилось как-то неожиданно, немцев в деревне не оказалось, стреляли солдаты передового охранения, которые не стали ввязываться и умчались на трех мотоциклах. Ротный собрал командиров взводов и приказал на всякий случай окапываться, потому что противник даже столь незначительного прорыва не простит и ударит, а команды возвращаться нет и не будет.

Арсений копал влажную глину, укладывая по краям окопа пласт за пластом, рядом устраивал окопчик Головачев, рукав его гимнастерки побурел от крови.

— Вы ранены?

— Зацепило чуть, а забинтовать нечем, рубашку порвал, только все равно мокнет.

У Арсения в мешке лежал перевязочный пакет, вчера солдатик молодой дал, сказал, что без того в атаки не ходят. Головачев снял гимнастерку, сдернул пропитанный кровью обрывок рубахи, Арсений протер рану и туго перевязал.

Из тыла подъехала машина, какой-то офицер громко кричал на ротного, ветерком доносило только «прохлаждается», «противник прет», потом объявили переход на новое место.

— Командир, а ямку эту я за каким хреном рыл? — сидя на корточках перед почти готовым окопчиком, пенял взводному пожилой грузноватый уголовник по кличке Милый. — Или мне с собой ее взять?

— Не тоскуй, Милый, в случае чего мы тебе еще лучше ямку выроем, — успокоил взводный давнего товарища по отсидке. — Поспешай, братва, ротный матом кроет.

Предстояло пройти три километра лесами в направлении какого-то важного шоссе, там мост через реку, и ожидается танковый прорыв.

Вот тут и увидел Чернухин войну во всей страшной силе ее борьбы со всем живым, в ее способности спрессовывать время и обозначать миг между бытием и отлетом души. Многотонные громады танков неудержимо неслись на людей, бестолково пытавшихся зарываться в землю, стрелять из винтовок и бежать, обезумев от ужаса. Танки настигали метущихся, сбивали их и наматывали на гусеницы.

Несколько человек добежали до леса, танки, кружнув по поляне, выровнялись в колонну и пошли дальше. Арсений сел на поваленное дерево, его вырвало густой тягучей слюной. После минутного забвения огляделся: два десятка штрафников одинаково безучастно чего-то ждали. Один поднялся, держа винтовку за ствол, как палку:

— Пошли, после танков пехота пойдет, добыют.

Смершевец говорил с ним минут пятнадцать, не больше, конвоир отвел к группе таких же, как и он, неприкаянных и никому не нужных. Среди оставшихся в живых Арсений не увидел ни одного знакомого. Еще через час их отправили на правый фланг, где формировался штрафной батальон — так сказал старший конвоя. Батальон несколько дней готовился к боям: разжалованные офицеры учили работать с гранатами против танков.

— Ну, братва, наши дела даже хреновыми не назвать, — размышлял сухопарый мужик с синяком под глазом. — Я видел, как ребята брали инкассаторскую машину, так то тычинка и пестик против танка. Вот ты посмотри, — он обратился к Чернухину, — я с танком знаком по картинкам, а мне на него с гранатой. Конечно, я полезу, потому что автоматчики сзади могут хорошо подтолкнуть, но в чем фокус? Я его подобью, но уже не жилец, они же меня кончат, или те, или эти, если назад поползу. Вот и вопрос: получу гранаты, и куда? Тычинка и пестик, другого выхода нет.

Чернухин будто у него комара на лбу убил, наклонился:

— Не брякай языком!

— Так я же в целом...

И они пошли на площадку, где стояла крестьянская телега, взятая в соседней деревне. Телега понималась как вражеский танк, и мужики на полном серьезе швыряли в нее гранатные болванки. Дважды еще смерть отталкивала Арсения, отказывалась принять его жертву, когда при отражении танковой атаки его граната не взорвалась, он упал вниз лицом, ждал взрыва, а его не было, и танк проскочил над ним, обдав дымом, пылью и грохотом. И потом еще, при безумной дневной атаке в полный рост, они бежали полем нескошенной ржи, бежали на верную гибель, но появившиеся сбоку советские танки накрыли окопы противника, и остатки штрафбата нечаянно остались жить.

Его ранило при авиационном налете, батальон доедал кашу, когда появились три штурмовика, они и прошли только раз, сбросив по одной бомбе и полоснув пулеметными очередями, а наработали много. Начальник полковой разведки орал потом на комбата, что на него штрафников не напасешься. Арсений этого не слышал, его в ту минуту оперировали в полевом госпитале. Осколок, вынутый из плеча, хирург ему показал потом, сказав, что сохранит, органы могут проверить, не самострел ли штрафничок.

## 7.

На распределительном пункте после ранения Арсений Чернухин получил назначение в минометную роту. Офицер, посмотрев его бумаги, улыбнулся:

— Хотел тебя напугать, что минометчики под самым боком у противника работают, да, похоже, ты из пуганых. За что попал в штрафбат?

— Добровольцем, командир.

— Ну, ты Ваньку-то не валяй, я от души интересуюсь.

— Добровольно, из лагеря я.

— По какой статье сидел?

— По той самой.

— А ранение в плечо не самострел?

— Уже проверили, был бы самострел, не говорил бы с вами.

— Это мы уточним. — Особист крутнул ручку аппарата: — Барышня, дай мне тринадцатого. Тринадцатый? Чернухина из штрафбата кто оперировал? Ты? Назови фамилию. Понял. У него пулевое ранение? И пуля, случаем, не соседа по нарам? Осколочное? Точно? Смотри, я проверю, головой отвечаешь, если он самострел.

Положил трубку, лениво повернулся к Арсению:

— Все нормально. Вас тут трое уже, сейчас в полк полуторка пойдет, на ней доскочите. Явку вашу пусть командир роты мне отзвонит. Давай следующего.

В кузове полуторки лежал с десяток ящичков, Арсений присмотрелся — мины. Стало жутковато, в последнем бою на его глазах троих ребят миной разорвало.

— Не бойсь, — успокоил попутчик, спокойный верзила с перевязанной головой, — они безвредны, пока не на боевом взводе, хоть в городки ими играй.

— Ты тоже из госпиталя, голова перевязана?

— Не доехал, сбежал, в медсанбате кровь остановили, мне и полегчало. А раз так — нахрена я поеду в госпиталь, проваляюсь там, а наши уйдут, как я потом без родной минометной роты?

Чернухин с интересом смотрел на этого странного человека, который госпиталю и паре недель отдыха от войны предпочел побег из медсанбата и возвращение в родную, как он выразился, роту.

— Тебя же в голову ранило, не в задницу, нельзя так несерьезно относиться к себе. А если рана откроется?

Тот махнул рукой:

— Чему открываться, осколком чиркнуло и какой-то сосуд с кро-

вью подрезало, вот из меня и хлестало, как из барана, до самого санбата. А зашили, и все кончилось. Ты к минометчикам? Айда к нам, у нас старшина толковый и командир хороший, не прогадаешь.

Чернухин отмолчался. Он уже несколько дней наслаждался пусть относительной, но свободой, когда за спиной нет солдата с автоматом, хочешь есть — развязывай сидор или подговаривайся к ближайшей кухонной службе, хочешь полежать — шинель под бочок и лежи. Людей на пункте скопилось много, так что два дня в никуда — это великое дело после восьми лет лагерей и трех страшных атак в штрафном батальоне.

Минометная рота, в которую направили Арсения, находилась на отдыхе после боев. Чуть в стороне, на высотке, он заметил большой крест, скрепленный из неошкуренных березовых концов.

Диковата была эта тишина и березы, все в зелени листьев, и немая трава, веселая и беззаботная, какие-то птички в верхушках деревьев шустрят, щебечут, и вроде тут войны нет и не было, только вот братская могила...

— Ребята наши похоронены, которые тут погибли в последнем бою, — старшина роты, подбежавший к машине, у вновь прибывших взял документы. — А пока ящики разгружайте, чего стоять?

Знакомый голос у старшины, и лицо вроде знакомое, но не вспомнил Чернухин, схватился за ящик. Он взмок, пока снимали и относили в сторону тяжелые снаряды. Кормежка в штрафбате мало чем отличалась от лагерной, только перед самым его ранением выяснилось, что тушенку всю забирал себе комсостав. Да и ранение, хоть и легкое, тоже здоровья не прибавило. Верзила засмеялся:

— Ничего, с нашим старшиной привыкнешь, он суровый мужик, но добрый, в обиду не даст.

«Добрый» окликнул:

— Мыррин, ты какой документ мне подsunул? Где бумага из санбата?

— Нету у меня, старшина, такой бумаги, сбежал я оттуда.

— Вот всегда ты такой, Мыррин, неловкий, всегда у тебя все не как у людей. А ты, Чернухин, что можешь? Миномет обслуживать можешь?

— Я его первый раз вижу, граж... — он осекся, быстро поправился:

— Товарищ старшина.

Старшина с сочувствием на него посмотрел:

— Ранение в плечо? Ты ведь мины подавать не сможешь? Куда тебя определить, или пусть ротный думает? — Он еще раз взглянул на новичка. — Арсений, Господи, это же ты!



Чернухин тоже узнал:

– Тима!

– Арсений!

Обнялись, Кузин смахнул слезу:

– Ничего не спрашиваю, ночью поговорим, а пока надо тебя определить.

Арсений пожал плечами, за последние годы он научился совершенно безразлично относиться к завтрашнему дню, зная, что от него самого ничто не зависит, потому полагался на судьбу. Вот и сейчас он пожал плечами: решайте, граждане начальники, а вчерашний зэк Чернухин пойдет, куда вы прикажете.

– Обожди, – старшина приподнял ладонь, – кажись, придумал. Кныш! Подойди сюда. Возьми этого мужика к себе, все равно у тебя заряжающего убило. Не спрашивай, он миномета в глаза не видел. Потренируйся с ним, только имей в виду, плечо у него изу-вечено. По моим данным, с недельку простоим, так что не теряй время.

Кныш, молодой сухопарый паренек лет двадцати, шеголеват, насколько позволяет обстановка, с медальками на гимнастёрке, осмотрел Арсения быстрым взглядом.

– Это который из штрафников? Других нет, старшина?

– А чем я вам не нравлюсь? – спросил Арсений.

– Биографией не нравиться. Пошли ко мне.

Кныш смастерил обширный шалаш, на земле кошма, на колышках котелки сохнут. Арсений сглотнул слюну: со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было, Кныш уловил, улыбнулся:

– Садись на это полено, я мигом к повару сбегаю.

Принес котелок каши с тушенкой, котелок кипятка. Арсений начал есть степенно, не выказывая унижительного голода. Кныш и это заметил:

– Ты не стесняйся, я неловко брякнул насчет штрафбата. Меня Василий зовут, ты Арсений, это мне старшина сказал. А ты знаешь, что ваш батальон на правом фланге третьего дня полег?

Арсений поставил котелок.

– Был слух, что нас могут через минное поле погнать, потому что наступать надо, а он разминировать не дает. Был слух... Но меня ранило две недели назад.

– Ты как туда попал?

– Через знакомого из органов.

Кныш понимающе кивнул:

— А родиной ты откуда?

Арсений засмеялся:

— О моей родине лучше не вспоминать, а то опять в штрафбат вернусь. За Уралом, в Ишиме долго жил, потом переехал в деревню, Селезнева называется.

Кныш аж привстал:

— Не Зареченского ли района?

— Да, так.

— Земляки мы с тобой, я вакоринский, деревня такая на горе.

— Извини, не бывал. А про Форины что-нибудь слышал?

— Знаю, что был такой начальник милиции, потом в области работал, когда я в армию уходил. Старшина тоже наш земляк.

— Мы знакомы.

— Вот и хорошо. Отдыхай, я пока по комсомольским делам в батальон сбегаяю.

Арсений прилег на кошму. Он очень устал за последние дни, особисты долго решали, отправить зэка в армию или вернуть в штрафбат. Если бы не пожилой комиссар, который за него заступился, погиб бы безвестно на том минном поле. А тут вот встретил Тиму, еще земляка, вечером Тима что-то расскажет о Лиде и дочке, только дожждаться. Он не заметил, как уснул, впервые за последние годы привиделась дочка, маленькая, какая осталась в памяти, только говорила она голосом Княжны, а что — он не мог понять. Одно только дошло: «Ничего не бойся, я люблю тебя, я тебя дождусь».

Кныш легонько пошевелил его за колено:

— Вставай, старшина зовет. Что за слово ты сейчас говорил во сне?

Арсений еще слышал родной голос и не понимал Кныша.

— Ладно, иди, потом расскажешь.

Кузин стоял около кухни с полными котелками каши. Они молча прошли к землянке командира роты, который со взводными остался ночевать в батальоне, отдав приказание старшине по телефону. Сели на короткие чурбаки около снарядного ящика, накрытого плащ-палаткой.

— Водки я не взял, знаю, что не принимаешь. Значит, настиг тебя Форин?

— Через полгода. К его обвинениям в антисоветской пропаганде присовокупили мое свердловское задержание, и хотя никаких доказательств не было, тройка на всякий случай определила пять лет, потом еще пять добавили в лагере, заступился за французов, какие-то интернационалисты, слетелись в Россию, как мотыльки на свечу, их всех прибрали. Мои там как?

Тимофей поднял глаза:

— Лиду ты должен простить, с Фориным у неё больше ничего не было, а в тот раз она действительно ради тебя пала, Бог тому свидетель. К весне я съездил за Анной, привез ее, по дороге остановились в Свердловске, нашел маленькую церковь, батюшке все объяснил, оба исповедовали грехи свои, и он нас обвенчал. За лето избушку поставил, недалеко от твоих, помогли Лиде по хозяйству, по ее поручению ездил к каким-то евреям, прости Господи, деньги они давали. Лида говорила, что это твои деньги, иначе бы я не пошел. Девочка твоя выросла, невеста уже. Погоди! — Он развязал мешок, достал толстую книжку и вынул из нее фотокарточку: — Вот, обе твои красавицы, перед самой войной снялись. Я взял на всякий случай, думаю, Бог все видит, возьмет и сведет нас на войне.

Арсений при свете фонаря вглядывался в родное лицо дочери, совсем взрослой, по его породе высокой и статной, женщина рядом была ему чужой, ничто не шелохнулось в душе при взгляде на нее. Что же происходит с человеком, почему девочка, лицо которой он увидел, как только вошел в сознание после нескольких суток тифозной безнадежности, когда уже и сама Евдокия, только что схоронившая сына, была готова к новым сборам и хлопотам, лицо, показавшееся ему красивым и светлым настолько, что он потерял все в своей памяти, а она заменила ему грезы и фантазии — почему лицо это на фотографии через пятнадцать лет не вызывает в нем ничего из тех чувств, которые обуревали его в часы уединения с нею, когда новая мама уходила на работу, оставляя выздоравливающего приемыша на дочку свою Лиду? Он вспомнил сейчас, как они признались маме, что любят друг друга и хотят пожениться. Не желая глубины воспоминаний, размягчающих сердце, он стряхнул прошлое и вернулся в землянку.

— Спасибо тебе, Тимофей. Я не могу судить Лиду, потому что не был ей настоящим мужем, а только материальными воспоможениями не заменишь живого отца и мужа. Дочь дорога мне, но она совсем не знает отца, и часто спрашиваю себя: не одно ли имя ее люблю я в ней, вот в чем вопрос.

— Скажу тебе, как и раньше говорил: веры в тебе нет, вот и мучают тебя бесы, прости Господи! Ладно, про семью мы потом, сейчас — как ты сам себя чувствуешь? Минометчик в бою устает хуже пахаря на поле, наводчиком бы тебе навостриться, там не надо физически. Плечо болит?

— Боли нет, но всякое движение отдается.

Утром ротный привез новое пополнение, в основном молодежь, но были и повоевавшие, после лечения. Дал команду сформировать расчеты с резервом, чтобы в случае выхода из строя кого-то в бою миномет не молчал. Учились копать гнезда для миномета, щели укрытия и ходы сообщений. Привыкали к минам, протирали их от заводской смазки, бывалые солдаты обращались с ними, как с дровами, чем вводили молодежь в ужас. Кныш был поражен, насколько быстро и правильно усвоил новичок науку наводчика, он выдавал команды, а Чернухин устанавливал прицел. Василий глянет — все правильно, однажды даже спросил:

— Чернухин, по-моему, ты минометное дело изучал. Не соврешь?

— Нет, не изучал, но мне знакомы общие принципы работы подобных систем наведения, теоретически.

Кныш посмотрел на него с непониманием:

— Откуда? В Селезнево тебе их преподавали, что ли?

— Конечно, нет, но в лагере со мной сидел генерал один, артиллерист, его фамилия Невелин, вот он мне кое-что рассказывал.

Кныш аж подскочил:

— Чернухин, генерал Невелин — командир нашей дивизии, ты знал об этом?

— В штрафбате такими мелочами не интересуются.

После недели отдыха и реформирования рота заняла отведенные ей позиции. Днем командиры изучали обстановку, противник на этом участке притих, окопался, мужики шутили, не зимовать ли собрались фашисты в благодатных райских местах. Шутили, но все понимали, что бои тут будут нешуточные, потому ночью тихо, чтоб даже сосед не слышал, поползли навстречу врагу, на передний край, под самый нос фашистам. Такова задача мелкокалиберных минометчиков, такова их участь, потому столько потерь, если любой ценой надо обеспечить прорыв пехоты.

Мягкую податливую землю копали лежа, устанавливали минометы-стволы на плиты, еще там, в лесу, ротный напомнил: брякнул металлом — прощайся с жизнью, потому что противник тоже не всегда спит, и на звук ударит из пулемета, а то и миномета. Тут тебе и конец.

— А сколько до противника? — спросил Чернухин Василия.

— Как угадаешь, метров триста.

— Так близко?

— Хорошо. Триста пятьдесят. — Кныш рассмеялся.

Они удачно установили свой миномет, подтянули ящики со сна-

рядами. Ударят все по сигналу трех красных ракет, когда он будет — солдатам неизвестно, потому спешка, потому пот и сердце навывает. Кныш опытный, знает по отдельным звукам, что все ребята управились и готовы к атаке. Арсения бил озноб не страха, а ожидания, неизвестности. И вот три ракеты разом, и они еще стореть не успели, как сотни стволов ударили залпом, а потом пошла стрельба вразнобой, кто-то быстрее заряжал, кто-то задерживался. Кныш умело ставил мину на боевой взвод и опускал в жерло ствола, выстрела не слышно, только дым и стреляная гильза, ротный дает новые установки, Чернухин вносит поправки в прицел, и они бьют, бьют, бьют. Ответные выстрелы редки и неточны, фашисты не засекали подход минометчиков, они стреляют по ближнему лесу, но там уже никого нет. Минометный обстрел длится полчаса, израсходован почти весь запас, зеленая ракета дает отбой, и уже мощное «ура» несется в ночи вслед за бегущей пехотой, в наступившей тишине ее крик еще более страшен. Противник опаздывает, когда раздалась первые автоматные и пулеметные очереди, пехота была уже в его окопах, и тогда жуткие крики разорвали ночь, это люди кололи друг друга штыками, ножами и кричали от боли и страха. Стрельбы почти не было слышно, только мат атакующих и рев раненых мужиков. Арсений, сидя на дне своей ниши, вдруг подумал, что предсмертный крик интернационален, кто сейчас умер, немец, русский — не разобрать. Ему стало страшно и противно.

Над передним краем взметнулась белая ракета, и танки пошли из соседнего леса, перекрывая своим ревом все звуки боя, но без стрельбы, угрожающе покачивая стволами. Их видно было на фоне белеющего уже неба, они пересекли линию вражеской обороны и устремились на запад. Ротный скомандовал:

— Командирам расчетов доложить обстановку, потери, наличие снарядов.

Светало. Кныш намекнул, что, возможно, полк перебросят на машинах, потому что фронт на этом участке сместился километров на десять и пешком, с минометами, топтать такую даль ему, видимо, не хотелось.

Подошел старшина Кузин, сказал Кнышу, кто погиб и кто ранен, что в шесть ноль-ноль кухня подъедет.

— Опять каша? — брезгливо спросил Василий.

— Нет, на этот раз я для тебя вареников налепил!

Не успели еще и кашу в котелках заскрести, как старшина крикнул:

– Приготовиться к пешему маршу, выступаем через пять минут.

Солдаты матерились беззлбно, потому что нет ничего хуже, чем при такой природной красоте идти пешком маршем, да еще с минометным стволом или плитой на спине. Арсений взвалил уже остывший ствол и пошел за Кнышом. Огромный дуб на окраине леса так широко раскинул свои ветки, что закрыл полнеба, он был красавец и властелин леса, не было в виду и сколько-нибудь похожего на него, только Арсений помрачнел, увидев, что дерево расщеплено, и половина ствола вырвана навсегда.

«Это он второй половиной держит всю крону. Каков богатырь, и вида не подает, что покалечен, держится гордо, да хватит ли у тебя сил питать все свое семейство, зарастет ли рана, не забракуют ли тебя послевоенный мирный лесник и не отдаст ли на дрова, не учитывая твоих боевых заслуг? Не так ли и человек – покалечен, сил нет, но вида не выказывает, бодрится. Вот верзила этот, Мыррин, в голове дыра, а он на фронт сбежал, хотя вполне мог под дурачка комиссоваться или хотя бы с месяц в госпитале проваляться. А Россия наша – столько миру положила, сколько молодых и красивых жизней оборвалось, до Волги себя потеряла, но нашлась, напряглась, вены вздулись и лопаются от пересилия, обдавая краснотой небо и землю, подобно тому, как во вчерашнем бою сраженный осколком молодой солдат упал прямо на своего товарища и залил его своей горячей кровью».

Так думалось ему, и легче было идти, тяжесть ноши не ощущалась. Старшина Кузин подошел, молча взял с плеча Арсения ствол, пошли рядом.

– Привыкай, похоже, до самого Берлина на себе будем орудие таскать. Сколь прошу командиров, чтобы лошадок дали, я же страшно коней люблю, на срочной даже в школу ковалей пошел, да вот не судьба, не попал в кавалерию.

Раздался зычный голос ротного:

– Рота, подтянись, в колонну по четыре, равняйся, смирно!

В последних рядах ничего не поняли, трусцой побежали подтягиваться, а ротный уже докладывал кому-то, что рота выполняет приказ и направляется к месту дислокации.

– Солдаты! – услышал Арсений хриплый голос. – Вы сегодняшним утром расчистили дорогу для нашего наступления. Спасибо, братцы. Капитан, кто особо отличился в этом бою? Направьте представления к наградам.

– Слушаюсь, товарищ генерал!

Взревел мотор трофейного «виллиса», и машина медленно обехала колонну. Генерал стоял в открытой машине, приложив руку к козырьку фуражки. Арсений узнал в нем Невелина, он совсем не изменился, даже не пополнел.

— Может, окликнуть его? — больше все-таки в шутку спросил Кузин. — Что, мол, ты, товарищ генерал, мимо проезжаешь, а друг твой лагерный железяку на себе волокет.

— На этой войне у генерала ноша потяжелее будет, — ответил Чернухин.

— И то верно, — поддакнул Тимофей.

Кныш все еще с недоверием относился к новому номеру своего расчета, но вида не подавал. Сидел по статье как враг народа, а попал на фронт, сразу из штрафбата в лучшую роту дивизии, так он сам считал. Да еще командир пишет представление на их обоих, правда, Кныша к ордену, а Чернухина к медали, и с Кнышом, как комсоргом, согласовывает.

— Я бы по Чернухину пока воздержался, товарищ капитан.

— А в чем дело?

— Вы же знаете, только что из лагеря...

— Кныш, он тебе в бою не понравился или прошлое тебя беспокоит? Запомни, сержант, в лагерях тоже встречаются хорошие люди, вот наш комдив, тоже из зоны, он у тебя не в подозрении случайно?

Кныш покраснел:

— Товарищ капитан, как можно сравнивать?

— А как можно отличать, по какому признаку? Ты молодой человек, Кныш, учись видеть человека, а не бумажку, в жизни это пригодится, тем более, ты у нас парень с перспективой. К тебе его старшина направил?

— Да, земляки мы, из одного района.

— Вот и воспитывай бывшего лагерника, в нутро его загляни. Выполняй.

Василий вспомнил, с какой настойчивостью и понятливостью осваивал Чернухин минометное дело, как быстро разобрался с прицелом и успешно отработал первый бой. Слабый после ранения, он истекал потом, валился с ног, но выстоял до конца. Что не враг, это точно, неплохо бы выяснить, за что сидел. Не это ли имел в виду командир, когда предлагал в нутро заглянуть? Подумал и пришел к выводу: конечно, не это, кому надо — те знают.

Самое поганое дело на войне — ждать, а если разобраться — вся

война и состоит из ожидания. Ждешь боя, ждешь, когда он кончится, письма ждешь, кухню — всегда в ожидании. Вот командир объявил готовность, а когда дело начнется — даже ему не известно. Лежат около минометов, кто дремлет, кто курит, кто письмо пишет. Арсений в такие минуты наблюдал людей и составлял о них представления. Вот этот сильный и решительный, все у него под рукой, беззаботно подремывает. Тот боится смерти, вот уж который раз видит его перед боем Чернухин, и сегодня снова суетится, весь мокрый, второй раз пьет из фляжки — спирт, видимо, потому что быстро запивает водой. Для Мымрина война как колхозная работа, сказали, что и как, вот он и выполняет. Кныш очень хочет выжить на этой войне, оно и понятно, двадцать лет, а он уже два года в окопах. Внимательный и осторожный, но не подлец, в Чернухине сомневается, хотя вида не подает. Может, первому завести с ним разговор?

Но Кныш опередил:

— Чернухин, а ты письма получаешь?

Арсений отрицательно покачал головой.

— Потому что не пишешь, я ни разу не видел, чтобы ты писал письмо.

— Правильно, потому что я действительно не пишу.

— Но семья-то у тебя... должна быть.

Арсений улыбнулся:

— Это ты правильно выразился, сержант, должна, но нету, до лагеря была, а теперь нет.

Кныш по молодости такого не мог понять, развелись они, что ли? Так детям бы писал. А если совсем один — плохо, письма из дома согревают душу, бывает так тяжело, такая тоска навалится, а откроешь треугольничек — на сердце праздник, хотя и новостей радостных немного.

Минометчики на запад шли пешком, среди них мало было из тех, кто шел этот путь в ту сторону, которые полегли, иные списаны по ранению, вместо них новички, молодежь, особая забота старшины Кузина. Тридцатилетний, он был по-крестьянски основательным, чему научила непростая жизнь. Это он Арсению сказал, что все нормально, семью завел и избу построил. Веры ему новое общество не прощало, когда столярную артелку прибрал к рукам колхоз, ему пришлось уходить, искать работу на стороне. Налог платил деньгами, вносил в кассу совета, а ему выписывали новую квитанцию. Работал на стороне, подряжался дома ставить, домой приходил в субботу, в бане попариться, с сынком повозиться, да и по двору надо что-то делать. В тот раз пришел, Анна плачет: корову приказали не выпускать



в табун, потому что она частная, а траву жрет государственную. Пошел на дом к председателю совета. Тот вышел за ворота, побоялся с глазу на глаз говорить, пусть люди видят и знают, как он относится к разного рода отщепенцам.

— Да, такая команда дана, в общий табун не пустим.

— А как же ей жить? — возмутился Тимофей.

— Единолично. Ты вот живешь, и ее научи.

— Побойся Бога, председатель, ведь ребенок, как без молока, пропадут они у меня.

Председатель возмутился:

— Ты меня богом не пугай, я его не боюсь, нету его, все! И ребенок твой, подкулачник, меня не интересует, мы еще тебя гражданских прав лишим, и справку из совета давать не будем.

Тимофей едва сдерживал слезы:

— Я жаловаться на ваш совет буду.

— Кому? — захохотал председатель.

— Калинину, Михаилу Ивановичу, есть решение по единоличникам, пусть он вам разъяснит.

— Во! Пиши! Пиши! Тебе и разъяснит Михаил Иванович, что ты есть антисоветский элемент и подлежишь... — он забыл слово. — Подлежишь ликвидации, вот как!

Тимофей тогда большое письмо написал, в районе не стал отправлять, а поехал в Ишим, на перроне подошел к проводнице московского поезда:

— Гражданочка, вы в Москве сколько времени будете?

— Я лично? Неделю буду отдыхать, потом в поездку. А почему вас это интересует?

— Мне письмо очень важное надо отправить, да боюсь, перехватят его власти, а к моей семье полное беззаконие.

— Кому письмо?

— Калинину. Москва, Кремль.

— Давайте, только тихонько, не рассказывайте всему поезду, а то и мне не доехать, и письмо до бабушки не дойдет.

Через две недели вызывают Кузина в сельсовет, председатель пожухлый весь, а на его месте сидит молодой мужчина, явно не здешних мест.

— Это Кузин, — показал пальцем председатель.

— Оставьте нас, я позову. Вы товарищу Калинину писали письмо?

— Точно так, писал.

— И что вы писали? Что притесняют вас в селе, не дают жить еди-ноличным хозяйством, облагают налогами сверх меры?

Тимофей подумал: «Ну, все, и попроситься с семьей не дадут». И кивнул:

— Точно так и писал.

— Товарищ Кузин, ваша жалоба рассмотрена лично товарищем Калининым, дано указание восстановить справедливость, что я и делаю. Письменный ответ вы получите дополнительно. А пока — до свидания, и знайте, что советская власть — это власть народа, который нельзя делить на чистых и нечистых, так, кажется, написано в Библии.

— Точно так, — кивнул очумевший Тимофей.

Ему тут же вернули переплату за последние годы, целую охапку денег, и он шел домой, ничего не понимая: власть, которую он ругал, его защитила!

Перед началом решающего, последнего наступления на Берлин, армии и дивизии перемещались вдоль линии фронта, пока чья-то высокая рука не указывала на карте точку: «Здесь!», и тогда разворачивалась техника, хорошо кормили солдат, и каждый час мог стать мимом атаки. Берлин был далеко в стороне, и в минометной роте понимали, что им предстоит основательно поработать, чтобы максимально отвлечь силы противника.

Старшина Кузин мыслил уже на уровне командующего фронтом:

— Шумнем, ребята, в этом месте основательно, чтобы он засомневался в намерениях командования, тогда и нашим солдатикам на прямом Берлинском направлении будет полегче.

— Падет Берлин — конец войне, — подвел черту политинформации ротный политрук.

— Есть сомнение, — встал Кузин. — В 1812 году полководец Кутузов сдал Москву и сказал, что с потерей столицы не потеряна Россия.

Политрук смутился:

— Кузин, ты зачем Кутузова конфузишь? Нет таких данных в истории.

— Ну, ничего удивительного, что в нынешней истории нет, зато в старой были. Я, товарищ политрук, это говорю к тому, чтобы не очень ребята расслаблялись, у противника вон сколько войска по разным углам Европы рассовано, не все вдруг сдадутся, так что Берлин возьмем, да еще повоюем.

— Кузин, — взял его за рукав шинели ротный политрук, когда

все разошлись. — Ты зачем мне устраиваешь эти дискуссии? Надо боевой дух поднимать, а ты панику сеешь! Смотри у меня!

— Зря вы обижаетесь, я правду говорю, фашист — боец идейный, а за идею они смертью лягут, но не сдадутся. Зачем нам самих себя успокаивать?

Чернухин по-товарищески, по-братски относился к Тимофею, но так и не мог до конца его понять. Приверженность друга вере его уже не удивляла, если проходили большое село или городок, где был пусть разрушенный православный храм, Тима выкраивал минутку и находил причину свернуть в его сторону. Раза два он брал с собой Арсения. За десятки метров от церкви Тимофей снимал пилотку или шапку, а, подойдя, становился на колени и читал молитву, вставал, обходил вокруг церкви, заходил во внутрь, прикасался к стенам и к тем местам, где раньше висели иконы, шляпки штырей и более светлая, невыгоревшая побелка выказывали их. И общая образованность тоже не удивляла, потому что знал: Тима досконально в молодые годы изучил библию, с возрастом ему открывались непонятные ранее смыслы притч и толкования древних священных событий. Его настораживало пусть редкое, но случавшееся проявление протеста против несправедливости, против мнения старших по званию. Тимофей мог возразить и случайно заехавшему особисту, что особенно беспокоило Арсения:

— Тима, ты бы сей народ не дразнил. Если этот златопогонник со звездой во лбу удила закусит, он все прегрешения твои припомнит, вплоть до того, что ты пеленки марал. А в лагере тебе делать нечего, поверь, я-то знаю.

Кузин лежал на своем ватнике, набросав снизу еловых веток. Он блаженно потянулся:

— Эх, Арсений, жизнь после войны совсем другая выйдет. Советская власть переродилась, будет ближе к народной.

Чернухин изумился:

— Откуда у тебя такие выводы? Большевики никогда не отпустят власть, не те это люди. Возможно, будут перемены, но кардинальными я бы их называть не стал даже в ожидании.

— Какими? — не понял Тимофей.

— Основательными, если угодно. На чем власть стоит? На страхе. А должна? На уважении народа. Вот особист приехал, ты знаешь, что он врагов народа вынюхивает и знаешь, что сам чуть припахиваешь, ну, не сказать, что заметно, однако в твоих бумагах значится, что ты

единоличник. Разве я не вижу, что ты сжимаешься весь при его появлении: а вдруг заинтересуется, отчего это во второй роте старшиной служит неклассовый элемент? Не обижайся, ты его боишься, потому что его власть безгранична, а твои права ничтожны.

— Не согласен, Арсений, я с тобой, не согласен. Объясни мне в таком случае, зачем Сталин вернул патриаршество и открыл храмы? Не потому ли, что понял: без Бога — не до порога, не только не до победы над фашистом? И знай, что он учился в духовной семинарии, знает святое писание, делал ошибки, но понял ошибки и принял покаяние. К тому же посмотри его окружение, это же сплошь ненавистники русского народа. Представь, как ему тяжело. Мне в Самаре один священник, друг отца, давал читать «Протоколы сионских мудрецов», предупредил: молчок о том, что узнаешь, иначе могут тихонько убрать. Это было как раз перед моим отъездом в Сибирь, я совсем молодой был, но многое усвоил, потому что оно все жизнью новой было подкреплено, потому и поверил.

Арсений снисходительно улыбнулся, друг наощупь, осторожно подходил к истинам, какие ему были известны с юности:

— Давай, я буду тебе возражать, так проще дойти до сути. Сталин открыл церкви, чтобы дать народу отдушину. Восстановление патриаршества тоже продуманный в агитпропе ритуал: Патриарху толково объяснили, что можно, а что категорически нельзя. Ты веришь «Протоколам», но есть основательные сомнения в их подлинности. Подожди, я с тобой уже согласен: реальность такова, что целиком подходит под установки протоколов. И тут уже не имеет значения, были они доподлинно, или это более позднее изобретение, согласишься, очень провидческое. По окружению Сталина. Оно досталось ему от товарища Ленина, я тоже был потрясен, когда прочитал состав первого советского правительства. В нем не было русских? Хорошо, потом они появились, например, Ежов, а чем он лучше бывших до него нерусских карателей? Пойми, Тима, дело не в персонах, хотя личность имеет огромное значение, дело в системе, в ней личность ограничена условностями и не имеет возможности проявить больше, чем ей разрешено высшей властью.

Тимофея такие объяснения не устраивали:

— Вот я вернулся с фронта, орденосеиц, почти что герой, и со мной власть не будет считаться? Неправда! А за что воевали, за что тогда кровь проливали?

— Тима, мне один умный человек внушил простую истину: мы во-

юем за родину, за Россию, а не за советскую власть. Я пока этим держусь, иначе давно бы переметнулся на ту сторону.

— Тише ты! С ума сошел, какие слова! Услышит кто — обоим трибунал.

— Что ты беспокоишься, если кто слышит, то мы и до этого на приговор нашептали. Так я продолжаю. Будь Гитлер поумнее, он мог восстановлением старого русского уклада жизни привлечь народ и обмануть Сталина, мог выглядеть освободителем от большевизма, а не захватчиком. Ты знаешь историю и помнишь, что беда всегда сплывала русский народ, единственный случай глубокого разобщения — гражданская война, но тут надо учитывать всеобщее помрачение разума от заманчивых идей революции.

— Чем это они тебя заманили? — съехидничал Кузин.

— Меня невозможно было обмануть, ибо к тому времени я уже сформировался как гражданин с полным и ответственным пониманием того, что для России нет, и не может быть другого государственного устройства, кроме монархии, и не может быть другой идеологии, кроме православия. Но многие светлячки кинулись на этот факел.

— Ты же не веришь! — возмутился Тимофей. — Ты не молишься и не благословляешься даже перед боем!

Арсений замолчал. Как объяснить другу свое состояние? Да, после того страшного дня, когда узнал он о гибели Княжны и всего семейства царского, в нем что-то перевернулось, он не мог понять, почему Всемогущий Бог принял такую жертву. Он готов был признать, что, возможно, греховны в чем-то деяния Государя Императора, даже Государыни Александры Федоровны, но Стана чем провинилась перед Богом, чем прогневали Его сестры ее и братец любимый? И тогда усомнился Арсений в справедливости Его, отказался поклоняться Ему, хотя не сомневался в Его существовании и в том, что все в руках Его, и он сам тоже. Может, поэтому Господь дал ему такой тяжелый путь в жизни и такие испытания, которые по силам не каждому человеку.

— Я только песчинка в этом мире, и не по моему образу и подобию он устраивается, а Бог и вера не могут зависеть от одного человека. Я, Тима, великий грешник, если, любя Бога и преклоняясь перед ним, дерзнул восстать против него, отказаться от поклонения и ждать, когда смогу сказать ему об обиде своей.

— Ты богохульствуешь, Арсений, а это страшный грех. Не бери на себя такую тяжесть. — Тимофей перекрестился: — Я за тебя каждый день молюсь, утром и вечером.

— Спасибо, Тима, только Господь не принимает твоей молитвы. Ладно! Учти все-таки, что никто не будет встречать тебя хлебом-солью, возможно, оркестры поставят на перронах, только и всего. Строй жизненный не изменится, тебя опять попрут в колхоз, будут гнать за богомолье. Не надо иллюзий, Тимофей, русские люди вечно страдают от доверчивости, довоевывай, оставайся живым и возвращайся к Анне и детям.

— Вот зацепил сам, а я давно хотел спросить: ты-то куда после демобилизации?

Арсений горько усмехнулся:

— Полагаю, досиживать срок.

— Бог с тобой, как можно, ты же во всех правах восстановлен.

— Пока только в одном: умереть в бою.

— Это зачтется, будь уверен, а ежели что — я, в таком случае, к генералу Невелину обращусь.

Чернухин промолчал. Впервые он открыто высказал то, что основательно беспокоило его в последнее время, о чем спрашивать некогда, да и незачем: никто не ответит. Возможно, органы пока и не думают о своих бывших «выпускниках», но он не удивится, если подойдет к нему солдат с красными погонами и, уточнив фамилию, предложит пройти до полуторки, в кузове которой уже будут сидеть несколько человек с погонами и наградами, но уже без оружия.

— Если честно, Тима, то на воле мне и податься некуда, никто не ждет.

— Перестань, у тебя дите, жена, пусть не совсем законная, но она мать твоего ребенка.

— Прости, брат, но не надо об этом. Жены у меня нет, это усвой, ребенка, как ты говоришь, сейчас больше двадцати, она уж замуж вышла, зачем я ей, да еще с такой биографией?

— Полно, полно тебе, поедешь ко мне, избушка на огаде есть, а там и дом построим, женим тебя.

Арсений засмеялся:

— Эка ты хватил, даже женить! Интересное предложение. Давай закончим дела на фронте, а потом уж о свадьбах говорить будем.

Они вовремя завершили разговор, потому что раздалась команда подготовиться к передислокации. Кузин побежал к своим конюхам, которые должны поймать спутанных на вольных травах лошадей и успеть запрячь их в телеги для погрузки минометов. Невелин на обращение старшины обещал найти лошадей и свое слово сдержал.

## 8.

Тимофей два раза кряду застал Арсения в шалашике радиста, оборудовали такой навесик на случай дождя, а уже конец апреля, в Сибири и то давно холодов нет, не говоря про Поволжье, а тут у немцев красота, все в цвету. Совсем дурная природа, никак не хочет понимать, что человеку гораздо легче помереть в грязном ухабе, под проливным ненастьем, чем на солнечной ягодной поляне, украшенной, как невеста. В первый раз Арсений вышел сразу, шелкнув тумблером, радист в это время чай пил, во второй приход Тимофея рацию Арсений не выключил и слушал, прижав наушник и прикрыв другое ухо. Кузину это не понравилось, он сел на снарядный ящик, дождался, когда Арсений отложил наушники и выключил рацию.

— Может, пояснишь, что это у тебя за интерес к иностранным языкам? Я уже не говорю, — он повернулся к радисту. — Не говорю об ответственности за предоставление средств связи посторонним!

Они вышли на воздух. Как свежо и тихо!

— Радиста ты не вини, Тимофей, я его уговорил. А слушаю англичан и американцев. Да, и не смотри на меня так, представится возможность — уйду.

Кузин угрюмо молчал. Он видел, как страдает Арсений, рядом была родная Польша, впереди скорее всего снова лагерь. Чем помочь другу, что посоветовать?

— А о семье ты подумал, что с ними станет, коли обнаружится, что ты на той стороне? Я что буду докладывать на расследовании? Пригрел английского шпиона? Да я что, Бог бы с ним, отвертелся, но дочку возьмут, и Лиду посадят за тебя.

Арсений зажал уши руками, в изнеможении замотал головой, как контуженый:

— Не могу больше так, Тима, нету моих сил. Пятый десяток идет, а не жил, имени своего не имею, женился по глупости, дочь почти не знаю и не люблю, понимаешь ты, никого из живых не люблю! Разве может так жить человек, который готовился к полноценной жизни, науки изучал, языки, манеры, при дворе бывал. А взамен всему требование рабской покорности, ценится не ум, а послушание, от прошлого отрекись, иначе смерть. Я ведь и так от пуль не прятался, от снарядов в воронки не прыгал, а смерть от меня отвернулась. Умереть хотел, чтобы все проблемы умерли вместе со мной. Но это Бог, это он назначил мне такую кару, только за что? Дал умение видеть будущее, взамен отнял все прошлое и настоящее. Понимаешь, Тима,

человек счастлив малым. Родное дите тебе в колени написало, а тебе в радость, и нет никакой брезгливости, только тепло в душе. Любимая женщина подошла сзади, ты за письменным столом работаешь, она обняла легонько, знакомой грудью коснулась твоей спины, и все, ты на небесах, солнце светит, птицы поют. Счастье, Тима, это то, чего у человека нет. Когда есть все, он перестает замечать мир, его ничто не удивляет и не радует. Ты знаешь, Тима, восемь лет лагерей и четыре года войны ко всему приучили, а я больше всего хочу сейчас горячую баню, холодный бассейн и белый костюм с туфлями из крокодиловой кожи, какие были у папаши моего.

Он замолчал и обессиленно сел на траву. Тимофей не сказал более ни слова.

— Нам бы надо пореже общаться, а то в самом деле тебя начнут прижимать, почему знал и не донес.

— Не надо тебе уходить, Арсений, ты же русский человек.

— Я поляк.

— Какая разница, ты наш, русский поляк, воевал, если и был в чем виноват, давно искупил. Да я и сам эту власть терпеть ненавижу, а куда деваться? Только на Бога надежда, ты вот меня не любишь за мою приверженность вере, а я тебе доложу, что она меня и спасла от смерти, я ее, смерть-то, пять раз видал вот как тебя, совсем рядом, а Он ей не позволил. Вот вспомни, последний случай: не отойди я тогда от расчета Недостоева, когда они не вылетевшую мину со снятым взрывателем из ствола вынимали — с ними же получил бы посмертно «За боевые заслуги».

— Тима, я не то, что не люблю тебя за это, я тебе до горьких слез завидую, у тебя есть Бог, который все за тебя решает, если ты его просишь. У меня никого нет, я никого ни о чем не прошу, но за меня все стараются решить мою судьбу.

Подошел Кныш:

— О чем беседуем, земляки? О демобилизации? Да, старшие возраста пойдут домой, а нам тут, в Европах, порядок наводить.

На том и разошлись.

Ночью Арсений тихонько вышел из палатки, постоял несколько минут — все тихо, только часовые покашливают и скрипят сухими сапогами. Между двух постов он вышел из расположения и, пригнувшись, пошел быстрым шагом, держа наготове автомат. Еще мгновение, и он понял, что уже перебежчик, изменник, назад ходу нет, а



впереди все неизвестно. Американские войска стоят в пяти километрах, это их радиостанция разъясняла русским солдатам, как вырваться из оков коммунистов и оказаться в свободном мире. В этом направлении наших войск нет, это Арсений знал, вчера в разговоре ротный Карпович сказал, так что коридор этот свободный. Солдат шел, как вор на дело, осторожно, оглядываясь, прислушиваясь. Не глаз, а чуткое ухо уловило движение большого количества живых существ, возможно, табунок оленей, их много в здешних местах, говорят, заповедник до войны был. Нет, Арсений уловил голоса, речь немецкая, короткие реплики в несколько фраз: «Надо брать левее». «Нет, курс верный». «Разрешите выслать разведку?». «Зачем? Русские уже празднуют победу, голыми руками передадим всю роту».

«Это же они к нам!» — ужаснулся Арсений. — «Правду говорит, голыми руками...».

Он остановился, залег. Даже улыбнулся глупой мысли: сдать нормально не дадут! Отлежаться и идти дальше? А там ребята, Тима, Кныш, ротный, молодой совсем лейтенантик. Вот вляпался! Одно дело — перебежать к союзникам, совсем другое сейчас получается. Предать, отдать этим головорезам своих ребят, с кем вместе с самого начала. А как потом жить, зная, что на тебе их кровь? Ну, и что делать? Бежать в роту два километра, опередить противника, поднять тихонько, но ведь потом спросят, а как же ты, милый, узнал, во сне, что ли, приснилось? А если встретил, то куда ходил и зачем? Получалось, что со всех сторон виноват Чернухин, и нет у него достойного выхода, кроме одного: принять бой и погибнуть, возможно, суровый его Бог специально такую ситуацию создал для метущегося раба своего, чтобы он мог выбрать достойный для себя финал непутевой и мучительной жизни.

Арсений пригнувшись, волчьим шагом, сам себя не слыша, стал сдвигаться вместе с идущими в сторону ротного расположения, чтобы начать обстрел поближе к своим, чтобы они вскочили, подготовились и приняли бой. Его уже не интересовало, сколько фашистов, конечно, достаточно, чтобы в коротком ночном бою забросать гранатами, в упор расстрелять одного советского солдата, которому они помешали стать несоветским. Он выбрал взгорок, который миновал полчаса назад, отсюда до роты с километр. Дальше допускать нельзя. Арсений лег, справа бросил подсумок с патронами и гранатами, слева пистолет, снятый втихушку с убитого немецкого офицера. Группа шла прямо на него, Арсений видел серую кольшушущую мас-

су, но стрелять не спешил, понимая, что на близком расстоянии он сможет поразить больше людей, потому ждал. Спокойно и достойно было на душе, действительно, Господь спас его от позора подозрения в измене, он погибнет смертью храбрых, как пишут в газетах, если особисты не выстроят в линию его прошлое и выход один на один с группой противника.

Странно, некурящий Арсений почувствовал табачный запах, видимо, в группе было много любителей дешевого табака, и терпкий запах ядреного мужского пота. Вот они, в полусотне метров, даже слышно тяжелое дыхание уставших. Арсений прицелился в самую гущу и нажал крючок. Сразу свалилось до десятка человек, группа открыла огонь, встав в круг спиной друг к другу. Стреляли наугад, пули шелкали в ствол могучего дерева, которое оголенными корневищами прикрывало бойца. Изловчившись, Арсений бросил подряд две гранаты. Фашисты залегли. Он хорошо слышал их перебранку, что по данным разведки здесь русских нет, и не лучше ли вернуться, потому что внезапность нападения исключена, а в бой ввязываться нет смысла. Кто-то говорил по рации, потом громко повторил приказ с того конца провода: «Вперед!». Арсений быстро расстрелял три магазина патронов, бросил последнюю гранату и взвел пистолет. Сдаваться он не хотел. «Шесть раз выстрелю, седьмая пуля моя, тут со счета не собьешься». Они мчались прямо на него, и Арсений спокойно выстрелил свой резерв. Взрывом гранаты его ударило о дерево, он свалился под корневище, солдаты пробежали мимо.

Минометную роту подняли по тревоге, позвонил командир батальона:

– Старлей, в твоей стороне идет бой. Кто с кем дерется? Твои на месте?

– Так точно, товарищ майор.

– По моим данным, там нет наших войск, чуть дальше американцы, но бой-то наш. Давай, помогай!

Старший лейтенант дал команду:

– Рота, к броску и сходу в бой – приготовиться! Караул на месте, остальные вперед!

Кузин сразу подумал, что это Арсений нарвался на засаду, когда не увидел его при построении. «Ушел все-таки, а оно вон как вышло!».

Стрельба стихла неожиданно, ротный отправил вперед разведку, солдаты осторожно продвигались по лесу. Скоро вернулся боец из

разведки и доложил, что группа фашистов численностью о полусотни быстрым шагом движется навстречу.

Расположились веером и широким фронтом, чтобы не пропустить. Начинало светать, Кузин толкнул локтем ротного:

– Вон они, справа! Ребята, перемещайтесь правее и назад, чтобы нам их друженько встретить.

Бой был недолгим, противник дрался отчаянно, лез прямо на огонь, видно, не было у ребят другого выхода. Неожиданно человек двадцать бросили оружие и подняли руки, ротный велел отвести в сторону и по одному обыскать. Здоровые немецкие парни были ко всему безразличны, один вытащил плитку шоколада и протянул старшине.

– Да пошел ты... – Кузин никогда не договаривал, куда идти, но немец его понял и убрал гостинец. – Кныш! – позвал старшина. – Ты по ихнему немного понимаешь, спроси, с кем у них бой был полчаса назад.

Кныш кое-как объяснил офицеру, чего он хочет, офицер улыбнулся:

– Я неплохо понимать русский, был путем стажировки около Тухачевского. Объясняю. На нас напал дьявол, сумасшедший человек, ниоткуда взялся, расстрелял половина группа.

– А где он? Убит? Ушел? – Кузина аж трясло.

– Не могу знать. Он тихо исчез, тихо возник и тар-тарарах провалился...

Кузин к ротному:

– Товарищ старший лейтенант, это же наш Чернухин их бил.

– Чернухин? А как он там оказался?

– Я его направил. Показалась мне возня какая-то в той стороне, я его и послал, вас не стал беспокоить. Разрешите, я пару ребят возьму, хоть по-людски приберем парня.

Они его недолго искали, место боя обнаружили сразу по воронкам и трупам противника.

«Да, Арсеньюшка, поработал ты напоследок неплохо», – подумал Тимофей, но вслух ничего не сказал.

– Старшина, вот он.

Тима рухнул на колени, порвал гимнастерку на груди товарища и припал к сердцу. Оно билось. Привычно осмотрел тело – видимых ран не было.

– Ребята, он контужен, быстро соорудили носилки!

В расположении уже поджидала фельдшерица, вызвал ротный на всякий случай. Арсения раздели, ран не нашли, только по спине сильный кровоподтек.

– Видимо, от удара при взрыве обо что-то твердое, – сказала фельдшер.

– Так точно, товарищ военврач, – польстил Кузин, – он под деревом лежал.

– Забираю его в санбат.

– Когда он очнется? – поинтересовался Кузин.

– Хоть бы к вечеру. Сейчас будем колоть медикаменты, вернем к жизни.

– Товарищ военврач, вы бы мне свою фамилию сказали, я бы вам позвонил вечером.

Женщина снисходительно посмотрела на старшину:

– Не поздновато ли, дядюшка, молодыми женщинами интересоваться?

Хотел Тима ей врезать по всей своей строгости, но в ее руках друг, нельзя обострять:

– Так ведь, товарищ военврач, живое к живому, как говорится, да и товарищ он мне, земляк.

– Брайнина моя фамилия. Звоните, все расскажу.

Пленные подтвердили, что имели задание уничтожить минометную роту и выйти в тыл дивизии, участвующей в штурме Берлина. Такие операции были предприняты по всему фронту, по словам офицера СС.

– Мой провал лежит позором на моей голове. Нам были переданы слова фюрера, что такой маневр есть могила Красной Армии. Я проиграл, это моя могила. Моя честь просит командование дать возможность покончить жизнь, как офицер Рейха.

– Не торопись, майор, – успокоил его ротный Карпович, – вперед своего рейха в пекло не лезь, проверим, много натворил против союзных армий и народов – сами за милу душу к стенке поставим, но о чести ты лучше в моем присутствии помолчи. Вы свою офицерскую честь за четыре года по русским березам развесили.

Арсений вечером пришел в себя, некоторое время лежал с закрытыми глазами, потом, вспомнив что-то, поднял голову и увидел Тиму.

– Где я?

– Дома, лежи спокойно.

– Не слышу.

– Ты контужен. Тфу, ты, Господи! – Он вынул из кармана сложенную тетрадку и написал:

«Все нормально. Ты нарвался на засаду фрицев, контужен. В разведку тебя отправил я. Все понял?».

Писанину подsunул под самый нос лежащего. Арсений прочел, пожал Тимину руку:

– Понял. Я пошел в разведку, если кто спросит.

– Молодец. Я поеду в роту, выпросил полторку на часик, чтоб ты при мне очнулся. Да, чуть не забыл!

Он вырвал листок, достал спички и сжег его в уголке палатки. Как раз в это время вошла Брайнина.

– Что у вас за запах, бумагу жжете?

Кузин встал с корточек:

– Уничтожаю следы переписки с контуженным, он же ничего не слышит.

– Что вы ему писали? – строго спросила Брайнина.

– Так ведь сами изволили заметить, женский вопрос нас очень волнует, вот и изливал душу товарищу, а потом решил сжечь, как делали наши великие революционеры.

Брайнина подозрительно на него глянула:

– Говоришь ты, старшина, много, только не все. Покинь палату, мне надо осмотреть бойца.

Ротный Карпович встретил старшину радостной вестью: из штаба дивизии позвонили, что получено указание подготовить на Чернухина представление к Герою:

– Начальник политотдела лично звонил, говорит, это и дивизию нашу прославит. Садись и пиши все, как есть, про его подвиги раньше и этот случай, да не вздумай указать, что сам проявил инициативу отправить Чернухина в разведку, с согласия, мол, командира роты, так и так.

Кузин пошел писать, но особой радости по этому случаю он не испытывал, Арсению никакой шум вокруг его биографии не нужен, даже опасен, а тут к Герою, да они все перевернут, не дай Бог, споткнутся о какую занозу – загубят мужика. Написанное передал ротному, сам пошел к радисту:

– Слушай меня, Терехин, я тебе нарушение простил, помоги и ты мне. Должен ты вызвать адъютанта генерал-лейтенанта Невелина из штаба фронта. Выручай, браток, а за мной дело не станет, я знаю, что ты к тушёночке равнодушен, дак уж я тебя ублажу.

– А кто говорить будет? Ротный?

– Ротный ничего не должен знать, я буду говорить.

Тимофей стоял у входа в палатку радиста, молился и нервничал, пока Терехин называл какие-то номера и пароли, потом крикнул:

– Старшина!

Кузин взял трубку.

– Адьютант генерала Невелина полковник Анохин у аппарата. Кто говорит?

– Здравия желаю, товарищ полковник, говорит старшина Кузин из третьей минометной роты. Очень вас прошу передать товарищу генералу, что его друг по фамилии Чернухин, они вместе в лагере были до войны, так вот Чернухин в большой беде, находится в медсанбате нашей стрелковой дивизии.

– Подожди, старшина, я тебя соединю с генералом.

После нескольких минут свиста и треска в трубке вдруг прозвучал резкий голос:

– Что случилось с Чернухиным?

– Товарищ генерал, вы ведь его биографию хорошо знаете, а сейчас представление пишут на Арсения к Герою, отличился он у нас. Я боюсь, как бы хуже не было. Вы меня понимаете?

– Вы кто?

– Старшина Кузин. Мы с Арсением давние друзья, товарищи даже, очень вас прошу, товарищ генерал, отмените Героя, до добра это не доведет.

– Как он себя чувствует?

– Контузия тяжелая, но оклемается, он крепкий.

– Да, он действительно, крепкий. Успокойтесь, я все сделаю.

Через неделю Невелин приехал в медсанбат, переполошил весь персонал, но ни с кем не говорил, прошел к Чернухину, обнял его и положил на грудь орден Боевого Красного Знамени.

В пол-ящика американской тушенки обошелся телефонный разговор старшине Кузину.

Арсений и Тимофей попали в один приказ о демобилизации. Кузин плакал от счастья, Чернухин никаких чувств не проявлял. Старшинские свои обязанности Тима по распоряжению ротного передал Кнышу, чему тот был очень рад:

– Тимофей Павлович, вы не волнуйтесь, порядок в роте будет, как всегда.

– Смотри, я проверю, – веселился Кузин.

Когда из дивизии привезли документы, Арсений все-таки вынужден был отвечать на просьбы товарища:

– Хорошо, Тимофей, поеду к тебе, дочь разыщу, надо устраивать остаток жизни.

— Да ты об каком остатке говоришь? Это нам на фронте год за два шел, а там обратный счет будет, в таком случае. Молодец, что согласился, а то я уж хотел вязать тебя да силком везти.

— Тимофей, не будет больше проверок? Не вернут меня, как говорится, по определению? — Арсений очень боялся лагеря, после нескольких лет человеческих отношений вновь попасть в волчью стаю, где каждый только за себя, если нет рядом сильного человека, каким был для политических генерал Невелин.

— Не думай об этом, завтра отправка.

Вечером прибежал посыльный: Чернухина к телефону.

Оба друга побежали к радисту, Арсений взял трубку:

— Рядовой Чернухин у аппарата.

— Здравствуй, Арсений, это Невелин.

— Здравия желаю, товарищ генерал.

— Давай без церемоний. Знаю, что демобилизован, хочу узнать о планах, насколько это возможно.

— Планы очень простые: еду в Тюменскую область со своим сослуживцем Кузиным.

— Знаком с ним, привет ему передавайте. Запишите мой адрес, он, возможно, изменится, но письмо в любом случае найдет. Пишите хотя бы через месяц, но, если проблемы возникнут, телеграммы шлите, бейте в колокола. Я очень вас уважал, и на фронте вы полностью оправдали мою в вас уверенность. Желая хорошо устроиться и скорее восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство.

— Спасибо, Игнатий Матвеевич, за все спасибо.

Радист взял из его рук трубку, а Чернухин стоял, опустив голову, и слезы крупно падали на передок его только что начищенных сапог.

Насмотревшись на Тимино счастье встречи с домом, с женой, с выросшим сыном, Арсений особенно больно ощущал свое одиночество и ненужность. Жена его Лида умерла в первый год войны, дочка уехала в Ишим, там вышла замуж за рабочего человека, помощника машиниста паровоза, эти ребята по брони были освобождены от военной службы. Арсений съездил в город, но вернулся уже к вечеру попутной машиной и сразу скрылся в своей избушке.

Тима стукнул в дверь, толкнул, она открылась, Арсений стоял на коленях и замер в земном поклоне. Он услышал скрип двери, поднялся без тени смущения, сел, Тиме указал на табурет:

— Выгостился я у дочери с зятем, Тимофей Павлович, и лучше бы

я погиб, лучше бы зарезал меня проигравший в карты уркаган на зоне. Дочь меня помнит, обрадовалась вроде, беременна она, рассказала про маму свою, про мужа. Вижу — боится она его, не любит, а боится. А может, теперь любовь такая — из страха? Не знаю. Он на обед домой явился, дочка с виноватым видом говорит, что отец с фронта пришел, в гости заехал. И ты посмотри, что этот сопляк ответил? «Знаем, — говорит, — на каком фронте он отбывал, я большевик, папаша, и родства с врагами народа иметь не желаю. Так что — вон Бог, а вон порог!».

— Значит, так тому надлежит быть, Арсений, ты вот к Богу склонился, правильно делаешь, ищи у него поддержки, если не он, то никто.

— Тимофей, завтра утром иду я в милицию, документы свои настоящие сегодня за городом откопал, память точно привела, хотя пустошка кустарником заросла. Будь оно все проклято, ничего не хочу, пусть они меня к стенке поставят, но под собственным именем, а не занятым у несчастного ребенка, умершего вместо меня. Почти тридцать лет под чужим именем, так хоть умереть хочу под своим.

Тимофей испугался неожиданного решения друга, возразил:

— Не делай этого, Арсений, у Бога все мы под своими именами, он не перепутает, а как тебя на земле зовут — какая разница?

Арсений побледнел, сурово посмотрел на Тиму и выкрикнул:

— Плевать я хотел на их решение, я заявлю свое право на имя, а там как хотят. И не отговаривай меня, Тимофей, ты простой счастливый человек, у тебя семья и имя, все как должно быть. А я? Что я представляю на этой земле? Столько сил потратил на образование, а для чего? Чтобы пилить лес, долбить камень кайлом, выносить парашу? Я не хочу жить, неужели ты этого не понимаешь? Я туда хочу, к Ней, там мое счастье.

Он неловко завалился на топчан, Тима поймал ослабшее тело, уложил на спину, в глотке Арсения клокотали какие-то слова, лицо покрылось испариной и мертвецкой бледностью. Он тяжело стонал, судорога сводила руки и ноги, Тимофей едва успевал ловить и успокаивать боль. Потом больной затих, Тима благодарил Господа и осенял лежащего крестным знаменем. Арсений открыл глаза.

— Давай я переведу тебя в дом, на ночь одного оставлять опасно, вдруг приступ повторится. Это тебе контузия дает знать.

Арсений слабо улыбнулся:

— Нет, Тима, это моя болезнь настигает меня. Открою тебе, что видел нас обоих молящимися в церкви, которую ты сам построил, но мы с тобой глубокие старики. Если этому быть, значит, не посадят



меня? Тима, на всякий случай, вон в той котомке кое-что для дочки моей припасено, там и адресок, передашь.

— Полно тебе, сам съездишь.

— Не уверен, хотя встреча с дочерью еще будет. Ладно, мне трудно вспоминать виденое.

Тимофей еще раз спросил:

— Стало быть, идешь?

— Пойду. Это решено.

Утром встал рано и ушел за деревню. День в разгаре. Отдохнувшее солнце начинало пригревать. Боня долго лежал на земле, принюхиваясь и прислушиваясь к ее запаху и цветам, его особо забавляли маленькие букашки, которые умудрялись вползать в ухо его собачки, ничуть не потревожив ее самое; Боня ждал их возвращения и не дождался: либо они там погибли, либо место было столь хорошо, что остальное на земле можно было на него променять.

Это были последние часы перед уходом в милицию. Дежурный районного отдела допытывался, по какому вопросу гражданин настаивает на приеме именно начальником.

— Понимаете, у меня очень важный вопрос, никто, кроме начальника, его не решит, и вам сказать ничего не могу, не имею права.

— Ну, ладно, сидите тут и ждите, у начальника дел много.

Арсений сел на деревянный диванчик, потрогал пачку документов в кармане пиджака. Улыбнулся: Тима настаивал, чтобы он нацепил боевые награды, но отказался, достаточно, что они вписаны в красноармейскую книжку. Он уже задремал, хотя сотрудники все время бегали по коридору, сказалась фронтовая привычка спать, где сел.

— Чернухин, к начальнику!

Арсений увидел молодого крепкого мужчину в белом кителе и погонами капитана, встал у порога, выпрямился, негромко доложил:

— Товарищ капитан, демобилизованный красноармеец просит рассмотреть его дело.

Капитан улыбнулся:

— У красноармейца есть фамилия?

— Нету, товарищ капитан. Свою фамилию я скрыл в восемнадцатом, потому что происхождения не пролетарского, мягко говоря. Дали мне паспорт умершего сына соседки нашей, с ним и жил. Работал, женился, по глупости получил срок, в лагере заступился за обижаемых, и срок добавили. В первый месяц войны пошел добровольцем, попал в штрафной батальон, был ранен, реабилити-

рован, зачислен в армию. Имею награды. Сейчас хочу начать новую жизнь, и прошу вернуть мне мое законное имя.

Капитан с удивлением смотрел на немолодого уже человека с такой странной судьбой:

— Какие у вас документы на руках?

— Все. — Он положил на стол пачку бумаг.

Капитан все больше хмурился, читая листок за листком:

— Минуточку. По приезде в Ишим ваше семейство зарегистрировалось, как сосланное царским правительством, вот ваш документ на имя... Лячек Бронислав Леопольд-Динариевич. Потом вы стали Чернухиным Арсением Петровичем. А он куда девался?

— Это сын нашей соседки, он умер от тифа в больнице, как раз в это время власти арестовали родителей, а я остался как больной тифом. Эта женщина и дала мне паспорт умершего сына, с ним я вступил в комсомол и уехал из Ишима на лесоразработки.

— Так. Минуточку. За что вас судили?

— Формулировку уточните по приговору, но суть в том, что по любовной линии столкнулись с вашим коллегой. От него я и сбежал в двадцать втором. Вернулся в двадцать восьмом, в Зареченьку перебрался, подальше от властей, а соперник мой уже начальником милиции здесь служит. Вот он меня и сдал на пять лет.

— Минуточку. Это не Форин?

— Да, он.

— Форин сегодня начальник управления госбезопасности по нашей области, но не думаю, что до него дойдет информация. Мы проверим все ваши документы, случай, конечно, из ряда вон, многое в вашу пользу, что воевали, награды имеете, но случай сам по себе...

— Вы мне скажите, товарищ капитан, я могу рассчитывать на милосердие со стороны государства? — Голос его был спокойным и звонким. — В ваших правах решить мой вопрос?

— Скажу честно: нет, потому советую отказаться от этой затеи. За чем вы решились? Ведь у вас все бумаги в порядке, местность наша не паспортизирована, живите до скончания века. Честно вам скажу, мне не понятно, это же риск, я вынужден буду поставить в известность органы, такой порядок. Есть у нас любители шашками помахать, в чистом поле шпионов ловить, например, польских. Тогда что?

Капитан заметил, что его слова несколько не смутили посетителя.

— Я уже свое отбоился, гражданин начальник, и в лагерях, и на фронте. У меня никого нет, просто я хочу вернуть свое законное имя, нравится это кому-то или нет — для меня не имеет значения.

— Хорошо. — Капитан встал. — Приходите через неделю, надеюсь, что проблем не будет.

Проблем, действительно, не было. Через неделю Арсения арестовали, а через месяц Кузин получил известие: другу дали пять лет. Тима горько плакал, но жаловаться некому... Остался только Невелин, но все письма к нему возвращались, усеянные печатями: адресат не найден.

## 9.

Редакционный коллектив доброжелательно принял Никиту Онисимова, еще в школьные годы он писал заметки и приносил в газету стихи, их почти не печатали, но о стиле Никитиных зарисовок опытный газетчик Аркаша Форманюк отзывался неожиданно для него лестно. За два года Онисимов освоился в газете и стал ведущим журналистом, хотя изо дня в день фермы, надои, гектары посева и обмолота — это наводило тоску и закрывало перспективу. Был шанс уйти в областную газету, но не очень настойчиво приглашали, и не очень хотелось. Никита начал писать рассказы, даже был отмечен на семинаре молодых писателей в Тюмени и в том же году поступил в Литературный институт.

В автобусе, добираясь до дальнего колхоза, он услышал все заглушающий говор мужичка, лица которого рассмотреть не мог, потому что тот сидел впереди, вполоборота, но говорил громко. И такая речь его была разудалая и задиристая, что захотелось познакомиться поближе. У сидевшей рядом женщины спросил, как зовут мужика?

— Говоруна-то? Боня.

— Он что, из евреев? Вроде не похож.

— Да нет, тутошний он, Боня по-уличному, а по документам Бронислав, я в сельсовете работала, знаю. А так — Боня как Боня.

— Он с кем живет?

— Один. Да ты присмотришься, он еще при царе родился, а все как новенький. Один в домике, хозяйство ведет, пенсию получает, но, говорят, что сидел много. Чудной, себе на уме.

Вышли из автобуса, Никита догнал мужичка, спросил, нет ли в селе гостиницы или постоялого двора.

— А ты по какому случаю к нам?

— Я из газеты.

— Ишь ты! — обрадовался Боня. — И об чем писать вознамерился?

— Искать надо подходящий материал, я больше историей интересуюсь.

– Раскопками или по верхам?

Онисимов не понял вопроса.

– Историю сейчас пишут, как картошку варят, взял из корзины, два кольца кожуры снял и в чугунок, посолил, прокипятил – кушайте. А историю копать надо, там весь смысл, внутри. Надолго?

– Как понравится, как дело пойдет.

– Тогда ко мне, живу одиноко, тишина и покой, сам в избе на кровати, тебе диван горничный благословлю. По такому случаю выдам новые постельные принадлежности, а то лежат уж пятилетку без движения.

– А зачем обзаводились?

– Да разве я сам рыскнул бы балясистую простыню купить? Друг Тима привез на день рождения, а я так и не доставал.

– Пожалуй, моль почикала?

– Насчет живности у меня порядок, кошка и собака и весь набор домашней скотины, кроме коровы. Клопов одно время множило было, потом поистратились, тараканов уж и не помню, вшей со времен лагерей и войны не давил. Так что смело ко мне.

Никита в этих местах никогда не видел подобных построек. Лицевая сторона ограды и видимая с дороги часть двора были обнесены настоящим заплотом, такие рубили в Сибири в неустойчивые времена, когда-то на восток гнали каторжных, то они малыми группами возвращались на запад. И те и другие не были желанными гостями, потому надежный заплот, рубленный из крепких сосен и подогнанный бревно к бревну «без сквознячка», в сажень высотой, был гарантией от незваных гостей.

– Для чего вам, Боня, такой высокий забор?

– Это не забор, а заплот, чуешь разницу?

– Понимаю. И все же – зачем? От кого защита?

Боня помолчал, отыскал ключ, долго открывал тяжелую дубовую дверь. Никита хотел повторить вопрос, но Боня опередил:

– Ты побереги разговор-то, у меня много интересного, все и объясню разом. Вот, к примеру, дом пятистенный, я его пятнадцать лет назад ставил, но по всем правилам. Фундамента нету, навозил из лесу пней от листвянки. Лиственница – она не дерево даже, а чудо в природе, по удельному весу к металлам тянется.

Услышав ученый термин, Никита приуныл: если бывший учитель – со скуки помрешь.

– В учителях не служил, но науку познавать добрые люди приучи-

ли. Я тебе потом, коли расположение будет, поподробней изложу. А для начала — петербуржец я, к тому же царедворец.

— Сколько же вам лет?

— А сколь дашь? Числюсь ровесником веку, вот и считай.

Он уже растопил печь, конструкция которой крайне озадачила Никиту. Отвинтив тяжелую, как у паровозной топки, заслонку, хозяин положил горкой с десяток тонко колотых березовых дров, поднес огонь, дрова занялись, заслонка встала на свое место, внутри печи все загудело, Боня прошелся вокруг, трогая подобие вьюшек, но их было много.

— У меня дыма совсем мало, он холодный уже выходит, дрова не горят, а млеют, самая теплоотдача. Обожди, через пять минут куртку снимешь.

Хозяин открыл тяжелую крышку подпола, спустился с корзиной, вернулся с блюдом капусты, огурцов, помидоров, груздей, все это пахло так аппетитно, что Никита пожалел: надо было в магазин забежать.

— А зачем в магазин, если у меня своего спиртного в пять раз ассортимента больше, чем в лавке?

Никита вздрогнул:

— Боня, вы телепат? Вы мысли читаете?

Боня захохотал:

— Сколько ума надо, чтобы твою мысль прочитать, подумай сам?

— Но ведь не в первый раз...

— После обскажу.

— Разговор у вас нарочито деревенский, хотя по сути вы другой. Ведь так?

Боня не смутился:

— Говорю так, чтобы от людей не шибко отличаться, хотя другой, ты прав. Но об этом тоже потом.

Копченый окорок хозяин принес из подвала, Никита сразу заметил во дворе это сооружение, развернул чистую тряпицу и большой лист пергамента. На недоуменный взгляд гостя ответил, что в подвале у него ледник, а пергаментом обзавелся на местном маслозаводе, его тогда рулонами привозили. С Боней рассчитались за какой-то ремонт этой невидалью, вот, каждый год тот калым вспоминает. Горячую круглую картошку вывалил на большой деревянный поднос, вытер руки и широко их расставил:

— Ежели верующий, можешь перекреститься, в углу Николай Угодник, там же должен быть святой Бронислав, правда, Тима не воспринимает, говорит, католический святой. Ну, да мне все равно.

Он налил по стаканчику самогонки, настоящей на каких-то травах, запаха она источала приятный и на вкус оказалась легкой, хмельной.

Никите не терпелось узнать об интересном человеке, что судьба подарила ему серьезную встречу — он не сомневался, да и мужик, кажется, с удовольствием пойдет на контакт.

— Мне как вас называть? Боня — это для дома, а официально?

— Не получится по документам, там такое наворочено, одно, что Бронислав, это как имя, а отчество тоже с испугу не скажешь — Леопольд-Динариевич. Так что зови Боней, это привычней. Откуда я здесь взялся? — переспросил он, хотя Никита еще и рта не раскрыл. — Обстоятельства так сложились, что вынужден был покинуть город Ишим и податься в деревню. Собрал семью, нанял подводу и поехал в ближайший район.

— Выходит, вы появились в деревне как раз накануне коллективизации...

— Колхозов еще не было, но все про них было известно человеку, если он внимательно читал партийные газеты. Весь бред оформлялся в виде постановлений и директив. Вот слово, смысла которого не могу понять до сегодняшнего дня. Директива! Страшнее, чем приказ и опаснее постановления, вроде как наказание уже предусмотрено, потому как директива! Если отбросить всю шелуху, слухи о том, что все в колхозе будут под общим одеялом спать, то суть сводилась к уничтожению крестьянина-собственника.

— Его и собственником-то назвать нельзя было, пять десятин земли, пара лошадей, быки да коровы, — возразил Никита. Он поразился резкой перемене стиля речи и слога собеседника, но ничего не сказал об этом.

— У вас, молодой человек, типично коммунистический упрощенный взгляд на вещи, простите мне эту дерзость. Собственник не тот, кто чем-то владеет, а тот, кто дорожит своей собственностью, даже если она заключена в простом праве самому принимать решение. Собственник — это синоним слова хозяин. Так было во все времена на Руси. Был капиталист, имел завод, тысячу рабочих, он хозяин, он обязан (не по законам государства, а по моральным понятиям) обеспечить нормальную жизнь своих людей. Капиталист школы строил, больницы, церкви. Не надо возражать, я согласен с вами, что были и другие, их потому и помнят, что немного таких было, жадных, злых. Помещик тоже разный был, но у доброго хозяина всегда и работник с улыбкой. А что касается сибирского мужика —

это вообще разговор особый. Если вы занимались историей и знаете, как и каким народом заселялись ваши края, то согласитесь: своевольный, своенравный народец, из помещичьих да царских неслухов, из избавленных от виселицы пугачевцев да разинцев. Да и вольных казаков с Дона сюда прибилося немало. Земли тут было вдоволь, только работай, потому жили крепко, сообща, общинно решали все вопросы, известно ли вам, милостивый государь, что сельский сход мог к смерти приговорить? Мог, правда, подтверждения этого права действием я, слава Богу, не встречал. Сытый был сибирский мужик, а сытый власть не устраивал, голодным же управлять легче! Впрочем, крестьянских восстаний Ленин ждал, он знал, что самостоятельный крестьянин, к примеру, сибиряк, первым возьмет вилы в руки. Потому и голод двадцатого года, и вторая гражданская война частью стихийно, а частью сознательно становились сутью государственной политики по отношению к мужику. Конечно, это за рамками нормального понимания: как можно так ненавидеть людей, которые кормят страну?

— Вы считаете, что не только продрозверстка привела к кулацко-эсеровскому мятежу?

Боня слабо улыбнулся:

— А почему вы называете «кулацко-эсеровский мятеж»? Причем здесь эсеры? — В голосе Бони были хитринка и недовольство. — Прошло пятьдесят лет, пора бы разобраться. Мне доводилось смотреть документы: организации эсеров в Сибири никакого отношения к восстанию не имели, на них повесили этот грех, за что и прихлопнули. Кулаки — да. Вы имеете представление о состоянии Ишимского уезда того времени? Богатейший край, и плюньте в глаза всякому, кто скажет обратное. Край кулаков, его ваш Ленин называл краем сытых крестьян. Бедные были? Конечно, в любой, самой богатой стране есть бедные. Это не материальное состояние, это форма существования. Рыба не может жить на воздухе, а любая сухопутная тварь задохнется без него. Такова природа. Тут она тоже все соблюла, один трудится и живет состоятельно, другой не желает ничем заниматься и бедствует. И самое важное: ему это нравится. Вы курите? Жаль, если бы курили, легче было понять тягу к чему-либо, хотя она вам известна из других источников. Человеку нравится быть бедным — что тут сказать? Еще была категория неспособных обеспечить самих себя, это семьи, в которых только отец мог работать, таким общество помогало, специальные фонды зерна, сена формировались, это я еще успел уви-

деть в Сибири. А были у меня два знакомых братца, одним домом жили, крепкое хозяйство, в двадцать первом оба погибли на войне.

— На какой войне? — не понял Никита.

— О которой мы только что говорили, милостивый государь, это по всем признакам была гражданская война. Так вот отец их, Никифор Егорович, каждое воскресенье уходил из дома и стоял на церковной паперти, милостыню просил, а то вообще шлялся по окрестностям за подавниями. Дети находили, умоляли, чтобы не позорил их, а у него потребность: пострадать, прикинуться бедненьким, ему нравилось. Восстание возникло из десятков случайных обстоятельств: налоги возросли, появилась продразверстка, земля стала государственной, а для общинной Сибири это было чуждо, и все это на фоне неуважительного отношения к мужику. Вот где первопричина. Его не спрашивали, выгребали зерно, и даже амбар не закрывали. Весь скот со двора на мясо — тоже продразверстка. Была еще одна ошибка власти: в руководстве государственных органов, в том числе и продкомов, было много инородцев, в основном евреев. Сибиряки слышаны были от фронтовиков, что революцию они же сделали, что и Ленин тоже их кровей...

— Неправда! — неожиданно перебил Никита. — Боня, ложь это, Ленин немножко чуваш и немец, но не еврей, нет!

— Милейший, а чего вы так смутились? Какая разница, была в нем та кровь или нет, ведь в писании сказано: «По делам их судите их». Меня в данном случае интересует не столько чья-то национальность, а сам факт преобладания людей некоренной национальности во властных и карательных органах, будь, к примеру, это чукчи — реакция была почти такая же. Но мы имеем дело с довольно сложной мировой комбинацией... Давайте прервемся на приличный обед.

Никита нехотя согласился.

Боня был очень рад появлению в его жизни нового человека, причем, не просто незнакомого, а интересного, по крайней мере, интересующегося, да и знающего кое-что, правда, в извращенном виде, так преподают историческую науку сегодня, не считая ее наукой, а держа в передней, как девку для подтирки полов. Боня хорошо прижился в деревне, ни с кем особо не дружил, но и не ссорился, получал пенсию, вел хозяйство, пчел держал с десятков ульев. Прибыл он в конце пятидесятых, деревню насторожило, что одинокий, без семьи, поговаривали, что реабилитирован, но за что сидел, по какой статье — об этом молчок. Молодой человек взволновал, потревожил его



утомленную душу, Боня давно ждал чего-то похожего, чтобы появился человек, непременно молодой, с пониманием, порядочный, кому мог бы он поведать свою жизнь и передать свой скромный архив. Ему уже не найти своих внуков и правнуков, он слишком устал от прошлого, но память о своей любви должен оставить, и пусть потомки узнают о ней и гордятся. Никита не случайно появился в его жизни, и тут он хотел видеть Ее влияние. Он даже не очень удивился, когда, работая во дворе, вдруг вспомнил ночной сон, в котором Никита, правда, в солидном возрасте, представил ему свою молодую спутницу и сказал, что это Стана.

— Молодой человек, хочу открыть тебе самую заветную свою тайну, хочу, чтобы ты все знал и обещал мне выполнить просьбу. Не торопись. Перед тобою человек, который в юные годы был знаком с дочерью царя Николая Второго Княжной Анастасией и всю жизнь любил ее.

Никита вздрогнул. Его основательно настораживали постоянные обещания собеседника «после все рассказать», но испугало столь неожиданное начало откровения, а по лицу Бони, по его вздрагивающим рукам он понимал, что рассказ этот выстрадан и ждет только достойного слушателя.

— Я говорил тебе вскользь о жизни в Петербурге, о неожиданном переезде в Тобольск, потом в Ишим. Причиной нашей ссылки в Сибирь был Распутин, сейчас про него много пишут глупостей, если читал — не верь. Он действительно имел благодать, но и характер жесткий, не без влияния со стороны. С Анастасией мы познакомились зимой тринадцатого года, дети совсем были, а вот, видишь ли, чувство мое оказалось вечным. Смею думать, что и у нее было ко мне чувство, есть основания. Мы простились со слезами, я уже знал об их участи, хотя даже себе не признавался. Из Тобольска писал ей письма каждый день, чистые, простые, впечатления от дороги описывал, рисовал храмы, старинные дома деревянной постройки, она отвечала мне только раз в неделю, пояснила, что старшие сестры считают нескромным для юной девушки писать чаще. Я получил почти двадцать ее писем.

— Они живы? — Никита сжался, дожидаясь ответа.

— Да, они живы, — ответил хозяин, — но только в памяти моей, потому что такое письмо могло стать приговором семье. Впрочем, никакие меры предосторожности не спасли. Я за неделю до газетных сообщений сказал батюшке об отречении Государя, потом об аресте

фамилии и, наконец, о высылке всего семейства в Тобольск. Тогда же сказал, что всех нас ждет смерть. Мне не было видений, картин, просто в один момент после сильного внутреннего томления я уже обладал этими знаниями.

— Вы так и не виделись больше с Анастасией?

— Представьте себе, виделись. Дважды. В семнадцатом отца выгнали из архивов, выгнали и из дома, на теплоходе отправили в Тюмень, там посадили в поезд и сняли уже в Ишиме. Условия жизни ужасные, отец пытался давать уроки, но кто в революцию учиться? Я часто болел. Вся эта информация входила в меня именно в болезненном состоянии, потому, немного поправившись, я не всегда мог отличить узнанное от слухов и газетных сообщений. Чтобы не волновать родных, перестал им рассказывать. Газеты подтвердили арест царской семьи, и я ждал их выезда в Тобольск. Дважды туда ездил, но охрана никого не подпускала к бывшему губернаторскому дому. Я лежал в горячке, когда узнал, что Анастасия осталась в Тобольске одна, так мне показалось. Конечно, ничего не мог понять и ничего невозможно проверить. Но убеждение, что она одна, и я хоть как-то могу ей помочь, зрело во мне. Из дома уехал тайно, продав свои золотые цейсовские часы. Три дня проходил перед окнами дома-тюрьмы, судя по охране, узники оставались в доме, хотя были слухи, и я говорил с очевидцами, что Государя и Александру Федоровну с одной дочерью увезли ранней весной. Я напрягал все свои силы, чтобы подозвать Анастасию к окну, ничего у меня не получалось. И однажды, это было 18 мая 1918 года, я увидел в открытом окне ее лицо. Она тоже увидела меня и радостно стала махать рукой, кричать, видимо, было запрещено. Я метнулся к дому, но здоровый верзила сбил меня с ног, крикнул команде: «Товарищи, стреляйте в каждого, кто будет заглядывать сюда». Я отошел на противоположную сторону улицы, Анастасия еще долго стояла у окна, которое уже закрыли, а я не мог насмотреться в дорогие черты.

Боня надолго замолк, и Никита ничем не обнаруживал своего присутствия.

— Я знал, когда их привезут из Тобольска в Тюмень, знал, что сразу посадят в вагоны. Двое суток стоял на перроне, когда подошел состав, людей почти никого не было, потому солдаты не гоняли. Одет я был по-крестьянски, подошел к охраннику, молодой солдатик, ровесник, подаю ему золотой браслет маменьки и прошу выкликнуть из вагона Анастасию Николаевну. И что вы думаете? Он еще и по-

звать не успел, а она уже стоит, в накидке простенькой и стоптанных сапожках.

«Ах, Бони, как вы тут оказались?»

«Да что я?! Вы себя как чувствуете? Как Государь с Государыней, как Алеша?»

«Слава Богу, слава Богу! Я так рада видеть вас».

«А уж я-то как! Идите в вагон, тут сквозит. Идите, Анастасия Николаевна. Не встретимся мы более, но знайте, что...»

Тут подошел старший чин, и меня прогнали. Так и вижу ее всю жизнь в накидке и стоптанным сапожках, это царевну-то! Сволочи!

Папенку с маменькой арестовали, и больше я ничего о них не слышал. Меня спас брюшной тиф, подобрала соседка, мои когда-то помогали ей вещами в трудное время, вот она и записала вместо недавно умершего сына, тоже от тифа. Стал я Чернухиным Арсением Семеновичем. Очухался, но способность свою сильно утратил. Читал много, книги-то властям не нужны были, из церковных библиотек выбрасывали, поручалось жечь, да кому охота на морозе? Из местного училища тоже вычистили, сторожу золотую безделушку принес, разрешил мне порыться, несколько мешков книг на санках домой перевез. Вот и разбогател, все прочел, образование продолжил на лесозаготовках, там меньше всего подлого народу было.

Никита осторожно вмешался:

— Вас тоже сослали?

— Я не стал дожидаться. У хозяйки дочка была, Лидочка, скромненькая, круглолицая, русоволосая, чистая славянка, и как сохранить могла! Пока я в тифу валялся, девочка эта ходила за мной, как за малым дитем, так привязалась, что с работы дожидаться не могла. Не могу сказать, что любил, но чувство какое-то все равно было, да и молодость, завязались у нас отношения. Мама ее, конечно, знала, решили пока пожить тихонько, а потом уехать подальше и отношения оформить. По документам-то я ей брат. И стал к Лиде присматриваться молоденький чекист, конечно, и меня засек, а через Лидочку потом узнаю, что он справки обо мне наводит, соперника, видимо, почувствовал. Я не стал ждать, пока он разнюхает, что перед ним на самом деле сын разоблаченных польских шпионов. Паспорт на руках, в комсомоле путевку взял, я записался в комсомол в депо, где работал, поняв, что так надежнее, и махнул на Урал.

Бронислав надолго замолчал, словно вспоминая полузабытые детали, потом усмехнулся:

— Сложная штука — жизнь. Уезжал от тепла и уюта, куда — не знал вовсе, но не боялся. Я чувствовал, что в самые ближайшие годы произойдут большие перемены, мне надо было их дожидаться в стороне от основных событий. Нашел я у новой мамыши темную банку толстого стекла, промыл и просушил хорошо, вложил в нее все документы, касающиеся Бронислава Лячека, оставшиеся семейные драгоценности сложил и пробку залил сургучом. Семейные альбомы с фотографиями тоже собрал. Дождался ночи, пока все уснули, оделся и штыковую лопатку прихватил. А до этого все думал, где же на земле самое надежное место для сохранения секретов? В стене, на чердаке — дом могут снести, сам стореть может, по этим причинам город был отклонен. Я вышел в чистое поле, по самым заметным приметам определил место.

— Какие приметы в чистом, как вы говорите, поле?

— Дорогой мой, все на земле имеет конец, причем, довольно быстрый. Вот вы еще немного прожили, а кое-чего из того, что было в родном селе в детстве, теперь уже нет, не правда ли?

— Правда.

— В природе единственная сфера меняется так медленно, что за человеческую жизнь перемены просто невозможно заметить. Я говорю о звездном небе. В юности мне было любопытно изучать движение небесных светил, и карту звездного неба ваш покорный слуга знал неплохо. Согласитесь, что, например, Полярная Звезда и через пятьдесят лет ровно в полночь будет находиться именно в той точке, в которой обнаружил я ее июльской ночью 1924 года. Вычислив, таким образом, искомую точку, вырыл полуметровую ямку и положил на дно банку, семейные альбомы и завернутый в тряпицу флакон духов «Фиалки». О них никто не знал, даже Лида, иначе начались бы расспросы. Я никогда не открывал флакон, только целовал чисто обработанный хрусталь и плакал.

Он опять недолго помолчал, потом вернулся к поездке на лесозаготовки:

— Работа не для человека, тем более, что физической силой не мог похвастать. В кадрах посмотрели: я же добровольцем по комсомольской линии прибыл, хохотнули, и пристроили учетчиком. Но совесть не допускала у костра сидеть, когда люди ледяные сосны ворочают, помогал, сколько мог. Потом стали мне говорить, что напрасно обнаруживаю этакое участие, властям не нравится, что помогаешь, они же поселенцы, ссыльные, бывшие кулаки. Целыми

семьями тут жили, семьями и вымирали. Страшное время, мне его до смертного часа не забыть.

– Бронислав... подскажите отчество...

– Сказал же: зови просто Боней, так всем ловчей.

– Хорошо. Но как они вас там не вычислили, вы же выпирали из серой массы безграмотных крестьян, одного культурного слова достаточно было, чтобы заподозрил особист неладное.

– Правильный вопрос. Я уже тогда в двух лицах существовал, один весь на виду, с разговором местным и всеми ухватками, только водку пить не мог. А другой внутри, мне тот дорог был, с ним все прошлое, маменька с папенькой, я все надеялся их отыскать, там Анастасия Николаевна, хотя знал, что их казнили люто. У меня был как-то проблеск, что она чудом, провидением Божьим, спаслась, потом добрые люди помогали отыскать ее, но напрасные труды, желаемое и действительность редко пересекаются.

## 10.

После очередного скандала, который закатил ему редактор за редкие, хотя и добротные материалы («Полосу пустую мне бабашками заставлять?!»), Никита уехал к Боне. Он всегда уезжал к нему, чтобы отдохнуть душой, старик излучал оптимизм и жизнерадостность даже тогда, когда для этого не было никаких оснований. Его крепкий домик, стоящий чуть в стороне от деревни, зарос черемухой и сиренью, а сейчас все это было похоже на огромный букет с сюрпризом внутри. Старик издали увидел гостя, он возился со пчелами, вынимая рамки с первым весенним медом:

– Не подходи близко, иначе съедят, злые сегодня, что панская псарня перед охотой.

«Вот чудак, – подумал Никита, – панской охоты ни разу не видал, а, наверное, всплывает к старости родное».

– Пойди в дом, перекуси, что найдешь, окорок в подвале, на леднике, знаю, что захочешь, я скоро управлюсь.

Никита попил холодного квасу и вышел в сени, через узенькое окошко Боня виден был со своими пчелами. Всегда работает без маски, и они его не кусают, а Никита как-то подошел поближе и уехал домой с заплывшим от укусов лицом. Мед его пчелки собирают хороший, ароматный, он на соседних заброшенных огородах всякие цветы им сеет и травы.

– Боня, а почему ты свой дом построил в стороне от деревни? – спросил однажды Никита.

Старик засмеялся:

— Это деревня меня стала сторониться, соседи новые дома стали в других местах ставить, вот и оказался я на выселках. Зато простор и тишина, посмотри, у меня огород без заборов, свои куры не лезут, я им не велю, а чужих нет.

Через час Боня пришел с большой кружкой свежего меда и несколькими ломтями сотов. Жевать воск, успевая проглатывать капельки вложенного в него меда — великое удовольствие.

— Теперь ты понимаешь медведя, который переносит адские муки, но добывает вошину с медом? — хохотал Боня.

И в этот раз, как обычно, он поставил на стол все, что ни есть в доме: литровую банку самодельной тушенки вывалил на раскаленную сковороду, бросил туда мелко порезанный лук, крупно наломал сегодняшней выпечки калач, вынул из подвала пару килограммовых вяленых сырков, которые на тепло отреагировали капельками жира и зовущим запахом. Настойки тоже выставил, но предлагать не стал, видя, что гость явился не просто так.

— Что у тебя на этот раз? Амурные неудачи? Финансовые затруднения? Неувязки с руководством?

— Боня, ты всегда все знаешь, только не надо мне больше про амурные дела, с этим ангелом пока все в порядке. Понимаешь, мне скучно в газете, изо дня в день одно и то же: «Решения партии — в жизнь!», «Проведем сев в сжатые сроки!», «Животноводство — ударный фронт!».

Боня внимательно его слушал:

— Но до сих пор ты писал об этом без смущения, ведь так? Значит, что-то изменилось в твоём понимании жизни, если ты стал задумываться: а то ли я пишу? Конечно, не то, дорогой мой мальчик, и я ждал минуты, когда ты придешь и скажешь: «Боня, научи меня жить!».

Никита засмеялся:

— Именно так я и хотел сегодня сказать: научи жить!

Взглянув на хозяина, гость понял, что веселого разговора не получится, тоже посерьезнел, умолк. Старик спустился в подпол и вышел с большой пергаментной упаковкой, тщательно вытер ее чистой тряпицей, положил на стол и долго распутывал петли и узелки. Из пергаментной оболочки он вынул несколько пакетов бумаг и фотографий, отложив в сторону два небольших свертка.

— Я покажу тебе старые фотографии, честно сказать, я не всех людей на них знаю, в общих словах это представители того еще мира. Тут и моя семья, и родственники, вот фото, которое подарила мне

Княжна, тут все сестры и наследник, вот семья наша в Тобольске, а это уже Ишим, советская власть. Посмотри на эти лица, сравни их с теми, что на снимке восемнадцатого года. Вот между этими съемками чуть больше года, ты видишь, какой тупой, отрешенный взгляд у отца, как сжалась мама, я, видимо, еще не очень понимал, что к чему, тосковал по девушке. Да, это май восемнадцатого, еще нет известий о гибели семьи. Собственно, что изменилось? Кажется, перемена правительства должна проходить вообще незаметно для самого народа, но тут переменялось все, не только власть, но религия, нравственность, человеческие ценности — все встало с ног на голову, не случайно в русском языке есть такое слово: «переворот». У людей не сделалось свободы, того, что существует незаметно для тебя, как воздух, ты не замечаешь, что он есть, пока не начинаешь задыхаться. Тоньше всего это чувствуют люди образованные, самодостаточные, отнять у них свободу значит почти отнять жизнь. Впрочем, это происходило именно в такой последовательности, родителей вскоре забрали, и все кончилось.

Боня еще долго смотрел на снимки, но ни один мускул не дрогнул на его лице, хотя Никита мог предположить, как тяжело ему было.

— Видимо, ты не находишь связи между своим вопросом и моей попыткой ответить на него. Мы говорили о свободе, а ведь и ты начал именно с этого. Ты журналист, учишься на писателя, или кого готовят в вашем Литературном институте? Ты художник, а тебе указывают, о чем надо писать. Коммунисты совершили самую большую ошибку, отняв у людей свободу, но они не удержали бы в своих немелких, безграмотных руках власть над свободными людьми, потому они сделали правильно, запретив людям думать, давать оценки, критиковать. Партия все решит за народ, тому остается только взять под козырек. Это всегда не всем нравилось, были заговоры, я рассказывал о безумной попытке офицеров в Свердловске свергнуть власть, были попытки помочь фашистам свергнуть режим Сталина, но тут сработал тот самый феномен загадочной русской души. Люди, еще вчера ругавшие советскую власть, брали в руки оружие и шли защищать Родину. Вот мне это непонятно. Двадцать лет назад эти же солдаты повернули оружие против царя, а в сорок первом шли в бой с криком «За Родину, за Сталина!». Эти попытки и сегодня продолжаются, я ночами слушаю иностранные радиостанции...

— Их же глушат!

— Глушат на русском. Они очень неплохо характеризуют уровень

протестных настроений в советском обществе, конечно, это опять же касается в основном интеллигенции, еще точнее — творческой интеллигенции, но мне чуждо диссидентство, есть что-то подленькое в том, что живешь в стране, которую ненавидишь, жрешь и гадишь в одном месте. Гораздо честнее открытый протест, который возможен только из-за границы, но его не видит простой народ. Потому вот эта внутренняя пятая колонна гаже всего, и она сделает главную работу, разложит партию и советскую власть.

— Боня, ты говоришь невозможное, власть сильна, ее армия лучшая в мире, у нас огромный экономический потенциал, в партии пятнадцать миллионов человек. И все это может рухнуть под влиянием каких-то неведомых агентов?

Боня возмутился:

— Кто тебе говорит о неведомых? Неведомые — это разведка, это само собой, а лидеры пятой колонны «ведомы», говоря твоими словами, они сидят на самом верху, их портреты таскают на демонстрациях, им поклоняются.

— Но кто их поддержит? Народ?

— Наивный! Кто когда спрашивал народ? Революции проходят вверху, а внизу часто даже персоны не меняются, они мгновенно ориентируются, кто победит, и тут же перекрашиваются.

Никита не хотел ему верить, он знал, что Боня очень много читает, но нет у него доступа к иностранным источникам, кроме радио, невозможно составить такой прогноз только по новостям из Англии или Германии. Его способность видеть будущие события? Может быть, спросить?

Боня не стал дожидаться вопроса, он еще раз осмотрел фотографии, взял в руки одну, подал Никите:

— Мы еще вернемся к будущему, давай закончим с прошлым. Вот это последний мой снимок с семьей, кажется, тридцатый год, посмотри на обороте. Лиды теперь уже давно нет, у нее было слабое сердце, дочь в Ишиме. Все об этом.

Он сложил фотографии в пакеты и отодвинул в сторону:

— Теперь продолжим. Я давно уже лишился способности видеть будущее, появляются какие-то отрывки, нет цельного представления, как это было в юности, когда пришло знание того, о чем я и понятия в силу возраста не имел. Умение прогнозировать развитие политических событий приходит вместе со знаниями основных закономерностей эволюции государства, любого, социалистическое не является ис-



ключением. Надо читать древних философов, французов, русских начала века, избегать современных теоретиков, они все подлецы.

— Ну, так уж и все, Боня, есть же умные.

— Я сказал «подлецы», а не «дураки», разве умный не может быть подлецом? Да чаще всего подлый человек умница, потому как ничто не требует столько умения и изобретательности, сколько губительные идеи и дела. Я не знаю ни одного проекта партии, который бы не был обоснован научно, ну, этот термин я употребляю весьма условно. Ты, наверное, не помнишь, но был такой период, когда параллельно существовали как бы две компартии, одна городская, другая деревенская, большей глупости трудно придумать, вот сельский обком, вот промышленный. Но все повизгивали от восторга: как это умно! Прошла пара лет, идею высмеяли, обкомы соединили. Почему? Другой человек пришел, со своими странностями, и все пошло дальше по тому же пути. Методика остается прежней, рассчитанной на не свободного, не думающего чело-века.

Рассуждения Бони Никита понимал, но не разделял окончательно, он уже несколько лет был членом партии, все ему казалось правильным и разумным. Конечно, высмеянная идея построения коммунизма что-то пошатнула в сознании, но сомнение ничем не было подпитано и вскоре забылось, как детская корь.

— Твоя проблема состоит в отсутствии общения, — сказал Боня. — Не просто компании, в них нет недостатка, а общения интеллектуального, дающего пищу уму. Ты слышал о салонах в царские времена, когда в домах состоятельных людей собиралась творческая, научная интеллигенция? Они от нечего делать собирались? Они общались, обсуждали проблемы общества, явления культуры. Суждения таких салонов имели существенное влияние на формирование общественного мнения, а это был очень важный институт той жизни. Если сегодня рядом нет таких людей, а их нет, только книги могут тебя спасти. Образованность — это не просто Литинститут окончить. Кстати, допускаю, что в этом учебном заведении марксизм не является главной наукой, наверное, там есть преподаватели более мыслящие, чем в партшколах. Слушай и запоминай, составляй себя сам — из умных разговоров, из умных книг. Ты читал Библию? Нет? Тогда о чем мы с тобой говорим? Ты же совершенно безграмотный человек!

— Боня, что я слышу, ты отрицаешь Бога, но превозносишь Библию! Старик возмутился:

— Я тебе говорил, что отрицаю Бога? Я говорил, что не молюсь

ему, но знаю, что он есть. Причину я тебе, кажется, объяснял. Библию надо не просто читать, ее надо знать, потому что вся мудрость еврейского народа собрана в этой книге, а евреи — умные люди, по этому праву они руководят миром.

Никита опять удивился:

— В прошлый раз ты высказывал совсем другие мнения, ты критиковал, мягко говоря, евреев, считая их причиной многих общечеловеческих несчастий, вспомни, Боня!

— Ты когда научишься мыслить системно? Да, я не люблю евреев, и, прежде всего за то, что они сделали с Россией и продолжают делать, но это лишь подтверждает мой тезис о том, что это умный народ. Мы минуту назад говорили, что одно другому не мешает. На сегодня довольно.

— Боня, мы разговор завершили, но на мой вопрос ты так и не ответил: мне оставаться в газете или уйти?

— Догадайся сам. Уйти от чего? От одной неправды к другой? Мы все едем в одном поезде, можно перейти из вагона в вагон, скорость и направление от этого не изменятся. Работай тут, пиши о простых людях, поменьше того, что ваш Ильич называл политической трескотней. И больше пиши свое, пытайся уйти в прошлое, оно у нас изумительное. Прошлое — это благородно, я с удовольствием читаю романы Пикуля, Иванова, Балашова, но у них Россия не деревенская, а у тебя рядом недавняя история, возьми тот же крестьянский бунт. Через прошлое к настоящему — это достойно.

— А фантастика? Считается, что фантасты находят способы обличения действительности.

— Не люблю фантастов, да у нас их и нет, все эти измышления со членистоголовыми чудищами — бред извращенцев. Фантаст был один, француз Жюль Верн, немножко русский Беляев.

— Боня, я привозил тебе свои рассказы, ты сказал, что прочел, но так и не высказал оценки.

— Прости, но там нечего оценивать, это зарисовки сегодняшнего дня, к тому же весьма поверхностные, с парторгами, с райкомовскими секретарями. Чушь! Но язык у тебя приличный, пишешь ты симпатичнее, чем говоришь.

Никита покраснел от досады:

— Боня, я обижусь.

— На что? Я критикую тебя, чтобы ты стал лучше. Читай словари Даля, Брокгауза с Эфроном, заметь, насколько русский человек ле-

нив, даже словари пришлось составлять иностранцам. Ну-ну! Знаю, что по сути они были глубоко русскими людьми. Фамилия мало что значит. Вот я поляк, но ты общаешься со мной и, кажется, имеешь от этого только пользу. Или я ошибаюсь?

Никита обнял старика:

– Как всегда, нет, Бронислав Леопольд-Динариевич!

– Хорошо. Переходим к следующему этапу. Вот в этом свертке лежит самое дорогое, что у меня есть.

Боня развернул бумагу и поставил на стол выточенный из янтаря букетик мелконьких цветков. Никита понял, что это тот самый флакон духов фиалки, который Боня подарил Княжне, а она вернула на память.

– Возьми его в руки, после Анастасии ни один человек не прикасался к этому флакону.

Никита осторожно взял букет в руки, приблизил к лицу и не почувствовал запаха. Букет действительно был выточен из цельного камня и сам был чудом. Флакон наполнен, но пробка притерта так плотно, что нет даже запаха.

– Ты никогда его не открывал?

– Один раз, когда дочке исполнилось шесть лет, я помазал ей за ушком, но тут же ушел, потому что запах сводил меня с ума. С тех пор прошло полвека. Далее. В этом свертке оставшиеся у меня семейные драгоценности, изредка я уезжаю в Тюмень, нахожу там старых знакомых и продаю одну вещицу. Раньше передавал деньги дочери, но она вышла замуж за партийного человека, и тому, видите ли, было не очень приятно иметь в родственниках бывшего каторжанина. Более того, дочь оказалась слабым человеком и ничего не возразила. Тогда я забыл о семье. Сейчас продаю на жизнь, пенсию мне платят минимальную, потому что годы строительства социализма по ту сторону колючей проволоки не включаются в трудовой стаж. Все это пока останется у меня, буду чувствовать приближение конца, передам тебе с наказом, если умру неожиданно, возьмешь сам, сейчас спустимся в погреб, укажу тебе место.

– Не надо о смерти, Боня.

– Согласен, но она сама решает, за кем идти. А теперь давай по стаканчику настойки. Это на корнях шиповника, очень полезная, а вот на сабельнике, запах болотный, а польза велика. Да, и скажу тебе одну мысль, которая появилась у меня не совсем давно, только укрепляется и меня укрепляет в понимании. Будут в стране еще перемены.

– Революции?

– Кому они нужны сегодня, эти спектакли по дурным сценариям? Правда, и в этот раз сделают бездарно, но опять все сойдется. Вспомни Октябрьский переворот: холостой выстрел с заплеванного пьяными матросами крейсера, толпа солдат и женский батальон с мальчишками-юнкерами по ту сторону ограды Зимнего Дворца. Вот и все. Далее телеграф во все концы страны: «Вся власть перешла в руки Советов!». Будет нечто похожее, возможно, не доживу, но запомни: верховодить будут те же, конечно, внуки и правнуки, вместо маузеров мобильные радиотелефоны, только теперь не телеграф, а телецентр: Политбюро расстреляно, власть переходит к временному или иному комитету или совету – не имеет значения. Вот тогда вновь появятся хозяева, потому что вся собственность государства, одно-моментно ставшая ничьей, должна обрести хозяев. Поскольку законных хозяев нет и быть не может, ибо родилась уникальная в истории, не особо мною почитаемая, но все же существующая – общенародная собственность, появятся самозванцы из числа особо приближенных к организаторам этой авантюры. Вот они-то покажут вам, каким не должен быть собственник на Руси.

– Боня, прости, «каким не должен»?

Старик рассмеялся и стал говорить тише:

– Я добиваюсь, чтобы ты понял самое главное: все, что сегодня создано в стране, особенно в крестьянском деле, все эти колхозы, совхозы, комплексы молочные и мясные, все прочее – искусственно, не путем вашей марксистко-ленинской диалектики создавалось, не путем развития и совершенствования способов хозяйствования, то есть, естественно, а волевым порядком, кому-то в голову взбрело – внедрили, а уж коль внедрили – жилы вырвут, но заставят давать положительные результаты.

– Не соглашусь с тобой, потому что знаю десятки процветающих колхозов и совхозов.

– Не смею возражать, ибо в самой откровенной глупости русский мужик всегда найдет способ выжить, да еще парочку генералов прокормить. Беда новой крестьянской организации в том и состоит, что трудящийся человек равнодушен к результату своего труда, не совсем, конечно, посредством тарифов и расценок он привязан к урожаю, к молоку и прочее, но привязан, заметьте, а не прикипел. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из крестьян, мне знакомых, проговорил: «Это мое поле, это моя скотина ходит на лугу». В лучшем случае скажет:

«Наше», а пуще того — колхозное, казенное. Ясно одно: возврата к прошлому не будет, крестьянина — хозяина уже нет, есть исполнитель, потому собственность и главное — землю — приберут к рукам деловые люди, в основном это будет грамотная и прагматичная молодежь, которая не умеет работать, но у которой будут выходы на большую власть. Уверен, что они найдут общий язык, и это обернется для деревни очередной трагедией.

Никита развел руками:

— Боня, тебя послушать, так надо готовиться к новым революциям, или, как ты говоришь, переменам. На основании каких данных ты делаешь такие прогнозы? Есть экономические расчеты? Или, простите, чьи-то предсказания? Тебе опять некто подает опережающую информацию?

— Слишком много вопросов, Никита. Получается, что ты и есть тот человек, которого я так долго ждал, чтобы при нем еще раз прожить свою неуклюжую и счастливую жизнь.

## 11.

### ПРИТЧА ОБ УСЕРДИИ

Тимофей последнее время часто приезжал к Боне на своей лошадке, они радовались друг другу, как братья, да они и были братьями, огромная разница в происхождении, образовании и познаниях никогда не чувствовалась. Тимофея Боня считал очень умным, конечно, отсутствие системного образования ограничивало его, но природный ум почти всегда находил верные аргументы в спорах. Если речь шла о Боге, Тима предусмотрительно прятался за догмы: так записано, так и должно быть.

— Тима, день сегодня не постный?

— Слава Богу, скромный день. А что ты там вошкаешься?

— Наловили мне друзья моей доброй рыбы, это нельма, она водится только в реках. Будем угощаться. Но — только под водочку.

— Нет возражений. Водка — продукт, созданный Господом, стало быть, благословен для употребления, в разумных пределах, само собой.

— Вот и давай за разумные пределы, за друзей наших павших, за тех, кто живой — по глоточку.

Они и точно выпили по глоточку. Поели свежесолоной рыбы, чисто вымыли руки. Тима поблагодарил Бога за хлеб насущный, Боня убрал со стола.

— Вспомнилась мне нынче последняя моя каторга, и со странной стороны вспомнилась. Ну, ты в социалистическом соревновании не участвуешь, хотя, конечно, слышал и знаешь. На зоне тоже есть такая дурь: если больше других бригада зальет бетона или стены выложит, паек усиленный дадут, например, вареные свиные головы.

Когда нас на объект пригнали, там голая степь, помочиться негде. Навезли материал, сколотили бараки, одновременно копали котлован. Я видел проектные чертежи у вольных мастеров, размеры объекта запомнились, а котлован копаем в два раза шире. К зиме нам одежку подбросили, кормить стали лучше, и все эти итоги подводят, их так и называли «свиной головой», хотя, справедливости ради, свинья только несколько раз была. Начальство одолело с визитами, однажды был даже сам Лаврентий.

— Берия?

— Внимание к объекту усиленное, прорабы и мастера на участках меняются каждый месяц, выводим стены, перегородки, начались отделочные работы. Поднимают к нам на этаж дверной блок — стальной, лист в пять миллиметров. Но все проточено, смазано, не скрипит. В дверях глазки и уже стекла вставлены.

Когда выполняешь принудработы, нет особой заботы, что ты строишь и для чего. Все, о чем говорю сейчас, тогда и во внимание не брали, до самого конца. В конце 1952 года собирает нас начальник, кум по-зэковски, и предлагает опередить, как и весь советский народ, обозначенные правительством сроки, и сдать объект к 1 марта. Мы ахнули: тут работы на полгода даже летом, а он в зимних условиях предлагает ускорить отделочные работы. Тогда один из авторитетов выходит вперед и гнусавит: «Если, — говорит, — рабочую пайку в полтора раза надбросишь, начальник, то можно подумать». Конечно, сволочь эта была специально отобрана, он же в законе, на работу не ходит, его норму бригада горбатит. Но дело сделано, вроде как народ не против, тогда начальник заявляет, что с завтрака норма будет увеличена, только работать не десять, а двенадцать часов. Народ зашумел. И выходит тут вперед вшивенький парнишка, инженер, сел за какие-то стишки. «Гражданин начальник, я уже полгода хожу по инстанциям (он так и сказал: по инстанциям, хотя все его инстанции кончались матерками бригадира), у меня есть рационализаторское предложение по подъему на этажи стройматериала за счет механической силы». Начальник аж подпрыгнул, моргнул своим, пацана забирают, и больше мы его не видели. Говорят, он в синем костюмчи-

ке по стройке ходил и указания давал. Действительно, поставили подъемники, дело пошло в два раза быстрее. Говорят, этот же хиленький придумал обогреватели на мазуте, если горелку правильно отрегулировать, тепло, хоть рубаху снимай.

Вот что мне нравится в русском народе — бесшабашность. Кого вчера били — это мы потом разберемся. Недавно около пивной в районе сидят молодые ребята, один так хватил, что я остановился: «Эх, говорит, сейчас бы всем по короткоствольному автомату!». Я извинился: «Молодой человек, а стрелять в кого?». И знаешь, что он мне ответил: «А там скажут, в кого!». Вот она, русская душа, доверчивая, справедливости хочет. А вот что строит и для чего — никогда не поинтересуется.

Первого марта мы объект предъявляем к сдаче. Пока мы, отделочники, внутри работали и практически жили в корпусе, наши ребята вокруг объекта такую шикарную стену возвели, какой я ни на одной пересылке и ни в одной тюрьме не видел. Высота пять метров железобетона, покатый козырек выступает вовнутрь аж на метр. Ни одному японцу не подняться! Наши быстренько сбегали, просмотрели: и полоса готова, и колючей проволоки в десять рядов, и ток высокого напряжения.

Вот так, дорогой мой, полные социалистического энтузиазма, мы своими руками строили тюрьму для себя. Поговаривали, что ее готовили специально под дело врачей, но утверждать не берусь, официальных документов не видел. А что тюрьма получилась надежная, замечательная тюрьма, я успел убедиться. Мы сдали ее 1 марта, а 5 марта нас вывели на траурный митинг. Конечно, я плакал, но это были мои слезы, потому что хотелось верить: эта тюрьма — последняя.

— Боня, Невелин туда приезжал?

— Тима, я ему не писал, честное слово, не ведаю, как он узнал, хотя в его тогдашнем положении он мог все и про каждого узнать через сутки.

— Я писал, Боня, не обижайся. Прямо на наркомат обороны, генерал-полковнику Невелину.

— Да. Вызывают меня к хозяину среди ночи и с вещами. Ребята поднялись, в чем дело, спрашивают, а солдат сопровождения узбек, чего он может объяснить? Захожу, со мной ласково начальник особого отдела, чуть не на «вы» со мной, проводил до дверей, пропустил. Я вижу в ярком свете не совсем хорошо, привык к полумраку, бежит ко мне навстречу военный, звезд на погонах так много, что сосчитать не

могу, а в лицо глянул: Невелин. Обнял он меня, за край стола посадил, из портфеля бутылку коньяку достает: «Давай за встречу, Арсений». Я не стал поправлять, что Бронислав мое имя, оглядываюсь на хозяина, а Невелин громко говорит:

— С этой минуты он тебе никто, да и вообще никто, снят с должности и подлежит аресту. Вместо него новый назначен, со мной прилетел, полковник Форин.

Я едва не упустил стакан из рук. Невелин заметил:

— Знакомый?

— Даже очень. Через него вся жизнь моя пошла кувырком.

— Вот видишь, как все непросто. С сегодняшнего дня он начальник тюрьмы особого назначения, подчиняется лично Берии. Пока, — добавил тихо. Бывшему начальнику крикнул: — Отведите мне отдельный кабинет, чистый, с посудой и закуской. Распорядитесь, чтобы накормили экипаж самолета, мы вылетим сразу, как только будут готовы документы Чернухина.

— Лячека, — я поправил его с улыбкой.

Он махнул рукой. В кабинете выпили бутылку коньяку, я сильно опьянел, но держался.

— Ты с первого дня на этой стройке?

— Да. Имею почетную грамоту за хорошую работу по завершению строительства.

— Сохрани ее, Арсений, ради потомков сохрани. И историю строительства тюрьмы для себя. Боже, как низко мы пали! Встанем ли с колен, Арсений?

Я ему ничего не ответил.

## 12.

### ПРИТЧА О БАПТИСТАХ

Ничто не предвещало грозы, и Тимофей с Брониславом домetyвали последний стожок так и не ставшего колхозником упрямого единоличника. Угодья не сказать, что подходящие, но на корову и теленка натяпали. Туча скатилась неожиданно, как это бывает в июле, разорвалась огромной молнией и оглушительным громом. Даже Боня присел, так все было странно. Тима забился под стожок и беспрестанно молился. Когда ветер снес грозу к западу, Боня не без ехидства спросил:

— Вот ты крестился там, аж стог шевелился. Объясни мне, какая польза от крестного знамения?



— Да ты что, всерьез? Польза! Да в нем сила необыкновенная, им святые отцы войска вспять обращали, и всякие прочие дела происходили в таких случаях.

— Хорошо. А представь, что у меня нет правой руки.

— Крестись левой — неуверенно посоветовал Тимофей.

— А если и левой нет? Мы-то с тобой на войне насмотрелись на всяких калек.

— Тогда только молиться.

— Ладно. А что есть икона? Это лик святого часто с описаниями его деяний. Тима, кроме легенды о платке, которым вытер свое лицо Иисус в ответ на просьбу художника написать его портрет, других сведений о его, так сказать, физиогномических данных, нет. Церковь утверждает, что все иконы, все это — Хритос, и ты тоже веришь.

— Не отвечаю на твои провокации и молюсь о душе твоей.

— Тима, оставь мою душу в покое, она еще при мне. Я тебе больше скажу: вот икона, ты преклоняешься, а кто писал ее, ты подумал? Рублев истязал себя постом и молитвой, прежде чем приступить к написанию «Троицы», а сегодня каждый второй — богомаз. Он вчера зарезал человека, а утром, не помыв рук, садится писать Богородицу. По моему убеждению, икон должно быть немного, в храме не более дюжины, причем, в каждой церкви свои почитаемые. Ты знаешь, сколько в Русской Православной Церкви святых, на каждый день по десятку, а иные общим числом именуются «пострадавшие там-то», и на всех иконы писаны.

— Боня, остановись, прошу тебя, ты и себя и меня неволью в грех вводишь.

— Успокойся, Тима, я прошлый месяц весь прожил в общине баптистов, это по ту сторону Горы, они меня звали печи класть. Ты знаешь, они взяли классическое христианство и вычистили из него все лишнее, оставив самое главное — веру, о которой ты так печешься.

— Бог един, — проворчал Тима.

— Возможно, и един, только вот путей к нему много. Баптисты, к примеру, обходятся без помпезных храмов, на которые тратится уйма народных денег, они обходятся без попа, которого называют посредником между Богом и человеком. Они меня спрашивают: «Зачем я должен донести свои мысли и слова до живого человека, порой не менее грешного, чем я, если есть прямой путь к Богу — через слово к нему, через молитву? Тебе известно, что любое слово доходит до Господа? Кто сказал? Да он же! Тогда к чему сочинять мало кому понят-

ные тексты, заучивать их, а потом произносить, полагая, что это молитва. Я знал одну мусульманскую семью, в ссылке, бабушка у них читала Коран, как Левитан. Поинтересовался у нее содержанием, оказывается, она не понимает, что читает, ее научили только читать арабский текст. Баптисты, кстати, не могут понять, зачем на архипастырей православной церкви цепляют столько золота и украшений при всеобщей и почти всегдашней бедности прихожан. Ты не замечал, что это ставит сразу грань между паствой и пастырем: вы овцы, я хозяин? Не замечал?

— Я в святой храм не за этим хожу. Вот про молитву. Святые отцы разрешали излагать прошения к Господу своими словами, если нету грамоты, это я слышал.

— И баптисты замечательно этим пользуются, у них нет толстых молитвенников. Одна женщина так мне поясняла: «Иду я днем новотельную корову в стадо подоить, говорю с Господом, вечером понесла продукты на продажу в соседний поселок — опять говорю. А уж когда в постель лягу, тут большой разговор происходит». «И о чем вы с ним говорите?» «Да обо всем. Что делала — расскажу, о чем думала, какие греховные дела или мысли в голову приходили». «А как же вы определили, что они греховны?» «Мне за них стыдно». Вот настоящая вера. Человеку стыдно за мысли свои, даже если о них никто не знает, он вне чьего-то влияния чувствует в себе Бога, а не это ли главное? Насколько мне известно, Православие при всей своей помпезности и близко не подошло к уровню духовности паствы баптистов. Тима, жаль, что поздно я о ней узнал, непременно примкнул бы.

— Прости меня, Бронислав, ты и ныне, как говно в проруби, болтаешься в смысле веры. Кто вот ты есть?

— В каком смысле?

— В прямом, коль разговор резкий, в таком случае. Ты сам себя кем осознаешь? Вот про Бога ты много наплел, не мне судить, где ложь, а где истина, но про себя не можешь... сформулировать.

— Могу. В детстве был примерным католиком, потом при Дворе в связи с отношениями с известной тебе персоной готовился к православному крещению, искренне. Когда узнал, какая беда случилась с Анастасией, молил Господа спасти ее, совершить такое чудо, чтобы весь мир содрогнулся, но Бог не внял, не счел нужным. И тогда я отвернулся от него. Я сказал ему: «Если ты, всемогущий, не захотел спасти от страшной гибели юное создание, святое, ангельское, за что я могу поклоняться тебе?»

— Ты верить перестал?

— Нет, Тима, я верил в Господа нашего, но не мог поднять руки, чтобы перекреститься, не шел на исповедь, не причащался. Да и католических священников не встречал.

— А баптисты вместе собираются?

— Да, они собираются в большой избе, по-простому одетые, и поют гимны Господу.

— Кто же их сочиняет?

— Да уж не Михалков! Сами и сочиняют. У меня записаны несколько стихов, простота и только, но любви к Богу очень густо. Хочешь — дам почитать.

— Не желаю эту ересь в руках держать.

— Вот первый признак вашего консерватизма и чванства. Вы утвердили такие законы и порядки в церквях и монастырях, что церковная мышь не проскочит без разрешения иерарха. Вы ненавидите зарубежную церковь, а ведь она охраняет традиции Православия, а не та, что служит по расписанию Кремля. У меня волосы дыбом встают, когда священник произносит призыв помолиться и за руководство государства нашего! Как можно так пасть? Ведь борьба продолжается, из стадии расстрелов священства и разгрома храмов в двадцатые и тридцатые годы она перешла в духовную сферу. И что мы видим? Полупьяный поп, который приехал освящать место под строительство твоей церкви, толпа, не умеющая положить креста. И в то же время сусальные лица высших сановников, вещающие с телеэкрана о необходимости прийти к Богу, иначе тебя постигнет Геена Огненная. У меня это вызывает слезы стыда.

— Обожди, но у баптистов должен быть священник, настоятель. Есть?

— Похоже, есть, но он незаметен, ничем не выделяется, ни одеянием, ни торжественными речами при открытии службы.

— Нет, Боня, так не должно быть, во всяком обществе должен быть руководитель, начальник, иначе смута начнется.

— Тимофей, вот ты умный человек, я тебя только за неприятие колхозов святым бы сделал. Ладно-ладно! Но ты все равно стал жертвой социалистической идеологии. Зачем нужен истукан, как ты говоришь, в обществе людей, объединенных одной идеей? Баптисты показывают, что община может самоуправляться через периодически избираемых людей. Разве это плохо?

— Я не сказал.

— Христианству нужны были священники во время массовых кре-

щений, но это своего рода миссионерская деятельность, а потом община должна существовать самостоятельно, иначе все разговоры о религиозности народа — самая настоящая фикция.

— Ты меня к этим баптистам не свозишь?

Боня засмеялся:

— Заинтересовали?

— Посмотреть охота на чудный народ.

— Ладно, давай сено приберем, размело много.

### 13.

#### ПРИТЧА О ПЯТОМ ЕВАНГЕЛИИ

— Тебе, Тима, знакомо имя Герострат? Это тот парень, что уничтожил храм древнегреческой богини Артемиды Эфеской, пишут, что поджег, но в это трудно поверить, храмы складывали из мраморных плит, чему там гореть? Но, видно, огонь был, коли дыма до сих пор полно. Власти запретили произносить его имя, дабы оно было забыто навеки, но надо же всегда помнить, что вот это имя произносить ни в коем случае нельзя, иначе смерть, потому имя это и сегодня известно. Ты думаешь, случайно изъят из древнегреческой истории этот никчемный эпизод? Нет, дорогой, с умыслом. Добрыми делами о себе навечно память оставить трудно, почти невозможно, какой талант нужен, да и труд. А пакость какую-нибудь сотворил — слава обеспечена. Я не доживу, но ты будешь свидетелем нового слоя современных геростратов, имена их сольются с понятиями разрушения, развала, захвата заводов и фабрик, промыслов и городов, даже проститутки и преступники краденым золотом впишут свои имена в историю.

— Твои прогнозы печальны, Боня, ты видишь самые низменные человеческие инстинкты, ты не считаешься с тем, что есть душа, что предназначение человеческому существу высокое и духовное.

— Это так, — согласился Боня, — все это так. Но Господь, создавая человека, не знал о ценностях иного порядка, то есть, кроме духовных он иных и не ведал. Понимаешь, какая коллизия получается? Бог создавал себе подобного, не ведая опасностей, которые поджигают его создание, причем, он сам же все это и придумал, от Вселенной до последней букашки. Это же создатель сотворил золото и драгоценности, все, что потом поведет к так называемому развитию общества. Ему, существу, не знакомому с рынком, с деньгами и акция-

ми, и в голову не могло прийти, что есть иные соблазны, кроме тех, от которых он предостерег в своих заповедях. Он не научил человека совестливой жизни в иных условиях, потому люди и грешат самым элементарным — совестью. Ведь совесть есть мерило всего, для людей ты можешь быть и неверующим человеком, но совесть твоя под Богом, и значит ты праведник. С чем же ты не согласен?

— Со всем, Боня, я не согласен и никогда под твоими суждениями не подпишусь, ибо это есть святотатство и грех. Ты же грамотный человек, Боня, ты прочитал столько, что мне и не доведется никогда, а истину не постиг. Ибо сказано: не учением вера полнится, а сердцем.

— Кто это сказал?

— Неужто я помню? Может, кто из священников, не могу уточнить, да и к чему?

— А известно ли тебе, Тимофей Павлович, что существует не четыре, а пять Евангелий, только пятое, самое откровенное, священники, конечно, те еще, решили спрятать от людей.

— И кто же его писал?

— Это неведомо, но еще в восемнадцатом веке при некоторых европейских дворах читали некую древнюю книгу...

— Боня, сие есть ложь от конца и до начала. Евангелия писались на арамейском языке, кто же мог читать древний мертвый слог?

— Прости, Тима, но ты сейчас читаешь Библию, немало не заботясь о первоисточнике. Конечно, это были переводы, но на языки достойные, древние.

— Любопытно, что же в том Евангелии нового по сравнению с теми, что мне известны?

— Начнем с главного: Иисус не был распят, Понтий Пилат увидел в нем сына нечеловеческого и велел верному начальнику стражи заменить обреченного. Кстати, читал ли ты «Мастера и Маргариту», книга такая, автор Булгаков? Этот писатель очень близко подошел к истине, но не рискнул совершить главного: спасти осужденного. Возможно, он хотел это сделать, но потом испугался времени, он и без того не на тридцать ли лет отложил публикацию романа.

— Ты отвлекся, Боня, от главного: чем же занимался после освобождения Иисус?

— Жил.

— Знамо дело, раз не распнули.

— Жил полнокровной человеческой жизнью. Много ходил и проповедовал, но не призывал ничего рушить, он призывал создавать. Много

храмов построил на земле Иудейской и Арамейской и в иных странах. Он проповедовал о человеке, который по масштабам своим есть Бог.

— Христос с тобой, Бронислав, гореть нам на одной сковороде!

— Ты почему этого боишься? Ведь мы же созданы по образу и подобию Его, справедливости ради, следует заметить, что люди до безобразия исказили образ создателя в себе. Поди, узнай вот в том спекулянте или вон том раскормленном майоре милиции признаки создателя нашего. Важно, Тима, не сколько раз ты молишься, сколько свечей ставишь, а загораются ли сердца от этих свечей. Обожди, Тима, близки те времена, когда каждый будет ходить со свечой. Вот представь себе: стоит пустое место, одетое в дорогие наряды, а в руках у него огромная свеча. И тысячи их таких рядом. Крестные знамения кладут, а в голове черви, нутро прокисло.

— Ты чего-то, Боня, заговорил не то, отвлекся.

— Нет, не отвлекся, а все ту же мысль продолжаю, только ты следи внимательней. А этот примерчик я тебе вставил из службы во Храме Христа Спасителя.

— Свят, свят, Арсений, чего ты несешь, Храм еще до войны взорвали.

— Вот беда на мою голову! Да кто взорвал, тот и поставит на место, только святость, собранную по горсточке со всего народа, туда уже не вложить! Давай дальше: для Господа нашего важно, насколько праведно мы живем. Если душа твоя полна радости и дом полон детей, и люди поклоном встречают твой выход во двор — разве это не жизнь по Христу? И он так просто жил, помогал бедным, увещевал богатых, говорил, что Создатель все на Земле отдал всем людям, и никто не имеет права менять этот закон. Реки и озера и рыба в них принадлежат тому, кто живет на том берегу. Лес с грибами да ягодами всем должен быть доступен, вот как он учил.

— Если только ты не врешь, Бронислав, его должны были убить на второй день, это ж надо — такую вольницу людям дать!

— Ты в самый корень угадал, Тима, это и была Божья вольница. По тому писанию не было судей, потому что никто не преступал, границ не было и воинства, а только хлебопашество да промыслы.

— Диво ты говоришь, чисто сказка! А в оконцовке-то октябрьский переворот!

— Ну, до Октября было еще много чего. Важно про Евангелие. Следы его мой покойный батюшка находил в Варшаве, она ведь не всегда такой захолустной была, я же помню, все-таки тринадцать лет. Но в бумагах его я ничего не нашел, возможно, чекисты забрали.

– Им-то зачем, Боня, если бумаги польские?

– А черт их знает, может, обои в туалетах выклеивали гербовой бумагой. Суть, Тима, в том, что живем мы не по тем законам, они нам подсунуты.

– Ты говоришь про казенные?

– Господи прости, Тимофей Павлович, разве можно всерьез говорить о советском законодательстве? Такого варварства не было со времен римских тиранов. Меня больше занимают законы нравственные, так называемые Божьи, по которым нам с амвона рекомендуют жить. Меня все время смущала эта фраза в Библии: «Бойся Бога своего». Когда стал немножко понимать, нашел подлинные арамейские тексты, у варшавских евреев можно было купить даже кусок хитона Иисуса, но это чушь. А вот текст был подлинный, я за большие деньги отыскал нужное место, все сходится, Бога надо бояться, не любить, а бояться, следовательно, в любой момент ожидая от него неприятности.

– Боня, я прошу тебя больше в свои рассуждения не посвящать, они греховны.

– Вот ты хлопочешь, чтобы церковь тебе разрешили построить. Говорю тебе: они разрешат, строй хоть церковь, хоть мечеть, только самого святого — золотого тельца их не касайся. Ты помнишь появление европейцев в Африке, Южной Америке? Стеклянными бусами взяли народ, а потом согнали в резервации и заставили работать. Но историю сохранили, и сейчас, говорят, показывают настоящие деревни аборигенов, и аборигены в национальных одеждах, и поют свои песни, и пляшут под свои бубны. Только они поют и пляшут не потому, что им весело, а потому что приехала очередная группа богатых европейцев, и они хотят посмотреть местные обычаи. Ты построишь свою церковь, но народ в своем отвращении к жизни такой уже перешагнет черту неприятия Бога, и его будут сгонять по великим праздникам, чтобы показать, что сохранены традиции и культура русских. Да и самих русских почти не будет.

– Боня, тут я с тобой не согласен. Все зависит от вождей. Помнишь, Сталин, когда прижало, и церкви открыл, и семинарии. Потом Хрущев пообещал показать последнего попа. Теперь вот началось обращение.

– Ты в городскую церковь ездешь. Сколько прихожан бывает на службе?

– По-разному...

– Не юли.

— Около сотни, в основном старухи, мужиков совсем мало.

— От тридцати-то тысяч жителей! И ты называешь это обращением к вере? Думаешь, построишь церковь, и повалит народ? Эх, Тима-Тима, ты исполнишь долг, возведешь храм, а люди не воспользуются предоставленной возможностью. Народ очерствел, материализовался. Ты же помнишь, в одночасье он отшатнулся от Господа своего и стал стадом. Было великое по греху своему отречение от Бога. В Евангелии есть пример первого отречения от Христа, падший и сам еще не знал своего падения и на безобидное, в общем-то, замечание Учителя, категорически протестовал, неистово, и Иисус успокоил его: «Еще и петух не пропоет нынешней ночью, как ты трижды от меня отречешься». Помнишь? Но Петр устыдился и проклял свое отречение, и всей жизнью последующей замаливал, заглаживал свою минутную слабость, которая, впрочем, и вреда-то никому не принесла. А эти? Да они будут хохотать над страхом его и над памятью той любви к Господу.

— Мы тут с тобой никогда не сойдемся. Церковь я построю, исполню обет свой, а там как хотят. Ох, друг мой, молись, затмился разум твой от горя. Молюсь и я, в таких случаях...

#### 14.

Онисимов набрал номер и долго ждал ответа. Сигналы шли, но никто не поднимал трубку. Он подумал даже, что не судьба, и девушка эта, виденная однажды, так и останется тонким и зыбким воспоминанием. На что он надеялся? Да не было никаких надежд и планов, просто очень хотелось еще раз увидеть ее, услышать голос. И вдруг:

— Да, слушаю.

— Здравствуйте, я бы хотел услышать Анастасию.

— Это я, здравствуйте.

Он растерялся:

— Здравствуйте, Анастасия, простите за беспокойство, это Никита Онисимов, ваш коллега, помните, на праздновании работников сельского хозяйства книгу вам подарил?

— Конечно, помню, с удовольствием прочла вашу книгу. Вы откуда звоните?

— Я где-то рядом с вами, в городе.

— Адрес студии знаете?

Она встала ему навстречу и подала узкую длинную ладонь, он хо-



тел было поцеловать ее, как тогда, при прощании, но стушевался, легонько пожал и задержал в своих руках.

— Анастасия. Можно, я буду говорить правду и только правду? Не удивляйтесь, я могу слегка лукавить и не сказать всего, может быть, это вас устроило бы больше, но я хочу всю правду и сегодня, сейчас, потому что не уверен, будет ли у меня другая такая возможность.

— Вы странно говорите.

— Ничего удивительного, ведь я только физически в этом мире, а душой далеко в прошлом, удивительно ли, что пишу о девятнадцатом веке? Возвращаюсь сюда не за впечатлениями и чувствами, их тут нет, вынужден возвращаться, потому что есть плоть, это ее потребности. Я так обрадовался, увидев вас, которую как будто только что оставил где-то в усадьбе в окружении кузин и тетушек, и вдруг вы на этом чванливом вечере среди суесловия и полуделикатного хамства. Вы стояли у входа, как будто случайно сюда пришли, случайно оказались в этой массе, да вы и были чужой. Выражение вашего лица указывало на внутреннее неприятие всего происходящего, я понял сразу. Вы давали какие-то советы своему оператору и были безразличны. И ваше платье, нет, теперь таких не носят, уверен, что из театрального гардероба, только откуда он в вашем скромном городке?

— Моя старшая сестра модельер, она в Омске.

— Впрочем, вас одеть несложно, такая фигура, даже просто обернутая тканью, заставит мужчин смущаться. Я вел себя рискованно, несколько раз проходя мимо вас, будто делая снимки зала с разных точек, ничего похожего, я любовался вами, очевидно, это трудно было скрыть.

— Я не заметила.

— Вы сделали вид, что не заметили, потому что, когда я заговорил с вами, нашел повод: узнал телеведущую, когда-то помешавшую мне провести интересный разговор с главой вашего района, — вы были уже готовы к нашей встрече.

— Конечно, я ведь тоже узнала вас.

— Скажите, как вас зовут? Анастасия — это очень красиво, но есть другие имена: для мамы, для приятного мужчины. Нет, я ни на что не претендую. Можно, попытаюсь угадать? Тася, Настя с уменьшительными и ласкательными вариантами, а еще?

— Мне больше нравится полное имя.

— Странное совпадение, три мои дочери носят имена дочерей Государя Императора Николая Александровича, Ольга, Татьяна и Мария. Следует уточнить, что это чистая случайность, тогда я не знал

семьи своего Государя. Вы будете дополнять в моем сознании недостающую Анастасию, даже не спрашиваю вашего на то согласия.

— А как мне вас называть?

— Представляю ваше состояние: по имени нельзя, слишком солиден, с отчеством — я не соглашусь, пока комплексую, возможно, скоро привыкну. Теперь называют по отчеству не из уважения, как в старину, даже молодых людей принято было величать, а скорее формально, не хочу! Зовите меня по фамилии, правда, это нейтрально и не задевает самолюбия.

— В книге, которую вы мне подарили, есть биографическая справка, вам пятьдесят?

— Прощаю вашу простоту, книга вышла два года назад, я уже старше. Анастасия, вы ни о чем не должны беспокоиться, я не дам и малейшего повода, чтобы мой возраст бросил тень на вашу репутацию. В администрации мне сдали вас с головой: вы не замужем, окончили педагогический, строги и самостоятельны. Не думаю, что юноши не вьются за вами, но, должно быть, это происходит в нерабочее время, и я не стану помехой.

Она засмеялась тихим и искренним смехом:

— Разочарую вас, у меня нет поклонников. Ни одного.

— Ни за что не поверю, что у молодых людей этого города совсем нет вкуса.

— Есть, но он испорчен, сейчас конец двадцатого века, а не девятнадцатый, неужели вы так не знаете жизнь?

— Знаю, к сожалению, и знание это крадет у меня много внутренних сил, приходится думать о вещах, мне совершенно не нужных, но требующих объяснения, толкования, предостережения.

Загудел ее мобильный телефон, она открыла аппарат, он поднялся и отошел к окну. После короткого разговора Анастасия встала рядом. Под ногами шли люди и бежали машины, городок приближался к вечеру.

— Через четверть часа вернется наша группа со съемок. Вас это не испугнет?

— Только в том смысле, что я уже не смогу немотивированно у вас появиться. Я должен уйти?

Она посмотрела ему в глаза:

— Знаете, Онисимов, мне не хочется расставаться с вами, но я ничего не могу предложить.

— Тогда позвольте мне. Местным домом отдыха заведует моя знакомая, я иногда пользуюсь ее гостеприимством, работаю по неделе и

больше. Для такого случая у нее всегда есть свободный номер. Я вас приглашаю. Моя машина у подъезда. Десять минут на магазин и столько же на дорогу.

В магазине он накопил большой пакет фруктов и попросил красиво завернуть три розы.

Анастасия с улыбкой приняла цветы и подозрительно посмотрела на пакет.

Он перехватил взгляд:

— Вина там нет, пусть вас это не беспокоит. Когда будет возможность, я попрошу вашего совета, какое вино взять.

Комната была хоть и казенной, но обставлена мило: толстый ковер укрывал пол, два глубоких кресла располагали к отдыху, широкая кровать закинута серым пледом. На столе тонкая ваза для цветов, Анастасия налила воды и поставила розы. Никита помыл фрукты. Оба молчали.

— Вы простите мое смущение, — он дождался ее взгляда. — Я сам напуган собственной дерзостью, пригласив вас в первый день знакомства в столь интимную обстановку, потому путаюсь, не знаю, как себя вести.

Неожиданно она засмеялась:

— Это вы-то не знаете? Судя по вашим книгам, нет ситуации, в которой не бывали бы ваши герои, я имею в виду с дамами.

— Так то герои! — он тоже рассмеялся. — Это им я мог подсказать, а когда самому надо выбирать линию поведения, смущаюсь. Тем более, когда женщина... когда это просто очень красивая девушка.

— Давайте разрядим напряженность.

Она встала с кресла, подошла к нему, прохладными руками, от которых, он успел заметить, пахло розой, легко коснулась его щек и мягкими сухими губами прикоснулась к его губам, он попытался было сделать движение — она приложила пальчик к его подбородку:

— На сегодня этого вполне достаточно. Я не могу скрывать, что вы мне очень приятны, даже симпатичны, ту встречу на праздновании помню и весь наш разговор тоже, но вы не появлялись полгода. Я уже подумала, что вы мне дежурных слов наговорили.

Он смотрел на нее с восторгом:

— Я так страдал, так много думал о вас, вы мне работать мешали, но ехать к вам боялся. С одной стороны, надеялся, что это пройдет, забудется, с другой — а куда ехать? Я даже телефон ваш не взял, даже телекомпанию не знаю, ничего, кроме имени.

— Вы всегда так откровенны?

— Теперь всегда, у меня мало времени на лишние условности, я тороплюсь жить. О, а как страдал в юности! Мальчишкой был мелкого роста и худым до неприличия, в четырнадцать лет в среднюю школу пошел, в соседнее село, а там девушки такие симпатичные! Как я плакал! Ведь надежд никаких, кто поверит, что в таком тщедушном тельце сгорает настоящая юношеская любовь? Этакое несоответствие формы и содержания. В окружающем меня мире мне не было места, и я ушел туда, где не важны красота и фигура. Я увлекся русской классикой, мне легко и свободно было в темных бунинских аллеях, я понимал размышления Родина о человеке, проникался философией Льва Николаевича, наслаждался природой и женщинами Тургенева. Потом случайно, а, впрочем, и эта случайность закономерна, познакомился с сотрудницей областной библиотеки, она присылала мне книги из закрытых фондов. Представьте себе, почти все, изданное в России, у нас было, но следовало беречь нервы простого человека, который уже был убежден, что с семнадцатого года началось новое летоисчисление. Да, кстати, о форме и содержании, кажется, я снова впадаю в детство, мой возраст и, соответственно, наружность, не дают права на любовь к юной девушке, но что делать, если продолжаю влюбляться, живу этим и хочу страдать только от чувства?

— Как жена с вами мучается все это время?

— Уже никак. Дети подросли и мы расстались. Я в быту сложный человек, около меня сложно, потому лучше жить одному, чтобы не портить жизнь другим.

Анастасия отрезала ломтик от большого яблока, надкусила.

— Онисимов, вы верующий человек?

— Это некорректный вопрос, но вас прощаю, потому что не из праздного любопытства, вы пытаетесь понять, насколько я настоящий. Так извольте, есть такая категория людей, да она и всегда была, людей богобоязненных, но без веры. Не понятно? Веру в Бога дает сам Бог, ни среда, ни общество, ни семья не способны обратить в веру. Не способны, но способствуют. Православие очень консервативно, даже агрессивно консервативно, оно тщательно охраняет традиции и не допускает своемыслия. Считается, что все уже давно решено, до нас святые отцы отделили зерна от плевел, многие поплатились за это жизнью и потому объявлено, что они нашли истину. Эта истина внесена в книги и провозглашена бесспорной. Всем остальным остается только верить, всякое сомнение порождает неверие, потому ис-

ключено. Я много об этом думал и даже пытался через одного героя порассуждать об этом в книге, но позже нашел, что в понимании Бога есть несколько уровней, ступеней, как угодно называйте, и ближе всех к нему монахи. О, это святые люди!

– Вы много их знаете?

Никита улынулся:

– Анастасия, если кто-то со стороны услышит наш разговор, определенно признает нас ненормальными, по крайней мере, мужчину. Вдвоем в комнате, а о чем речи? Ему надо стоять на коленях и воспевать ее красоту, добиваться снисхождения хотя бы до поцелуя ручки, а он о монахах.

Анастасия тоже улыбнулась, но без кокетства:

– Вам мало моего признания? Я первая поцеловала вас, это дерзость недопустимая, но моя уверенность в вашей воспитанности и порядочности позволили мне это сделать. Или я ошиблась, и вы приняли мою искренность за фривольность?

– Вы напрасно кушаете яблоко, с него началось познание истины и вообще грех, – сказал он вполне серьезно. – Когда я приглашал вас сюда, у меня не было мысли даже о столь невинном поцелуе, который вы уже пытаетесь отнять у меня. Быть рядом с вами, говорить, слышать вас – вот счастье. Потому я охотно рассуждаю на темы, которые обычно оставляю для бумаги.

– Онисимов, умоляю, продолжайте.

– Мне знакомы несколько монахов, ушедших из мира вполне благополучного, из хорошего окружения, с достойной работы. Согласитесь, что с монашеством у большинства людей связано представление о чем-то мрачном, часто неполноценном, как правило, несчастном. А они счастливы. Счастливы верой. У них и нет ничего более, семьи нет, дома, жизни человеческой в общепринятом смысле, но у них полноценная жизнь, потому что вся она заполнена любовью к Господу. Это невозможно постичь со стороны, с вашим подходом, но наше счастье в том, возможно, и состоит, что есть в России несколько человек, сто, тысяча, для которых жизнь есть Бог, они молятся и создают. Вы знаете Свято-Троицкий монастырь? А церковь Воздвиженья Креста Господня? Из руин их поднял монах Тихон, маленький, слабый человек с голосом подростка. Но какая в нем сила! Я как-нибудь представлю вас, очень надеюсь, что будет у нас такая возможность, он примет, исповедует, если захотите.

Она молча кивнула, не желая перебивать его мысль.

— Священство занимает другую ступень, у меня странное к этому отношение. Апостолы, которых Господь отправил во все стороны света нести благовест, Евангелие, были монахами, видимо, позже их последователи стали отходить от жесткого устава, обретали постоянные приходы, обзаводились семьями. Но их вера крепка должна быть, иначе лицемерие перед паствой, а это большой грех.

— Но ведь и среди простых людей есть глубоко верующие, ведь есть?

— Наверное, есть, но больше богобоязненных, не верующих, но опасющихся: а вдруг Он есть? Такие иногда ходят на службы, ставят свечи, носят крестики.

— Вы их осуждаете?

— Отнюдь, я ведь смотрю на жизнь изнутри, а не с церковного амвона, для меня важно, как живет человек, как он относится к ближнему, насколько выполняет заповеди, о существовании которых и не догадывается. Вот в чем вопрос. Не со свечой стоять в церкви, а жить со свечой в душе.

— Значит, в вашей душе есть свеча?

— Очень бы хотелось, но писателю практически невозможно быть праведником. Вы читали Достоевского?

Анастасия кивнула.

— Не того, что в программе школы или института, а письма, дневники. Нет в русской литературе писателя, больше сделавшего для воссочеловечивания Божественной идеи, никто так близко не подбирался к тайнам души, а ведь это божественная тайна. И в то же время — грешник, подвержен страсти, рулетка, деньги, долги.

— Но не было же страсти обогащения?

— Была страсть, и все тут, а всякая страсть есть грех, потому что человек перестает руководствоваться данным ему разумом, но азартом, а это уже от лукавого. Мне очень хочется верить, что Господь сознательно толкнул Достоевского на этот путь, он и здоровье отнял, дал ему падучую, чтобы человек всякий раз настолько приближался к вратам ада, что возвращение воспринимал как счастье, а только страдающий человек может написать искания Мити Карамазова, самооправдание и самообвинение Раскольникова, а какова у него Сонечка, первая проститутка русской литературы, да ее по чистоте душевной можно рядом с тургеневскими женщинами ставить!

— Не прячьтесь за Достоевским, я хочу о вас знать.

— Анастасия, в контексте размышлений о великом я не могу говорить о себе, вам кажется, что я с претензиями — нет, я сознаю свою

малозначительность, и от того мне горько. Хотелось бы иметь талант, но, когда его нет, пытаюсь восполнить чувствами. Два мои романа о русском дворянстве родились из знания, если угодно — общей культуры. И тоски по России, по настоящей. Тоска рождает порой большие чувства.

Она давно уже сидела в обширном кресле, поджав под себя ноги, округлые колени мешали ей выглядеть скромно, жакет, брошенный на плечи, укрывал ее всю. Он замолчал, сел напротив, с улыбкой смотрел ей в лицо, совсем незнакомое, но ставшим родным за последние полгода и только в одном ракурсе, в котором удалось незаметно сделать снимок в тот вечер. Там роскошные локоны ниспадали до плеч, сегодня они были прибраны и заколоты в узел; лоб не был столь высок, а подбородок настолько надменным, живая улыбка чуть растягивала пухлые губы.

«Все-таки она красавица, — подумалось Никите, — и я буду долго безутешно страдать».

— Почему вы молчите? Вы так и не ответили на мой вопрос о себе.

— Давайте оставим это для другой встречи, я хочу надеяться, что она состоится.

— Вы сегодня уезжаете к себе в деревню, как пишете в биографической справке?

— Уеду. Мне надо закончить одну работу, не очень сложную, это почти биографическое, но работа важна для меня, совершенно неожиданно почувствовал, что хочу, чтобы люди знали обо мне больше.

Она открыла сумочку:

— Вот карточка с моим мобильником, позвоните.

— Я могу долго не позвонить, потому возьмите мой номер, вдруг будет нужда. Моя мнительность приносит одни неудобства, звонить — значит отрывать от дела, а если дело это для человека в настоящий момент самое важное, и тут ты со своим звонком. В добрые старые времена общались письмами, даже записками, они заменяли телеграммы, письма были пространными, обстоятельными, с подробностями, в них время и человек. Я в Тобольском архиве нашел несколько папок переписки двух семейств, аккуратные люди сложили в порядок черновики посланий и полученные ответы. Через письма открылась жизнь, замечательная история, которая и стала потом романом.

— Это «Благословение»? Но там нет писем.

— И быть не должно. Пожалуй, вы первая, кто об этом знает, даже архивисты считают, что я работал над диссертацией. Впрочем, грех

не велик, но я бы предпочел эту тему не развивать. Просто я хотел показать вам, сколь мы обедняем сами себя, отказавшись от переписки и перейдя на голосовую связь.

— Онисимов, мы провели три замечательных часа, хотите откровенность за откровенность? Я все время сомневалась, что ваша скромная интеллигентность не наиграна, все ожидала проявления неких претензий, тем более, что неожиданным для самой себя поцелуем дала, кажется, повод думать обо мне ... проще. Мне очень приятно, что опасения напрасны, вы все-таки настоящий.

— Не перехвалите меня.

— Нет. — Она встала. — Мне пора. Дома у меня мама и двухлетняя дочь.

— Почему вы о ней не сказали раньше?

— Не было повода. И не надо больше вопросов. Вы меня отвезете?

По вечернему городку ехать приятно, мягкий свет фонарей создает сказку, прохожих немного. Она попросила остановиться около углового дома, подала ему руку и вышла. Никита почувствовал, что могло случиться или уже случилось что-то важное, значения которого ему пока не дано знать. Он уже умел не торопить судьбу, выехал на кольцевую дорогу и через полтора часа вошел в свой рабочий кабинет. Из факса торчал лист с текстом.

«На издание новой книги согласен на следующих условиях: в религиозных рассуждениях, без которых вам не обойтись, насколько я понимаю жанр и тему, никакого антисемитизма, желательно вообще обойти еврейский вопрос; объем в пределах десяти листов, тираж пятьдесят тысяч, больше мне не продать; названную ранее цену удвойте и соглашайтесь. В договоре будет обозначен аванс в четверть суммы и неустойка в случае невыполнения вами обязательств по срокам, размер которой определите сами при подписании. Ростберг».

Никита вздрогнул: в свое время точно такое же условие поставил издатель Достоевскому по неустойке: «Определите сами!», и Федор Михайлович вписал огромную сумму. Издатель заметил: хватило бы и десятой доли, но писатель ответил дерзко, что ни той, ни другой суммой не располагает, потому они обе для него одинаково неподъемны.

Несколько суток смешались в его сознании, ночь ото дня он уже не отличал, плотно закрытые ставни крепкого деревенского дома не пускали дневной свет, он ложился в раскинутое кресло, когда уже не было сил, вставал, проспав пару часов, и снова садился за компьютер. Когда писание заходило в тупик, он выходил во двор и старался



ни о чем не думать, кроме тех людей, которые там, на экране, не хотели следовать его указаниям идти туда-то и говорить именно это. Он уже знал: если они противятся, значит, он не прав, их логика сильнее, и ему надо ее постичь. Как же это непросто!

Еврей Шмуль появился в повести совсем не случайно, Онисимову нужен был преподаватель музыки в открытую Диной школу, Дина обращается к своим знакомым в Екатеринбург, и двоюродная сестра папы рекомендует им некоего Бриллера как очень способного музыканта и учителя. Бриллер только что окончил обучение их дочери, и она зачислена в музыкальное училище. Все согласовано, приезжает молодой и красивый юноша, Дина влюбляется в него с первого взгляда, Шмуль живет в дальней половине их дома, занятия проходят нормально и папа доволен. Но молодые люди находят-таки способ выдать друг другу свои чувства, и верный садовник, ровесник и даже друг папы, докладывает отцу о своем неожиданном открытии: учитель и ученица встречаются не только в классе, но и в самом укромном месте большого усадебного сада.

Не будь учитель евреем, Онисимов без особых трудов развел бы эту пикантную ситуацию, тем более, что в его папках были описания нескольких похожих случаев, вычитанные им в случайных архивных письмах, но национальность одного из главных героев повести позволяла выйти на серьезные размышления о роли и месте этих людей в революционных проблемах России, о мотивах их активного проникновения во все структуры, сколько-нибудь недовольные самодержавием. Он так увлекся этим направлением, что совсем забыл о просьбе издателя не трогать евреев ни под каким предлогом.

Очевидно, этим предостережением придется пренебречь, даже если он вынужден будет искать другого издателя или издавать книгу, собирая средства по знакомым деловым людям. Придется, потому что, если отказаться, опять зависнет давно мучающий его вопрос: почему люди этой национальности, весьма условно ограниченные Империей в правах, так охотно и плотно пошли в атаку на царизм, а потом и на православие? Надо найти подтверждение широко бытующему мнению, что мировой сионизм специальным документом, условно называемым «Протоколы сионских мудрецов», поставил задачу вынуть из России два стержня, на которых стоит русская государственность: наследуемое царствование и православную веру. Подтвердить или опровергнуть эту позицию.

«Протоколы» он изучил досконально и крепко сомневался, что все

это — фальсификация, как пытались убедить все официальные источники и в советское время, и теперь. Аргументы самые простые: все установки этого документа выполнены полностью, его идеи нескрываемо вдохновляли плохо говорящих по-русски народных комиссаров на продразверстку, несущую гибель крестьянам, а потом и восстание против властей, на уничтожение наиболее разумной и предприимчивой части крестьянства — раскулачивание, на почти поголовное уничтожение казачества во всех краях страны. «Протоколы» в двадцатые годы были запрещены под страхом смерти, и у него были записаны несколько случаев, когда целые семьи вырезали, узнав, что в доме читали этот крамольный документ. Есть еще один любопытный аргумент. Примерно те же «протокольные» идеи содержала так называемая доктрина Аллена Даллеса, и она тоже реализована с помощью внуков и правнуков героев Октябрьского переворота. Между Октябрем и Даллесом появляется фигура Сталина, который отказался от благословленного Лениным плана Троцкого по милитаризации русской деревни и крепко почистил страну от евреев. То же самое в Германии делал Гитлер. Если у Сталина была политическая борьба, то чем мешали еврею Адольфу? Откуда у него сатанинская ненависть к этой нации? Наконец, почему так детально совпадают позиции по этому вопросу руководителей двух государств, более ни в чем не находящихся общего языка? На эти вопросы ответов нет. Все существующие версии Онисимов знал и не считал их объективными: в разработке и обосновании позиций ведущими специалистами и консультантами были все те же евреи.

## 15.

Несколько раз выводил на экран мобильного абонента «Анастасия», оставалось только нажать правую кнопку, но всегда нажимал левую, отбой. Что сдерживало? Ощущение серьезности нового увлечения и его неуместности одновременно. Он умел, сжав ситуацию до размеров лимона, выжать из нее сок, все остальное не интересовало, и этот прием практически не подводил его, «сок» отстаивался или быстро закисал, в последние годы вообще никаких серьезных романов. Он нашел в себе силы не очень обольщаться вниманием, которое она ему оказала, в конце концов, они провели это время, как два приличных человека. Он не придавал особого значения ее невинному поцелую, хотя не мог найти ему место в своей системе: и без этого беседа прошла бы вполне доверительно, поцелуй имел бы смысл, если

бы имел продолжение. Черт его знает, полвека прожить, и до такой степени не знать женщин, что нестандартный поступок девушки привел в смущение и душевный трепет!

Продолжать отношения возможно только при наличии обоюдного в этом интереса, но он жесткий реалист, при всей любви к себе и снисходительному отношению к собственному возрасту понимал, что перспектива устойчивости этого варианта равна нулю. Да, сейчас он ей интересен, пожил чуть дольше, знает чуть больше. Вот и все. Наступит момент, когда он начнет повторяться в занимательных историях или фактах, она простит это раз, другой, потом поймет, что рядом с ней такой же мужик, как и десятки других, только чуть воспитанней и немножко образованней, зато старше и подержаннее, чем другие.

Если он хорошо понимает это, почему не позвонить и не сказать, что встреча больше не состоится, потому что в ней нет необходимости? Э-э-э! Не все так легко! Эта девочка не просто так появилась в его суетной жизни. После первой встречи прошло больше трех месяцев. Что заставило его в городской администрации взять телефоны телестудии и позвонить, пригласив к аппарату Анастасию? Он только потом понял, в какой глупой ситуации мог оказаться, будь в редакции не одна сотрудница с таким именем. Он боялся, да, он хорошо это помнит, очень боялся, что она уже и забыла о случайном знакомстве с солидным журналистом, о скоротечном разговоре на приеме, что он может услышать: «Онисимов? А кто это? А! Вспомнила! Что вы хотите?». Нет, все получилось намного лучше, но лучше ли? Почему он, знающий себя до последних психических тонкостей, до сих пор не может дать себе ответа на этот простой вопрос?

В очередной раз поехав в город, он решился все-таки и послал ей сообщение: «Буду рядом. Очень хочу видеть вас». Ответ пришел сразу: «Не уверена, что вечером буду свободна. Созвонимся». Звонить он не стал, вернулся домой поздно, набрал для нее один текст, второй, что-то напутал, так и не понял, прошли сообщения или нет. Всю ночь писал свой роман, под утро уснул в кресле, уже в десять часов отправил Анастасии текст, проследив, чтобы последовательность операций была соблюдена. «Звонить не стал, учитывая вашу занятость. И впредь постараюсь не беспокоить. Книги перешлю почтой». Она ответила тут же: «Моя занятость постоянно влияет на все стороны моей жизни. Простите. Помню о вас».

Никита несколько раз перечитал сообщение. Да, девушка была не очень свободна в тот вечер, такое случается, но при чем тут постоян-

ное влияние, надо полагать, негативное, этой пресловутой занятости «на все стороны». На какие? Это чем же таким надо заняться, чтобы отказаться, например, от встречи с молодым человеком, если он у неё есть? Конечно, есть, тут и сомнений быть не может. Ба! Да она с ним и была в тот вечер. Идиот, думающий только о себе, почему ты сразу не предположил самый реальный вариант? Спокойно, что нового в этом открытии, ведь ты и раньше допускал существование того, другого, правда, не воспринимал его как соперника. Вот в чем суть! Не соперник он был, а так, где-то живущий молодой человек, имеющий виды на девушку, которая, как хотелось Никите, немножко им увлеклась.

Конечно, надо использовать образовавшуюся паузу для завершения этого неудачного знакомства. Ты только посмотри, как внешне все пристойно и деликатно: никаких разборок, упреков, обид, два очень деловых и занятых человека решили от личных контактов перейти сначала к мобильной переписке, а потом и вовсе к старой доброй почте. Он собрал несколько книжек, ею нечитанных, распечатал на принтере главы романа, которые могли быть ей интересны, и написал письмо.

«Дорогая мне...».

Он споткнулся о ее имя, кровь ударила в виски, как бывало в минуты сильного душевного напряжения. Потом продолжил:

«Вот и все, что я могу сказать, даже имя Ваше не нахожу способа столь же нежно и трепетно перенести на бумагу, как чувствую его и как боготворю. Знаете ли Вы, что имя Ваше полное — Анастасия — на греческом значит «воскресшая», а вечная моя, преступная и нереальная любовь, Княжна Анастасия, именовалась среди своих странным словообразованием Стана. Это надо же было умудриться придумать такое, так переменить местами слоги и даже буквы, чтобы получить столь неожиданное — Стана. Я бы хотел Вас так называть, если бы для того были у меня возможности.

Обо всем этом Вы прочтете, коли захотите, в тех отрывках, которые присылаю.

Человек слаб, мужчина, как самый порочный его вариант, слаб кратно, и, когда его уже покидают силы физические, когда он может значительно меньше, чем желает, он никак не хочет с этим смириться и продолжает жить на волне ранее обуревавших его чувств. Это в большей мере свойственно натурам, которые возомнили себя творческими, претендуют на некое особое положение и права, считают, что на них упала частица таланта, так щедро разбрасываемого Созда-

телем и так неуловимого. Таков и я, к сожалению. Однажды увидев Вас, я был поражен Вашей красотой и, по крайней мере, внешним благородством, уйдя от Вас, всегда думал о гордой и невозмутимо строгой молодой женщине, безразлично взиравшей на происходящее. Вы проникли в меня, заставили возродиться или вновь появиться из ничего каким-то мыслям и состояниям, и они привели, наконец, к началу работы над давно живущим во мне материалом.

Вы совершили, впрочем, уже исправленную ошибку, своим милостивым ко мне отношением при первой встрече дав надежду безнадежному человеку на то, что он еще может на что-то рассчитывать. Конечно, даже в фантазиях, столь мне свойственных, не уходил я за пределы разумного, полагая, что просто общение, возможность видеть, говорить и иногда, как бы случайно, коснуться руки Вашей — это уже радость, это охапка сухого хвороста в угасающий костер.

Вашу ссылку на занятость в день моего обращения я воспринял как деликатный намек на то, что у Вас просто нет времени на такие пустые, в общем-то, встречи. Вернувшись из Ишима в состоянии потерянным и униженным, я сочинил сначала одно, потом второе телефонное сообщение, чем почти никогда не пользуюсь, но в этом случае «заочный разговор» был самым приемлемым, а, нажимая кнопки, я не был уверен, что вы получили эти сообщения. Они были удивительно интересны, и жаль, что утрачены. Тогда утром сочинил новое, более простое, и получил ответ, что все нормально, ты все правильно понял, но, в утешение, имей в виду, что ты где-то в памяти остался (как чудак, как странный, как не совсем дурак). Уж лучше бы вы отшили меня в первом телефонном разговоре. Никита».

Зная свою переменчивую натуру, он научился не принимать скоропалительных решений, письмо было им хорошо продумано и казалось окончательным, но он, в силу проверенной привычки, отложил его отправку. А утром следующего дня письмо сжег, только файл в компьютере оставил, не зная, зачем. Ничто не изменилось в его понимании ненормальности их отношений, ни новых надежд, ни продолжения разочарований, просто он посчитал письменное объяснение трусливым и недостойным, надо найти в себе мужество сказать все глаза в глаза.

Позвонив ей поздним вечером и услышав родной и приятный голос, Никита утратил былую решимость и сказал только, что завтра по делам, он подчеркнул это «по делам», будет в городе и спросил, сможет ли она «при ее постоянной занятости» найти для него пять

минут. Конечно, язвительность его интонации и цитата из ее СМСки не могли быть незамеченными, она засмеялась и вышибла у него все карты из рук:

— Представляю, какую картину вы нафантазировали. Приезжайте, я буду ждать. Весь день. Вы хотя бы это способны понять?

Она отключила связь, и Никита долго еще сидел, прижав мобильник к уху.

Никита не сразу согласился пойти к Анастасии в гости, она настаивала, говорила, что мама с интересом прочитала его книгу и будет рада принять такого гостя. На крыльце скромного дома в пригороде их встретила очень аккуратная худенькая женщина, похожая на девочку, с приятным, хотя и немолодым лицом, она, конечно, знала о госте и ждала. Никита подумал, что они почти ровесники, но приглашен он был как знакомый писатель дочери, потому особого смущения не чувствовал.

— Никита, это моя мама, Наталья Петровна, мама, а это тот самый Никита Онисимов. Знакомьтесь.

Никита слегка пожал протянутую руку, сел в старинное плетеное кресло, Наталья Петровна в нескольких словах высказала свое доброжелательное отношение к прочитанному роману «Благословение» и, вопреки опасениям автора, больше к этой теме не возвращалась.

— Пока мама готовит стол, я хочу показать вам наши семейные альбомы. Удивляюсь, как фотографии начала двадцатого века могли сохраниться, ведь такие события прокатились.

Больше всего в гостях его интересовали семейные альбомы, не современные, с прозрачными карманами под снимки, а старые, где фото еще на картоне, прочно приклеены к альбомному листу либо аккуратно вложены в заранее наклеенные уголки. Это были, как сейчас говорят, постановочные снимки, члены семьи или сослуживцы занимали каждый свое место: муж по центру на стуле, жена слева, старшие дети по краям, младшие на коленях отца или вповалку у родительских ног. Никита всегда поражался огромному внутреннему достоинству этих людей, они открыто и прямо смотрели в объектив, как в будущее, взгляд отражал ум, осанка — самоуважение. Он сотни таких снимков видел, десятки описал для себя и хранил на всякий случай.

Один альбом был очень ветхим и сразу привлек внимание, Никита открыл первый лист. Фотография явно дореволюционная, глава семьи в мундире чиновника довольно высокого ранга, очень краси-

во одета стройная женщина рядом с ним и мальчик лет десяти в мундирчике гимназиста. На второй странице глава семьи, видимо, с сослуживцами, тут обозначен год и адрес: Варшава, 1910. Далее другие группы, видимо, родственники, потом снова та же семья, только мальчик уже повзрослел и сменился адрес: Санкт-Перербург. Никита немного растерялся: это семья Анастасии? Он смотрел снимок за снимком, находя на них уже знакомые лица, потом фотографии закончились, и пустые листы гляделись виновато и грустно, как будто на них должна быть записана жизнь этих людей, но они не сумели или не смогли ничего сделать.

Наталья Петровна пригласила к столу, все было скромно, но выглядело аппетитно. Куриный суп, который Никита терпеть не мог, потому что в дни непрерывной работы питался исключительно отварными окорочками, он ел с видимым удовольствием. Хорошо приготовленное мясо он похвалил и принял предложенную добавку. Домашние пирожки с грибами, с капустой, с картошкой чуть напахнули детством.

— Вы знаете, Наталья Петровна, я родился и вырос в деревне, время не самое богатое, потому пирожки всегда были праздником. Вот и сейчас мне вспомнился наш домашний стол с горкой пирожков. Спасибо вам, уверен, что это все очень вкусно, но лимит исчерпан, пирожки как-нибудь в другой раз.

— А я вам их заверну, дома разогреете и покусаете, не возражаете?

— Спасибо, конечно, не возражаю.

Анастасия тоже встала изо стола:

— Мама, мы будем в моей комнате.

Когда они остались одни, Никита попросил Анастасию сесть напротив. Она с улыбкой села.

— Вот этот альбом, со старыми фотографиями — это ваши родственники?

— Да, в пятом поколении, а тот мальчик — мой прадедушка.

— Вы что-то о них знаете?

— Ничего совершенно.

— Тогда почему уверены, что он прадедушка?

Анастасия поднялась и встала у стола:

— Это какая-то темная история, мама говорит, что ее знала только бабушка, но она была не очень грамотной женщиной и, видимо, очень осторожной, ничего не сказала даже родной дочери. Известно только, что ее отец, вот тот мальчик, уехал на заработки и пропал, больше

в семье не появлялся. До последнего времени говорить на тему происхождения не было принято, потому я не особо интересовалась.

— А как сохранился альбом? В двадцатые годы это даже не тюрьма...

— Когда прадедушка собирался уезжать, он уничтожил все, что могло хоть как-то скомпрометировать семью, но часть бумаг, и этот альбом тоже, спрятал. Да, потом он возвращался, буквально на несколько дней, и снова уехал. Дочь назвали Анастасией, это бабушку мою, и прадед просил, чтобы в каждом поколении нашего рода была Анастасия.

Никита побледнел:

— Все это очень странно, но почему.. Наталья Петровна...?

— В сельском совете записали Натальей, сказали, что Анастасия — буржуазное имя, а возражать бабушка побоялась.

— Стало быть, вы тоже выполняете этот странный завет?

Анастасия пожала плечами:

— Получается, что так, хотя почему он возник у нашего предка — этого мы уже никогда не узнаем. Кстати, есть единственная фотография, где прадед с женой и маленькой дочерью, моей бабушкой.

Анастасия принесла и положила перед Никитой карточку в рамке. На пожелтевшей фотографии молодая женщина с девочкой на руках, рядом мужчина в простой одежде. Никите вдруг показалось, что уже видел это фото. Нет, конечно, показалось.

У него пропало настроение, и чуткая Анастасия это заметила:

— Никита, что-то не так? Вам у меня не нравится?

Он с благодарностью посмотрел ей в глаза, неожиданно трогательная забота, так умеют только женщины, когда их действительно волнует настроение мужчины.

— Вы переменялись...

— Ничего не могу объяснить, но эти фотографии почему-то тронули меня, может, потому что вы имеете к ним прямое отношение? Нет, тут другое, какое-то стихийное, внутреннее убеждение, что я знал этих людей. Анастасия, не надо на меня так смотреть, я в разуме, но все это странно.

Он замолчал и ушел в себя. Анастасия уже замечала подобные его состояния и затихла. Через минуту Никита встал, подошел к девушке и обнял ее за плечи:

— Простите меня, я доставляю вам одни проблемы и загадки. Со мной трудно.

Анастасия вскинула голову и даже носиком коснулась его подбородка:



– Никита, почему вы ни разу не пригласили меня к себе? Ведь, как я понимаю, вы живете один? Ну? Скажете, что это далеко? Ничего, я возьму отгулы, у меня есть? Смущает, что напрашиваюсь? Но у нас все равно не просто товарищеские отношения. Что вы на это скажете?

Она засмеялась, возможно, желая превратить разговор в шутку, но Никита крепко обнял девушку и задохнулся в ее волосах:

– Я олух, конечно, простите меня, как говорил один человек, я не трус, но я боюсь. Меня пугала небывалая доверительность наших отношений, и я опасался ее спугнуть. Тогда все бы рухнуло, а я этого не хочу. Приглашаю вас на субботу и воскресенье, в пятницу вечером приеду. Вы будете одна?

– Господи! – Анастасия так искренне засмеялась, что Никите ничего другого тоже не оставалось делать, он улыбнулся:

– Я все понял.

Наталья Петровна позвала дочь, потом они вместе вошли в комнату.

– Наталья Петровна, Анастасия показала фотографии вашей семьи, старые фотографии, что вы о них знаете, расскажите, пожалуйста, это крайне интересно.

Женщина чуть вздрогнула, взглянула на дочь как бы осуждающе, потом подобрела лицом:

– Я всю жизнь боялась за прошлое своего рода. Оно было содержательным, можно предположить, но почему вдруг образовался такой провал, я не могу понять. Мама моя знала, пожалуй, все, но никогда не рассказывала, только перед смертью сказала, где спрятан альбом.

– В этом доме?

– Нет, этот муж получил от депо, где работал, а наш стоял в Стрехино, тогда там деревня была. Теперь его уже нет, снесли. А это место числилось за железной дорогой, и Покровскую церковь поставили по просьбе рабочих, говорят, сам Ленин разрешил, хотя я не верю: одной рукой рушить, а другой созидать – так не бывает.

Никита слышал о такой версии, но тему не поддержал, думая о другом. Он сомневался, уместно ли это, но все-таки насмелился:

– Можно, Настасья Петровна, переснять фотографии из альбома? Обещаю, что они никогда не будут использованы во вред вам.

– Да, пожалуйста, снимайте.

Уже в машине Никита немного успокоился, Анастасия молчала, ожидая его реакции на увиденное и услышанное.

– Согласитесь, что здесь есть тайна, соединяющая и разделяющая почти два столетия, разрывающая ваш род на именитый и простую

советскую семью. С которой стороны к ней подходить, где спрятана ниточка клубка событий и людей? Вам это интересно?

— Конечно, но у меня нет никаких версий.

— Как ваша мама прокомментировала мое явление?

— Не думайте о ней дурно, она добрая и все понимает. Сказала, что вы, должно быть, верующий человек.

Никита удивился:

— С чего она взяла? Кажется, о вере у нас разговора не было.

— Разговора не было, но, рассматривая ту фотографию, вы перекрестились, а мама в это время проходила мимо дверей.

Никита рассмеялся:

— Вот и скрывай свои убеждения! Не помню, что перекрестился, хотя вполне возможно, есть для того основания.

— Я не могу о них знать?

— Пока нет, потому что сам не могу все соотнести.

После магазинов и закупки продуктов подъехали к домику за Покровской церковью. Он помог Анастасии донести до калитки пакеты, передал ей, задержав ее руки в своих:

— В пятницу, в шесть вечера я буду у студии.

— Я помню. До встречи.

Калитка захлопнулась, он объехал город по кольцевой, вышел на свою трассу и не добавил скорости, думал о фотографиях, особенно о той, которую принесла Анастасия. Почему у него вдруг возникло ощущение, что он видел уже этот снимок? Да, похожих он видел много, но почему именно этот не выходит из сознания?

Включил радио, нашел волну с серьезной музыкой и постарался отвлечься от бесплодных дум. Так, с Глинкой и Шостаковичем, доехал до дома.

Никита всегда сожалел, сколько времени потеряно зря, сколько документов и материалов утрачено безвозвратно. Молодость безмятежна, не было понимания, что история делается сегодня, а только завтра признается таковой. Двадцать лет назад он начал собирать и хранить старые фотографии, фронтовые письма, почетные грамоты первых пятилеток и благодарности Верховного Главнокомандующего времен Отечественной войны. Это случалось по-разному. После похорон последнего из стариков родственники раздавали нажитое барахло, Никита приходил и просил отдать ему ненужные бумаги. Фотокарточки тогда висели на стенах в рамочках — отдавали вместе с рамочками. Он любил говорить со стариками просто так, без конк-

ретной цели, какие-то слова или случаи кратко записывал в блокнот. Иногда разговор заканчивался решительным благословением: бери, коли тебе для дела надо. Потом появился компьютер и цифровая фотография, он копировал снимки и документы и раскладывал по файлам и папкам. До тысячи фотокарточек было в архиве Никиты, и все он просмотрел и в компьютере, и в картонных коробках — нужного снимка не было. И даже закончив неудачный поиск, он еще больше был уверен, что снимок такой видел, держал в руках. Когда, где — не мог вспомнить.

## 16.

Раздался звонок от калитки, потом в ворота постучали, но пес молчал, значит, кто-то знакомый. Из всех жителей деревни Никита общался со стариком Кузьмой Романовичем и тетей Клавой, которая иногда пекла для него домашний хлеб, делала настоящий квас и снабжала свежим молоком. Еще она готовила ему холодец по старым рецептам, причем, неизменно называла его студнем, нарезанный в блюде ломтями, холодец вздрагивал, как от мороза, верхняя часть просвечивала насквозь, в нижней кусочки мяса, дольки чеснока и горошины черного перца образовывали неповторимый натюрморт. С Кузьмой Романовичем интересно было поговорить о старых временах, ему под девяносто, но память отменная и речь сочная, с перчиком. Была еще одна знакомая, приехавшая из Казахстана молодая женщина, невысокая ростом, крепкая, красивая. Жила одна в купленном домике, изредка к ней приезжал сын, который в Петропавловске-Казахстанском занимался строительным бизнесом и часто бывал в Тюмени по делам. Когда-то Никита заговорил с тетей Клавой о капитальной уборке в своем домике: все шторы постирать, побелить, покрасить, предположил, что придется из райцентра шабашников везти.

— И не вздумай, нет у нас варнаков, дак привези, живо расплодятся. Поезжай пока в город, дня на три, а я Зою попрошу, она аккуратистка, все изладит, как следует. Плату сам спросишь?

— Нет, лучше вы, я не умею.

Через полчаса бабулька привела Зою:

— Вы договаривайтесь, а я побежала.

Зоя скромно села на стульчик у камина:

— Вы этим и обогреваетесь?

— Нет, это больше для форсу, а тепло вон, от электрочотла.

– Дорого это.

– Да, зато всегда тепло, меня подолгу дома не бывает, приезжаю, а тут живым пахнет.

– Ну, не скажите, если в доме щи не варятся, да блины не пекут, да детишки не бегают – это не жилье, а ночлежка.

Никита удивился точности наблюдения, и ему захотелось продолжить разговор:

– Вы приехали сюда, потому что родители отсюда родом, да? Чаше так и бывает.

– Я сама тут родилась, потом замуж вышла слишком рано, уехали в Казахстан, сын у меня, видели, наверно, приезжает. Муж умер, проще сказать, записался. У меня своя квартира была, да и сын не прогонял, а двадцать лет выработала и приехала домой.

– Вы же молодая совсем, надо замуж выйти, что же вы заперлись в этой глуши?

– Ну, молодой не назовусь, через пятнадцатку сорок стукнет, а замуж – где его взять, доброго-то мужика? Добрые прибраны все, а худого не надо, нажилась. Ладно, давайте о деле.

Никита хотел было сказать, какой ремонт надо сделать, но Зоя его остановила:

– Мне про это не надо объяснять, я двадцать лет на стройке маляр и штукатур. Вы скажите, что совсем нельзя трогать, а то бабушка Клава напугала: «У него там аппараты стоят по сто тысяч, смотри, не повреди».

Они оба дружно засмеялись.

– Компьютер я упакую и уберу в гараж, с остальным можете делать все, что угодно. Конечно, книги следует вынести.

– Само собой. Я в Петропавловске у профессора ремонт делала, вот где книг-то! Спрашиваю: «И вы их все прочитали?». Он смеется: «Нет, но листал все».

– Зоя, краска, известь, кисти – все в кладовке. Теперь скажите стоимость работы.

Она опять улыбнулась:

– Да какая это работа? Хоть молодость вспомню. Не беспокойтесь, лишних денег не запрошу.

– Вы не обижайтесь, но всякая работа имеет свою цену.

– Вот по концу работы я вам и скажу. Ключи от дома у кого будут?

– У вас, конечно.

– Не беспокойтесь, ничто не пропадет.

– Вечером я завезу вам ключи, а от собаки тетушка Клава проводит.

Он вернулся на четвертый день, уставший от официальных разговоров, за которыми никто и не предполагал дел; от дискуссий в доме писателей, бездушных, материалистических, когда держащие речь думали не об организации, которая в буквальном смысле дышала на ладан, и не о литературе; одних издали и даже заплатили какой-то гонорар – книги других не отвергают, но и не издают. Суeta суeta, умерщвление духа, бесовщина. Подъехал к дому Зои, чтобы забрать ключи и затопить баню, ее дома не оказалось, соседка сказала, что хозяйка у меня во дворе.

Зоя встретила Никиту с улыбкой и поклоном, провела в дом, заставив в сенях снять туфли и обуть новые тапочки грубой ручной вязки. Еще в сенях он заметил незнакомую белизну стен и матовый отлив прошпаклеванного и свежеращенного пола, а в доме просто растерялся: все сияло чистотой и свежестью: белые стены, желтый матовый пол и голубой потолок, шторы на окнах приоткрыты, оконные стекла холодны и прозрачны.

– Ну, Зоя, вы волшебница, замечательная, профессиональная работа.

– Я баню вашу протопила, только что пол вымыла, через пять минут можно париться. А после – ко мне на день рождения.

– Зоя, говорят, сорок лет не отмечают.

Она хохотнула:

– А мне что до того? Именины, и все тут. Так я вас пригласила.

Непьющий писатель не долго смущал общественность, Зоин сын Владимир привез хорошей водки и настоящего грузинского вина, стол был богато и не без вкуса накрыт, но через полчаса все встало на свои места: Владимир, поцеловав мать, уехал, местные осмелели, тосты стали чаще. Никита заметил, что именинница только рюмку подносит к губам. Дошли до песен и плясок, Никита пару раз собирался уйти, но кампания дружно его останавливала подозрением в неуважении хозяйки. Изо стола встали все разом, хозяйка вышла за ворота провожать. С каждым попрощалась, каждого поблагодарила. Никите последнему подала руку:

– Спасибо, Никита Степанович, что не побрезговали, посидели с нами.

– Зачем вы так, Зоя? Я очень уважительно к вам отношусь.

– А уж я-то как уважительно, Никита Степанович, только это никто не видит и не узнает никогда, потому что человек вы высокий и вам такие разговоры ни к чему.

Ему стало тепло и одиноко от такого милого и простого признания. Он обнял ее чуть выше талии, она отшатнулась, коснувшись его высокой и мягкой грудью. Никита еще крепче прижался к ней, нашел губы, стал целовать их, теряя власть над сознанием:

– Пойдемте ко мне.

– Нет, не дай Бог, увидит кто. Давайте вернемся в дом.

Он проспал почти до обеда. Проснулся, Зои не было, на стуле висели его поглаженные брюки и постиранная рубашка. Едва он пошевелился, скрипнув кроватью, вошла Зоя, смущенная и счастливая, подошла к кровати, встала на колени, уткнулась лицом в его укрытую одеялом грудь.

– Вы не думайте про меня плохо, ладно?

– Зоя, может нам лучше на «ты» перейти, как-то странно получается: спим в одной постели, а друг друга навеличиваем.

– Не знаю, решайте, как лучше.

– Вот и решили. Ты будешь меня кормить?

– Все готово. Беги в баню, обмойся, ты уж прости, но я утром сходила к тебе и чистое белье принесла.

Никита с благодарностью обнял женщину:

– Ты всегда была такая заботливая?

Она притихла:

– Не знаю, кажется, всегда, только не надо об этом.

– Я хочу, чтобы ты знала всю правду. Если хочешь – будем встречаться, ты мне приятна, только я уже никогда не женюсь. Если найдешь другого, сразу скажи мне. Молчи, когда старшие разговаривают. И еще. Я много работаю и не смогу уделять тебе особое внимание, если калитка заперта на замок, стучать не надо, значит, занят. Всегда говори, что нужно купить в городе или вообще. Я бываю замкнут, не бери это на свой счет. Да, привезу тебе мобильный телефон, чтобы ты знала, когда приеду. Кажется, все.

И вот она стучит в калитку. Что случилось? Он встал, нажал кнопку электрозамка, Зоя вошла в дом.

– Что случилось, Зоя?

Она села на стул, нервно мяла в руках снятый с головы платок.

– Случилось, Никита Степанович, что беременна я.

Никита вздрогнул от неожиданности:

– Как беременна? Что ты говоришь?

– Месяца два уже. А что я говорю? Это ты должен сказать, что мне теперь делать.

— Подожди, Зоя, я был совершенно уверен, что у меня не может быть детей.

— Ну, тогда это Кузьмы Романовича работа, — засмеялась Зоя. — Ты не переживай, конечно, рожать не буду, съезжу в больницу, перетерплю.

Никита был сильно смущен, он понимал, что от его слова сейчас все зависит, и судьба только что завязавшегося живого существа, и жизнь Зои, и его собственная, и слово это могло быть единственным: да! Всякое другое противно его порядочности, его принципам, которые, как он считал, исповедовал всю жизнь и учил других.

— Зоя, это очень важно, ошибки быть не может? Давай, я тебя свожу в райцентр. Причин может быть много.

— Причина только ты, кто же еще? Какая ошибка, если меня тошнит третий день.

Она встала и вышла безропотно и без обиды. Он остался униженный и противный себе. Что делать? Если Зоя родит, нужно хотя бы жить вместе, ведь ребенка надо воспитывать. Тогда забудь про покой и работу, а на что жить? Начинать новую жизнь на шестом десятке? Зоя сильная женщина, она для него способна на все, она и семью будет содержать в полном порядке. Но сам-то он сумеет ли так круто изменить стиль жизни, абсолютную независимость утратить, готов ли?

Никита выпил чашку крепчайшего кофе, сел в кресло. Любит ли он Зою? Скорее нет, чем да, она ему приятна, мила, симпатична, всегда готова угодить, про таких говорят: души не чают. Но есть нравственный долг. А кто сказал, что он кому-то что-то должен? Почти случайная встреча, переросшая в более или менее регулярные отношения. Да, уважал, говорил приятные слова... Выходит, врал? Тьфу, черт! Что я несу, кому нужна эта демагогия, когда Зоя ждет его решения. Промолчи — и она завтра уедет в больницу. Оставить ребенка...

Вдруг его будто ударил кто, он сел в кресло и весь сжался: оказывается, вот как просто приходит момент истины, прообраз того суда, который ожидает душу каждого. Нет ни Судьи, ни ангелов, ни чертей с горячими сковородками, есть женщина, которую ты поставил перед выбором и которая, сама того не желая, поставила тебя перед весами с грехами и добродетелью, и тоже дала тебе возможность выбрать. Никита изумился своему открытию и всей ясности своего положения, он всегда старался быть честным и порядочным, никого не предавал, не лгал, не суесловил. Он настолько привык к своей порядочности, что считал ее собственностью, ему казалось, что она все-

гда при нем и никогда ему не изменит. Гордец, он не понимал, что не она при нем, а он при ней слуга, он никогда не думал, сколь тонка грань между грехом и подвигом души, научившийся красиво говорить о человеке и его предназначении. Он был уверен, что это для других, а не для него, что он может жить чуть по-другому закону, оставаясь в глазах людей умным и добродетельным, какими были положительные герои его романов. Не сам ли он стал считать, что они писаны с него, что он не придумывает сложные житейские и нравственные комбинации, а описывает, как бы вел себя в том положении. Увлечшись самолюбованием, он забыл, что рядом проходит не придуманная жизнь, в которой он тоже участвует, что вместе с романтическими и тонкими отношениями с Анастасией есть простая женщина Зоя, намного старше первой красавицы и ничем с ней несравнимая, но живая, реальная, которая варит ему изумительные борщи и рассольники, лепит пельмени и тушит картошку с мясом, топит баню, а потом ласкает его в постели, пока он не уснет.

«Господи, за что мне это испытание, или грех мой настолько велик, что требует немедленного отпущения?».

Не надо скрывать хотя бы от себя, что Анастасия остается тем центром, вокруг которого вьются сейчас его греховные мысли, при любом решении он навсегда теряет ее, подлости по отношению к Зое она не простит, встречаться с женатым и обремененным малым дитем не захочет.

Зоя тоже изменит к нему отношение после больницы, да и сам он едва ли сможет снова приблизиться к ней. Такая женщина, все при ней, ей бы мужика настоящего, доброго хозяина, она бы любого ошастливила, но такая женщина не для него. Он остановился на этой мысли: а почему ты так решил, что же такого выдающегося в скромном, никому особо неизвестном писателе, которому за пятьдесят и которому, судя по всему, всенародное признание уже не светит? Может, действительно, бросить все, забрать Зою в свой домик или построить новый, развести сад-огород, растить сына или дочку. От земли же пошел, из крестьянства, чего нос воротить?

Никита вызвал на мобильнике Зою, она ответила сразу спокойным голосом.

— Будь дома, я сейчас приду.

Она сидела на диванчике, осунувшаяся и припухшая.

— Не смотрите на меня, я теперь вовсе некрасивая.

— Перестань, ты всегда была красавица, и я тебе говорил. Успо-



койся, это даже хорошо, что... ну, что будет ребенок, а то мы сбегаемся, как молодые. Короче говоря, будешь рожать, я к тебе тетю Клавю отправлю, она поможет с тошнотой. И ни о чем не беспокойся, все будет хорошо.

Она смотрела на него снизу вверх воспаленными глазами, и он не заметил в них радости.

— Никита Степанович, вы себя-то не пытайтесь обмануть, это никому не удавалось. Вы не семейный человек, живите, как жили, а я как знаю.

— Что ты такое говоришь! — Никита искренне возмущился. — Почему ты мне не веришь?

— Да я верю, Никитушка, только все это у тебя от ума, а не из сердца. Я, конечно, дура, что к тебе пошла, очень хотелось в счастье поверить, но и в том польза, что разобралась сама в себе. Не волнуйся, ты же ни в чем не виноват, даже, на то пошло, так я вперед тебе навелилась, вот и грех мой. Ты ехать куда-то собрался?

— Собирался, но теперь все отменил, буду с тобой.

— Нет, Никитушка, ты делай свою работу, а с бабьими делами я сама управлюсь. Поезжай, куда хотел, и не думай ни о чем, все образуется.

— Обещай мне, что в больницу не поедешь.

— Вот это обещаю тебе твердо, дождусь тебя, тогда и решится все. Дай, я тебя хоть в щечку поцелую.

Она встала, нежно обняла Никиту, и ее слеза покатилась по его щеке:

— Поезжай с Богом.

— Пожалуй, поеду, дело неотложное. Я буду звонить. Будь умницей.

— Буду.

И он вышел.

После нескольких утренних встреч в областных организациях он нашел время и позвонил Зое, ее аппарат оказался выключенным.

«Надо было проследить, вдруг опять аккумулятор сел, а она никак не привыкнет пользоваться», — подумал он с раздражением.

До вечера еще несколько раз пытался вызвать ее номер, но безуспешно. Вечером, собираясь поставить машину на стоянку и пойти в гостиницу, услышал зуммер своего аппарата, быстро открыл, и от сердца отлегло: ее номер.

— Да, Зоя, слушаю тебя.

— Это не Зоя, — ответил мальчишеский голос. — Меня позвала баба Клава телефон включить, передаю ей трубку.

Бабушка Клава рыдала и не могла сказать ни слова.

— Что случилось, тетя Клава, перестаньте плакать, что случилось?

— Никитушка, нет больше нашей Зоиньки, отравилась она ночью.

Никите казалось, что в лице Зои, неестественно празднично одетой, был упрек, губы чуть поджаты, и упрек, укор ему, только он чувствовал, что укор этот замечают и все остальные. Он сидел в изголовье напротив Владимира, который ничем не упрекнул его. Знал ли он не все или выдержку имел такую — Никита об этом не думал. Пустота образовалась внутри его. Он знал, что тело этой женщины через час вынесут из дома, поставят в кузов деревенского грузовика, ему тоже, наверное, подsunут табурет, потом будет прощание, ее лицо навсегда закроют крышкой и раздадутся удары молотков — финал всей земной жизни. В последнее время он часто провожал знакомых и друзей, миссия не самая приятная, но больше всего ему запомнились последние удары молотков, вбивающих гвозди в крышку гроба.

Что сказать ей молча в последнюю минуту? Прости? Так она не держала на него зла. Она ушла из жизни именно для того, чтобы не создавать проблем ему. А он этого не понял, когда прощался перед отъездом, не понял, что неспроста ее слеза нашла дорожку на его щеке. Он до слова помнил весь последний разговор, и теперь с уверенностью мог признаться, что она говорила с ним открыто, обнажая весь свой загад и весь свой нехитрый замысел. Он все еще боялся открыто признать, что понимал, догадывался, но удобнее сделать вид, что поверил, заручился обещанием до него никуда не ездить. Она все выполнила. Он — ничего.

Когда уже все было окончено, и тетушка Клава распорядилась за последним застольем горячего обеда, Никита и Владимир сидели под навесом, где сушились заготовленные Зоей березовые веники. Мужчины молчали. Наконец, Никита не выдержал:

— Владимир, это я во всем виноват, она хотела семью и ребенка, а я не дал ей никаких надежд. Нет, мы расстались в тот вечер, как будто договорились, но она настойчиво отправляла меня в эту проклятую поездку. Будь я рядом, ничего не случилось бы.

— Мы с мамой говорили о вас, Никита Степанович, она вас любила и была уверена, что вы тоже имеете какое-то чувство. Просто мама говорила, что вы добрый. Она в своей жизни добра видела немного, потому вас ценила, к вам привязалась. Я говорил ей, что ничего не имею против ваших отношений. Я и сейчас так сказал бы. Меня успокаивает только одно, что она счастлива была хоть в последний год

своей жизни. А сейчас я уеду. Скажите бабушке Клаве, чтобы пригостила обед на девятый день, и передайте ей деньги.

Никита встал:

– Поезжай, Володя, все сделаем.

Неожиданно для обоих они обнялись.

## 17.

Бабушка Клава перемыла посуду и все прибрала в доме Зои, восстановился такой же порядок, какой был всегда у хозяйки. Никита сел за стол на то место, куда всегда усаживала его Зоя – с кутнего торца, где обычно сидит муж, глава, хозяин. Он сделал это по привычке, а когда понял неуместность, менять место было уже поздно, тетушка Клава заметила:

– Осиротел ты, Никитушка, я все надеялась, что сойдется вы, потом только она мне сказала, что до поры порознь будете жить. Какая бабочка была, царство ей небесное, светлое место! – Она перекрестилась трижды. – Ты, может, уехал бы куда, я присмотрю за домом. Все равно тоскуешь, вон, глаза завалились. Да и не мальчик уж, прости за прямоу, мог бы и побережь бабу. – Старушка неожиданно перешла в атаку. – Все скажу, Никита Степанович, не оценил ты счастье свое, все молодиться, а теперь вот один кругом. К детям хоть бы поехал, где они у тебя рассеяны? – Опять упреки сменились заботой.

– К детям не поеду, зачем я им? Не видимся, даже не созваниваемся, отвыкли друг от друга. И вообще никуда не поеду. Тетушка Клава, ты абсолютно права, я потерял самого близкого человека. Хочешь, скажу тебе, чего никогда никому не сказал бы? Она меня так любила, как ни одна женщина не могла. Придет ко мне, наготовит всего, а ты знаешь, какая она мастерица, а потом в баньку отправит. Никогда со мной не ходила, хоть я и звал, стеснялась. Говорила, что в телевизоре видела, что женщины с мужчинами вместе в бане, и то стыдно, выключала. А потом обнимет и целует, как ребенка, все мои женщины за всю жизнь столько меня не целовали, сколько она. Прости меня, бабушка Клава, я всегда фигурой ее любовался, встанет среди ночи с постели, приятно посмотреть, настоящая русская женщина. Что не умел оценить – это правда.

– Поешь чего?

– Нет.

Тогда пошли по домам, у меня тоже все растворено-не замешано, два дня дома не была.

Никита не боялся одиночества, за многие годы жизни без семьи он привык к тому, что рядом никого нет, всегда выделял одиночество и возможность нормальной работы как основное достоинство холостяцкой жизни. Он как-то спорил об этом в писательской организации, черт дернул за язык, никогда раньше об особенностях своего быта не распространялся, а тут вдруг проговорился. Оппоненты сразу нашлись грамотные, призвали в союзники аж самого Льва Толстого, которого назвали примерным семьянином и в то же время самым талантливым и плодовитым прозаиком века. Никита хотел было сказать, что количество детей еще не является свидетельством счастливой семейной жизни, и тут он мог даже сослаться на собственный опыт, что и окруженный родственниками, Толстой был, по существу, крайне одиноким человеком, а обстановку для спокойной творческой работы в таком доме, как у Льва Николаевича, можно создать чуть ли не для всей нашей писательской организации. Но он не стал углубляться в дебаты, которые вскоре окончились всеобщим примирением и наспех накрытым столом.

Сейчас одиночество давило на него постоянным присутствием Зои, не оставлявшим его впечатлением, что она вышла «до своего дому», как она говорила, и вот-вот придет, каким-то красивым жестом сдернет с головы косынку, тряхнет блинными русыми волосами и скажет: «Ну, что, родной мой, сейчас я кормить тебя примусь». И бесшумно станет командовать кастрюлями, сковородками, как всегда, забудет включить вытяжку, и тогда Никита ворчливым голосом крикнет: «Задушишь! Нажми кнопку!», и уже через полчаса она выйдет к нему, раскрасневшаяся, довольная, увидев, что он выключает компьютер, обрадуется, как ребенок: «Замучили тебя эти героини книжкины, пойдем, поешь, тогда и фантазии на ум пойдут». В таких случаях он говорил ей, что писать лучше на голодный желудок, а сытого писателя в сон бросает, и это передается потом читателям.

Накануне девятого дня приехал Владимир, и они до позднего вечера устанавливали привезенное им мраморное надгробье. В плиту врезана фотография Зои, Никита сам делал этот снимок и знал, что он ей нравился. После обеда Владимир собрался уезжать, обнял Никиту:

— Никита Степанович, вы не переживайте так, бабушка Клава уж за вас боится. Я не знаю, что вам посоветовать, но на время уехать стоило бы. Хотите, я оставлю вам денег, купите путевку в санаторий, развеетесь?

— Спасибо, Володя, но в санаторий я не поеду. Побуду здесь

немного, и начну работать. Да, вот еще что: мамин мобильник у бабушки Клавы, вот тебе карточка с моим номером. Звони.

Уставший от событий большого и непростого дня, Никита уснул, не раздеваясь, проснулся от зуммера своего телефона. Еще не очнувшись, он включил аппарат.

– Никита Степанович, здравствуйте.

– Здравствуйте, Анастасия!

– Ничего, что я вам позвонила, не помешала творческому процессу? – У нее явно было игривое настроение. – Что пишете?

– Не пишу ничего.

– Что-то случилось, Никита Степанович? Я голос ваш не узнаю. Вы нездоровы?

– Здоров.

– Но что-то произошло, правда, теперь я это чувствую. Вы можете мне сказать, что случилось, Никита Степанович?

– Несколько дней назад умер один человек, очень близкий мне человек.

– Простите, я не из праздного любопытства. Это женщина?

– Да. Сегодня девятый день.

– Никита Степанович, вы разрешите мне приехать? Вам тяжело, я понимаю и хочу помочь. Ну, не молчите же, если это нескромное предложение, то я откажусь.

Никита помолчал, потом спросил:

– А на чем вы приедете?

– Студийная «десятка» в моем распоряжении, Саша, водитель наш, думаю, не откажет. Вот, он кивает. Решено, я еду.

Она отключила телефон. В любое другое время он был бы несказанно рад и звонку, и ее желанию приехать, сегодня это выглядело как благотворительность, как обязательное участие и ничего не проясняло в их отношениях. Никите стало неловко: о каких отношениях с женщиной он может рассуждать, только что схоронив другую?

Он наскоро прибрал в квартире, в холодильнике не оказалось ничего свежего, и тогда он вспомнил о коробке, которую подала ему перед уходом из дома Зои бабушка Клава. Он вынул колбасы, сыр, фрукты, соки, свежий хлеб, домашние огурцы и помидоры. В бане включил электрокотел и сауну. Вышел на улицу встретить машину, ведь гости не знают его дом.

Машина резко тормознула, Анастасия хлопнула дверью, водитель дал сигнал и умчался. Никита взял пакет из рук Анастасии и повел в дом. Оба молчали.

— Сядьте вот тут, — попросила Анастасия, и он послушно сел в низкое кресло. Она встала перед ним на колени, взяв его руки в свои, узкие и прохладные. — Вы потом мне все расскажете, если захотите, судя по Сашкиной ухмылке, я не всем понятное делаю, но вы меня понимаете, надеюсь. Я буду уважать ваши чувства к этой женщине, но сейчас хочу, чтобы вы вернулись к жизни. Поверьте, я испугалась за вас, вы здесь так одиноки.

— Спасибо, Анастасия, вы очень добрый человек.

— Не надо обо мне, я не могла поступить иначе, потому что очень хорошо к вам отношусь, и вы это знаете. Сейчас буду вас кормить, но сначала один звонок, ведь дома не знают, где я.

Она открыла свой мобильник, Никита встал и вышел на кухню.

— Мама, у вас все нормально? Мама, ты не пугайся, я сегодня не приеду домой. Ничего? Пришла? Дай ей трубку. Доченька моя милая, мама сегодня не придет, так что будь умницей. Стана, родная моя, слушай бабушку.

Никита подумал, что ослышался или дают знать волнения сегодняшнего дня. Он вошел в комнату, Анастасия ждала его:

— Покажите мне на кухне, что к чему, и можете отдохнуть с полчаса.

Никита смотрел на нее ничего не понимающими глазами:

— Как вы сейчас назвали дочь?

— Настя, наверное, или Стана.

— Именно Стана, да, Стана, — почти закричал он. — Откуда у вас это имя? Ведь я так и не отправил вам письмо с объяснениями, откуда вам известна эта форма имени, отвечайте, Анастасия, я сойду с ума!

— Успокойтесь, Никита Степанович, так звали еще мою бабушку.

— Кто? Кто мог знать это слово здесь, в глухой Сибири, в простой деревенской семье? Подождите, мне действительно плохо. Тот альбом, фотографии, родители с мальчиком, вы сказали, что это прадед, а потом еще показали отдельно, где мальчик уже мужчина, и бабушка ваша, совсем ребенок. Господи, как я не понял этого раньше! Точно такой же снимок видел я двадцать лет назад у одного старика, Бронислава Лячека. Анастасия, он и есть ваш прадед.

Анастасия обняла трясущегося от возбуждения Никиту, она поняла, что после стольких переживаний он просто бредит, возможно, какими-то сюжетами романа, над которым работает. Она уложила его на кровать, в шкафчике среди множества флаконов и коробочек с лекарствами нашла валерьянку, выпоила ему чуть не полпузырька. Никита немного успокоился, сел, Анастасию попросил сесть напротив:

— Я испугал вас, милая Анастасия, но это не бред, сегодня же все вам расскажу. Ваш прадед Бронислав Лячек, поляк знатного происхождения, волею судьбы мальчиком вместе с семьей попал в Царское село и влюбился в Княжну Анастасию Николаевну. Потом семейство Лячеков сослало в Сибирь, это отдельный разговор, Бронислав изменил имя и фамилию, женился, но Анастасию любил всегда и называл не иначе, как Стана, так звали Княжну сестры в своем кругу. После расстрела семьи Государя он еще долго искал Анастасию, потому что существовала легенда: Княжна чудом осталась жива, потом смирился и вернулся в семью. Отсюда ваша традиция первую девочку в семье называть Анастасией, отсюда вам известна такая уникальная форма имени — Стана.

Анастасия внимательно слушала рассказ Никиты и видела, он уже оправился от потрясения и вполне владеет собой. Ей вся эта история показалась сказочно интересной и потому чужой, не своей, такие удивительные приключения могут случаться с семьями знатными, именитыми, но не с семьей осмотрщика вагонов и бухгалтера стройконторы, потому она, хоть и волновалась, но меньше рассказчика.

— Я потом все вам расскажу подробно, к тому же есть материальные подтверждения этого рассказа, которые очень для вас любопытны, потому что они есть часть вашей семейной, родовой истории. Никогда не прошу, что в последний год жизни Бони бывал у него редко, преступно редко. Старик был довольно крепок, я справлялся о нем через знакомых, в один из приездов он отдал мне шкатулку, уже запертую, и сверток в пергаменте, еще что-то обещал подготовить к следующему разу, но это была уже встреча с облаченным покойником. К нему каждый день по моей просьбе навевалась соседка, она и сообщила мне через знакомых. Это случилось в восемьдесят пятом году.

— Где он похоронен?

— В завещании он просил похоронить его на Волчьем бугре, есть у того села такое место, раньше волки выходили из леса и с этого бугра начинали обход деревни, с тех пор и Волчий. Власти воспротивились: есть кладбище, там и хороните. Пришлось использовать русское национальное самолюбие и православный консерватизм. Сказал селянам, что поляка, католика ни в коем случае нельзя хоронить на местном кладбище, мусульман ведь не хоронят, у них свои есть. А поскольку католического кладбища у нас нет, придется выполнять волю покойного. Это сделали. Но, пока я добирался, многое из дома исчезло, в частности, книги, обращался к людям, чтобы вернули, едва

ли кому нужны здесь древние философы и книги на иностранных языках, но ничего не изменилось.

Анастасия, кажется, начала проникаться пониманием своей причастности к загадочной и давней истории, похожей на легенду. Ей бы очень хотелось, чтобы Никита прямо сейчас рассказал все с начала и до конца, но она помнила о только что пережитом им горе, видела, как он потрясен своим открытием, потому перевела разговор на бытовые темы:

— Давайте немного отдохнем от эмоций. Давно хочу сказать, что не могу называть вас по отчеству, если вы не против, буду говорить просто: Никита.

— Я не против. — Он улыбнулся.

— Вы что-то упоминали о бане. Можете попариться, а я пока приготавливаю ужин.

Он ушел, крепко попотел, на душе стало легче. Облившись холодной водой, он насухо растер тело, надел простые брюки и рубашку.

— С легким паром, Никита. — Анастасия была в светлом передничке и с поварской ложкой в руках, почти не прикасаясь к нему, она, привстав на цыпочки, картинно дотянулась до его щеки и громко чмокнула. Никита смутился и покраснел.

— Что я вижу, вогнала в краску мужчину невинным поцелуем. Никита, это не похоже на вас.

— Наверное, но я не ожидал. Бросайте все, и в баню, я все окатил горячей водой, пока собираетесь — просохнет. А ужин я доведу.

— Все бы так, но беда в том, что, насколько вы понимаете, я не беру на работу свежее белье, потому баня теряет смысл.

— Ничего похожего! — Он открыл шкаф и снял с вешалки недавно купленный для себя халат. — Чистый, легкий, правда, без пуговиц, с одним поясом, но это не страшно.

Анастасия осмотрела халат, срезала этикетку и ушла. Когда она вернулась, покрасневшая, довольная, в длинном халате, перехваченном в талии пояском, Никита улыбнулся: было в ней что-то детское, девичье, неподдельная простота и доверчивость.

После ужина Анастасия, заглянув в обе комнаты, сделала открытие:

— Никита, у вас одна широкая кровать, нет даже дивана. А где я буду спать?

— Это самый важный вопрос?

— Наверное, нет, — согласилась она, но некая-то неловкость появилась в ее поведении. — Никита, начинайте рассказ, прошу вас, а я прилягу, если вы не возражаете.



— Не возражаю, если можно присесть рядом.

— Только присесть. — Она опять замолчала, и он понимал: что-то важное созрело в ее головке, но она не может насмелиться его сформулировать. — Никита, мы так недавно и так плохо, в общем-то, знаем друг друга, что при желании нашу сегодняшнюю ночь можно истолковать как угодно, вплоть до простого развлечения. Хочу верить, то вы относитесь ко мне совсем иначе. Я уже далеко зашла в своих откровениях, и еще раз скажу: мне очень хорошо с вами. Может быть, так и приходит большая любовь, может, это просто увлечение, но сегодня я хочу быть с вами. Представьте, мне не стыдно, хотя никогда не считалась развязной девушкой.

Никита крепко обнял ее и стал целовать нежно и страстно, Анастасия с отчаянием дернула пояс халата и обдала его теплом горячего женского тела.

Она не разрешила ему включить свет, уложила головку на его грудь и молчала. Он тоже не знал, что говорить и делать, сдержанно дышал и ждал ее первых слов.

— Никита, я не показалась тебе навязчивой и нескромной?

— Не думай такие глупости, ты вела себя достойно и красиво.

— Добавь еще: настойчиво, потому что, кажется, ты никогда не насмелился бы меня поцеловать по-настоящему. Я права?

— Отчасти, ты очень молода, и мне сложно уходить дальше пусть очень вольных разговоров.

Она опять поцеловала его и попросила:

— Начнем рассказ?

— С самого начала. В конце шестидесятых годов я поехал на автобусе в дальний колхоз...

До первых признаков рассвета он рассказывал ей историю своего странного знакомства и многолетних отношений с Брониславом Лячком, известном как Арсений Чернухин, по ее просьбе в подробностях восстанавливая детали быта прадеда, его манеры, речь, мировоззрения.

— Утром я передам тебе тот сверок и шкатулку, что оставил мне Боня. Он просил вернуть их кому-либо из своего рода, но мои попытки найти Чернухиных заходили в тупик: Чернухиных много, но не те. Я понял, что девушки выходили замуж и меняли фамилию, а мужчин либо не было вовсе, либо они за пределами нашего края.

— А что в шкатулке и свертке?

— Не знаю. Конечно, я мог бы посмотреть, там нет именной печат-

ти, но Боня ничего мне об этом не сказал, значит, не считал нужным, чтобы я знал.

— Никита, а письма? Ты говорил, что прадед знал их на память. Это все пропало?

— Ну, ты обо мне плохо думаешь. Знаешь, ему в то время было под восемьдесят, но он светился весь, когда говорил о Стане, я, по понятным причинам, не мог сам заводить разговор на эту тему, он иногда увлекался, как-то ассоциативно, рассказывая какую-нибудь историю, вдруг хватывался, словно за ниточку, и говорил о том времени, о ней. Я раз напомнил о письмах, он не ответил, второй раз через год, наверное, спросил, сможем ли мы их записать — сказал, что не готов. А вскоре сам предложил. Я включил диктофон, он некоторое время молчал, потом попросил меня выйти на минуту. Ничего не могу понять, что с ним. Оказывается, ему надо было поймать ту волну душевную, как он сам потом выразился. Когда я тихонько вошел, он в полголоса говорил с нею. Потом попросился, назвал дату. Далее ее ответ, очень скромный, деликатный, но со скрытым волнением, беспокойством. И дата. Она ответила через месяц. Следующее ее письмо написано через неделю. Видимо, так было нужно. Я дам тебе распечатку и пленки с его голосом.

Анастасия прижалась к нему:

— Никита, если бы ты знал, как это приятно — узнавать про своих дальних предков. Ты его фотографировал?

— Не очень много, но десятка два снимков есть. Похороны я тоже снимал.

— Ты свозишь меня на его могилу?

— Так, закрыли эту тему.

— Прости, Никита, прости меня.

— Ты можешь поспать, а я встану, приготовлю баньку, хоть к обеду появишься на работе.

Она уже засыпала:

— Ты меня увезешь?

— Спи, увезу.

Когда он попарился и переоделся для поездки, выгнал из гаража машину и протер стекла, подошла тетушка Клава:

— Яиц свежих тебе принесла да молока, вчерашнее, из холодильника. Варнак ты, Никитка, у одной еще ноги не остыли, а ты вторую в дом притащил.

— Баба Клава, не надо об этом. Я потом тебе все объясню.

— А что ты мне объяснишь, скажи на милость, или я не знаю, зачем бабы к мужикам приезжают? Только время-то не прошло, неприлично это.

Никита промолчал, ему было обидно и стыдно, ведь бабулька во всем права.

— Тетя Клава, ты не думай обо мне плохо, эту женщину я знаю давно, она приехала, как только узнала о нашей беде. Она хорошая и все понимает.

— Да я-то что! — бабулька тряхнула головой. — Зоиньке на том свете горько смотреть на ваши утехы, или ты забыл, что через тебя ее не стало? Ладно, прости меня, ты сам себе хозяин, а я по старым законам живу. Прости, но хоть до сорока дней не вози больше никого.

Оставив корзину, она тяжелой походкой пошла к дому.

Никита прислонился к прохладной стенке гаража. Конечно, тетушка права, его поведение сегодня оскорбляет Зоину память, но так получилось, не мог же он сказать Анастасии, что ей нельзя приехать. Он не хотел признаться даже себе, что хотел такой встречи, но сам стеснялся ее предложить, и когда девушка, еще не зная случившегося, пожелала приехать, не хватило мужества ей отказать, объяснить, что не время. А потом... Ему вспомнилась всегдашняя приговорка Тимофея Павловича: «Живой, Никитушка, о живом и думает», и вдруг подумалось, что будь Зоя жива, она поняла бы его и простила, потому что ни разу не заводила разговоров о верности, о других женщинах, она была счастлива тем, что у нее было. Бессонная ночь и ранние трудные размышления затмили приятные впечатления, но надо собраться, сосредоточиться, спокойно отвезти Анастасию в город, потом выспаться и начинать работать.

В дом вошел тихо, чтобы не потревожить сон Анастасии, приготовил все для завтрака, искал способ разбудить, а она появилась на пороге в запахнутом халате, заспанная, с чуть припухшими глазами.

— Не смотри на меня, я по утрам некрасивая.

— Такое мог сказать только глупый мужчина, утренняя женщина подобна Афродите, выходящей из пены, только мгновение ей и надо, чтобы восцарить над миром. — Он улыбнулся, любуясь ею.

Она выпила чашку кофе и вопросительно подняла глаза:

— Ты вчера, точнее, утром говорил о шкатулке. Мы будем ее открывать? Может быть, это лучше сделать маме? Как ты считаешь?

— Решай сама, мне велено просто передать потомкам. Я принесу, все в сейфе в той комнате.

Завернутая в суконный отрез, шкатулка старой работы выглядела как музейный экспонат. Маленький серебряный ключик хранился отдельно, Никита оставил его сверху и на сукне, как на подносе, поставил перед Анастасией. Тут же положил сверток.

– Открой, – попросила она. – Мне страшно интересно.

Никита сел рядом:

– Увезешь домой, вскрыете в своем кругу, я не считаю себя вправе присутствовать при этом.

– Почему, Никита?

– Анастасия, есть правила приличия, кроме того, в шкатулке могут оказаться некие ценности – зачем вам лишние свидетели?

– Тебе не кажется, что ты меня обижаешь?

– Не надо обижаться, я уверен, что это очень личное дело, а потом ты, если захочешь, расскажешь о содержимом. Соглашайся, и поедем, время идет.

Она всю дорогу до города дремала на заднем сиденье, очнувшись, попросила увезти домой. Прощаясь, обняла Никиту и крепко поцеловала, громко чмокнув, и сама расхохоталась:

– Никита, ты простишь меня за ... настойчивость? Мне было очень хорошо с тобой, сладко. Буду ждать твоего звонка. Ты домой?

– Да, надо работать.

– Я уже жду звонка, – она ласково улыбнулась и вошла в калитку.

## 18.

Никита, отряхнув все страсти минувших дней, включил компьютер и перечитал несколько последних страниц. Позвонил издателю, тот вежливо посочувствовал горю партнера, но тут же напомнил, что сроки подходят, он ждет роман.

– Надеюсь, вы помните о моих просьбах. В связи с последними событиями мне бы очень не хотелось обострять известный вам вопрос.

Никита не понял, какие события тот имеет в виду.

– Я говорю об аукционах по продаже госсобственности, которые, как на грех, выиграли наши ребята. Это чистое совпадение, но кто поверит? Опять евреи сговорились – таково общественное мнение. Патриоты и националисты уже развязали грязную кампанию клеветы, такое ощущение, что рукой подать до погромов, так что – я вас умоляю.

– Вы излишне преувеличиваете влияние моего скромного труда на положение евреев в России, но обещаю, что ничего выходящего за рамки приличия не будет. У меня один молодой человек еврей по нацио-

нальности, только и всего. Папаша его возлюбленной весь во власти предрассудков, это начало двадцатого века, потому противится браку.

— Никита Степанович, сделайте его, например, чукчей, сейчас это модно.

— Да, но он учитель музыки.

— Тогда придется оставить, — с горечью заключил издатель.

Никита донельзя упростил ситуацию с молодыми влюбленными, сломил волю отца, тот благословил брак под слезы родни и дворни и в расстройстве даже не заметил, что супруга в обмороке, а священник окончательно растерялся. Выпроставшись из неловкого положения, роман пошел легче, основные направления давно были обдуманы и предreshены, он оставлял героев в момент объявления в Тюмени советской власти, пусть читатель додумает, что с ними будет. Но Никита уже чувствовал, что крутой перелом в жизни пройдет и по его героям, куда они метнутся, люди, привыкшие к размеренному и продуманному существованию, состоятельные и благородные в помыслах и поступках, — трудно предугадать, потому что характеры и натуры именно в такие моменты и проявляются, кажущийся героем может предать, а тихий и незаметный поднимется до высот нечеловеческого мужества. Он понимал, что пройдет немного времени после выхода книги, улягутся возможные разговоры, утихнут хвалебные речи и откровенные хихиканья презентаций и конференций, и герои его снова вернутся в этот дом, и он пройдет с ними всю первую половину двадцатого века, предсказанную и неотвратимую Голгофу русского народа.

Его давний и старший товарищ по литературным делам, признанный еще с советских времен писатель Зот Тоболкин при встречах постоянно упрекал его за уход в прошлое.

— Никитка, грех расходовать силы и талант твой на романы охождениях русского дворянства и сибирского купечества, это мило и любопытно, но ты же писатель, у тебя слово мощное, слог чистый, русский, зачем тебе эти амурные альковы с патриотическими разговорами? Взорви сегодняшний день серьезной вещью, только посмотри, что происходит вокруг: страна рухнула, Россия на себя не похожа, народ истощается и духом, и плотью. А у тебя в это время очередной бал в усадьбе. Пороть тебя надо бы...

Добрый и мудрый Зот, он совершенно прав, но Никита боялся современности и признавался в этом, эмоций много, а вот позиции четкой нет. А, скорее всего, мал талант, слаб, чтобы встать над сегодня-

нышним днем, как делали это великие русские классики, Шолохов «Тихий Дон» писал, когда еще не развеяло временем пороховой дым гражданской войны, и кровоточили раны победителей и поверженных. Никита не раз пытался выстроить схему хотя бы небольшой повести о переменах в родной деревне, но не мог побороть эмоций, и уже с первых страниц повесть превращалась в публицистический очерк, вполне приличный, но нежелательный, он мог испортить отношения с губернским издательским домом и лишиться возможности печататься. Он научился оправдываться мудрой фразой Льва Толстого: «Если можете не писать – не пишите!» и стыдливо умалчивал, что писатель сказал это совсем по другому поводу.

Никита в спешном порядке заканчивал роман, легко работается, когда развитие и завершение сюжета в основном продуманы, по ходу письма возникают некоторые, ранее не видимые детали, и они только украшают текст. Сделал два экземпляра распечатки, один читал сам, другой с оказией передал Тоболкину. Зот лежал в постели, после какого-то юбилея подвернул ногу, страдал. «Старые кости и жилы плохо встают на место, Никитка, но ты пришли, я в сутки прочту».

Он, действительно, позвонил через два дня:

– Никитка, роман у тебя не получился, по форме, поверь старому соцреалисту, но сегодня это не предмет обсуждения, все давно забыли каноны литературные и шпарят, кто во что. Вот и у тебя хроники, эссе, философские размышления, да еще еврейская тема. Я тебя предупреждал. Помнишь, ты жаловался, что на собрании против тебя сильно выступал прозаик-каменщик. Заметь, у него и сейчас большое перед тобой, безродным, преимущество. Так вот, Никита, каменщики были всегда, во все времена, вплоть до римских. Меня принимали в Союз в семьдесят втором году по маленькой повести, сочли, что она более-менее... А у меня роман был написан на тридцать листов, не издавали, при вступлении даже во внимание не взяли. Я его еще четырнадцать лет не мог издать, все каменщики. Тебе не надо бы с ними ссориться, размажут, как муху по стеклу. Не вали ты на них всю вину за революцию, народишко наш тоже не с лучшей стороны себя проявил. А так мило, слог у тебя хороший, русский, людей знаешь, природа заманчива, так и хочется на берега твоих озер... Да! Ты бы приехал когда, а то мне скучно.

– Зот Корнилович, завтра выезжаю в Екатеринбург, на обратной дороге к вам. Я позвоню.

- Имей в виду, коньяки я не люблю!
- Помню! — и они оба расхохотались.

Тут же позвонила Анастасия, она молчала все время после посещения деревни, он не находил подходящего повода, да и отвлекаться на телефонный разговор с ней значило обречь себя на раздумья, уйти из той жизни, которую писал, в которую всякий раз трудно вживался.

- Здравствуй, Никита, я не помешала?
- Уже нет, я закончил основную работу, завтра собираюсь к издателю.

– Жаль, — она была искренне огорчена. — Я хотела просить тебя приехать к нам, мы с мамой решили, что ты должен присутствовать при вскрытии пакета и шкатулки. Понимаешь, ты имеешь ко всему этому больше отношения, чем мы, возможно, ты даже знаешь вещи и документы, которые там лежат. Никита, приезжай, переночуешь у нас, а утром на Екатеринбург. Прошу тебя.

- Дай мне три часа, я все решу, перезвоню и выеду.
- Буду ждать.

Его и вправду ждали, шкатулка и сверток пергамента лежали на круглом столе в комнате, Наталья Петровна сидела, подперев голову руками, и глубоко задумавшись, смотрела на незнакомые и родные уже предметы. Анастасия, встретив Никиту у калитки, только легонько прикоснулась к плечу своей головкой и повела в дом. Маленькая девочка, дочка Анастасии, которую он еще ни разу не видел, играла в уголке за диваном. Никита поздоровался с хозяйкой и подошел к малышке:

- Здравствуй, Стана.

Девочка посмотрела на него с любопытством и что-то пролепетала.

- Она с тобой поздоровалась, — перевела Анастасия.
- На каком языке?

– На своем. Мы уже понимаем. Но это пройдет, она уже сейчас много слов говорит правильно.

Никита незаметно обнял девочку, приподнял прядку волос за правым ушком и увидел родимое пятно Лячеков.

- Возьми ее на руки, пусть она своими глазами видит, это и ей адресовано.

Все сели вокруг стола, Настасья Павловна подала Никите ножницы. Неожиданно для себя он почувствовал волнение от встречи с Боней, надрезал узенькие кожаные ремешки и развернул края пергамента. Тут был альбом с фотографиями и документы, старинные и

уже советские, много писем, написанных не очень грамотной женской рукой. Никита повернул ключ шкатулки, она легко открылась. Во фланелевой тряпочке завернут странный сосуд, образующий букет цветов.

— Что это, Никита? — шепотом спросила Анастасия.

— Это флакон духов фиалки, которые очень любила Княжна, Боня хотел подарить их Анастасии, но она поцеловала флакон и вернула, как память о ней. Он открывал его всего один раз, для своей дочери.

В такой же тряпочке завернут осколок штукатурки, по серой известке видны бурые пятна.

— А это?

— Этот кусочек штукатурки Боня поднял на свалке строительного мусора после ремонта дома Ипатьева. Возможно, это следы крови Княжны, он так считал.

Анастасия с трепетом положила кусочек штукатурки на стол. В следующем свертке оказались золотые изделия дамского туалета и драгоценные камни.

— Никита, а с ними что делать?

— Ничего. Это ваши фамильные драгоценности, вы можете их хранить, носить, при нужде сдать в скупку, но лучше найти настоящих ценителей, ведь это восемнадцатый век, некоторым изделиям цены нет.

— Никита, конверт! — Анастасия дрожащей рукой взяла пакет. — Открой.

— Не имею привычки открывать чужие письма, оно явно адресовано вам, вскрывайте и читайте.

Анастасия ножницами отрезала край конверта и вынула листок, исписанный крупным красивым почерком.

«Я уверен, что письмо это читают сейчас члены моей семьи, и среди них обязательно есть Анастасия, Стана, как я просил. Уверен, потому что передал эти вещи очень порядочному и молодому еще человеку, так что у него будет время найти моих наследников, коль это не удалось мне. Должен извиниться за ломаную и непростую мою жизнь, огромную часть которой прожил под чужой фамилией, она же досталась моему ребенку. Настоящая наша фамилия Лячек, мы из поляков, родителей моих подмела революция, я сидел до войны за попытку отстоять свою честь, после войны за возвращение родного имени. Воевал, награды тут же. Все средства употребите на воспитание и образование Станы. Десятую часть от ценностей передайте Никите, я ему очень обязан. Простите меня, но я был счастлив. Кое-



что об оставленных вещах знает Никита, остальное есть в моих записках. Прощайте. Благословляю вас всех. Видел я однажды сидящего за столом с вами Никиту моего как члена семьи, но боюсь, что выдалось желаемое за действительность. Прощайте, побывайте на могиле моей, может, легче будет душе. Ваш предок Бронислав Леопольд-Динариевич Лячек. Деревня Благодатное, Зареченьский район. 24 августа 1984 года».

Наталья Петровна тихонько плакала, Анастасия была взволнована и бледна, Никиту несколько смутили предвидения старика о возможном родстве, только маленькая Стана с удовольствием играла камушками, перстнями, кольцами и цепочками.

— Анастасия, найди время и разбери эти бумаги, где-то в них дневники или пояснения Бони. Он говорил мне о них.

— Хорошо, но это только завтра. Ты остаешься?

— Наверное, я поеду прямо сейчас, отдохну по дороге.

— Никита Степанович, вы не стесняйтесь, я сейчас открою вам ворота, загоняйте машину и отдыхайте. А мы со Станой уйдем к родственникам, сестра мужа живет рядом, там и ночуем.

Никита смутился:

— Ну, к чему все это? И зачем вы пойдете из своего дома? Никуда, все ночуем вместе, места хватит.

Никита и Анастасия долго еще сидели за столом и рассматривали альбом Бони, его документы.

— Он много сидел за имя свое? — спросила она.

— Пять лет. Его лишали фронтовых наград, но позже все вернули, его поддержал генерал Невелин, с которым до войны Боня—Арсений сидел в лагере, а потом воевали они вместе.

## 19.

Кныш в своем кабинете проводил совещание по весенней посевной, когда ему позвонила Татьяна из приемной:

— Извините, Василий Федорович, но я ничего не могу сделать, товарищ рвется к вам, говорит, что Кузин, однополчанин ваш, и до отправления автобуса у него всего полчаса.

— Кузин? Не отпускай его, пусть посидит, мы через полчаса закончим, я им займусь, а до дома отправлю на своей машине или сам отвезу. Все.

Когда закончилось совещание, в кабинет прямо влетел невысокого росточка толстенький человек с длинными волосами и окладистой бородой и сразу загудел:

— Ваше начальствующее величество, больно долго по кабинетам засиживаться не след, а то жизнь мимо пройдет. Ну, здравствуйте, Василий Федорович и другие товарищи!

— Здравствуй, лучший старшина батальона Тимофей Кузин. Да, брат, ты здорово изменился, смотри, как на тебя перестройка подействовала!

— Про перестройку я вам позже скажу. Скажу также, что мы с Арсением Чернухиным порадовались за тебя, Василий, когда прочитали в газете, что ты стал первым секретарем райкома. А вид мой пусть вас не смущает, я таким должен был всю жизнь проходить и людям служить, но случилась ваша революция и все перевернула.

— Давай точнее, Тимофей Павлович, во-первых, не все перевернула, а многое расставила по своим местам. Ты вот шестьдесят лет при советской власти живешь, и все никак не хочешь примириться с фактом ее существования.

— И никогда не примирюсь, хотя воевал и ни одного дня не пролежал на боку, все в работе. Будь все по-старому, служил бы я сейчас у себя в Самарской губернии настоятелем сельского храма и никаких других проблем не знал бы.

— Напрасно ты так оптимистичен, у тебя непременно были бы конфликты с крестьянами своего прихода.

— Конечно, если бы под алтарем скрывался подпольный ревком. Ладно, не будем спорить, нам добра не пережить, времена-то гляди, как меняются, совсем недавно за такие речи я бы вышел из кабинета под конвоем, а теперь спорим с первым секретарем, плюрализм называется.

Кныш встал, прошелся по кабинету. Было неловко перед стариком, считай, всю войну протащили вместе, а потом пути разошлись, в одном районе живем, а встречаемся по круглым датам Победы.

— Значит, решил строить церковь? А средства?

— Тут подход старый, Василий Федорович, с одной стороны — народная инициатива, с другой — государственная поддержка.

— Обожди, Тимофей, тут ты через край, церковь же отделена от государства, вспомни акт от восемнадцатого года.

— Давай повспоминаем вместе, товарищ секретарь райкома. Тем актом вся собственность церкви, здания и сооружения, а также предметы культа, в числе которых в каждом приличном храме имелось до килограмма золотых и серебряных изделий, переходили в руки государства, проще говоря, разворовывались, и я тому свидетель. Кому помешали церкви как великолепные архитектурные сооружения, ук-

рашавшие города? Вот в твоём районе в одной церкви клуб, в другой пекарня. Конечно, будь у нас законы покрепче да власть посовестливей, все можно было вернуть в судебном порядке до копейки, а счета такие есть у добрых людей, но мы люди русские, зла не помним, в одной России живем, будем всем миром восстанавливать.

Кныш напрягся. Ему не хотелось вот так просто отказывать старику, с другой стороны, никаких партийных решений по этому поводу не принято. Он поднял трубку и через минуту услышал знакомый голос:

— Здравствуй, Сергей Михайлович, Кныш. У меня на приеме сидит боевой товарищ старшина Кузин. Я уже на фронте знал его как настоящего человека, но глубоко верующего. В те времена для веры тоже нужна была смелость, не поощрялось, даже наоборот. Но сегодня времена меняются, Кузин вот пришел с интересной идеей: восстановить в своем селе Уктуз, вы его знаете, церковь...— И к Тиме: — Как название?... Церковь Казанской иконы Божьей Матери! У меня есть предложение не препятствовать этому общественному движению, посмотреть, если народ действительно проявит к нему интерес — поддержать. Все-таки, если честно, государство крепко потрясло церковников в двадцатые годы.

— Смелое решение принимаешь, секретарь. Давай, возражать не стану, посмотрим, дело, действительно, для области новое.

— Вот так, старшина Кузин, собирай общество и решай, как скажете, так и будет.

Тима не ожидал такого ответа, смутился, мутная слезинка скатилась по вихрастой седой бороде:

— Прости, Василий, не ожидал такого скорого решения. Я ведь всю жизнь этой мечтой жил, думал, не исполню. А возникла она после явления Николая Угодника, мне десятилетнему мальчику. Вот тогда я уверовал без сомнения, как вот ты веришь в идеи коммунизма, и поклялся построить церковь. Разве мог я тогда подумать, что на исполнение обета уйдет вся жизнь?

Кныш обнял его за плечи:

— Почему вся? Тебе сейчас семьдесят? Пока строишь — надо жить.

Кныш снял трубку:

— Танюша, найди Гошу, пусть увезет гостя в Уктуз.

Весна хороводила по лесам и долам, пробуждая все к жизни. Крестьяне точно держались заданных агрономами технологий, и получалось так, что девятого мая, в праздник Победы, надо начинать сев

зерновых. Кныш назначил на вечер восьмого мая селекторное совещание руководителей хозяйств.

— Всех вас, и молодых, и фронтовиков, поздравляю с праздником. Мы не привыкли отступать от заданных темпов, но, товарищи, нельзя отступать и от традиций. Поэтому завтра с утра все идет по плану полевых работ, в девять часов глушим двигатели и машинами к памятникам землякам, погибшим в годы войны. Культура отработала сценарий, у них свои приемы. Но только на час, товарищи, и ни минутой больше. Спиртное исключено вообще. Далее. К двенадцати легковым транспортом, какой есть в наличии, доставьте в районную столовую заслуженных участников Великой Отечественной войны. Машины не отзывать, пусть дождутся, пару часов обойдетесь без легковушек. Вопросы есть?

После получасового обмена мнениями совещание закончили.

С половины двенадцатого духовой оркестр районного дома культуры играл у столовой старые солдатские мелодии, выходявшие из машин мужики крепко обнимались, пряча в кулак слезу. Девушки провожали их в зал, рассаживая по местам. Ровно в двенадцать во главе стола появился Кныш. Многие его не признали: добротная форма с погонами старшины, два ряда орденов и медалей. Зал дружно аплодировал.

— Боевые мои товарищи и друзья! Не подумайте, что я бахвальства ради надел сегодня эту форму. Кстати, признаюсь без ложной скромности, подшивать и расклинивать ничего не пришлось. Старшина Кныш остается в боевой форме. А вытащил я ее из шкафа и почистил сегодня утром специально для вас, чтобы напомнить, какими мы были, как мы защищали нашу любимую Родину.

Он называл общие цифры призыва и потерь, тысячи тонн зерна, мяса и молока, присланные районом для фронта, называл десятки имен, а Тима и Боня, сидевшие рядом переглядывались: а вспомнит нашу зенитную роту, с которой прошли от Волги до Берлина? Нет, не забыл:

— Есть у меня особые слова для тех ребят, с кем я воевал бок о бок, с кем делил снаряды и кашу, жизнь и смерть. Прошу поприветствовать моих боевых товарищей Кузина Тимофея Павловича и Чернухина Арсения Семеновича.

Оба встали под дружные аплодисменты, но Боня не умолчал:

— Разрешите обратиться, товарищ старшина! Нет больше бойца Чернухина, есть Лячек Бронислав Леопольд-Динариевич.

Кныш пошел вдоль стола, поравнялся с друзьями:

– Ну, что ты мне сказки говоришь! Ты же Арсений!

– Был Арсений, но теперь гражданин Лячек.

Кныш засмеялся, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, потом обнял Арсения:

– После застолья подойдите ко мне, надо поговорить.

Начались гости. Говорили самые простые люди и самые простые слова. Неожиданно руку поднял Боня:

– Великие победители, щедрые на доброту воины, жертвенники, каких поискать в анналах истории! Мне горько сейчас говорить эти слова, но будьте бдительны, ибо Победу можно украсть, как слиток золота, как граненый бриллиант. Берегите Победу, потому что может прийти позор третьей ее роли вместе с безумным сравнением нас и фашистов. Особенно обращаюсь к руководству партии: в ваших рядах на самом веру нет порядка, если ничего не изменить, через десять лет вы не узнаете мир. За Победу!

Тиму била мелкая дрожь, Кныш побагровел, но держал себя в руках. Когда чаепитие закончилось, друзья подошли к Кнышу. Он указал на свою машину и просил обождать несколько минут. Потом сам сел за руль, проехал во двор райкома, молча пригласил гостей пройти за ним. В кабинете сел напротив Бони:

– Объясни мне, пожалуйста, весь этот бред, который ты нес за столом. Арсений, я знаю, что ты человек трезвый, да и теперь вижу, откуда у тебя эти фантазии? Уже сегодня весь район заговорит о пересмотре результатов войны и потере советской Победы.

Боня сжался, изменить уже ничего нельзя, надо объяснить хотя бы Василию.

– Понимаете, товарищ секретарь...

– Давай без церемоний.

– Хорошо. У меня с юных лет обнаружилась способность видеть будущее, точнее, не совсем видеть, а знать его из непонятных источников. Два месяца назад я сильно простудился, неудачно занялся весенней рыбалкой, была высокая температура, бред, появились и эти картинки, факты, сведения – как хотите. Я бы воздержался о них говорить, но беда в том, что все, что я узнаю таким немислимым образом, действительно, происходит.

– Назови самые значимые события, которые ты предвидел.

– Начало Первой Мировой, падение монархии, гибель семьи Государя Императора, убийство Кирова, начало нашей войны... Продолжать?

– Не надо. Наука что говорит по этому поводу?

– Самый высокий научный ум, с которым мне довелось общаться, это лагерный фельдшер, чаще всего купивший хлебное место. Да теперь и поздно говорить о научных исследованиях, я неизлечимо болен и знаю свой час. Все, что смогу сформулировать, запишу и передам вашему журналисту Онисимову.

– Можешь его поздравить, мы утвердили его редактором.

– Напрасно. Он талантливый парень, ему надо писать свободно, а газета — это такая золотая клетка.

Поздней ночью, когда все село спало, и люди, и скот, и природа, Тимофей Павлович тихонько встал, чтобы не потревожить Аннушку, оделся, проверил, при нем ли связка церковных ключей, и, не скрипнув калиткой, направился к храму. Все было готово к освящению, только что-то не заладилось в епархиальных властях, все не ехал благословенный священник, потому Тимофей решил завтра, в светлое воскресенье, провести первый молебен.

Он открыл двери, включил малый свет, обошел иконы и ко всем приложился. Они явились сами, бывшие храмовые иконы, иные привезли люди издалека, все-таки новодельная церковь в Уктузе была первой в епархии. Он встал на колени перед самодельным иконостасом и прочел трижды Христову молитву «Отче наш». Потом вспомнил, как начинал рубить первый венец церкви, как смеялись некоторые над странной затеей старика, как постепенно приходила помощь средствами и материалами, как возникали сомнения, и он долго раздумывал, лежа на своей кровати, заложив руки за голову. Два раза был ему голос: «Не сомневайся, моя церковь, моя и поддержка». Тимофей хотел открыть глаза и посмотреть, ведь так могла сказать только Пресвятая Дева Мария, во имя которой строился здесь храм в восемнадцатом веке, в окаянные тридцатые был снесен с лица земли, даже камни фундамента вывезли на гать. И вот новая церковушка, она скромна, проста, но служить можно. Он и в епархии так сказал: «Не хоромы, но храм, и служить можно».

Завтра, когда пастух погонит коров, и все хозяйки выйдут на улицу, он крикнет зычным еще голосом: «Все приходите в церковь прямо сейчас, и мужиков ведите, и деток своих. Будем служить первую службу в новом Доме Господнем!».

Он так и сделал, вышел в улицу и стал кричать в утренней тишине:

– Люди добрые, приходите прямо сейчас в свой новый храм, по-

дадим Господу свой голос, а то он его уж полвека не слышит. Будите детей, зовите мужчин, пусть наденут лучшие рубахи и боевые орденa, у кого есть, с грудными на руках приходите, молодые матери, младенцев особо любила мать наша Пресвятая Богородица.

Из дома в дом, из улицы в улицу передавался призыв старца, и неверующий народ зашевелился, загремел сундуками, забряцал дверцами шкафов своих, добывая свежие платья и костюмы. Неловко выходили из оград, кучковались кампаниями, соединялись улицами и заполняли ограду церкви. Все здесь зелено, старые кусты подрезаны, травка скошена. Мужики смущаются: кепки снимать или нет? А тут еще окрик: «А ну быстро вынеси папиросу за ограду! Нехристь несчастный!».

Тимофей Павлович в подряснике, иное облачение не полагалось ему по чину, вышел на крыльцо, широко открыв обе половинки входных дверей:

— Братья и сестры! Да, не улыбайтесь, все мы с вами братья и сестры во Христе, Отце нашем. Вы знаете, как строилась эта церковь, каждая семья внесла копейку. Все средства употреблены в дело, ничто не пропало. А теперь прошу пройти в храм, мужчины направо, женщины налево.

Народ заполнил церковь. Твердым голосом Тимофей прочел подобающие случаю молитвы, но скоро остановился:

— Не в порядке критики говорю, а в смысле обучения: крестное знамение перво-наперво возлагается на лоб, далее на живот, потом на правое и левое плечо. Давайте вместе!

Многие смущались, но крестное знамение в итоге получилось у всех.

И тогда Тимофей Павлович возвысил голос:

— Скажу я вам, дорогие братья и сестры, первую проповедь, про которую мечтал всю свою жизнь. Вы знаете, что я человек убежденно верующий и за веру готов пойти на крест, как это сделал наш Спаситель Иисус Христос. Я строил эту церковь для вас, чтобы вы имели возможность общаться с Богом. Так всегда было на Руси: строились храмы, молились люди, и это было общество. Я прошел фронт, тут много вижу своих товарищей, мы и там воевали за Русь Святую и Неприкосновенную. И ныне идет война за души наши, и ныне враг человеческий взывает к сердцам нашим, только мы не убоимся, ибо есть у нас вечная защита в лице Господа нашего и Матери его, Пресвятой Богородицы, которой и посвятили мы свой храм.

Запомните слова мои, мне немного осталось на этой земле, я уже

призван и жду часа. Борьба за наши души идет всегда, и ране шла, и ныне, и присно, что значит вечно. Дьявол может к вам прорваться с бутылкой водки, неправедными деньгами, развратом, через телевизор, будь он проклят! Берегите детей своих, и сами будьте, как дети, тогда Господь увидит вас и примет в свое царствие. Смотрите, все это ваше, берегите. Я же пойду, отдохну.

– Дедушка Тима! – девочка лет пяти теребила его за рукав. – Вот вы сейчас говорили старое слово, я его читала в детской библии, так там целая молитва.

Тима взял девочку на руки:

– Ты права, пречистый ребенок. Есть такая молитва: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа и ныне и присно и во веки веков – аминь!», то есть, да будет так всегда!

Он передал ребенка родителям и пошел к своему дому. Он знал, что жить ему осталось до первого колокольного звона родной церкви. Смерти он не боялся, особенно теперь, когда выполнено главное дело жизни – построена и живет его церковь.

\* \* \*

Время неумолимо и никому не подвластно, и сегодняшний день завтра станет прошлым, отойдя в тень и набрасывая покрывало забвения на людей и события. Только Река так же восторженно стремится вперед, омывая зареченские берега, не обращая внимания на все, что там происходит. Утром и вечером по тихой воде далеко слышны церковные колокола. Одиноким волк вышел на поросший молодым березняком бугор с одиноким крестом над могилой и долгим беспричинным воем оплакал чью-то судьбу. Время неумолимо и никому не подвластно...

*2008*



## ГЛУХОМАНЬ

### *Повесть*

— Ну и брызги же от тебя летят, Дарья Мартемьяновна, не поберегись — с ног до головы оплешешь.

— Не видишь, крыльцо домываю, скоро начальство придет, а у меня растворено—не замешано.

Дарья, подоткнув подол застиранной юбки и, широко расставив ноги, спускалась по ступеням высокого конторского крыльца, выманивая за собой жирную октябрьскую грязь.

Она не глядя узнала по голосу Семена Федоровича, своего ровесника, и даже сердце екнуло. Сказала с деловой резкостью:

— А ты чего с утра пораньше приперся?

— К начальству вопрос, — уклончиво ответил ранний гость, тщательно уминая во влажную землю тощей окуроч.

Дарья выпрямилась, отжимая тряпку, обернулась, у Семена, как всякий раз, душа замерла: не пожилую женщину, а крепенькую круглолицую белянку—красавицу, курносую, с кудряшками видел он перед собой

— Ты, верно что, по большому делу, коли в хромовых сапогах и при шляпе. Шляпу-то зачем надел, сроду не видела тебя при шляпе.

Семен Федорович обиделся:

— Не смотришь в мою сторону, Мартемьяновна, вот и дивно тебе, что я прибарахлился. А я, шутки в сторону, всегда стараюсь быть при аккурате, стало бы тебе известно. Чтобы ваш брат, бабы, не чесали языки по моему поводу.

— Да ладно тебе, в обиду впал. Я ведь без злобы. — Она вытряхнула тряпку, отойдя чуть в сторону от Семена, выплеснула из ведра воду и подошла к гостю, вытирая озябшие руки подолом верхней юбки.

— Как поживаешь, Семен Федорович? Авдوخа твоя как здоровьем?

— Я ничего сам себя ощущаю, а Авдотья плоха. Дотянет до лютых морозов, потом всей деревней яму долбить придется.

— Христос с тобой! Такие речи!

— А я, Дарья, без сожаления, скорей бы. Детей нет, рыдать некому, сам для приличия слезу пушу, и опять вперед.

Дарья вздохнула.

— Ты проходить будешь или тут подождешь?

— Постою, пусть просохнут плахи-то, а то наслежу, опять от тебя взысканье.

— Много я с тебя взыскивала.

Семен встрепенулся:

— А ты суммируй, какую жизнь я прошел, много чего получается после нашей разлуки, и все за твой счет.

Дарья вздохнула:

— Нашел время и место. Грех тебе при живой жене такие разговоры проводить. А вот и начальство идет.

Директор совхоза Гурушкин в плаще и резиновых сапогах, но тоже при шляпе, громко поздоровался, омыл сапоги в большом корыте, глянул на Семена.

— Ты не ко мне ли, Семен Федорович?

— Ежели примите, благодарен буду, а нет времени на меня — дождусь парткома, тот обязан.

— Проходи, — сказал директор, — парткома теперь до второго пришествия не будет.

— А что с Володимиром Тихоновичем?

— Ты телевизор смотришь?

— «Рабыню Изауру». Третий раз. Смотрю и плачу.

— Не о том слезы льешь, Семен Федорович. Разве не слышал, что советы распустили и партию прикрыли?

— Так то не нашу! — обрадовался Семен Федорович. — Прикрыли какую-то в недоразвитых странах, знаю.

Гурушкин вздохнул:

— Ладно, пошли в кабинет.

Семен присел на краешек стульчика у стола, невысокого роста, чисто выбритый, сухой лицом и телом, он был не по годам подвижен и бодр.

— Григорий Яковлевич, ты мне скажи, как дальше будет деревня? Вчерась, сам видал, дойных коров погрузили на скотовозы, колбасы, стало быть, захотелось новым князьям и боярам. И что дале? Коров прирежем, чем кормиться будем? Ты же вечный крестьянин, хоть и не старый еще, но ты же в понятии, что без скотины деревня станет пустой.

Директор размял сигарету, затянулся, разогнал клубы дыма рукой.

— Спросил бы что попроще, Семен Федорович, к примеру, дровишек или тесу на забор.

— Ты мне про тес не намекай, сам знаю, что два века не живут, тесины меня вторую пятилетку на чердаке дожидаются. Батьку твоего вон на сколь пережил, а он только на три годика и постаре. Воевали вместе, а там день за два, а иной и полжизни стоил. Я тебя сурьезно спрашиваю, потому как не могу ума дать, что деется. Хлеб куда нынче дели? Молотили—молотили, через два дня пришел — скукури-кало зернышко, под метлу увезли. Терлись, сказывают, тут трое чернявеньких. Это не продзавертка ли возобновилась? Говорили, что в тех отрядах голубоглазых тоже немного было.

Григорий Яковлевич посмотрел в лицо этому пожилому человеку, давно пенсионеру, но понимающему совхоз как родное существо, хотелось сказать ему все, о чем думал в эти последние дни октября, да и вообще весь год шел к этому вопросу: а что дальше? Даже в районе слова не давали сказать, в область вовсе не вызывали. Но неизбежность формулировать свое понимание снова пришла вместе с любознательным и беспокойным стариком.

— Дядя Сем, ты же видишь, что идет революция, без особой борьбы, если не считать расстрелянный Верховный Совет, но с большими переменами в хозяйстве, в экономике. Оказывается, мы жили плохо, теперь все перестраивают, чтобы жилось лучше.

— Э—э—э, Гриша, такое я уж не пятый ли раз слышу на своем веку: сегодня плохо, потому что завтра должно быть хорошо. А ведь мы было зажили кучеряво: и зарплатешка выровнялась, и в магазинах кой-что стало появляться, мужики легковушек в кредит понабрали. Это плохо, скажи, плохо?

— Понимаешь, Семен Федорович, в мировую экономическую систему наша страна с плановой экономикой не вписывалась, тем и жили, что нефть и газ гнали за границу. В общем, считается, что перемены были необходимы, и они наступили.

Старик понимающе кивнул:

— Хотел картошку продать заезжим армянам, но таперика воздержусь, а то в мировую систему меня на носилках придется заносить. Отходишков для поросенка у тебя нет, зерна для курей тоже не продашь, стало быть, из живности остается старуха и кот блудливый. Потому картошка незаменимый стратегический продукт, по всей расейской истории так, если шутки в сторону.

Семен любовался дорогим своим человеком: и до чего красив, весь в отца — высокий да стройный, лицом строг, а натурой добрый, улыбнется — рубаху с него сними, отдаст.

Гурушкин вышел из стола, нервно и громко ступая по старым скрыпучим половицам.

— На той неделе будет собрание, приедут товарищи из района совхоз распускать. Приходи, если интересно. Там я пошире, чем сейчас, сообщение сделаю. А теперь походи по своим делам, дядь Сем, у меня бумажной работы тьма.

\* \* \*

Сема думать любил, рассуждал сам с собой, иногда даже ссорился, да громко, так что было сомнение у народишка насчет дальности его ума. Сам Семен этим особо озабочен не был, до пенсии плотничал, с топором играл, на спор сургуч с водочной бутылки на чурке одним ударом срезал, но на народе больше молчал. Были в деревне несколько человек, с которыми он мог откровенничать безбоязненно, с ними и отводил душу. Но иногда срывался и на народе, высказываясь притчами и намеками.

Вот как человеческая жизнь так извернется, что вроде и полгроба из задницы торчит, прости Господи, а все равно как не жил. Скоротечность и неуправляемость жизнью больше всего волновали Семёна. Он сильно огорчился, когда пенсионную книжку получил, где написано, что назначена пенсию Семёну Федоровичу по старости. Он аж отпрянул: почто по старости, не старик еще, кажись? Пошел в отдел кадров, попросил Фросю, чтобы поискала, может, есть книжки, где не старость записана, а, допустим, возраст. Фрося и говорить не стала: бумаги в райсобесе готовят, там и проси.

В район Сема не поехал, он района боялся еще с тех пор, как ездил хлопотать за друга своего Якова Матвейча, отца нынешнего директора. Они на фронте шибко подружились, одной бомбой и ранило их при налете тяжелой авиации, только Сему контузило слегка, а Якова едва откачали, ногу отпилили и кое-что из внутренностей выбросили. Вернулся он в деревню совсем никакой, робить не может, а на пенсию документы где-то затерялись. Ну, и рванул Сема в район, в одном здании пошумел, в другом, из третьего его под белы руки увели в камеру, а утром отправили в город соседний, в специальную лечебницу, ну, дурдом, по-нашему. Сема там только месяц и провел, но посмотрелся на всю жизнь. Какой-то доктор приехал, из умных, осмотрел Сему и заключение написал: в деревне рабочих рук не хватает, а тут здоровый мужик в калошах по двору ходит и кукишки воробьям показывает. Сему и отправили домой. Вместе с ним прибыло и

подтверждение: точно, умом шшевеленный Семен, в дурдоме зря держать не будут.

Вот почему жизни нет простому русскому мужику? Вроде не шибко зло употребляют, работать может, а все как-то впустую. Крепко занимала умишко эта проблема: почему плохо живет мужик в деревне? Сема вспоминал всю свою жизнь. Первую самостоятельную борозду на пашне под зорким оком отца, когда послушная Пегуха осторожно прошла гоны, и десяток крикливых грачей бросились на свежий пласт чернозема. Потом эту землю вместе с Пегухой сдали в колхоз. Семку тоже записали колхозником, и он снова пахал эту землю, но земля была уже чужая, Пегуха тоже колхозная, и грачи вроде как загрустили.

В ту зиму собрался Семка жениться, за Дашкой втихоря ухлястывал, Мартемьяна Безбородихина дочкой. Дарья-то не особо старалась убежать, когда с вечорок шли, но баловства не допускала, так и сказала:

— За титьку словишь — голову отверну.

Семка знал, что так оно и будет, в случае чего, потому жался к девке, как кот, шурился, да и она мурлыкала, в общем, заговорил Семен о свадьбе. Отец сразу сказал, что Мартемьян Дарью в нашу семью не отдаст, но сын настаивал, и сватов собрали. И Чирку, маленькому говорливому мужичку, и Парамонихе, которая знала весь обряд сватанья, пообещал богатый магарыч, пошли всей кампанией, но Мартемьян с раннего вечера спустил по двору двух кобелей, пришлось стоять под воротами и кричать хозяев. Кто-то из домашних убрал собак, но настроение жениха совсем поухло: собак убрал, сам отлаиваться будет.

Мартемьян стоял посреди просторной избы, уперев руки в боки, поулыбывался:

— В передний угол не приглашаю, незачем. Дарье порку уже устроил, чтобы блюла себя и следила, кто рядом трется. Мне с тобой, Федор, родниться нет нужды, ты и при новой власти все в тех же штанах, как при царизме. Не фартит тебе, и сын твой такой, с топором за поясом, как разбойник.

— Ты, Мартемьян Фадеич, семью мою не позорь, мы всегда жили честно и своим куском. Ты в сельпо подался, и слава Богу, а мы по колхозной части, там навар жиже. Только поперек их судьбы не становись, до добра это не доводит.

— Уж не пугать ли меня взялся? Увижу твоего трухлявого рядом с дочерью — запорю, не сам, найду доброжелающих. Все, порог знаете, где. Савельевна, ставь ужин!

Через неделю Семка перехватил Дарьюшку темным вечером, никуда отец не выпускал, а тут, видно, нужда какая поджала, бегала девчонка в легкой шубейке к родственникам.

— Ой, испугал ты меня! Давай хоть от ворот отойдем, а то тятя услышит.

— Не бил он тебя?

— Нет, словесно. Пообещал в район выдать за дружка своего, торговый начальник какой-то.

— А ты?

— Я — что? Сказала, что не пойду, а он хохочет.

— Значит, отдаст. А я об тебе сохну, кусок поперек горла. Когда отправить-то собрался тебя?

— Не знаю, тут проговорился, что тому надо еще со старой женой развестись, да в райкоме все уладить.

— Даша, неужто ты согласишься?

— Ой, отстань, и так голова кругом. Все, побежала я. Постой, я тебя поцелую.

Она охватила его за шею, он распахнул полушубок, прижал ее, так что сердечко слышно стало, и они неумело и сладко целовались. Обмякнув, она выпросталась из его рук, запахнула шубейку и побежала к дому.

Семен Федорович тот вечер всю жизнь помнил, и как зиму страшную пережили, когда со дня на день грозился отец увезти дочь в район. Неведомо, какими путями все обошлось, сказывают, власти партийные сильно воспротивились, один чин так и сказал: «Кабы партийный билет разрешал, я бы каждый год баб менял, а то и чаще. Так что ты про молодую жену забудь, а то все мы тут с ума посходим».

Семен Федорович как сейчас помнил, что встретились они с Дарьюшкой ранней весной в лесу, случайно, он жерди приехал на паре коней рубить для колхозного загона, она березовый сок собирала.

— Ты не одна ли?

— Разве он отпустит? Брат со мной, да он сорок зорит.

И нацеловались же они в тот момент — до одури. Березовка давно через край бутылки течет, а Дарьюшка не видит, не хочет видеть. Брат два раза окликнул, отозвалась тягучим голосом, и опять губы в губы.

— Ты чего несмелый такой, Сема, потискай меня, мне сладко, когда ты мнешь.

— Ага, а сама придушить обещала.

Она хохотнула:

— Дурачок, когда это было. А теперь я створки тебе открою, если ночью придешь. Придешь?

— Приду. Седни?

— Нет, дня через три, я дам знать, тятя уехать должен. Жди.

Дом Мартемьяна, доставшийся ему от отца, купца, державшего три лавки, стоял в глубине сада из густых неухоженных зарослей черемухи, акации и сирени. Поговаривали, что старый купчишка откупился от властей, а магазины свои передал в сельпо. Торговали сами, Мартемьян со временем все к рукам прибрал, от мобилизации в Финскую войну прикрылся грыжей, хотя пятипудовые кули с телеги прямо на амбарную эстакаду забрасывал. Месячную выручку всего сельпо у Мартемьяна разбойники отобрали, его в район лошадь привезла едва живого, только Семен сам слышал, прячась накануне за завожней и поджидая Дарьюшку, как Мартемьян кричал приказчику Фиме:

— Бей прямо в лицо, чтоб синяки были, чего ты меня гладишь?!

— Боюсь, Мартемьян Фадеич, вдруг ты за обиду примешь?

— Вот дурак, сказано, для великого дела надо, бей, все стерплю, а не то завтра же в военкомат сдам.

Позавидовал тогда Семка приказчику, уж он бы уговаривать не заставил. Дарьюшка прибежала напуганная, говорит, тятя зашел в дом и скрылся в своей комнате, не велел даже чай подавать. Полезли они через заросли к окошку, и видел Семка, как Мартемьян с разбитым лицом деньги пересчитывал и на три пачки делил, бормоча:

— Всех куплю, сволочей, а на фронт не дамся. Мне и тут в войну славно будет!

Дарьюшка в последнее время совсем с ума сходить начала, так и висла на Семке, а тот радовался и вздрагивал: вдруг кто застукат? Прямо сказать, Мартемьяна боялся.

— Убежим куда, Сема, везде люди живут.

— Куда я без бумаг, колхоз не отпустит, а так — посадят.

— Достукашься, что выдаст меня за какого-нибудь полумотика, у него что ни друг, то жулик, и разговоров только про деньги. Завтра он уедет, как стемнеет, приходи к моему окну, я отворю. — Она прижалась к нему и шептала на ухо: — Увалень ты, Сема, и за что только люблю дурака? А отцу объявлю, что в положении, даже по деревне слух пуцу, покочервяжится, и отдаст, никуда не денется. Все, побегла я, не дай бог, хватятся.

Ох, и долгий же был этот июньский день, уж сил нет терпеть, а все никак не темнеет. Мать спросила:

— Ты чего маешься? Живот скрутило?

— Скрутило, мать, мочи нет.

— Не трись здесь, сходи за пригон, потужься.

Ушел совсем, в дальнем углу сада перелез через прясло, дарьюшкино окно увидел, створки настез, облапал кряжистую черемуху, подтянулся, на сучок встал, до окна два шага всего. И тут как будто сучок треснул, и кто-то сильно лопатой плашмя ударил его по заднице. Когда уже бежал переулком, проскочив изгородь, понял, что стреляли в него, во как! Затаился, пощупал задницу — мокро, лизнул — кровь, а зуд такой, хоть волком вой. Докондыбал до Прони Бастенького, вроде как дружок, про Дарьюшку все знал, кое-как растаскал его на сеновале, рассказал. Пошли в баню. Поставив Семку задом кверху, Проня, осветил рану и захихикал.

— Ты чего ржешь, дурак, тут в зубах крови нет, а ему хаханьки.

— Семка, это тебя солью врезали, моли бога, что на четверть в сторону, а то бы и в окошки к девкам лазить нужды не стало.

— Ты не ржи, чего делать-то?

— Я так морокую, что отмыкать тебе придется. Пошли на речку.

Вода была теплая, но Семку бил озноб, Проня заставлял растирать рану, чтобы соль вымывалась. Уже светать начало, когда Семка притащился домой. Несколько дней на работу не ходил, ничего, затянуло, как на собаке.

Поздним вечером Проня стукнул в окно и позвал Семку.

— Чего тебе?

— Выйди, дело есть.

Вышел. В тени ворот стояла Даша. Пронька махнул рукой и скрылся.

— Сема, это приказчик Фимка подслушал наш разговор и с ружьем сидел напротив окна. Сильно он тебя?

— Сойдет. Тебе, небось, тоже попало?

— Нет, тятя веселый ходит, не иначе задумал что-то. Ох, Сема, не хочу я ни за кого, а ты все медлишься. Бежать надо, здесь уйди я к тебе — убьет отец, я эту породу знаю. Того же Фимку наймет. Убежим, а? — Она положила головку ему на грудь.

Семен покачал головой:

— Некуда бежать, Даша.

Она неловко отпрянула от него, вздохнула тяжело, по-бабьи:

— Значит, нет в тебе жалости ко мне совсем, ты почто не ценишь, что в постелю свою позвала тебя, не мужа еще? До субботы жду, не



решишься бежать — не подходи больше, я потом хоть за дьявола пойду, мне все едино.

И она быстрым шагом растворилась в темноте.

По теперешнему стариковскому разумению понимал Сема так, что боялся тогда Дарьюшку выкрасть и тайком увезти, толи батюшки ее испугался, толи перемен жить в других краях, а это надо было не иначе, как в город. А кто он в городе? Так себе, пятое колесо. Ни разу в городе не бывал — куда бечь?

И три дня, оговоренные Дарьюшкой, прошли, и неделя, и месяц — не появляется она нигде, но речей нет, что в замуж увезли. Ретивое ноет, а ума не хватает. Приходит как-то дружок Проня Бастенький, зубоскалит:

— Дарью в лавке встретил, велено тебе к ихней задней калитке после управы подойти. Ты бы на всякой случай задницу дощечкой прикрыл.

Пришел пораньше, притаился, как бы опять на приказчика не нарваться, увидел, что сама бежит, сердце в пляс пустилось. Обняла его, целует, а у самой слезы:

— Ничего не решил, Сема? Ах, пожалеешь, да поздно будет для обоих. Вот, слушай, он опять кого-то мне нашел, свирепый стал, я как-то про нас с тобой заикнулась — чуть не ударил. Деньги ему глаза застилают, да и только. Так вот, слушай. Чтобы он чего не удумал, я в подпол полезу, как за картошкой, и с лесенки упаду, понарошку, а орать буду во всю правду. Пусть любых фельдшеров везет, иначе чем на излом ноги не соглашусь. Месяц просижу, а ты, Сема, поедешь в город, договорись тут с бригадиром, пока сенокос не начался, съезди и все разузнай. Я вот тебе денег на дорогу принесла. Сема, славный мой! — Она припала к нему и дрожала вся. — Поезжай и все разузнай про работу и про жилье, говорят, там есть такие дома, где обшакон живут.

— Это как?

— Ну, в большом доме у каждого свой угол. Ой, да Господи, нам и хватит!

— Отец прибьет обоих.

— Не прибьет! Я ему записку оставлю про мордобой нарощенный и про три кучки денег. Убоится! Все, убегаю, хватятся.

С утра и до позднего вечера добирался Семен до города, заночевал в какой-то пекарне, у девчонок рабочих выпросился, тут же и про работу узнал, про жилье.

Девчонки советовали:

— Коли специальности нет, лучше стройки ничего не придумать,

будешь подсобником, тяжело и тариф слабый, зато койку в общежитии дадут.

— А я с женой...

— Могут и комнату дать, только навряд ли.

— Мы и не расписаны еще в сельсовете.

Девчонки смеются:

— Таких жен отдельно селят.

Утром нашел строительную контору, наскочил на прораба, тот сказал, что хоть завтра выходи на работу. В конторе койку пообещали и Даше тоже в женской половине.

Домой вернулся измученный и беспомощный, так и не пристал ни к какому берегу. Услышал, что Дарья ногу повредила, в глине замотана, дома сидит. А на улицу выйдет — что ей сказать?

24 июня в размашистые луга Лебкасного лога и Коровьей падьи приехала на дрожжах секретарь сельсовета Хроменькая Надя, сразу подтянулись мужики и парни, а она под расписку отдавала повестки. Все молчали. Молодежь хотела сразу сорваться домой, потому что отправка уже завтра, но бригадир приструнил:

— Надо сенишко дometать, вы уйдете, а колхоз со скотом останется, чтобы вас кормить.

Пришлось робить, только Наде наказали, чтобы по всей деревне бани топили, мобилизованных напоследок попарить.

Семка слегка обмылся, окатился холодной водой и вышел на воздух. Вечер мирный, небо в звездах, ни ветерка. Поднялся наверх от бани, она у них на задах огорода, подошел к пряслу, а Даша стоит в платочке, в платьишке ситцевом, вся воздушная, родная, так и прыгнула к нему на руки:

— Сеня, миленький ты мой, вот и выбор наш кончился. Ты скажи своим, чтоб не теряли, а я тебя в вашем сеновальчике ждать буду.

Коротка июньская ночь, для долгожданной любви коротка, для военной разлуки.

Даша так и не выпускала Сему из объятий:

— Родной мой, единственный, муж вечный, пентюх ты битюковый, отчего девчонка должна все за тебя решать! Не приди я — так и не насмелился бы. Я тебя ждать стану, ты возвратишься скоро, там же недолго, я в газете читала. А я тебе потом ребятишек нарожаю, целую кучу, таких же тихонь да скромненьких.

— Выдаст он тебя.

— Теперь не выдаст, прикинусь беременной, я же по-всякому умею.

– Идти надо, Дашенька.

– Пойдем. Сейчас он меня встретит.

Она обняла его и крепко—крепко в губы поцеловала, он даже сой-кал, пригнулась к самому лицу, посмотрела на свою работу, довольная собой:

– Засос тебе поставила, чтобы все видели, что провожала тебя на фронт горячая девка, теперь уж баба твоя.

Вокруг зазвенели подошники, заспанные хозяйки толкали лениво жующих коров. Начинаясь очередной крестьянский день.

\* \* \*

В глухих урманых местах спрятались три деревни, сказывали, не то пугачевские, не то разинские недобитые казачки сюда утянулись с Урала, баб по пути понабрали, да и обосновались. Леса богатющие, низины травой зарастают — литовку не протащить, а подлески да поляны распахали, рожь дуrom дурит, перепелки выпорхнуть не могут, пешком выходят, колос с ладони свешивается.

Все это Сема знал от стариков, всегда интересовался прежней жизнью, когда своя не особо удалась. Будь пограмотней, записал бы, в потомство пустил, а так только сам и знал, да иногда рассказывал вместо баек.

Про колхоз его рассказ записал какой-то заезжий писака, три дня бражку пили у Семена, записал и рассказ вставил в книжку, когда советской власти не стало и распечатывали всякую чушь. Книжку ту Сема хранил и всякий раз показывал свой рассказ, хотя, очевидцы свидетельствуют, много всего писатель от себя тиснул. Но Сему это не смущало: история тем и интересна, что каждый ее может дополнить, если ума хватает.

«У нашего колхоза биография богатая, как у Володи—Тюрьмы, которого посадили еще ребенком, и за неполные пятьдесят он сроков получил в два раза больше, отсидел частично, зато в короткие передышки между посадками хвастал, как много он повидал. Бабы вздыхали, а ребятишки пучили глаза от восхищения и зависти.

Колхозы в наших краях создавали зимой тридцатого года, а наш образовался за одну ночь без предварительной проработки и подготовки, и это повергло в смятение районных начальников. Все понимали, что разовый успех наверху могут истолковать как результат системной и продуманной массово-политической разъяснительной работы, и никто не мог быть гарантирован, что завтра не заставят по-

всеместно поднять этот уровень и добиться единодушного и молниеносного вступления в колхозы всех граждан. А было много деревень, где единоличники заняли молчаливую оборону, поддакивали линии партии, но заявлений не писали.

Нашей деревне повезло в том смысле, что всегда у нас было полно мужиков с хорошо подвешенными языками, которые они не утруждали себя держать за зубами, и считали меткое слово не меньшей заслугой, чем добрый приплод в хозяйстве или хороший хлеб в закромах.

На собрание по поводу новой колхозной жизни в середине дня приехал к нам из уезда суровый человек в кожанке, правда, без нагана, хотя наган, сказывал сельсоветский кучер по прозвищу Кнут, у него был и лежал в «голенище», по-городски — в портфеле, в гороховой тряпице. Уполномоченный начал с положения в партии и прошел через все революции, включая поверженный женский батальон, охранявший последний бастион мировой буржуазии — Зимний дворец. Уполномоченный, явно не наших мест, громовым голосом картаво говорил о всемогущем лозунге «Земля — крестьянам!», который наши мужики понять не могли, потому что земля в Сибири и есть у крестьян, у кого же ей еще быть? Даже председатель сельсовета Никитка Щинников пахал и сеял. Про помещиков и капиталистов, которые безотрывно пили кровь из эксплуатируемого крестьянства, у нас не слыхали, и живыми этих кровососов никто не видел, хотя в соседней деревне маркитант Феофан, когда колол свиней или другой скот, просил у хозяйки чистую кружку, наеживал из раны свежей горячей крови и, перекрестившись, выпивал, вытирая тряпицей сгустки спекшейся крови с бороды и с губ.

Когда уполномоченный сказал об линии партии и что она в данный исторический момент пролегла именно по нашей деревне, стало как-то не по себе, но в ответ на вопрос Никитки: «Кто за колхоз?» дружно промолчали.

Тогда уполномоченный заговорил о кулаках и подкулачниках, о текущем политическом моменте и о голодающих детях какой-то эксплуатируемой страны, имени которой никто в деревне до этого не слыхал, но, утверждал уполномоченный, дети там голодают только потому, что мы в своей деревне не желаем им помочь. Детишек было шибко жалко, некоторые бабы даже всплакнули, но для мужиков все равно все было непонятно, и потому голосовать никто не стал.

Вот в это самое время, когда в президиумном застолье окончательно разыгралась растерянность, и уполномоченный похлопал по го-

ленищу, наверно, проверяя, там ли наган, в это время к столу подошел Филя Задворнов. Он к советской власти никак не относился, но налоги платил исправно, приговаривал, что всякая власть от Бога, хотя в церковь ходил не чаще, чем в сельсовет. Он почитывал книжки и даже выписывал какие-то журналчики про землю и про скотину.

Филя поклонился в сторону народа и произнес:

– Гражданин уполномоченный человек сурьезный, я и в газетах читал, что колхозы – штука прочная и надолго, потому вступать все равно придется, а чтоб время не терять, прошу вспомнить про Нюрку, что на Заговенье отдавали за Ваньку Федора Евсеевича.

Когда все дружно, под веселый хохот и отчаянное улюлюканье, подняли за колхоз руки, Никитка, чтобы не испортить момента, сам неудержимо хохоча, еще раз окинул орлиным оком большую школьную комнату, подвел итог:

– Записываю всех, так и отметим в протоколе, а заявления оформим завтра.

Только уполномоченный ничего не понял и угрюмо сидел за столом. Его революционное самолюбие было заметно ущемлено, он был подпольщиком до революции, тянул каторгу на рудниках, откуда сразу произведен в члены ревкома и наделен полномочиями комиссара ревполка. Он словом гнал людей на смерть и победу, дважды ранен, на съезде Советов с самим Лениным встречался, тут три часа речь держал, а аргументы какой-то Нюрки оказались и проще, и убедительней.

Наверно, за ужином Никитка расскажет ему, что в канун поста выдавали замуж простую девку Нюрку, и прямо на свадьбе, когда уже застолье подходило к концу, спрашивает перепуганная невеста у матери своей, как ей с женихом ложиться. Мать, женщина строгая, но справедливая, резанула во весь голос: «Ой, Нюрка, как ни ложись, все равно ухайдокат!». Скажи бы она тихонько, может, на этом и обошлось, но совет слышали все и потом долго обсуждали, хотя все по собственному опыту знали, что так оно и есть.

Филька Задворнов, кажется, вовремя вспомнил о нюркином вопросе и мамамином заверении в неотвратимости счастья семейной жизни.

Потом у нас был колхоз и очень много председателей. Их привозили районные представители в маленьких плетеных кошевках, потому что собрания проводили сразу после Нового года, стараясь не угадать под Рождество, и, хотя церковь в нашем селе ликвидировали еще до коллективизации, в правлении опасались за явку и пьянку. Бывало, что председателя до окончания полномочий райком убирал

после особенно ущербной зимовки скота или сразу после первого снега, который, оказывается, помешал успешно завершить уборочную кампанию. Снимал и ставил председателей райком, но почему-то требовалось наше поголовное голосование.

Привезенный обычно тихо сидел с краешка президиумного стола и пугливо озирался, после собрания счетовод Крысантий Спиридонович торжественно вручал ему колхозную печать. С утра новый председатель начинал робко раздавать наряды, бригадиры тоже предусмотрительно помалкивали, но эти были из местных, они всех колхозников знали по именам, и в такое смутное время старались от коллектива не отрываться.

Что же касается Крысантия, то имечком его наградил крепко обиженный поп, который перед самым крещением младенца пришел в дом родителей новорожденного, чтобы получить необходимые подношения. Папаша, надо полагать, был человек прижимистый, на глазах священника вынес полную пудовку муки и ловко опрокинул в санный ящик. Поп все-таки успел заметить, что пудовка наполнена мукой со стороны доннышка, по ободок, муки там фунтов пять, не больше, но промолчал, а на крещении посмотрел в святцы и нарек младенца Крысантием. Против попа не попрешь, так и остался парень с диковинным именем.

Перед самой войной, примерно за год, очередного председателя не в своей кошевке увезли в район в сопровождении двух милиционеров. Толи чего где не досдал, толи брякнул по неосмотрительности. Из района приехал один представитель, без подкидыша, вышел вперед стола, привычно расправил под ремнем гимнастерку и громко сказал:

— Райком решил вам, товарищи колхозники, дать право самим выдвинуть председателя колхоза, и потому рекомендует на эту должность хорошо вам всем известного старшего чабана члена партии товарища Ерохина.

Ерохин, или по-деревенскому Ероха, ничем выдающимся знаменит не был, даже чабаном работал как бы по неполноценности, работа эта нетяжелая и бабья, но детей имел много. Любил говорить при случае: «Мы, партийные...». Правда, внимания на это никто не обращал, так и жил Ероха, пока какому-то райкомовскому хлыщу не попала на глаза папка с его данными. И оказалось, что всеми статья ми тянет Ероха на председателя новой жизни: из крестьян — беднее не бывает, линию партии блюдет, краткий курс истории ВКП(б) про-

шел и согласен. Грамотешки маловато, если не сказать, что совсем нет, потому как младшую группу он закончил, а в среднюю отец не пустил, потому что по хозяйству работать надо, а, чтобы Ероха не ревел, шепнул ему, что в средней группе ребяташек будут кастрировать. Но в райкоме об этом не знали, конечно.

За Ероху проголосовали, никто слова против не сказал. Сам Ероха был напуган поболее привозных, но против райкома возразить побоялся. Руководил он обреченно, как овец пас. В правление ходил, как на принудиловку, но в райкомовские поездки снимал свои скопяченные пимы с натянутыми на них литыми резиновыми галошами. Наш деревенский толковый мужик Алеша Крутожопенький всю округу снабдил такими литыми калошами. Штука эта в хозяйстве крайне необходимая, без заказов Алеша не жил, резину поставлял ему свояк с промышленного Урала. И весной, чтобы ловчее было ходить на ферму, председатель тоже заказал калоши на белые чесаные валенки. Алеша снял мерку, и через неделю, с усилием натянув изделие на чesанки, лихо поставил перед заказчиком: носи на здоровье!

Чтобы гладкая резина не скользила по твердому снегу, Алеша выливал на подошве поперечные полоски. И председателю тоже отлил, но так ловко, стервец, изловчился, что большая председательская калоша оставляла на снегу четкую печать: «Ероха». Дня два, наверно, никто ничего не замечал, а потом всех словно разорвало, хохот в деревне стоял, как на вечеринках в старые годы, когда кто-то ловко гасил лампу, и парни щупали девок ко всеобщему восторгу.

Ероха сразу велел заложить выездного жеребца и махнул в район. Говорят, он так ушло все обсказал, что с ним согласились. Сейчас, говорит, колхоз на коленях стоит, вы же не хотите, товарищи партийные, чтоб я его вовсе на брюхо положил? Этого товарищи не хотели. Поговаривали, что главную причину, калоши со штампом, оставили в районе как вещь, но это наветы, калоши видели потом на Ерохе, когда он опять стал ходить за овцами, только печать с них была уже срезана.

После войны, уже в 1946 году, председателем избрали нашего деревенского Кешу, который на фронт ушел молодым парнем, а вернулся майором и с молодой городской женой. Звали его уже Иннокентием Алексеевичем. Офицерскую форму он, наверно, с год не снимал, только погоны отстегнул. Дела в колхозе, знамо, послевоенные, еще год назад дядя его по материнской линии склад не сумел ревизии показать, так чуть под указ не попал, ладно, самогонкой тогда

три дня всю бригаду употчевал, а то бы загремел. При Иннокентии народ отпил. Трактором самолично давил самогонные аппараты под плач и матерки односельчан, все бочонки и фляги из под браги конфисковал на общественные потребности, бабы на ферме кипятком с крапивой и смородинными молодыми ветками не могли сивушный дух выпарить.

Зато построили клуб и новую школу, мост через Ишим прокинули, на отчетных собраниях председателя ругали нещадно, но избирали заново, а когда Иннокентия хотели забрать в райком, весь колхоз два дня на работу не выходил, правда, это в сенокос было, в аккурат задождило чуть-чуть, так что все кстати, но бучу тогда большую подняли. Пришлось вечером собрание собирать и объявлять людям: «Никуда, мол, я не поеду, жните, что посеяли, чтобы вас жабил...»

«Чтобы вас жабил» — это было его самое большое ругательство.

Когда целина нагрянула, у нас тоже много чего распахивали, не все, правда, в пользу пошло, но поболе, чем у соседей. Выгоны и сенокосы вечные Иннокентий пахать не дал, а вместо этого нашел такие пустошки в первых лесках, что перекрыл все планы и хлеба завез на элеватор столько, что заведующий возмутился: не вози больше, буртовать некуда!

Потом прошел слух, что за целину будут давать ордена и медали, и что нашему Иннокентию привезут геройскую звезду. Вполне возможно, что так оно и должно было быть, но сразу после уборки Иннокентий выдал колхозникам на трудодни зерна столько, что во дворах мешков не хватало, и золотую нашу пшеничку вываливали из грузовиков прямо на чисто выметенные ограды. Такая благодать была не везде, соседи стали пенять своим председателям, те пожаловались в райком, и Иннокентия даже вызывали, подвели под него статью, что он, де, идя на поводу и потворствуя частно-собственническим интересам своих колхозников, действует в ущерб общегосударственной политике советской власти в деле колхозного руководства. Напрасно доказывал Иннокентий, что перед государством он все выполнил, что колхозник тоже человек, он жрать хочет еще до отчетно-выборного собрания, когда паи распределят. Секретарь райкома, видать, хороший был человек, он прямо сказал Иннокентию, в чем дело: смута в районе пошла, до области донеслось, а в других колхозах все под госплан выгребли, дать придется на трудодень, чтобы только концы с концами... Сказал так же, что Звезда ему теперь уже не светит, обком отдаст другому руководителю. Иннокентия с колхоза убрали,



двое суток с перерывами на еду и сон шло собрание, пока не встал секретарь райкома:

— Вы что, хотите своего председателя в тюрьму посадить? Ему же за этот хлеб авансом по трудодням срок полагается. Снимем с колхоза, доложим, что наказан. Не отдадите — силой заберут, ему же хуже. Подумайте.

Думать тут нечего. Мирона Чудинова привезли к нам из соседнего колхоза вроде как на повышение. Грамота у него была небольшая, четыре школьных класса да курсы руководящих работников, но работу крестьянскую он знал, дела там у него шли неплохо. Мирона избирали в партийный орган и в депутаты, но всякий раз все заметнее стали спотыкаться о графу образование. На партийной конференции, когда мандатная комиссия докладывала о достоинствах делегатов, было отмечено, что с начальным образованием — один, и все знали, что это наш Мирон. Обиженный Чудинов пришел к первому секретарю и слезно попросил:

— Впишите мне семилетку, ведь за эти годы я столько курсов прошел!

Ничего ему вписывать не стали, а скоро всех малограмотных округлили и отнесли к категории «неполное среднее образование». Тут наш Мирон ожил. Председатель всегда оставлял за собой последнее слово, будь то на заседании правления, на колхозном совещании или на партийном собрании. Чаще всего разговоры и тут вели о производстве, так что Мирон был в своей стихии.

Но однажды случилось страшное. На повестку дня общего партийного собрания колхоза вынесли вопрос о воспитании молодого поколения. Пригласили учителей, весь беспартийный актив, секретарь парткома сделал доклад. Выступили комсомольцы и культработники, директор школы и фельдшер участковой больницы. Мирон вышел к трибуне в самом конце собрания, привычно прошелся по сводкам и врзал осеменатору за плохую случку коров, поговорил о предстоящем севе, об угрозе ящура, только что пришла телефонограмма из района, потом наклонился к парторгу:

— Об чем собрание?

— О воспитании молодежи, Мирон Федорович!

— Да, мы сейчас обсуждает трудный вопрос об молодежи и куда с ней деваться. Конечно, ее надо воспитывать, как учит партия и правительство. Только вот как ее воспитывать, вот в чем вопрос! Я вот иду на собрание, уже потемочки, а Варвары Филипповны сынок, сломок господень, стоит на клубном крыльце, вывалил его

через перила и дует! Так неужто его воспитывать, чтобы он на девятое бревно выссыкал!?

Собрание разделяло основные положения речи председателя, выслушало ее со вниманием и проводило аплодисментами».

\* \* \*

Семен Федорович пришел домой, прошелся свежей метелкой по влажной ограде, заглянул в горенку, где вот уже полгода не вставая, лежала жена. У него не было к ней никаких чувств, ни дурных, ни добрых, как не было их и в первую брачную ночь после скоростной свадьбы. Соседка за скромную плату ходила за умирающей, и все ждали конца. Жена позвала:

— Семен, зайди. Отмаялась я, ночью отойду. Клавке наказала, она придет ночевать. Тебе сказать... Прощаю тебе все, и холодную постель, и баб других прощаю. Ежели что, Дарью в дом приводи, ты же по ней сохнул. А таперика иди.

Семен вышел, сел на крыльцо. Стало тоскливо и обидно за жизнь свою исковерканную, стыдно стало, что винил во всем Авдотью, даже бивал, грешным делом, по пьянке. За что — не мог сказать, зло вымещал. Человек часто так делает, находит безответного, сорвет зло, и как ни в чем не бывало. А бессловесный терпит до поры, потом возьмет топор, и отсекает обидчику голову, как в прошлом году Витька Сибиряк Кольке Парापону, чистенько отрубил, как арбуз отскочила. Смертное все у Авдотьи собрано, тес на гроб есть, могилу копать — завтра мужиков собирать надо. Взял сумку, добрел до магазина, купил по пять бутылок вина и водки. Продавщица понимающе молчала, гремя мелочью.

Сема свою старуху похоронил тихонько и остался один в стареньком пятистенном домишке. Наказ покойной сойтись с Дарьей он исполнять не спешил, да и побаивался: вдруг не пойдет, только славы наделаешь на всю деревню. Варил себе супчик—пластанку, это когда картошка пластиками настрогана, заправлял пережаренным луком, хлеб брал в магазине, чай с сахаром пил.

Вот неожиданно как может куражиться жизнь с человеком, весь век прожили как чужие, а похоронил Авдотью — и пусто стало, слова не с кем молвить, нельзя сказать, что тосковал Сема, нет, просто пусто, и все тут.

На сельмаговском крыльце прислушался к разговорам: Гани Корчагина сына Ромку ночью в районную больницу увезли.

– Перенасытили зельем, свернуло его, – шепнула соседка. Сема сумку под мышку и в контору, Гриша лучше скажет.

– Передозировка наркотика, Семен Федорович, так это теперь называется, час назад говорил по телефону с врачом: плохи дела, иными словами, не выжить ему.

– Ганя там?

– Оба с Галиной там, но в палату не пускают.

Сема помолчал, смахнул слезу.

– Ты бы, Гриша, поехал туда, не дай Бог – случится – все хоть один человек рядом будет.

Гурушкин с благодарностью посмотрел на старика:

– Ты прав, прямо сейчас и поеду.

Ну и съездил, вовремя, к его приезду родителям уже объявили, мать сомлела и до сих пор без сознания, отец закаменел, ни слезы, ни слова. Поздно вечером вышел врач, отозвал в сторону Гурушкина:

– Поезжайте домой, Григорий Яковлевич, мы обоих оставим, с матерью не все ладно.

– С сердцем плохо?

Тот сказал тихо:

– С головой. Не в себе она. До утра будет спать, а там посмотрим. Раньше можно было санавиацию вызвать, а теперь в область везти – бензина может не оказаться.

Гурушкин остановил:

– Ты говори толком, куда везти, я машину пришло. Ты сам-то определился, что с ней?

– Григорий Яковлевич, ну, что тебе попроще сказать: рассудка лишилась женщина, и, похоже, очень серьезно.

Ганю увели в процедурный кабинет, напичкали уколами, и врач убедил остаться в палате до утра. Про жену сказал, что с сердцем плохо, спит после капельниц. Ганю тоже скоро свернуло снотворное.

Утром все открылось. Ганя почернел, попрощаться с Галей, которую отправляли в область, его не пустили, Гурушкин увез его в деревню. В доме уже собралась вся родня. Говорили в полголоса. Тетки собрали одежду и поехали снаряжать парня.

Сема стоял в сторонке, всем кивал, в разговоры не ввязывался.

К обеду привезли Ромку. Лежал в гробу, будто шутки шутил, того и смотри – улыбнется. Ганя сел на табуретку у изголовья и не поднимался до вечера, все смотрел на сына. Гурушкин не мог вынести этого молчаливого взгляда, пытался заговорить с товарищем, но Ганя молча отводил его рукой.

На кладбище, когда уже собирались объявить прощание, в похоронной тишине неожиданно заговорил Гурушкин. Голос его, обычно ровный и спокойный, был звонким и надрывным:

— Этот наш парень убит не только подонками, которые дали ему яд, он убит государством, которое отвернулось от своего народа, убит властью, которая никак не может насладиться возможностью порулить страной. Мы уже знаем людей, которые руководят наркотиками в наших краях, и я клянусь, что мы выведем их на чистую воду. Перед памятью Романа клянусь, что так и будет.

Сема тоже бросил три горсточку мерзлой глины на красную крышку гроба. Дарья прошла следом за ним, отошла в сторону, знаками позвала Семена.

— Ты бы передал Григорию Яковлевичу, что две машины чужих, иномарочных, подъезжали к конторе.

— Что за личности?

— Не наши. Да и, похоже, не из района.

— Передам.

— Горячий обед в столовой будет, знаешь?

— Теперь знаю.

— Сходишь?

— Воздержусь. Я этого парня и так никогда не забуду помянуть, а панафиду хлебать, шутки в сторону, не время.

И он пошел в сторону деревни.

Вечером постучал в калитку к Славке Пальянову, тот вышел, на ходу запахивая полушубок.

— Дед Сема, тебе чего не спится?

— Успеем, Вячеслав, ты мне вот что скажи: людей тех, в лесу, ты в лицо узнавать можешь?

— Не знаю, разве что двоих.

— Ты завтра ребят опроси, с которыми бандитов ловили, чего они успели заметить?

— Дед Сема, ты в следствие подался, что ли?

Сема возмутился:

— А ты как хотел? Чтобы наших парней вот так запросто мерзлой землицей зарывали, чтобы всяк мог тебя по шее прикладом двинуть? Надо всем собраться и писать в прокуратуру, прокурор-то — э-э-э, брат, это тебе не секретарь райкома, он стакан чаю предлагать не будет, сразу деляну отведет на Северном Урале!

— Дед, а ты, однако, там бывал?

— Не лезь на зло, а бумагу такую писать надо, и прежде показать ее Григорию Яковлевичу. А я теперь же к нему.

Гурушкин вышел на ярко освещенное крыльцо, увидел за калиткой Сему, спустился, открыл засов.

— Ты почему не спишь?

— Какой сон, Гриша, ты знаешь, что на двух машинах приезжали, черных и красивых, пока мы Ромку хоронили? Не знаешь! А я кумекаю, что это от тех фигур посланцы, да не по твою ли душу? Ты поостерегся бы вот так живчиком на всякий стук на крыльцо выскакивать. Да еще мужики, которые в засаде были, бумагу пишут прокуратуру, ты ее посмотри. Ганя-то как?

— Никак. Ни слова не сказал за весь день, рюмки не выпил и слезы не проронил. Я вечером говорил с главврачом, Галя сильно плоха, рассудком помешалась, психиатры считают такой вариант почти необратимым.

До чего же больно ранило Семино сердце горе Ганиной семьи! Домой пришел, не включая свет, прилег на кровать, Ромку помянул, про Галю подумал хорошее, чтоб ей полегче стало, и Ганя вдруг нарисовался, это уж точно, задремал Сема, а Ганя веселехонький, чуть не в припляс, рукой ему машет, мол, до скорого свидания, Семен Федорович!

Сему ободрало, сна как не было, не к добру это, ой, не к добру, не вынесет ретивое, сотворит что неладное. И — ноги в пимы, шубейку на плечи, выскочил на улицу. Ганин дом со всех сторон освещен, все вроде тихо, Сема уже к воротам подошел, как глухо охнул выстрел. С минуту никого не было, потом на крыльцо вышли братья, мужа сестер.

— Вроде стрелял кто?

— Да нет, показалось.

— А Гаврила-то Романович где у вас? — Заорал через забор Сема.

— Ктой-то там кричит?

— Правда, а Ганя где? В доме его нет.

Калитка брякнула, Семен влетел в ограду, мимо опешевших мужиков кинулся в мастерскую. Любил Ганя послесарить, посамоделничать. И в последний раз сам все изладил, два крупных гвоздя в верстак вколотил, закрепил курок своего карабина, к сердцу измученному своему ствол приложил и дернул на себя. Осечек оружие у хорошего хозяина не дает.

В школе неожиданно прекратили кормить ребятишек, Анастасия пришла домой возмущенная и требовала от мужа хоть каких-то действий. А он уже ничего не мог изменить, и так вопреки установкам района и области полгода выделял для школы муку и мясо. Его возмутило, что не просто перестали готовить горячие обеды «в связи с нехваткой средств», например, а вообще столовую закрыли, печи отключили и поваров уволили.

Заведующая отделом образования только заплакала в ответ на его претензии. Он положил трубку и подумал: «Из названия отдела образования убрали слово «народного», и из названия суда убрали, а вот экономику даже большие вожди иногда называют «народным хозяйством», хотя все принадлежит частным лицам, не весть откуда взявшимся «олигархам».

Через два дня Гурушкин по делам был в райцентре и зашел к Хлопову.

— Здравствуй, здравствуй, возмутитель спокойствия, — он подал руку, и Гурушкин легонько пожал мягкую и влажную ладонь, похожую на оладью. — Ты и на этот раз с проблемами? Кого защищаешь?

— Детей. Это же безумие: в таких условиях закрыть столовую в школе. Для многих ребятишек это единственная возможность прилично поесть.

— Ну, ты наговоришь!

— Вадим Лукич, ты или не знаешь или вообще ничего не хочешь знать, как люди живут. Что с тобой происходит? Клубы позакрывали, участковые больницы ликвидировали, школы объединили. Я уже не говорю про экономику, хозяйства разорены, банкроты. Это с какой стати? Мы что, работать разучились? Ты губернатору задавал вопрос, почему цены на горячее прут? Не задавал. У вас теперь это не принято, велено приятности нашептывать.

— Ты говори, да не заговаривайся.

— А ты меня не пугай. Известно тебе, что в некоторых семьях дробленую пшеницу к обеду запаривают, как раньше свиньям? Почему жалкие пособия на детей и матерей на три месяца задерживаются? В бюджете заложены средства — где они? Меж банками проценты нагуливают?

Хлопов заерзал в кресле:

— Ты же знаешь, что налички в стране не хватает, инфляция прет, цены растут каждый день.

— А ты должен знать, почему такое случилось. Вы зачем губите колхозы и совхозы, закрываете фабрики и заводы? И я считал, что не все ладно в экономике, но ошибки исправляют, а не взрывают страну, как интервенты.

Хлопов напрягся:

— Твой совхоз кто губит? Ты сам. Вместо того, чтобы закупить удобрения и гербициды, ты выдал зарплату. Добреньким хочешь быть, а урожайность потерял, отрасль нерентабельна. Далее. Я предлагал тебе сдать свиней, они экономически не выгодны, нет, ты держишь, не сешь убытки и держишь.

— На этой свиноферме вся деревня Кушлук работает, только тем кормятся. Закроем ферму — пропадет деревня!

— А ведь все равно закроем, Григорий Яковлевич, и я первым буду настаивать. Мы создадим частное сельхозпроизводство с высоким уровнем организации труда, высокой производительностью, большими доходами. Это будут современные агрокомплексы, не хуже зарубежных.

— Создавайте, флаг вам в руки, пусть они силу набирают, а пока дайте возможность нам работать, мы будем давать продукцию. Хозяйство и село друг без друга не могут, это же аксиома. А, впрочем... Что будем делать с питанием детей в школах?

— Слушай, Гурушкин, не садись не в свои сани. Нашелся заступничек народный, он за людей, а все остальные против. Ничего не случится, есть пособия, есть родители, они обязаны обеспечить нормальное питание своих детей. И довольно об этом.

Гурушкин смотрел на этого невысокого толстенького человечка, которого знал много лет и никогда не уважал, даже когда в ранге директоров встречались за одним столом, но Хлопов отводил взгляд, он никогда не глядел в глаза собеседнику, об этом все знали. Не очень умен, но хитер, к должностям вроде не стремился, но всегда занимал их. Был агрономом, заочно окончил экономический факультет, в райкоме это заметили и двинули на директора. Как раз в это время областная контора «Скотопром» создавала на местах хозяйства по откорму молодняка на базе небольших совхозов. Гурушкин знал, что в некоторых районах такие совхозы действительно стали экономическими гигантами, на откормочных площадках стояло до десяти тысяч голов скота. Хлопов таких высот не брал, он собирал по хозяйствам телят, летом пас их на дармовых выгонах, а к зимовке хозяйства завозили ему сено и зернофураж — в соответствии с количеством пере-

данного скота. Но система распределения доходов была так запутана, что хозяйства оставались при своих интересах, а откормочный совхоз получал миллионные прибыли. Пока с этим безобразием разобрались, Вадима Лукича выдвинули вторым секретарем райкома партии.

Уже в машине Гурушкин улыбнулся своим мыслям: три раза меняли в районе председателей райисполкома, и ни разу не возникла кандидатура Хлопова, видимо, в верхах поняли его очевидную бесперспективность, но он не протестовал, сидел, ждал и дождался в очередной раз: было официально объявлено, что вся власть от райкомов переходит к советам народных депутатов. Накануне организационной сессии совета, на которой, согласно решения пленума райкома партии, председателем райсовета должны были избрать первого секретаря, Хлопов в течение суток повстречался со всеми депутатами, кто по разным причинам мог иметь претензии к первому, уговаривал, обещал, грозил. Результаты тайного голосования озадачили всех: с перевесом в один голос победил Хлопов. У него руки дрожали и голос срывался, когда он уже за столом президиума говорил благодарственные слова. Закат района обозначился.

Гурушкин мог бы вспомнить «дачу согласия», так назвала заметку областная молодежная газета о заседании районного совета по даче согласия на назначение Хлопова главой администрации района. Совет собрали в экстренном порядке, как будто что-то важное случилось, но собрались почти все, потому что в депутатах пребывало все большое и малое районное начальство. Хлопов сам зачитал телеграмму главы администрации области Шафраника о даче согласия. Гурушкин предложил повестку дня изменить, принять «О главе администрации района» и не ограничиваться кандидатурой Хлопова. Это Шафраник, он ни разу в районе не был, знает только Вадима Лукича, а мы-то с вами пошире видим. Потому надо сейчас выдвинуть несколько кандидатур, а люди у нас есть, и мы их знаем, затем объявить перерыв до завтрашнего обеда, обсудить кандидатуры в трудовых коллективах, встретиться с избирателями, а завтра собраться и принять решение.

Хлопов настороженно встал и потряс телеграммой:

— Товарищ Шафраник требует сообщить кандидатуру уже сейчас.

— Не смешите людей, Вадим Лукич, у нас же не чрезвычайная ситуация, все идет нормально: коммунистов запретили, советы вот-вот прикроют, Белый дом ремонтируется — куда спешить? Я прошу поставить мое предложение на голосование.



Но – проголосовали против. Когда Хлопов, уже чуть отшедший от шока, объявил решение, Гурушкин еще раз поднялся, повернулся к залу:

– Не пройдет и года, как вы признаете, что я был прав.

В гробовой тишине он прошел по проходу и хлопнул дверью.

Наверное, так выходит кровь из живого существа, унося с собой по капельке его будущее, разум и силы, так постепенно терял равновесие совхоз «Лесной». Закувыркались цены, не стало партнеров по обслуживанию, поставкам, возник бартер. Ух, как ненавидел он эти новые горбатые и лающие слова: ваучер, вексель, дисконта – потому что чужды были они его языку, привычной его экономике.

Так на скользкой дороге, покрытой тончайшим коварным ледком, водитель теряет уверенность, осторожничает, и в самые критические моменты полагается на волю судьбы. Суровый реалист, Гурушкин не видел другого результата происходящих процессов, кроме потери хозяйства. Что будет на его месте, и будет ли – он боялся думать: слишком суровые почвенные условия, это хлебородные хозяйства быстро прибрали к рукам. Была мысль уйти сразу, чтобы не видеть гибели всего, что создавал вместе с коллективом все годы, но он сам испугался этой мысли: а люди как же? Бросить? Чем вспомнят потом? Понимая, что спасти ничего нельзя, он делал все, чтобы полегче для людей это происходило.

А реформирование широкой волной шло по краю, сметая остатки социализма. Соседний совхоз распустили за один вечер, выдали справки на паи и доли, создали два десятка крестьянских хозяйств. Пару лет они промучились, залезли в долги, теперь осталось пяток.

Другой совхоз поделили специалисты во главе с директором, создали четыре кооператива, каждому досталось по деревне. Директорский кооператив область одарила техникой и кредитами, которые потом списали.

Вадим Лукич Хлопов в дела хозяйств не вмешивался, редкие совещания проводил начальник сельхозуправления Дымчаков, поговаривали, что родственник большого областного начальника. На все упреки Хлопов прямо заявлял, что его забота – бюджетная сфера, все остальные должны работать самостоятельно, на самообеспечении. Ничего неожиданного в таких словах не было, точно такую же позицию занимало областное руководство.

\* \* \*

А начиналось все интересно. Три маломощных, как тогда говорили, колхоза объединили в один совхоз и назвали его «Лесной», правильно назвали, потому что, если честно посмотреть, никаких богатств, кроме леса, в том совхозе не было. Земля не особо плодородна, супесь, лесные разработки, подрастратившиеся за годы, только навозом перегоревшим и можно было пашню спасти.

Когда границы районов нарезали в последний раз, оказался Лесной совхоз узеньким клинышком области, вдающимся в Казахстан, а там уже другая союзная республика, с ней транспортную связь держали на других участках. Оказалось — тупик. Многие директора бились, чтобы дорогу от райцентра до совхоза сделать — ничего не получалось. То Карибский кризис, то вьетнамский, то нефть надо добывать, то газовую трубу тянуть для ненавистных капиталистов. Так и остался большачок, грейдер, как мужики назовут. Зимой надо после каждого снегопада чистить, в теплое время ведро воды вылей на дорогу — до обеда машины не пройдут.

Гурушкин круто начал свою работу директором, большак расширил и укрепил, стал дома строить, но специалисты в деревню не ехали, ни сельскохозяйственные, ни врачи, ни учителя, дурная слава за околицей района, конец земли, на службу — только в порядке наказания. Да еще новый первый секретарь, впервые побывавший в хозяйстве, в докладе на пленуме неосторожно назвал лесной край глухоманью. С тех пор как прилипло: Глухомань, не скажут: Лесной совхоз или село Дубинное, а Глухомань.

На первой неделе своего руководства собрал Гурушкин управляющих и бригадиров, зоотехника пригласил, один из специалистов остался в совхозе. По всем делам поговорили, механики заявили, что надо тракторы на ремонт определять.

— А вот тут погодим. Сколько у нас тракторных телег? Да самосвалов восемь, бульдозер и погрузчик есть. Давайте, пока снег все не спрятал, вывезем перегной, полно его на летних стоянках, вокруг каждой фермы. А свежий навоз сбуртовать и прикрыть как следует. Без органики нам хлеба не видать.

Съездил в «Сельхозтехнику», попросил помочь машинами, не отказали, направили отряд. Половину полей закрыли слоем перегноя, уже в первую осень эти поля дали почти двойной урожай. А Гурушкин умудрился договориться с председателем соседнего колхоза, который уже года три органикой не занимался, потому что родной пле-

мянник стал большим человеком в областном управлении, сидел на химикатах, фонды ему выделял такие, что тот не успевал выбирать. Всю осень возили оттуда перегной, ублажили свои поля, никогда они столь органики не видели. Хорошо обрабатывали пашню, но сорняк лез, пришлось в школу обращаться, чтобы ребяташки прошлись по полям и продергали раннюю зелень. А польза велика, со временем совхоз вплотную подтянулся к стопудовому урожаю, а шестнадцать центнеров с гектара — это не просто мечта, а непостижимый был, немислимый показатель.

Высмотрел в Омской области, какой сенаж люди закладывают, зерно в восковой спелости, а не жалеют, потому что все для молока и мяса.

Проездом короткой дорогой из Казахстана с деловой встречи в Лесной заехал первый секретарь обкома партии. Гурушкин, конечно, о важном госте ничего не знал, в кабинете с бумагами работал, даже оторопел, когда увидел вошедшего. Они не были знакомы лично, но Первый без условностей пожал руку, спросил имя-отчество, попросил рассказать о хозяйстве. Гурушкин говорил с полчаса, на ходу выстраивая систему, чтобы не скакать от темы к теме. Секретарь обкома молча слушал, что-то помечал в блокноте.

Спросил неожиданно:

— Столовая у тебя есть?

— Конечно, Геннадий Павлович.

— Попроси женщин, чтобы уху сделали хорошую и грибов достали. Смогут? Вот и славно, а то казахи закармлили мясом.

За столом, похлебав с аппетитом горячей наваристой ухи из сырка, карпа и карася, отведав три вида грибочков Настенькиного приготовления, Первый вернулся к хозяйственным делам:

— Подготовь записку на мое имя со всеми выкладками, что надо построить, какую технику приобрести, по жилью, по дороге. Дадим все, ну, или почти все. Но имей в виду, это не подарок, это вложения с расчетом на отдачу. Следовательно, приложи расчеты, как сумеешь увеличить производство и продажу продукции. Деньги народные, швыряться ими не след. Меня не провожай, пока ты распоряжался обедом, я твоих райкомовских начальников нашел, уже подъехали, наверное, так что я с ними еще поговорю. Да, о записке никому ни слова. Будь здоров!

Он крепко пожал руку Гурушкина и первым вышел из столовой.

Через пятилетку, хоть совхоз и назывался Глухоманью, но ордена стали давать рабочим, и директора не обошли, вручили Трудовое

Красное Знамя. Средства стали отпускать хозяйствам такие, что только крутись, осваивай, строй, что требуется: школу, магазин, клуб. Две улицы домов для рабочих поставили, одну назвали улицей Ранних Зорь, потому что рановставы поселились, животноводы да механизаторы, кому до семи часов можно потягаться, а эти в пять уже на работу идут.

После записки в обком, которую Гурушкин сдал в приемную сам, к нему приехала большая бригада, он было струсил, но гости относились уважительно, один мужичок тихонько признался, что лично Первый поручил. Все посмотрели, просчитали, и старший сказал, что Гурушкин будет приглашен на бюро обкома.

Как в тумане помнится ему это заседание, предложения все были поддержаны, утвердили программу развития Лесного совхоза и Дубининского сельсовета. Нельзя сказать, что блага рекой полились, но помогали все ведомства, через год совхоз не узнать: половина тракторов новых, половина комбайнов с иголки, фермы переоборудовали, по деревне асфальт. А вот на дорогу от райцентра времени не хватило, началась перестройка.

Гурушкин часто упрекал себя, что не сдал дела в самом начале, ведь чувствовал, почти знал, что развал неминуем, но остался. На что надеялся — сам не знает, хотел сохранить социализм в отдельно взятом совхозе. Не сохранил...

\* \* \*

Семен Федорович всю войну отвоевал, как посевную или уборочную отработал, сам дивился: ребята рядом гинут или каких членов лишают, а его не берут ни пуля, ни осколок. Вперед шибко не бежал, но и сзади в толчки не подгонял никто, «За Родину, за Сталина» — только рот разевал, не орал, все сглазить боялся. Короче говоря, к демобилизации у солдата ни ранений, ни медалей, одну какую-то повесил ротный, но Сема и ее спрятал. Так ни с чем и явился в деревню.

Писали ему из дома, что гнездо Безбородихинское совсем разорили, Мартемьяна посадили вместе с приказчиком, имущество конфисковали, дом нечаянно сгорел, Дарья к тетке уехала в город, да там и замуж вышла. Странное дело — не горевал Семен, вроде такая любовь была, хоть в петлю, а случилось, ну и пусть так будет. А жениться шибко охота, в освобожденных городах и селах Семен тоже не стеснялся, в наших пределах простым приемом пользовался солдат: увидел девку полных лет или бабу молодую, подмигнул пару раз, если

понятливая — хохотнет, подолом поиграет, айда, мол, следом. А на иностранных землях страшновато стало, приказ за приказом, и не про наступление или вылазку, а чтоб баб ихних не трогать. Да ведь до того дошло, двоих парней, сказывали, в соседнем батальоне трибунал к стенке лицом поставил. Тут поневоле все хозяйство в живот втянет, по легкому соберешься — вспотеешь, пока отыщешь.

А с Авдотьей на сенокосе встретились, в одном кругу сено метали, Семен на стог подает, Авдотья приминает, утаптывает, вершит. Платишко на ней широкое, то и дело подол на голову закидывает ветром, почти все Семка высмотрел. Когда стог завершили, снял он Авдотью по вожжам, аккуратно, чтобы работу свою не нарушить, прижал к стогу:

— Больно на тебя смотреть, Авдотья, выходи за меня.

— Позовешь — пойду.

— А то! Сегодня же ко мне, бутылочка есть, отметим, а в первое же ненастье, когда метать нельзя, в сельсовет ходим.

Бригадиру наказал, чтобы мать баню истопила да ужин изладила погодней. Попарились раздельно, не пошла невеста с женихом. После ужина на сеновал ушли. Крепко обнял Семен молодуху, а та в слезы:

— Сема, порченная я, прошлым летом председатель в лес увозил.

До чего же тошно на душе стало у Семена, последняя мирная ночь вспомнилась, тут, на этом же сеновале, в такую же ночь миловался он с Дашенькой, вся жизнь теперь связана с этой ночью, но перевернулось, перекрутилось бытие. Дашеньки нет, есть Авдотья, к которой, кроме дневной вспышки страсти, он ничего не испытывал. Так и лежал на спине, положив руки под голову, молодожен хренов. Авдотья посопела и уснула. Перед рассветом он разбудил ее, ни слова ласкового, ни поцелуя. Расписаться обещал — расписались, а жили не сказать, как, ни хорошо, ни плохо, но тихо, как соседи.

С Дашенькой он все-таки встретился, она в какой-то городской конторе работала, не особо обрадовалась или вида не подала, но с лица скраснела. Муж начальник, детей двое, дом свой.

— Он у тебя что, больной?

— Здоровый, с чего ты взял?

— Но на фронте же не был?

— Не был, он тут по мобилизации

— Ясно. Мы там кровь проливали, а вы тут ребятишек делали. Интересная разрядка!

— Ты-то как живешь? Женился, говорят?

— Знамо дело, и так от тебя отстал, надо отрабатывать. Ты ночку-то нашу не забыла?

Дарья смутилась:

— Ничего я не помню, Сема, так будет лучше.

— Славно! — Семен встал, поскрипел новыми хромовыми сапогами. — А ежели я тебя с ребяташками возьму — пойдешь?

Дарья едва встрепенулась:

— А Авдотья?

— Пойдешь, значит. Так. А я не возьму. Как ты могла ночке той и звездочкам тем изменить? Я что, и с Авдотьей проживу, только запомни, Дарьюшка, из сердца боль не вынуть, нету таких спецов. Я видел на фронте парня, у него прямо из сердца осколок вытащили, железный, и то зажило, а тут память, мыслишка тонюсенькая, а не убрать, кровит. Прощевай.

В обратную дорогу он напился, его с трудом завалили в кузов полторки, и все дивились: вроде непьющий, а тут нити не вяжет.

\* \* \*

Страшная новость подняла всю деревню на ноги: совхозная доярочка Нина Гриднева получила письмо от солдата, который служил вместе с ее Генкой.

«Дорогая неизвестная мне мама моего друга Гены Гриднева, пишу вам из отпуска, потому что из части письмо бы не дошло, такие новости с боевых действий не пропускают. Вместе с Геннадием мы были на зачистке небольшого селения в горах, взводный оставил его на окраине, чтобы духи не захватили нас врасплох. Через час мы вернулись, но Геннадия нигде не было. Мы недолго его поискали и ушли. А на другой день командиру роты по рации чеченцы сообщили, что солдат Гриднев у них, предложили обмен на десять автоматов и гранатомет. Командир этого сделать не мог. Тогда те сказали, что примут выкуп в деньгах, что он напишет письмо на родину. Я хорошо знаю Геннадия, он не будет писать вам такое письмо, потому что рассказывал, как тяжело живется вам теперь в деревне и что вам не собрать никогда таких денег. Дорогая незнакомая мама, простите меня за эту новость, но я подумал, что лучше вам знать всю правду. Письмо это уничтожьте, иначе мне будет плохо от командиров. Бачурин Сергей».

Генку только прошлой осенью проводили в армию, он никогда не писал, что переведен в Чечню, Нина перечитывала все его письма, где он все ее успокаивал, что служит при кухне, всегда в тепле и

сыт по горло. В военкомате только развели руками: никакими данными не располагаем, требовали назвать источник информации, но Нина, помня предупреждение Сергея, ссылалась на записку неизвестного человека.

Через неделю она получила еще одно письмо из Ростова, почерк чужой, она боялась его вскрывать. Позвала соседку, распечатали, корявыми буквами заполнены полстраницы: «Твой сын у нас, он совершил смертный грех, поднял руку на воинов Аллаха. Его жизнь стоит 50 тыс. дол., срок – месяц, 15 июня приедешь в Ростов, будешь сидеть в зале ожиданий в черном платке, мы тебя найдем сами. Если нет, 16 июня его казнят по законам Шариата. Не вздумай звонить в органы, заметим хвост, застрелим прямо на вокзале и его тоже».

Нина потеряла сознание и упала на пол, соседка, всполоснула ее водой, накапала валерьянки, побежала в медпункт. Через час о письме знала вся деревня.

– Зиночка, – со слезами просила Нина медичку. – Ты мне скажи, пятьдесят долларов – это сколько?

– Пятьдесят тысяч, тетя Нина, – уточнила Зина. – В рублях это, наверно, полмиллиона.

– Господи, да где же я возьму такие деньги? Что же это творится на белом свете? Как же можно матери родной сына продавать?!

Гурушкин узнал о письме на ферме, куда приехал на вечернюю дойку. Женщины молчали, многие плакали. Гурушкин в бессилии сел на стул.

– Григорий Яковлевич, такие деньги можно собрать? – спросила бригадир Варенька.

– Сам об этом думаю, Варя. В районе около десяти тысяч взрослого населения, если раскинуть – сумма не велика, но не все работают, не все имеют деньги.

– Государство обязано помочь, – робко заметила молодая доярка.

– Могло бы, но нам с вами до государства, до власти, то есть, не достучаться. Надо завтра же объявить по всем отделениям сбор средств, сдавать кассиру под роспись, я такую команду дам. Попробую переговорить с банком, но на это слабая надежда. Работайте, группу Гридневой пустите на раздой. И зайдите к ней, человека два, скажите, что сделаем все возможное.

Весь вечер он провел в кабинете, обзванивая всех руководителей района, никто от помощи не отказался, но каждый говорил известное: наличных денег ни в кассах, ни у людей почти нет. Все обещали

завтра провести собрания на производствах, а в час дня встретиться в администрации района.

Утром Гурушкин едва протиснулся через толпу людей, в основном пенсионеров, стоящих на крыльце и в коридоре. Селиверст Корнеевич, майор в отставке, учитель, а теперь председатель совета ветеранов, вышел вперед и подал директору руку:

— Вот, узнали, кто как, о горе Нины Ивановны, собрали, у кого что есть, принесли. Общая наша беда, Григорий Яковлевич.

— Спасибо всем, товарищи, но вы бы прошли в зал заседаний, там по ведомости передали своему председателю деньги, а то кассир вас до обеда не обслужит.

Несколько человек остались:

— Григорий Яковлевич, у меня нет денег, я принесла золотые сережки, кольцо и перстень.

— Мы с сестрой тоже отдаем золотые вещи.

— Григорий Яковлевич, помните, мы с вами вместе получали ордена, я готова отдать свой орден Ленина.

Гурушкин был явно смущен:

— Давайте так: золотые вещи опишите, взвесить, к сожалению, у нас негде. А орден... Едва ли, Агриппина Георгиевна, мы сумеем продать ордена, да и незаконно это. Оставьте его до лучших времен.

В вестибюле бывшего райкома партии, где разместилась новая администрация, собралось больше двадцати человек. Кто-то сбегал наверх, попросил открыть зал заседаний, идущий с обеда Хлопов растерянно смотрел на собравшихся:

— Вы по какому случаю тут? Кто собирает?

— Сами собрались, беда у нас, — ответил Гурушкин.

— У тебя, Григорий Яковлевич, в последнее время все не слава Богу! — засмеялся Хлопов. Толпа ответила холодным молчанием.

— Не надо ерничать, Вадим Лукич, наш земляк попал в плен к чеченцам, требуют выкуп. Мы собрались, чтобы обсудить, как собрать средства.

— Ну, это другое дело, — смутился Хлопов. — Заходите, я сейчас спущусь.

Гурушкин не стал дожидаться главу и коротко доложил, что сделано в его совхозе, а потом предложил высказаться остальным. Вставали и говорили кратко: через три дня все возможные средства будут собраны. Управляющую банком попросили найти приличную скупку золотых вещей, потому что почти везде люди, за неимением денег, приносили драгоценности.



— Антонина Александровна! — Обратился Гурушкин к управляющей банком. — Какому хозяйству ты можешь дать кредит в самое короткое время? Остались еще такие?

— Строго говоря, нет, без поручительства облсельхозуправления ничего не получится, а на это надо много времени, вы знаете.

— К тому же, господа, — вмешался Хлопов, — государственные органы в это дело вмешивать не надо. Позиция власти известна: никакого выкупа террористам, никакого поощрения похищениям людей.

Гурушкин побледнел:

— У тебя есть сын, Вадим Лукич, кстати, ровесник нашего Гриднева, представь себе на мгновение, что почки его вдруг признали здоровыми и он не за партой в университете, а в яме в чеченских горах, и меньше, чем через месяц его не станет. Если государство не может уничтожить бизнес на крови, пусть платит! Не Рублевское шоссе обустроивает, не позолоту в кабинетах президента...

— Григорий, перестань, так мы ничего не добьемся.

Бывший парторг его совхоза фронтовик Головачев встал с ним рядом:

— Мы навсегда покроем себя позором, если не сумеем вырвать из плена своего сына. Конечно, дикость, что ведем войну в собственной стране, у меня мнение, что она очень нужна кому-то наверху, иначе, с военной точки зрения, это не война, а недельная войсковая операция. Вадим Лукич, у вас есть выход на главу области, попросите деньги в долг, мы все готовы подписать обязательство в течение трех месяцев его погасить. Можете вы это сделать?

Хлопов покраснел и покачал головой:

— С такой просьбой я обратиться не могу.

Гурушкин встал:

— Тогда, Вадим Лукич, может вам лучше покинуть наше скорбное собрание? А то еще, не дай бог, обвинят в искривлении государственной линии в вопросе о цене жизни простого гражданина России.

Хлопов вышел.

— Товарищи, завтра будем встречаться?

— Наверное, нет, собираем средства на местах, через день сойдемся, подождем результат.

Так и решили. Гурушкин стоял в коридоре с Головачевым, подошел Хлопов, молча подал объемный пакет:

— Возьми. Хотел машину купить, но обойдется. С чиновниками сегодня переговорю, соберут, что можно.

Гурушкин уже в машине вспомнил, что так и не поблагодарил Хлопова.

У крыльца совхозной конторы стояла серебристая иномарка, по номеру определил: авторитет, смотрящий по району, фамилии не знал, но кличку помнил: Щербатый. Он все удивлялся: человек отсидел в тюрьме, освободился, дня нигде не работал, а живет, как новый русский: дом в два этажа, машина красивая... Увидев хозяина, гость вышел из машины и пошел ему навстречу, остановился в трех шагах:

— Руки не подаю, чтобы себя не унижать отказом, зная ваши взгляды и натуру. Короче, о парне нам все известно, с согласия братвы я привез пять штук.

— Каких штук? — не понял Гурушкин.

— Баксов. Пять тысяч баксов из общака.

— Я ваши деньги принять не могу, они тоже в крови.

— Ну, не так густо, как казенные в Чечне. Не ломай гордого, начальник, братва от всего сердца. Не примешь — обидишь. Не возьмешь — матери отвезу, та ноги целовать будет.

— Согласен. Странные вы люди, ей богу!

На крыльце ждал Сема:

— Чтoб разговоров не было, тебе самолично отдам, так спокойней, а то будут звонить, что Семка золотишком балуется. Тут пять золотых червонцев, после войны ходил, горевал на Безбородихинском погорелье, да и выкопнул случайно баночку. Всю жизнь боялся: узнают — спрячут, а таперика ничего не страшно, но ты все же никому не сказывай. Я для ради Нинки, без мужика растила, ох, и пакостной был, у меня лета три кряду огурцы вырывал и плети по пряслу развешивал. Ну, дай Бог!

В кабинете было прохладно, Григорий попил воды из графина и сел в кресло, вытянув ноги. Устал. И столько впечатлений. Хлопов с неожиданной стороны себя показал, старушка Агриппина самое святое — орден Ленина принесла, Сема со своими червонцами. Все-таки прекрасный у нас народ, работающий, честный, готовый последнюю рубашку снять что за родину, что за соседского парня. Только вот на вождя ему катастрофически не везет, и этот будто с моста упал, и вокруг один другого чище. Странная у нас жизнь получается: государство отдельно, власть отдельно, народ в стороне. Надолго так не хватит.

Он давно заметил, что люди перестали петь. Когда еще начинал работать директором, приезжая на утреннюю дойку на летние выпаса, он удивлялся, слыша простую лирическую песню, исполнители

которой носились вдоль доильной установки с доильными аппаратами и ведрами. Уезжая в кузове грузовой машины, они заводили новую песню. Почему? Столь сладкая жизнь была? Какое там, от войны кое-как оправились, кругом нехватки, а настроение у людей — жить. Теперь разом все изменилось. Даже в кампаниях не поют. Зато на телевидении нездоровый оптимизм и веселье без меры, старики всегда говорили, что неумная радость не перед добром.

Дома Настенька встретила горячими пирожками. Пока он ел, она молчала, потом села рядом:

— Гриша, я собрала все свои побрякушки, только обручальное кольцо оставила. Не судишь?

Он осторожно обнял жену и благодарно поцеловал в щеку.

Когда сборы закончились, спецрейсом директорской «волги» с двумя охранниками съездили в область, сдали в скупку золотые и другие ценные вещи, причем, руководство было заранее извещено, что следует подготовить приличную сумму для расчета наличными. В банке обменяли рубли на доллары. Полный отчет вечером положили перед директором.

— С Гридневой надо отправлять кого-то для охраны, в дороге всякое может случиться.

— Давайте Пальянова командиром, парень он ответственный, трезвый, надежный.

Сборы и отправку Нины поручил женщинам из бухгалтерии, съездили в Петропавловск, купили билеты на прямой поезд до Ростова.

Поезд пришел ранним утром, в зале ожиданий нашли свободную скамейку, Нина потуже затянула черный платок, Славка постоянно оглядывался. Просидели до обеда, Славка пошел в буфет купить чего-то перекусить, когда вернулся, Нины на месте не было. Спросил у соседей — сказали, что увели милиционеры. Славка кинулся к дежурной по вокзалу:

— Где у вас отделение милиции?

— На перроне, сразу направо. А что случилось?

— Женщину у меня арестовали, — и побежал на перрон. Сразу в коридоре его остановили двое милиционеров:

— Молодой человек, куда спешите?

— Землячка моя у вас.

— Кто такая, откуда приехала, цель приезда?

— Ребята, какие могут быть разговоры, у нас дело очень важное.

— Понятно. Пройди в эту комнату.

Славка вошел, замок в двери защелкнулся на два оборота. Славка начал стучать и кричать.

В это время в соседней комнате капитан милиции допытывался у Нины, зачем приехала из такого далека, кого ожидает с самого раннего утра. Понимая, что продолжение разговора может сорвать встречу и убить сына, Нина призналась:

— Сынка своего выручать из плена приехала, выкуп привезла.

— Покажите. Не бойтесь, здесь ничто не пропадет.

Нина отошла в угол комнаты, расстегнула кофту и перекусила нитки на пакете с деньгами:

— Вот. — Она подала сверток капитану. — Только, ради Бога, быстрее проверяйте, а то те придут, а меня нет на месте, подумают, что не приехала.

— Хорошо, успокойтесь, вот здесь у нас лаборатория, мы просветим пакет, если там действительно только деньги — вы свободны. Всего две минуты.

Капитан вышел, через две минуты вернулся, улыбнулся, вернул пакет, Нина глянула на широкую ленту скотча: все в порядке. Капитан проводил ее до дверей. Нина села на свое место, Славки все не было. Она и не заметила, как рядом оказался пожилой мужчина, русский, тихонько сказал:

— Вы Нина, передайте мне, что привезли, сами ждите здесь. Если все нормально, через пять минут встретитесь с сыном.

— Он жив, он здесь, правда?

— Пожалуйста, тише. Ждите.

Он взял пакет и вышел. Нина едва не побежала вслед за ним, но вовремя одумалась. Славки все не было. Пять минут, десять, мужчина появляется в дверях и идет прямо к ней. Но где же Гена? Она встает, он движением руки садит ее на место:

— В пакете вместо денег пачка милицейских повесток. Как это понимать?

Нина ничего не могла объяснить:

— Там были деньги, сколько надо, всем районом собирали. А повестки? Откуда? О! Будьте вы прокляты, сволочи, жулики, это здесь, в милиции у меня вынули деньги, а всунули бумажки. Верните мне сына, я сделала все, что могла, добрые люди, помогите! Деньги в милиции, отнимите их! — Она едва стояла на ногах, десятки людей окружили плачущую женщину. Мужчина шепнул ей на ухо:

— Я все передам, тебя не тронут.

– А сыно мой?!

Мужчины уже не было рядом.

Ее кое-как успокоили, она сбивчиво рассказала про сына, про деньги, про милицию. Двое военных из пассажиров пошли в отделение вместе с Ниной. Ни капитана, ни тех двоих, что ее привели, не было, все остальные ничего не знали и не слышали. Один офицер написал заявление в дежурную часть, Нина с трудом расписалась, второй точно такую же бумагу унес в железнодорожную прокуратуру. Нину отвели в медпункт. Офицеры доложили о том, что сделано, извинились и ушли: подходил их поезд.

Славку отпустили к вечеру, Нину он нашел в медпункте – дежурная по вокзалу подсказала. В тот же день выехали домой.

Пакет, адресованный Гридневой, почтальонка принесла в контору и отдала Гурушкину. Обратный адрес – Ростов. Ощупал – коробка. Попросил всех выйти и разодрал бумагу. Обыкновенная видеокассета. Ему почему-то стало жутко. Он включил телевизор и вставил кассету в магнитофон. Неумелая любительская съемка, дом из дикого камня, каменные постройки. Из одной выводят молодого человека, почти мальчика. Крупный план: худой, с разбитым лицом, руки за спиной связаны веревкой. Гурушкин узнал Гену. Его выводят на середину двора, несколько чеченцев, молодых, с заросшими лицами, ходят вокруг, смеются. Один достает листок бумаги и что-то читает, все хохочут. Этот же вынимает пистолет и подходит к Геннадию, что-то ему говорит. Тот отрицательно мотает головой. Чеченец бьет его в лицо рукояткой пистолета. Гена падает. Двое подсказывают, сдергивают с лежащего штаны и делают обрезание. Гена приходит в сознание, что-то гневно кричит, корчась от боли, и отрицательно мотает головой. Опять крупный план: голова Гены и пистолет у затылка, пистолет вздрагивает, легкий дымок... Опять общий план, постройки, высокий стол, сколоченный из грубых досок. На стол бросают тело, это Геннадий, двое с большими и широкими ножами начинают разделять тело, отрезав голову, руки и ноги. Руки и ноги аккуратно, привычно разнимают по суставам, подходят двое с носилками, сгребают отложенные куски и идут с носилками по двору. Из носилок струйками стекает кровь. Камера показывает вольер с десятком огромных собак, похожих на волков, в приоткрытый лючок носилки просовывают в вольер и опрокидывают, ревушие псы рвут мясо, брызжущее кровью... Дальше Григорий смотреть уже не мог.

Вечером Семен подошел к конторе, Дарья, как всегда в это время, домывала крыльцо, встал в сторонке, дождался, когда она привычным движением выплеснет мутноватую воду и насухо выжмет прополосканную тряпку.

– Доброго вечера, Дарья Мартемьяновна.

– И тебе здравствовать, Семен Федорович.

– Ты погляди, как у нас все мило да любо, кто услышит со стороны – ну, чисто голубки.

– А кого нам теперь совеститься, подумай сам: я своего когда еще схоронила, все водки напиться не мог, ты тоже свежий холостяк. Да голубками и были когда-то, только война все понарушила. Садись на крыльцо, не ругаться, поди, пришел, в конторе нет никого, говори, что хошь.

– Ты войну-то здря обижаешь, не она одна виновата, могла бы и у тетки в девках пожить. После такого расставания у меня никакого сумления не было, женатым себя считал, где удастся приткнуться уснуть, там и с тобой повидаюсь. Все мне твой синячок на губе помнится, я его специально подкусывал, чтобы подольше сохранился, вроде как только что присосала девчонка.

Дарья смахнула слезу:

– Как бы можно было у тетки жить, не метнулась бы. В Красну Армию хотели забрать, уже на комиссии гоняли, да только нельзя мне было на фронт.

– Очень даже можно, девок множо видел на фронтах, и по санитарной части, и по связи.

– Нельзя мне, Сема, я уже тяжелая была.

– Вот так? И когда же успела?

Дарья возмутилась:

– Ах ты, «когда успела?», а не ты ли всю ночь, прости Господи, до седьмого поту, да тут диво было не понести! Павлик-то, сын, который сейчас на Севере, от твоего семени, а мой-то Георгий Николаевич, когда узнал, что не гожусь к мобилизации, замечать меня стал, в контору пристроил, продукты приносил.

Сема не слышал последних слов, он никак не мог понять про Павлика, зачем она говорит, что его семья?

– Обожди, Дарьюшка, дай одуматься, что ты мне про Павла сказала. Мой, говоришь? А когда он родился?

– В марте, как и должно. Сема, не вини меня ни в чем, что вышла

за другого, не выжить бы мне с дитем, а он взял, на себя записал. Что раньше никогда не говорила тебе, да и седни бы промолчала, да как-то расположилось все к тому разговору.

Сема плакал, слезы стекали по его щекам, он подбирал их застиранным платочком.

— А ведь я думала, что ты найдешь меня сразу, как вернешься, я бы все бросила, к тебе пошла. И когда повстретились, ты уж женатый был, и тогда бы пошла, да ты возгордился.

Сема всхлипнул:

— Тяжело, поди, одной-то? В районе-то, говорят, квартирка была и с теплом, и с уборной, а все оставила и переехала в глухомань нашу.

— Домой вернулась. А тяжесть — какая тяжесть? Хозяйство не держу, пенсию дают хорошую, да мне много ли надо?

Сема вздохнул:

— А мне тяжело. Ты, может, смеяться будешь, а я все ночами молодость нашу вспоминаю, у меня же ни одной девки не было, кроме тебя. Новой раз до того забудусь, что заговорю с тобой на ласковом языке.

— Неужто все помнишь? Ведь полвека прошло, даже больше.

— Все до ниточки помню, вот как сейчас, и шутки в сторону.

— Ничего не вернуть, Сема, жизнь прошла.

— Ну, тут я не согласный, жисть продолжатся, надо только за ней успевать. Вот я пришел к тебе, думаю, может, нам с тобой сойтись?

— Бог с тобой, Семен Федорович, в наши-то годы?

Сема взбодрился:

— А чего? Пусть знают молодые, что первая любовь завсегда сердце расшевелит.

— Засудит нас деревня.

— Дурак, можа, и осудит, а всякий умный, которых поболе, согласится, что правильно сделали. Только надо хату в порядок привести.

— Нет, лучше ты ко мне перетащись, у меня и домишко покрепче, и к центру ближе.

Сема смутился:

— Нельзя, не положено в примаки выходить. Ладно, оставим до утра, я с Гришей посоветуюсь, он ведь как сын мне. А с Павликом как быть? Сопчишь ему об истинном отце?

Дароья качнула головой:

— Писать не буду, а вот приедет через месяц, тут и обсудим.

Сема подвинулся по плашке ближе к Дарьюшке, обнял ее за пле-

чо, она положила голову ему на грудь. Совсем, как в ту ночь, которая была первой и пока последней в их совместной жизни.

\* \* \*

Собраний давно в деревне не было, как партию и советы распустили, так и собираться перестали, тем более днем, так что полный клуб набился народу. Приезжие и хозяева из конторы шли гуськом и не разговаривали. Семен стоял на крыльце, докуривал, все видел и понял, что дело плохо, раз молчком идут. Директор совхоза открыл собрание:

— Повестка дня известна: о роспуске совхоза и формировании земельных и материальных паев работников. Присутствует начальник управления сельского хозяйства района Дымчаков и заведующая экономическим отделом районной администрации Кукорина. Начну с собственного сообщения. Вы знаете, товарищи, что цены на нашу продукцию из года в год падают, а на все то, что необходимо, чтобы произвести молоко, мясо и хлеб, цены растут. Андрей Ляпышев помнит и не даст соврать, когда у него на «Кировце» двигатель стукнул, а нам зяби еще пахать немерено, я загрузил десять быков, увез на мясокомбинат, там квитанцию выдали, с ней в Агроснаб, и к вечеру мы новый трактор пригнали. Так, Андрей?

— Верно!

— Сегодня за «Кировец» надо табун быков гнать, солярка в пять раз дороже молока. Как жить? Чем больше работаем, тем больше должны поставщикам, налоговой инспекции, всяким фондам. Получается, настали такие времена, что страна в крестьянине не нуждается, и сельское хозяйство ей не нужно.

— В таком виде, конечно, не нужно, — заявила из президиума Кукорина. — Вы же банкроты, сами себя съели.

— Ладно, мы не нужны, а кто народ кормить будет?

Кукорина встала:

— Западные развитые страны, поддерживая нашу демократию, предлагают продукты в несколько раз дешевле, чем себестоимость вашего не самого качественного мяса и молока.

— А нас куда?

— Дустом травануть?

— И жить чем?

Зал гудел. Поднялся Дымчаков, он уже не первое собрание проводил, потому нисколько не смущался:



— Каждый из вас получит пай, долю от совхоза. Можете регистрировать крестьянско-фермерское хозяйство и работать только на себя, посмотрите, как в Америке живут фермеры, половина миллионеры. Можете объединяться и работать в кооперативе, это как маленький колхоз, только опять же на себя, захотите продать государству — пожалуйста, нет — решайте сами.

Встал Славка Пальянов:

— Нас в совхозе не пятьсот ли душ. Тракторов всех марок, если не ошибаюсь, меньше ста, комбайнов сорок. И как делить? По колесу на брата? Это же дурь!

Григорий Яковлевич постучал карандашом по графину на трибуне:

— Дайте мне закончить. Вопросов будет в тысячу раз больше, чем назвал Пальянов. Но я хочу вот на чем остановиться. Новые власти не любят советы и коммунистов, вместе с тем ненавидят все то, что ими создано. Да, мы жили не очень богато, но ровно. Мы создали за послевоенные сорок лет колхозно—совхозную деревню как единый социально—экономический организм. У нас все было едино. Мы фермы строили и квартиры бесплатные, мы клубы, больницы, школы сделали в каждой деревне. Скажите мне, кто самый главный хозяин был в деревне? Парторг? Нет! Председатель сельсовета? Нет! Директор совхоза самый главный, потому что у него все ресурсы, вся техника, все средства. Для чего? Для людей, для вас всех. Елена Васильевна, учительница наша, на прошлой неделе ночью рожать надумала — куда медичка прибежала? Ко мне. Я дал команду водителю, чтобы роженицу увезли в район. А третьего дня умер ветеран труда, заслуженный механизатор Егор Платонович. В совхозной столярке гроб сделали, на совхозной машине на кладбище увезли, в совхозной столовой поминки справили. Вот он, деревенский живой организм, от рождения до смерти человек в коллективе. Если все это будет разрушено, деревня погибнет. Наши деды еще общинами жили, мы тоже к такому пришли, но сегодня все перестраивается. Я вырос в совхозе, десять лет директором был. Гробить своими руками все, что создавал, не хочу и не буду. При всем народе заявляю, что обязанности директора с себя снимаю.

Дымчакова такой вариант явно не устраивал:

— Минутку, Григорий Яковлевич, значит, вы в кусты, а кто отвечать будет за совхоз, вернее, за долги, которые вы нахватили?

Гурушкин побагровел:

— Прошу, господин Дымчаков, выбирать выражения. Дела сдам

по документам, любую комиссию назначайте. Только прямо сейчас подтвердите свой приказ отгрузить Облхлебопродукту практически весь намолоченный хлеб и сдать тридцать коров в счет долгов кооператива «Казбек». Вы обещали, что деньги поступят на наш счет немедленно, но сегодня я выяснил, что нашим зерном закрыли долги района, а «Казбек» получил расчет за мясо наличными. Как это прикажете понимать?

Дымчаков улыбнулся:

— Вы, Григорий Яковлевич, типичный представитель советской экономики, вам не понять тонкостей сегодняшних экономических отношений. Мы такие хозяйства, как ваше, будем закрывать, дадим людям свободу, и через три года новые крестьяне завалят страну продуктами.

Зал загудел, но всех перекричал Семен Федорович:

— Хочу просить товарища или господина, теряюсь теперь, Дымчакова пояснить народу, как это он изловчится за три года новых крестьян настряпать. У меня, верно, детей... вроде как не было, но процедура мне известна, тут тремя годами не обойтись. Это одно. Другое: а куда нас девать? Если без ехидства — вы подмогните деревне, вы же видите, что люди работают, пособиите. Я все смеялся над советской властью, что у нее бензин стоил дешевле газировки. Дохихикал, за литру солярки надо вылить подойничек молока. Жду ответа, дорогой уполномоченный.

Дымчаков широко улыбнулся. Вообще красивый парень, волосы назад, борода, как положено, аккуратно подбрита, галстук богатый, аж глаза скрадывают, костюм с отливом, туфли востроносые.

— Я позволю себе повторить притчу, рассказанную нашим уважаемым руководителем. Голодному человеку надо дать удочку, а не рыбу, готовую рыбу съел, и опять голодный, а на удочку можно ловить, сколько хочешь. Колхозы и совхозы — это черная дыра, в нее хоть сколько вливай, все равно никакого толку.

Голос из зала перебил:

— Вы бы насчет дыр поаккуратней, а то женщины уж платками закрываются.

Дымчаков смутился:

— Прошу прощения, во всем виновата многозначность русского слова, но, впрочем, не о том речь. Государство в корне пересмотрело свое отношение к сельскому хозяйству и будет поддерживать сильных, способных развиваться, слабые... отомрут сами собой, люди най-

дут занятие. Вот, говорят, в ваших местах грибов много: создавайте артели, заготовливайте и продавайте хоть до Москвы.

Толпа оживилась:

— Верно, мужики, какого хрена я вкалывал на ферме, когда от первых лесков и до самого кордона о грузди запинаешься, пройти нельзя. До внукова поколения семью бы обеспечил, опять же на свежем воздухе.

— Нет, Кипря, ты бы только на соли большие траты имел, соль сразу в цену пошла бы.

— Сушить! Опята очень даже хороши сухие.

— А обабаки лучше мариновать, кума сказывала.

Гурушкин видел, что собрание утратило интерес к повестке дня и вообще к завтрашнему, безысходность и бессильную злость скрывали мужики за грубой шуткой — такое тоже бывало.

— Григорий Яковлевич, ведите собрание, что это за балаган? — шипел над ухом Дымчаков.

— Что вы, Антон Анфентьевич, разве это не есть демократия, о которой вы столько речей задвинули? Пусть выскажутся люди, все равно им терять уже нечего.

Расчеты экономистов по земельным и имущественным паям слушали в пол—уха, бабы перешептывались, мужики говорили в открытую, комментируя очередной вывод экономиста.

— Земельная доля составит пятнадцать гектаров на работающего, но это вместе с пастбищами и сенокосами, чистой пашни четыре с половиной гектара. Имущественный пай будет зависеть от стажа работы и заработной платы, потому все расчеты объявим позднее.

Встал Дымчаков:

— Всем все понятно? Таковы правила игры.

Зал угрюмо молчал. Кто-то вздохнул:

— Ребята, не бойсь, это всего лишь игры, только проигравшему не жить.

Дымчаков кашлянул и предложил принять резолюцию.

— Обожди с резолюцией, — вперед протиснулся Семен Федорович. — Я вот сейчас гляжу на тебя, господин представитель, и вспоминаю, как много лет назад вот так же стоял такой же уполномоченный и тряс резолюцией о создании колхоза и зачислении всех жителей гуртом в это дело. У тебя только нагана не хватат, у того уполномоченного наган был, и помогал ему, как только в зале шумок, или кто не то понес в речах, он нежненько так наганчик с руки на руку перебрасывал. Я хоть и совсем малым был, но помню. И речи ваши

очень даже похожи, только у того загнать всех любыми судьбами, а у тебя разогнать опять же любой ценой, потому что в Москву, наверно, уж доложили, что разнарядка исполнена.

Дымчаков вскочил:

— Я бы попросил...

— И не проси, взял слово — ни за что не отдам. Я в народе считаюсь легоньким, вроде как дурачком смирным, но меня не обижают и слушают, когда говорю. Страшное дело происходит на наших глазах, грязный нож, каким бабы полы скоблят, в самое сердце деревне вонзают, а дети ее, словно чужекровные, молчат, не встали стеной, не загородили мать родную. Вы присмотритесь, у таких уполномоченных ничего нет, акромья резолюций, им что совхоз прикончить, что целый народ голяком пустить. Помянете меня потом, отрыгнется вам сегодняшнее молчание.

— Ты что, дед, к бунту призываешь? — выкрикнул Дымчаков.

Сема вскипел:

— Какой я тебе дед? Ежели бы у меня был такой внук, я бы удавился в ближайшем туалете, чтобы приличные места не осквернять. Революции, восстания, расстрелы — это все по вашей части, и ваш брат премного преуспел, как говаривал наш парторг Володимир Тихонович, не тем к ночи помянутый.

— Он что, умер?

— Живой, но дело его погубило. Сейчас вот вроде поминок проводим.

Гурушкин встал из-за стола и вышел вперед:

— Хочу предостеречь вас от резких выпадов против власти. Мы с вами, народ то есть, уже ничем не руководим. В районе главным начальником поставили человека, в партийные времена бывшего во втором эшелоне кадрового резерва. Господин Дымчаков горожанин, основатель крупного банка в области, зачем приехал в сельский район — думаю, есть корыстный интерес, сегодня это поощряется. Можете не голосовать, совхоз все равно распустят, счета арестованы, имущество тоже. Меня за уход не корите, я с собой болта ржавого не взял, весь на виду.

Он поклонился людям и вышел под пугающую тишину зала.

\* \* \*

Гурушкин рано утром в конторе написал заявление на имя начальника управления сельского хозяйства и отправил его с шофером, наказав, чтобы зарегистрировал в отделе кадров, а то начнут игрушки:

видели — не видели. Ровно в восемь позвонили из приемной руководителя района, и дама солидным голосом предупредила, что соединяет с Вадимом Лукичем Хлоповым. Гурушкин выругался: что крестьяне, то и обезьяне, раньше первый секретарь райкома звонил без посредников, а сегодня протокол, субординация, батенька...

— Будь на месте, я через час подъеду, надо поговорить.

Вошел, руки не подал, сел за стол с уголка:

— Григорий Яковлевич, ты почему себя так вольно ведешь? Или ты иной власти, кроме партийной, не признаешь? А я тебе напомним, что это мы, новый состав районного совета, спасли тебя от жестокого наказания, возможно, и от тюрьмы, и ты должен быть благодарен.

— За что? Да, я поддержал ГКЧП, потому что комитет брал на себя ответственность за большую страну, когда уже никто не хотел отвечать, и противостоял тем, кто готов был ее запродать. Я видел пресс-конференции и подленькие вопросы слышал, которые задавали откровенно антисоветские, проамериканские журналисты, видел, что комитет слаб, нуждается в поддержке, и я заявил о своей солидарности с ГКЧП.

— Заметь, заявил на областном телевидении, тебя на всю страну потом показывали, прокурор области настаивал на твоём аресте. И все-таки мы тебя не отдали.

Гурушкин возмутился:

— Что ты меня, Вадим Лукич, все укоряешь этим заступничеством? Я на сессии райсовета прощения не просил и в ноги тебе не падал, наоборот, соглашался на открытый суд, и не потому ли ты предложил перерыв сделать, что советовался, с кем надо: а можно ли допустить до суда? Он там такого может наговорить, что снова придется танки вызывать. Втихушку прихлопнуть меня вы уже побоялись, а открытый процесс и того страшнее.

— Да, вижу, что выводов ты не сделал, а жаль.

— Почему не сделал? Сделал, что только задним умом мы крепки. Комитетчики слабы оказались на крутые меры, и войска ввели, а ходу им не дали. Там и надо-то было полсотни человек изолировать, а духу не хватило, не смогли переступить через нравственные принципы. Зато через два года юная демократия все сделала, как надо, и войска ввела, и из танков по Верховному Совету постреляла. Правда, все с подсказки дядьки заморского, зато с прямой трансляцией позорного расстрела по американским каналам.

— Ну, ты не загигай.

— Что, забыл, оспариваешь? Да у меня три кассеты записаны с монотонными картавыми комментариями, могу одолжить, чтобы освежил память, но только оно тебе уже ни к чему. Ты лучше скажи, зачем приехал?

Хлопов за все время разговора глаз не поднял, смотрел куда-то мимо, и ответил никому, в сторону:

— Направляем к тебе большую ревизию, все проверим, о зерне и мясе ты зря объявил, все переиграем, и ты окажешься в дураках. Поэтому мой совет: подпишешь документы в таком виде, как подготовит Дымчаков, и уезжай, друзей у тебя много, устройшься. Встанешь поперек — раздавлю, вместе нам не работать. — Хлопов резко встал и хлопнул дверью, аж штукатурка посыпалась.

«Вот оно как!» — подумал Гурушкин. — «Политические противники становятся противниками экономическими. Знать, большую аферу задумали они с совхозом, если он так открыто грозит и прямо предлагает. Ладно, посмотрим, какие документы привезет Дымчаков».

\* \* \*

Ах, до чего жалко было Семе сына дружка своего Якова, первенца для обоих, бездетный Семен прибегал вечерами повошкаться с крепьшом, на ножке качал, возил на корчажках, бывало, нечаянно обмочит заигравшийся Гришка... «Обабком мы его звали, точно», — вспомнил Семен и вздохнул. Обабок — толстенький гриб, упругий, просто так не сшибешь, походил чем-то парнишка на лесную дивность.

Это за ним с детства такой недостаток — вступать в споры, свое чувство отстаивать. Был случай, уличил он мошенство парня одного, повзрослей его будет, когда в картишки баловались. Тот в морду:

— Признайся, что соврал.

А наш кровавую юшку сплевывает и свое:

— Нет, видел, как ты подменил картинку!

Еще в морду. Не помогает. Отобрали мальчонку, отец перво—наперво всыпал за картишки, а потом спрашивает:

— Ну, чего тебе стоило согласиться, мол, ошибся.

А тот разбитым носом хлопает и упрямится:

— Не бывать такому, а обмана в жисть не потерплю.

А в юности как он резко поступил, когда власти разрешили парням, которые по институтам учатся, в армии не служить до получения дипломов. Учиться поступил заочно, потому как безотцовщина, концы с концами..., но как узнал, что от армии отсрочка, пришел в военкомат:

– Забирайте, я же не бракованный какой-нибудь, а то ославят на всю деревню, ни одна девка не подпустит.

Ну, чисто папа родимый, царство небесное! тот тоже в сорок первом в комиссариате в грудь стучал, партбилетом размахивал:

– Никакой брони не признаю! На фронте отечественная судьба решается, а тут бабы и без меня трактора заведут.

Достукался...

Институт Гришка окончил уже после армии, механиком побыл, инженером, в партию вступил. Сема, конечно, человек сугубо беспартийный, но попросился у Володимира Тихоновича поприсутствовать в уголке, когда Гришу принимали. Парторг разрешил, но с условием, что Сема вести себя будет тихо и речей не говорить. И чего они его так терзали: и про китайских коммунистов, и про кубинских, и про мировой империализм. Так и подмывало Семку вскочить и воскликнуть:

– Да что это вы над чистой душой измываетесь, на нем пятнышка нет, не токмо греха.

Но – устоял, посовестился, зато потом все до чиста Володимиру Тихоновичу выпенял. А тот лыбится:

– У нас в партии процедура такая, каждого обсудить, вывернуть, чтоб ошибки не сделать. Ладно...

Инженером когда Григорий стал, уважительный, и народ к нему запросто. А тут директора переводят, и вроде бы все к тому, что Григорию Яковлевичу директором быть, но чин какой-то в районе заартачился, не дает пропуску. Вот тогда Сема снова пошел к парторгу:

– Ты пошто своих членов в обиду сдаешь? Намекивают нам со стороны человека, разу в наших краях не бывал, местов не знает, людей тоже. Какой он будет директор первые три года? Пропадем совсем! Вот тебе мой сказ: ехай в район и ставь вопрос на ребро, что есть у нас свой директор, готовый, Гришка, то есть.

Возымело! Побывал парторг в райкоме, знать, уважал его тогдашний первый секретарь, теперь уж покойный, земля ему пухом, потому что в царствие небесное партийных едва ли пушают.

Назначили Григория Яковлевича, и как будто ничего не изменилось, так же пахали и сеяли, так же бабы коров доили, скотники быков выпасали – ан нет, другая сделалась политика. Какие-то хитрые расчеты делал директор со своей конторой, договора заключал с бригадами и фермами, по концу года премиальные выплачивал такие, что люди получать поначалу пужались.

Семен давненько уж заметил, что как только народишко в деревне чуть зарозовеет, взвеселится, шти у него погуще станут — сразу органы интересуются: «Откуда, не от любимого ли государства отщипнули?». Каждый месяц приезжали, бумаги листали, Сема тогда уж на пенсии был, целыми днями у конторы просиживал, все боялся, что проморгает, увезут Гришку, и рукой не махнешь. Нет, каждый раз уезжали без залога, Гриша выходил из конторы последним, одними глазами благодарил деда за поддержку и шел домой.

А женился он как! Гришка еще в механиках ходил, и приехала в деревню молодая учительница после института, Сема ее сам и привез из района в своем ходочке на справном мерине Карьке. Девчонку на квартиру поставили к Павловне, у нее в доме горенка была с отдельным ходом, всегда в ней кто-то жил, то агроном молодой, то медичка.

Гриша Настеньку-то первый раз в клубе увидел, в кино она пришла, «Свинарку и пастуха» показывали. Гриша как увидел учительницу, так и сомлел, знамо дело, не у одного Григория в тот вечер ноги ослабли. Конечно, ни свинарки, ни пастуха он не видел, все в ее сторону смотрел, от экрана лицо ее хорошо освещалось, правда, мужики из заднего ряда пару раз ему голову на место ставили. После фильма целый спектакль получился, Настенька идет по коридору, а парни по обе стороны по стойке смирно стоят. Конечно, при таком стечении никто не насмелился в провожатые, да и Гриша в толпе дурачком просопел.

На Новый год надо было для установки на школьном дворе большую елку привезти, Гриша сам поехал с трактористом, высоченную да кучерявую красавицу свалили, правда, сосну, ели в наших местах не водятся. Привезли в школу, Гриша выскочил, посмотреть, где надо ставить, а Настенька явилась перед ним, раскрасневшаяся на морозе, белые кудри с заячьей шапкой смешались, улыбается:

— Вот тут ставьте, мы с ребятами вокруг фигурок из снега напомним, сказка получится.

Гришку как заклинило, ни слова ответить не может и трактористу ничего не говорит. Тут Настенька и взяла все в свои рученьки, трактористу машет:

— Сюда подъезжай! — Крановщику на глубокую яму показывает: — Тут надо установить. Тогда и Гриша оживился, лопату схватил, давай снег вокруг дерева трамбовать, в колодец за водой сбегал, чтобы елку надежней вморозить. И в этот момент подошла к нему Настенька, поблагодарила, пригласила на открытие снежного городка.



— И на новогодний бал в школу приходите, вы же не чужой, учились здесь.

— Приду, обязательно приду! — Заорал Гришка, перекрывая рев трактора.

На этом вечере и обраковались они, домой ее проводил, с тех пор в клубе уже никто не прилипал к ней. После Пасхи свадьбу сделали, это Сема настоял, чтобы Великий Пост перетерпели, нельзя в такое время свадьбы играть. Сема на том пиршестве на месте отца сидел. Гордился...

\* \* \*

Дымчаков положил перед Гурушкиным красивую папку с тиснением фамилии владельца и сам открыл первый лист:

— Это приказ о вашем увольнении. В одном экземпляре распишитесь, второй возьмите себе, на память. Далее. Разрешение на передачу техники, тут все госномера, другие данные — о передаче в порядке погашения долгов кооперативу «Мечта», по остаточной стоимости.

Гурушкин молчал. Дымчаков перевернул следующий лист:

— Договор о продаже свинопоголовья частному предпринимателю Исламбекову.

— Мусульманину грешно заниматься свиноводством, — попытался пошутить Гурушкин.

— Почему грех, если ваши работники погрузят, а на мясокомбинате забьют? Деньги даже после свинины не пахнут, Григорий Яковлевич!

— Похоже, в запахах вы неплохо разбираетесь. Хлопов эти бумаги видел?

— Видел, знает и одобряет, от него возражений не последует.

— Да, было бы диво.

— Что вы сказали?

— Вы для чего мне эти бумаги показываете? Подписывать их я все равно не буду, тем более, что уже освобожден. Поглумиться захотелось, насладиться горем?

— Какое горе, Григорий Яковлевич? Был совхоз — нет совхоза — вам-то какая разница? Вашего же ничего не пострадало? Но бумаги эти вам придется подписать.

— Нет, Дымчаков, нам друг друга никогда не понять.

— И не надо. Для сведения: преобразование хозяйства продолжит Дымчаков Олег Анфентьевич. Удивлены? Да, мой младший брат.

— Вдвоем и батьку бить ловчее.

Гурушкин прочитал все документы и ничему не удивился, по ним основные средства совхоза арендовались, передавались или продавались чужим, посторонним людям. Он понимал, что Дымчаков готов к его отказу, у них на этот случай есть запасной вариант, но он понимал так же, что никогда не подпишет такие документы не потому, что они незаконны — если надо, эти ребята и закон подправят, а потому что они противны его совести и гордости.

— Дымчаков! С братцем будете претворять эти решения в жизнь, без меня. Вот смотрю на вас и думаю: неужели вы уверовали, что бога за бороду держите, что все теперь в ваших руках? Неужели нет страха, опасения, что отвечать придется?

Дымчаков внимательно на него посмотрел:

— Перед кем? Хорошо, откровенность за откровенность. Вы утратили власть и собственность, я имею в виду коммунистов, Советы, к прошлому возврата не будет. О народе вы напрасно беспокоитесь, он будет выживать и потихоньку сокращаться количественно. Возвращается капитализм, приходит собственник, мы станем частью мировой экономической системы. Россию будут уважать.

— Вы, наверное, образованный человек, а простых вещей не понимаете. Страну, государство прежде всего должен гражданин уважать, а остальные — как хотят. Новоявленные собственники, по сути жулики, потому что в нашей стране невозможно было стать миллионером, не нарушив закон. Так что вся ваша знать, от наших торгашей и до государственных чинов, ставших миллионерами, я уж не говорю об уважаемых олигархах — преступники, и теперь уже не важно, признает их таковыми суд или не признает. Главное, что народ это очень хорошо понимает.

Дымчаков собрал бумаги:

— Достаточно, Григорий Яковлевич, заговорились мы с вами. Об одном прошу: не мешайте нам работать. Уехать бы вам, например, в Тюмень, мы и с квартиркой поможем.

— Спасибо, не стоит забот. Я тут останусь, вы пришли и ушли, а тут родина моя. Все!

Он положил на стол ключ от кабинета и вышел. Дарья Мартемьяновна домывала пола в коридоре...

2009

## ФЕРАПОНТА АНДОМИНА СКАЗЫВАНИЯ

*Писаны внуком его Матвеем*

### ПИСЬМО УЧИТЕЛЬНИЦЫ, НАШЕДШЕЙ РУКОПИСЬ

Уважаемый товарищ писатель!

К вам обращается жительница села Онега Мария Петровна Андомина, я всю жизнь проработала в этом селе учительницей истории, замуж вышла за Мирона Трофимовича Андомина, и живем мы до сих пор в старом доме, построенном еще предком нашим Ферапонтом Несторовичем. Об этом я нашла запись в архивных бумагах в Тобольске. Как еще одно доказательство древности нашего дома — под полом нашли мы монету медную от 1789 года, видно, завалилась как-то, никто и не искал эту копейку. Прадед мужа моего Матвей Гордеич, как говорили, последние годы жил вне дома, в избушке на дворе, и объяснял это тем, что надо ему исполнить какую-то работу, для которой нужна тишина и сосредоточенность. Что это за работа, никто не знал, а умер прадед неожиданно, говорили, что внучка принесла ему кашу на ужин и молока, он покушал, и она посуду забрала, чтобы порядок был. А утром хватили — дедушка уж холодный. Схоронили его на нашем кладбище, тут все Андомины лежат, от дедушки Иоанна и бабушки Федоры до последних умерших, и Нестор Иоаннович, и Ферапонт Несторович, и Гордей Ферапонтович, и автор этой рукописи Матвей Гордеич, все рядком с женами своими. Про работу, которую исполнял Матвей Гордеич, время от времени вспоминали, но что это за дело — так и не знали до нынешнего лета. А нынешним летом муж мой Мирон Трофимович решил разобрать избушку на дворе, в которой дедушка Матвей жил и работал, потому что она совсем обветшала, проще новую срубить. Когда стали убирать тесаные плахи с пола, рядом с печкой обнаружили, что плаха распилена и сделана крышка, а под той крышкой из железа скованная шкатулка, а в ней старая амбарная книга и большая стопа исписанных листов толстой старой бумаги. Писал Матвей Гордеич чернилами особыми, я такие записи видела в архивах в церковных книгах, потому весь текст читается хорошо и уверенно. Я

знаю, что ваши предки тоже пришли из тех же мест, что и наши, даже село ваше Ольково у Матвея Гордеича упоминается. Высылаю вам копию, сделанную мною, потому что, поймите нас правильно, эта рукопись теперь наша семейная реликвия. Конечно, я переписала все в соответствии с правилами современного русского языка, у автора весь текст писан подряд, без точек и запятых. Все слова диалектные тоже оставлены. Наименование писания составил сам Матвей Гордеевич, потому я ничего менять не стала. Еще дедушка Матвей всякий день, когда делал записи, помечал в начале письма, но я даты указывать не стала, указала только последнюю. Я не знаю, сочтете ли вы нужным это публиковать, но для всех потомков вологодских переселенцев и для всех сибиряков это очень дорогие и милые сердцу сведенья.

Остаюсь ваша читательница Андомина М. П.

*с. Онега, 24 апреля 2013 год.*

Благословясь, принимаюсь за дело, вверенное мне дедом моим Ферапонтом Несторовичем, человеком твердой веры и большого ума, поручившим мне, недостойному, записать, насколько позволит грамота моя, его сказывания и свои присловия тоже.

Не стану темнить и откроюсь с первого разу: грамотой не обременен, потому как в приходской школе при церкви было три класса, ну, лучше три группы: младшая, средняя и старшая. Я в младшую отходил, счет познал, письмо, чтение в голос, а в среднюю не пошел, потому что дед Ферапонт Несторович, ему уж за сто лет было, он с родных вологодских земель малым отроком привезен, так вот он меня завозню заманил и на полном сурьезе пригрозил:

— Не ходи в школу, Матвейка, там ребятишек станут кастрировать.

Я из-за угла подсматривал, когда приходил к нам коновал, и отец с дядьями выводили на растяжных вожжах жеребца, валили на пласт соломы и скручивали веревками. Коновал вынимал блестящий ножик, и я уже не глядел. Жеребца после того звали уже меринком, он долго тосковал в своем стойле, по неделе не ел и не пил, дед Ферапонт вздыхал и тоже с тоской сочувствовал:

— Лишили Карева единственной животной радости. Для какого рожна ему теперича жить? В кобыле не нуждаются, жеребятки не будут облизывать да мордой поправлять, ежели что не так. Мы теперь с ним в одной поре.

Я интересовался, как это, дед хмыкал в густую бороду и пробасил:

— Рано тебе знать, обожди, зачем не видишь, глазом не моргнешь — станешь, как Карько.

Помня, как жалобно кричал конь, я не хотел очутиться на его месте, и от школы отказался. Отец не неволил, тем и кончилось.

Теперь я и сам к Ферапонтовым годам подхожу, пожил, повоевал, потерпел немало. И вот единожды лежу в своей избушке, сын мне изложил, чтобы никто не мешал, ночь светлая, у меня оконце под ситцевой занавеской, месяц пялится заглянуть. Лежу и думаю: «Вот придет смерть, заберет и меня и память мою, и все, что я знаю со времен переселения, потому что дед Ферапонт изо всех внуков и правнуков меня отличал, рассказывал и приговаривал:

— Ты, Матюша, запоминай мои речи, другой тебе такого не откроет. А как накатит на тебя все это прошлое, ты и запишешь для потомства. Тетка твой Матвей с Господом бродил по Галилеям и Палестинам, а когда Христа распнули, Матвей написал, все что видел и слышал, за то Господь его призрел и отблагодарил. Книга эта, Библия зовется, у меня на божничке лежит, как умру, ты ее наследуй и изучи».

Как у десятилетнего парнишки завелась эта манера записывать в большой книжке с линейками, дед сказал, что это амбарная книга бывших торговых людей, записывать его сказывания — не дано мне знать, а вот писал, прятал от старших, потом и все другие события нашего села стал вносить кратко. Все ждал, когда же придет время это все изложить в приличной манере и на достойных листах. Да, годов семьдесят прошло, сыны дома поставили рядком, дочери в достойные семьи вышли, внуки и правнуки — все прошло. Желю свою Дарьюшку схоронил, сам сколотил домовину, сам место избрал на могилках в ногах у деда Ферапонта, тут же и себе обозначил, благо что слободного места дивно еще. Когда сорок дней кончились, и душа Дарьюшки моей обрела покой, взялся я за тетрадки свои, просмотрел все и решил, что достойно. Должны все мои последыши знать, как развивалось на сибирской земле семя Андомино. Писано мною подряд, как дедушка Ферапонт диктовал, новой раз так завлекет писанье, что не вдруг угадаешь, что не мои это речи, а дедушки, только вранья все едино нету и быть не может, потому как правда.

Дед еще малым был, а запомнил, что переход великий начался в царствование Екатерины Второй, сохранялась в семье какая-то бумага от имени Государыни, что отец его Нестор Иоанович в Вологодской Вытегре у уездного начальника выправлял бумаги на переезд в Сибирь, и велел записать семейство как Андомины, в память о реке, на которой столько веков прожили. Река та Андома истекала из озера Крестенского, это я по буквицам записал, чтобы не соврать, и стре-

милася к Онежскому морю. Тут, на берегу, и было селенье наше Озерное Устье, стало быть, Андома втекала здесь в море. Рядом другие деревни, вот перечислены: Климова, Ларьково, Ольково. Дед говорил, что жили рыбой, ходили в Онежское море на парусах, однако досыта не едали, хлеб на столе только по большим праздникам. И вот появился в тех местах зрелых лет человек, который по белому свету помыкал немало, и рассказал он мужикам про страну Сибирь, где сами хлеб сеют и кушают его, сколь душа примет. Что сенокосы богатые, литовку не протащить, на тех травах скот нагуливает молоко и мясо, и опять все кушают без оглядки. Лапти показал тамошние, мяконькие, легкие, крепкие. Всю зиму мужики думали, а весной продали на ярманке в Вытегре, все, что можно, и тронулись. Были, надо думать, среди наших толковые люди, ежели в такую даль собрались полтора десятка семей из тех деревень.

Три года шли, по дороге и добрые люди помогали, и злые насканивали, только переселенцы отчаянные были, за себя и своих детей души из разбойников вынимали. Без малого три тысячи верст от дома отошли, и подсказали опять же добрые люди, что ищет начальство охотников заселиться в местах отменных, но опасных, кыргызы налетали и даже казачьи заставы прогоняли.

Интересно обустроивалась наша Сибирь-матушка, доложу я вам, столь забавно, что в двух верстах друг от дружки выстроились две деревни, только не просто версты их разделяли, а Гора, считают ученые люди, что в старопрежние времена вся низина была залита водой, а нынешняя Гора была берегом. Только где другой берег – никто не знал, однако догадывались, что где-то должен быть, коли наш есть. Гора не сказать, что высокая, но, к предмету, напротив могилок без торможения задних тележных колес не спуститься, и много добрых коней, да и мужиков безалаберных тоже на том спуске пострадало. Пожадовал, воз нагрузил с избытком, или недоглядел, подгнил тормозной крюк или веревка попрела, а воз накатывает, под колесами аж земля дымится. И вдруг – нет тормоза, телега с возом на лошадь напират, той деваться некуда – в рысь, в галоп, но догонит телега, и покатались вместе в глубокий овраг, подминая молодые березки, только дикий крик убившейся лошади холодит душу обробевшего крестьянина.

На этих крутых склонах ребятишки любили зимой на санках кататься, потом лыжи наловчились ладить, как и вы теперь. Две березовых тесины с одного конца заострил, дождался субботы, когда баню топят, в котел с кипящей водой сунул тесины острыми концами и

жди, когда дерево разомлеет, а потом под сарай. Здесь уже все приготовлено. Острые концы между двух бревен сарая просунул, а на другие подвесил гири пудовые. Поят так пару дней, и лыжи готовы, осталось только ремешки из толстой кожи приколотить, чтобы пимы в эту петлю входили. Были и пологие склоны, тут без приключений.

Сначала пришли вологодские наши поселенцы, облюбовали место под горой. Да что там говорить, чудное место, просто райское. В память о своей далекой родине селение назвали Онегой, правда, при первой же ревизии переписчик воспротивился было столь мудреному названию, но подали ему немножко серебром, он и успокоился. А место ровное, как стол, с одного боку старица, с другого вторая, вода — пей — не напьёшься, вроде и солоновата, да нет, вдругорядь попробуешь — сластит. И для квасу, и для пива, и для солений всяких годна. Покосы на лугах — литовка вязнет, земли залежалой — сколь можешь, паши.

Потом пришли хохлы малорассейские, те на Гору поперлись, заманили их леса богатые. Оно и верно, лесов настоящих они и во сне не видели, а в то же время соображают: лес — он кормилец, он материалом обеспечит, грибом-ягодой. В ближних лесах три озера, войди в воду — караси в колени бьются. И покосы на лесных полянах не в пример луговым, травы во множестве незнакомые, но такое сено поспевает, хоть чай заваривай. Тоже жить можно.

Гора та изрезана логами да оврагами, один от другого тем отличаются, что в овраге все густо растёт, и травы, и кустарники, и береза с осинкой. Тут сморода и вишня, малина и ежевика, боярка и даже рябина красная, кормилица снегирей. А лог, как вдовец, гол, с первого взгляда страшноват, дикостью от него несет, суеверностью, нет в нем ничего, кроме камней и глины, и человек ни за что туда не пойдет без особой нужды. А самый знатный лог в этих местах — Лебкасный, или Лебкасник. Из каких глубин и по какой причине выперло наружу такую уйму лебкаса — никто не скажет. Вот рядом еще ложок, невзрачный, почему бы там не быть этому добру, а нету.

А какие крепкие березы росли по берегу Лебкасного лога, даже старики не помнят их молодыми, приголубили под своей сенью всяческую траву, какая не дает подползти к дереву паршивой тле, гибкой гусенице, да не всякая бабочка для продолжения рода сумеет полететь к шеренге берез. А трава такая: крапива прежде всего, потом визиль-ползунец, потом резучка, дальше ковыль-чистоплюй, уж он-то не позволит... Разные были суждения по происхождению могучего колка прямых и ровных деревьев, от комля до вершинки полтора десятка саженей, и ни одной

веточки, ни единого сучёчка, только на макушке словно метелочка, чубчик, дескать, простите, если что не так, вот за чуб можно подергать.

Был такой разговор, что посадил эти березки каторжный народ, гнали пешим порядком большое число преступивших, и напади на конвой лихая хворь, так и валит с ног жаром и потом. Знающий человек среди колодников оказался, посоветовал весь провиант конвойный выкинуть, потому как подсунули подрядчики гнилье всякое, и в этих местах закупить новый корм, а пока подкрепление подвезут из ближней крепости, арестанты согласились в бега не ударяться, только дать им какую-нибудь богоугодную работу. Начальник конвойный убоился подвоха и предложил зайти в этот лог, из него выход один и охранять проще. А в порядке благого дела велел обсадить лог юными деревцами. Чем ямки рыли — сие неведомо, и как поливали первосаженцы — тоже никто не знает.

Вторая догадка побогаче будет на выдумку. Вроде жили в ближайшей глуши раскольники, лог этот они облюбовали потому, что лебкас очень даже украшал их дома и придавал чистоту. А когда власти стали их и здесь шевелить, подались бедные дальше в глубь сибирскую, а много чего из раннее привезенного, чтобы дорогу облегчить, в логу зарыли. И под каждой березкой, ими посаженной, непременно какое-то богатство сохраняется, потому и пущена молва, что березы эти особые, и рубить их нельзя ни при каких надобностях, за исключением того, что решит сход.

Никто из деревенских не обращал на эти березы никакого внимания, пока не начали разработки лебкаса на продажу в город. Дело это нехитрое, но и ума требует, потому что верхний слой засох и уже непригоден, надо его снимать и в сторону, вот тогда пойдет влажный лебкас. Мужик в яме роет и выдает наверх, а бабы «головы» лепят и на просушку выставляют. «Головы» в городе по хорошей цене шли, потому желающих в логу каждое лето добавлялось, рыть приходилось вглубь, там почти белый лебкас шел, пока в один день, да почти в одно время рухнули три шахты, и завалило мужиков. Пока сбежались, пока откопали, ребята уже никакие. Разом утянулись все из лога, бояться стали, и березы на его берегах зловещий смысл заимели. Вот вроде родные березки, а страх берет, и не всякий мужик в одиночку пойдет в лог, а чтобы срубить дерево — да Боже тебя сохрани!

И только, когда церкву строили, батюшка облюбовал сей лес для полов. Мужики морщатся, но супротив не говорят. Ну, батюшка и без того эту историю знал. Собрал людей, повел, за версту еще запели, а прямо в



логу молебен отслужили, и по сигналу ружейного выстрела пономарь ударил в колокола. С тем и приступили, разделявали, шкурили, и пополам кололи. Вот эти березы и лежат сейчас на полу в божьем храме. Пригодилась нечаянное подаренье незнакомых людей, мир их праху!

Весенние снеговые воды и от обильных дождей тоже вытекали мутноватым ручьем и заливали ближайший луг, отчего сделался почти непригодным для хозяйствования, зато птица всяческая польская плодилась тут во множестве. Весной ребятишки уходили сюда с раннего утра, и собирали утиные яйца корзинами. Но было строгое правило: одно яйцо в гнезде не трогать руками и оставлять, утка к нему еще сколь надо снесет, так природой заведено, и все до ниточки исполнялось, потому как никто не мог ослушаться старших. Через время уточка уводила свой выводок на чистые воды ближайших стариц: на Марай, на Арканово или Темное.

Ребятишки приходили глядеть на это переселение, с их появлением утки издавали треложный звук, и цыплята сбивались в кучки и прятались под ближайшей кочкой. А утица начинала ходить кругами, то подлетит, то сядет и пойдет хромой походкой, дескать, лови меня, я вот она, доступна. Гонять уток запрещалось, а трогать желтеньких пушистых утят тем паче, потому утки скоро успокаивались и условным криком выводили свое семейство.

Место это получило название Зыбуны, зыбкое было место, в иных точках вся поверхность ходила под ногами, раскачивалась, будто детская колыбель. Колыбель – это как-то по грамотному, у нас делали зыбки. Крепкую деревянную рамку обтягивали толстой холстиной, и чтоб чуть провисала. К потолочной матице на самоковочные гвозди приколачивали обработанную и испытанную березовую вершинку, на второй конец вешали зыбку. Зыбку из страха еще одной веревкой привязывали к большому гвоздю в матице, вдруг лопнет вершинка, дак чтобы ребенок не убился. Потом, когда железо пошло, на крепких веревках крепили с четырех углов эту раму к металлической пружине, пружину к потолочной матице на надежный крюк, но для страховки внутри пружины пропускали еще одну веревку к узлу тех четырех. Это на случай, если пружина лопнет, тогда люлька на запасной удержится. В такой зыбке младенца нянька, мать либо бабушка укачивали, не бросая работы, от зыбки петельку делали к ноге и ногой покачивали, а руки свободны. Вот как было придумано хитро и просто, а от люльки той и болотистому месту, гнилому и опасному, дали название Зыбуны.

Ну, знамо дело, не каждый год смачный, новой раз такая сушь при-

жмет, что воробью напиться негде, выйдешь на крылечко в тени кваску попить, он прямо на кромку ковшика садится, до того осторожность потеряет и человеку доверится. Тогда Зыбуны выручали всю деревню. Трава там напреет такая, что как взмах, так копна, а если хорошо помахать, к обеду на стог соберется. Потом примутся эти травы в стога метать. Сначала в копны сложат, потом копны к одному месту стаскают волокушей, собранной из крепких веток тальника, и с первого навильника начинают сено утапывать, и так по кругу: положит хозяин пласт, хозяйка ногой заступит, тот вилы выдернет, а она ходит по кругу, это называлось уминать и вершить стог. Пройдет полдня, а уже последний навильник забрасывает мужик на маковку стожка, следом подает сплетенные в вершинках попарно толстые вицы, баба разводит их на четыре стороны света, это чтобы ветром сено не раздувало. Муж кинет ей веревку, сам на противоположную сторону уходит и кричит, чтоб спускалась. Бабы тоже всякие бывают, иная полстога может за собой утащить, потому аккуратность требуется: мужик веревку натянул, а жена на животе тихонько сползает. Потом граблями очесывают стожок, чтобы дождик скатывался, не сгноил сенишко.

А деревня наша чисто вологодские родные кружева повторила, строчкой домиков прошлась вдоль узенькой старицы, которую называли Сухарюшкой, потому что первый дом поставил Никитка Сухарев, дома от речки отодвинулись, но лицом к ней, улочка получилась однобокая. Дальше стали нарезать улочки широкие, и уже строили с двух сторон, чтоб дом против дома, окно в окно, но пришлось огибать большую старицу, и такие повороты получались, то в одну сторону, то в другую метнутся. А поскольку такой рисунок заложили, то и другие улицы его срисовывали, и получилась вязь из улиц и переулков. Только в деревне не заблудишься, каждый друг друга знат-величат по отчеству, если годами достоин, а иногда и совсем молодого человека могут навеличивать за особые заслуги, к примеру, кузнец отменный или по скотине специалист. Были такие люди, грамоты не знали, а болезнь скотскую видели: когда брюхо специальной, из города привезенной иглой проткнет, чтобы дурной воздух выпустить, вдругорядь заставит ковшик самогонки быку влить, чаще коровам помогал растелиться, по локоть руки в утробе, ножки телку непосредственно развернет, тот и выпал из мамки.

Дома ставили, как уже в Сибири заведено, нагляделись: стало быть, сруб рубится из свежих берез, сразу вкрест, чтоб изба, горница, сенки теплые и казенка, кладовка по-другому. В избе и в горнице внутрен-

нюю сторону бревна стесывают аккуратно, и стена выходит ровная, любо посмотреть. А потом ее шлифуют каленым кирпичом, а уж когда живут, то к большим праздникам, к Паске и Покрову, стены моют и скоблят ножом до желтизны. Сруб ставят в три клетки, но это не на месте, а в стороне, на полянке или за огородом, только потом перенесут бревна, чтобы класть на мох. Мох загодя дерут на болотах, на паре лодок выплывают и специальными граблями собирают мох со дна, собирают в лодку, вывозят на берег и перегружают на телеги. Пока день работают, мох всю воду спустит, но дома все равно раскладывают ровным слоем в тени, чтобы не пересыхал, а потом соберут в общую кучу. Мох не экономят, пазы в бревнах вырубают широкие и глубокие, мох на нижнее бревно укладывают ровненько и толстым слоем. Бабы следом подбивают свисающий мох и добавляю, где в паз палец лезет.

Когда лес привезут, ребяташки топориком берестичко разрубят и начинают кору драть, а потом коринку на излом, потянешь, и белая сладкая пенка сама в рот просится. А под коринкой на древе сок застывший, ножиком его скоблят и едят. Шибко сладко, только мужики не давали бревна оголять, просохшую березу топор не берет.

Когда сруб устоится окончательно, мох покажет прокладку между рядами толщиной в мизинец, и того довольно, чтобы ни ветер, ни мороз не пробил стену. Вот с крышей не все сразу выходило, как дед говорил. В Вологодских-то краях дома крыли тесом, это когда берут бревно сухое и чистое, устраивают на подставах и вбивают железный клин, чтобы кромку отколоть. Потом и дальше, уже доска выходит, а тесина — потому что тесаная. Местные натакали крыть пластом. Лопату насаживают на горбатый черенок, выбирают на выгоне ровное место, поросшее густой щетиной множества трав мелких, стало быть, крепко корневищами схвачен верхний слой. И вырубают по кругу пласт дернины и грунта на нем бугорком. Крышу обшивают густо подскалом, толстым тальником, и на него уже укладывают рядками земляные пласты, их могли и просто дерном называть. Ровным верхним местом вниз, одна лепеха к другой опять же густо. Когда все закончат, крыша в мелких бугорках, красиво, а через неделю зазеленела крыша, и дом, как в сказке, попервости наши дивились, потом привыкли. Но все равно вернулись к тесаным плахам, научились и березу разделявать, дома под тесом, дождичком не пробьет и баско смотрится.

Были любители мазать стены, ну, это только называют, что мазать, а на самом деле на все внутренние стены вкрест набивают таловые ровные прутики, а потом на ограде яму копают и глиной красной заполня-

ют, туда же рубят прошлых урожаев солому, мягкую, подопревшую, водой заливают, и ходят бабы по кругу, месят глину, подоткнув юбки под опушки. Молодых девок туда не загонишь, стыдятся заголяться, ноги показывать, хотя и у баб подержанных ноги бывали смущающие. Потом глину носилками подают в дом, а там уж горстями кидают ее в стену и аж крикают от усилия. Набросают так слой, какой надо, начнут растирать, ровнять, добавлять. Так по всему дому, особенно надо понадежней на стене, которая на улицу выходит, тут тепло надо ловить. Такие работы одному не под силу, всей родней собирались, друзья-товарищи помогали, потому называлась помочь. А когда дом мазать — собирали супрядку. Вот поди ж ты, супрядка прежде была, когда бабы и девки вместе собирались и прями, а потом гляди, куда слово перескочило!

Сушили глину не просто так, все окна и двери закрывали, чтобы спокойно сохло, не рвало, да и соломка для того же. При доброй погоде может за неделю высохнуть, тогда опять глину разводят, только пожиже, называли затирианием. А уж потом дело до лебкаса доходит или до белой глины, какая в логу под хохлятской деревней Паленкой. Паленка — от того, что сгорала на третьем году, сперва звали Ивановкой, а как погорели, переписали на Паленку, так землеустроитель тогдашний посоветовал. Бывал я и в беленых домах, бывал и с тесаными стенами, и там и там все от хозяйки идет, какая чистоту блюдет, у той и славно, а если баба рохля, то ей хоть крась, хоть лебкасом убелай — запустит, загадит, до греха доведет. Был одно время порядок, когда обчество имело право пройти и проверить, а каково же чисто или не особо ты живешь, это еще дед Ферапонт сказывал, потому что от нечистоплотности образовывались всяческие насекомые вредные, а уж от них укушенный болел и даже помирал. Потому приходили и такими разными словами стыдили и гадили, что хозяин тут же бабу свою на куртал водил, ну, бил, проще сказать. И это блюлось долго, потом утратилось. А напрасно, я и теперича знаю, у какой хозяйки каково в кутнем углу. Вот ежели она принародно в подол юбки сморкаться, может порядок в доме быть? Никогда не будет, потому что то и другое друг от дружки зависят.

С первых времен старики стали все постройки во дворе высокими заплотами обносить. Это для чего? Чтобы злой человек либо разбойник не вдруг в ограду попал. Не то сказал, переписи! В самые-то первые времена заборы ставили из толстых бревен, а верхний конец чтобы заточен был до иголки, потом стали верхушки железом обшивать. Со временем поспокойней стало, и перешли к заплотам. Ну, самое

простое дело: ставят столбы толстые, повдоль пазы широкие выбирают, в эти пазы и загоняют бревна, подгоняют, как будто стены рубят, так же паз выбирают, до тонкости, чтоб красиво и надежно. Высота одна: в сажень, чтобы человек не допрыгнул.

Каждое лето дедушка подновлял прясла вокруг огорода, тын и плетень у избы. Загодя в лесу срубал молодые березки на колья, а у болотца насекал воз тальника. Колья готовил наперед, заострял комельки и пропускал вдоль несколько залысин, чтобы дерево не прело под корой. Я нес ведро с водой, дедушка беремья кольев. Острым концом в нужном месте он намечал лунку и долбил в нее колом, то и дело подливая воду, чтобы размягчить землю. Когда кол входил на довольно глубиную глубину, дед оставлял его в покое и рядом, в четверти от первого, устанавливал второй. В трех местах потом, в локте от земли, посерединке и в четверте от верха колья крепко связывались вицами. Дед брал два-три нетолстых прута тальника, ловко заправлял их основания между кольями и, проворачивал прутики вокруг себя, обвивал ими колья, восьмерку делал. Потом на эти основания ложилась жердь, тоже пролышенная для просушки. Трехрядное прясло спасало огород от коров и телят. Огороды под мелкие овощи, их называли огурешниками, как и сейчас, огораживались так же, только между жердями ставились прутья тальника, за нижнюю жердь заправляются, вокруг средней огибаются и за верхнюю цепляются. Когда прутья чередуются, один снаружи, следующий изнутри, красивые получаются плетенья, тоже как наши кружева. А вот плетни были самой надежной охраной для кур и свиней. Колья ставились, как и для прясла, только по одному, в полшаге друг от друга. Тальник, еще волглый и податливый, заплетался между кольями один за другим, ветка за веткой, но всякая другая уже обнимает колышек с иной стороны. Для большей плотности плетня дед ударял между кольями обухом топора. Из плетня делали стайки для коровы, с обеих сторон для тепла обмазывали глиной с соломой, ну, это в тех хозяйствах, где жили поскромней. Наши дворы всегда были рублены.

А во дворе у путнего хозяина пригон для скота, конюшня, овчарня, свиарник в дальнем углу, оттого, что вонючь шибко. Птица так пристраивалась, чтобы теплом от крупного скота согреться. У добрых соседей куры по всей зиме клались. Дед Ферапонт, бывало, вечером, когда куры на седало поднимутся, шел их шупать, и тут же снохе докладывал:

— Будет завтрешним утром, доченька, две дюжины яиц. Почитай, все куры с яичком, кроме рябой.

– Отчего так, дедушка?

– А Бог ее знает, толи петуха не любит, толи волю взяла.

Ближе к весне куры отдыхали, яиц не несли, видно, силы копили. Когда матушка приносила в дом первое яичко, дед, помолясь, подзывал меня, ставил возле себя на колени и катал по моей голове яичко, приговаривая:

– Сколько у Матвейки на голове волосок, столько яичек снесите, курицы. Сколько у Матюши...

И так три раза.

Так заведено было у нас с дедушкой, что в воскресенье после обедни, откушав, чего матушка с сестрами наготовили, уходили мы в укромное место, и дедушка тихонько рассказывал свои истории, а я записывал, другой раз даже останавливая говоруна, мол, не успеваю. А тут поглядел на деда, а он из-за стола вышел, приобнял меня и говорит:

– Не станем сей день писать, потому как хочу рассказать тебе непотребное для воскресенья. Воскресенье, это ведь Паска, святой день, потому воздержусь. А завтра вечером сядем на печке, там и тепло, и светло, и добрым людям в ногах не путаться.

На печке славно. На голбчике пимы летом сохраняются, а зимой сушатся, сразу за чувалом матушка складывает ухваты, сковородники, клюку, которой жар в печи загребает, широкую деревянную лопату, чтобы хлебы на под выкладывать. Калач, на поду испеченный, с молочком – первая еда для ребятни.

Дедушка Ферапонт поправляет кошму на печи, бросает к задней стенке свернутый старый полушубок, кричит и ложится на спину, я сажусь на голбчик и раскрываю тетрадь.

– Расскажу я тебе, Матюша, про нечистую силу. Про нечисть эту верней было бы крещеному человеку не поминать, да только за ради тебя, чтобы ты знал и умел от этой гадости оградиться. Вот мы с тобой про домового говорили, тоже не нашего мира, но для человека худого не делает. Ну, прижмет когда, подавит, да и не просто так, а чтобы намек дать, к худу ли к добру готовить самого себя. А ведь есть еще и черти с ведьмами, оборони Господь! Это же наказание! Они же только и ловят момент, когда человек ко греху готов. Вот, к предмету, Ванька Мазаный, он прошлой зимой в лавку купца Колокольникова залез и спер кой-чего. На сходе, когда его судили, Ванька признался, что черт его попутал, с толку сбил и повел к лавке чувал разбирать. Так грешный каялся, что народ проникся и просил купца не сдавать

Ваньку в тюрьму. Только крест от нечистой силы ему на лбу нарисовали, чтобы не беспокоила, пока в себя придет.

Вот пошел ты в лес, знамо, что красота кругом, птички поют, цветочки расцветают, запахи в носу щекотят, только не думай, что ты один и чуть ли не хозяин в энтот месте. В лесу свой хозяин есть, батюшка твой вроде брегует молитвой перед дроворубом, разве про себя шепнет чего божеского, а я непременно в сторонку отойду и попрошу Лешего, Лесовика, покровителя леса, чтобы он разрешил нам лес валить на благое дело, и чтобы не покостил. А то ведь знаешь, как: собрались мужики валить лесину в одну сторону, а Леший толкнет в иную. Ладно, если отскочить успеют, а то и горе бывает, захлестнет мужика насмерть. Не знаю, какая от того корысть Лешему, однако случается.

Тако же и на воде. Вот плыву я, бывало, на долбленке, морды в камышах проверить, попало чего или на простой ворочаться, плыву, а он уже в камышах, ждет. Тогда говорю: «Кланяюсь тебе, хозяин, и прошу соизволения рыбешки, сколь разрешишь, взять». Он, конечно, промолчит, только ворохнется, аж камыши ходуном заходят. Но волну на меня не гонит, стало быть, без возражений. А сказывали мужики, что новой раз так грудью пеханет воду, что лодку волной опрокинет. Тогда уж не суйся, уходи, да с берега задабривай добрым словом.

Зим прошло с тех пор пять десятков, прибудилась к нам в село женщина, жила подаяннем, только даже по большим праздникам на церковной паперти не стояла, а ведь там в такие дни хорошо подают молящим. И в храме ее никто не видел. А потом страх по всей округе: катается по улице тележное колесо. Парни с девками кампанией шляются, на них наскочит, да еще гоньбу устроит за кем-то. Ребятишки стали бояться из дому выходить, как стемнеет. Хмельной мужик от сватов возвращался, чуть не забило его колесо, он от боли и страха тридни молчал, только выл, а потом рассказал. И порешили мужики колесо энто поймать. И словили, оно вертится, но куда там супротив мужиков, они прежде в храм зашли, батюшка благословил. Была у них на тот случай веревка конопляная, просунули между спиц и в ступицу пропустили, а потом толкнули: катись! Кое-как оно разбежалось, и к избушке правит, где та бабенка жила. Закатилось в ограду, потом в двери, трое мужиков следом. Колесо пало посреди избы, такой рык издался, что мужики со страху присели. А колесо забилося, все об пол, об пол, а потом и женщина на его месте образовалась, совсем голая, а веревка между ребер пропущена и в иных местах так же. Вскрикнула еще раз, взвилась, и в печь. Мужики на двор, а из чувала, черный дым и ведьма на метле — во как!

– Не страшно рассказываю? – спросил дедушка.

– Страшно.

– Ты не бойся, ты же крещеный, над тобой ангел-хранитель, он защитит в случае чего. Да и слово помни: «Свят, Свят, Свят!». Нечисть шибко страшится этих слов. Да ведь и есть люди с силой нечеловеческой, но от Бога. Был у нас человек, недавно помер, а жил долго, и людей пользовал. Травы все знал, собирал и сушил, на самогонке настои делал, чай заваривал. Со всех сторон ехали и шли, кто лежачий – вставал и уходил с благодарностью, кого под руки привели – бросал костыльки и своими ногами. А теперича нету, остались старухи, которые ребятишкам брюшко правят да кровь могут унять. Мельчает народишко.

Запиши еще о породе людей злых и неверных. Давно это было, ты родился или нет – не помню, и прибежал среди дня к нам деревенский староста, просит отца моего пустить на ночлег арестанта, коего везут в самый край земли. Арестант этот, говорит, не варнак, он князем был и офицером, да лишен всех чинов государем, так что бояться его не следует, а накормить и спать уложить прилично. Стража и кучера пусть в избушке на ограде ночует. Лошадей в конюшню, и овса с сеном, потому как путь у них тяжкий, дорог нет, одни переметы от падеры.

Отец ворота открыл, ведет гостя. На нем шуба дорогих мехов, каких и нет у нас, и шапка соболья, и одежда господская с белой рубахой. Слуга при нем, толстенький, вертлявый, помог хозяину разоблачиться, он на иконостас глянул, трижды перекрестился, всем поклонился и сказал густым приятным голосом, что звать его следует Сергеем Петровичем и что опасаться не надо, не разбойник он.

Моя Степанидушка к ужину наготовила и жаркое, благо поста не было, и каши, и пирог испекла из вяленых щук, солений поставила и водки казенной штоф. Гость опять перекрестился, сел за стол и хозяев пригласил. Налил я ему водки, слуге тоже, себе чуток плеснул. Гость взял кружку и речь сказал:

«Везут меня через всю Россию на вечное поселение в дальние края. Я офицер, именитого роду, с малых лет в армии, с Наполеоном схватился осьмнадцати годков. Дошел до самого Парижу, насмотрелся – иначе народ живет, свободней. Там многие еще о коммуне помнили, ее идеалы на знаменах и в умах. Пришли мы домой, а тут тирания и рабство народное. Государь наш Александр Первый перед войсками обещал дать сво-



боды, ан не дал. Офицеры в смятении, возмущены, брожение началось, и оформились тайные общества, чтобы свергнуть Императора».

Тут я перекрестился:

«Как можно, сударь, на царя руку поднять? Ведь он Божий наместник на земле!»

Гость улыбнулся:

«Пусть так, церковь его венчала, только народишко-то свой и Господь завещал любить и блюсти».

– Ты пиши, Матюша, как я говорю, потому речи того господина были мудреные, а я толкую, как понял. А гость, видно, скоро разобрался, что не шибко его понимаю, сказал, что напишет потом для меня и потомков гумагу, чтобы помнили. Вот, срисуй.

«Долго мы готовились и искали момента. Многие командиры вплоть до ротных были посвящены под присягой, среди солдат слухи пускали, смотрели, как они сами себя ведут. Пришли к убеждению, что надо действовать. А как? Тут разные были суждения, но Господь пособил, умер Государь Император, престол должен перейти к старшему из братьев Александра Константину Павловичу, на честь и порядочность которого мы полагались. Но начались игры, вроде престол принимает следующий брат Николай Павлович. Офицеры и высший свет его не любили. 14 декабря мы вывели свои войска на Сенатскую площадь, но безуспешно. Наша неорганизованность, измена, твердость нового императора, который дал приказ стрелять по войскам и народу из пушек картечью и ядрами – все привело к провалу. Нас арестовали, пятерых наших друзей повесили, многих угнали в Сибирь этапом в железах. За меня хлопотали люди высокие, однако через полгода вышло указание отправить в Сибирь под стражей на собственные средства».

Когда поужинали, я спросил:

«Сударь, а если бы восстание удалось? И кто царем стал?»

«Самодержавие упразднилось, крепостное право отменялось. Все люди равны перед законом. Чиновников избирает сам народ».

Я сказал, что в Сибири нет крепости, крестьяне вольные. Гость кивнул:

«А в России бедность и бескормица, крестьянин хуже скотины. У тебя вот мясо не выедается и хлеб белый. На Волге ночевать пришлось в деревне, в барский дом меня не пустили, государственный преступник, нашли крестьянский домик. Картошка и масло конопляное, пришлось из своих припасов доставать, а то совсем есть нечего».

Утром гость чаю попил и уехал, поблагодарив и наградив меня золотой монетой французской чеканки. Долго я думал, за правду пострадали эти люди или за гордыню свою. А потом такое стало в столицах да и губернских городах, что страх обуял. В царей и градоначальников бомбы кидают, подбивают мужиков на восстания, к нам присылали и от Стеньки Разина, и от Пугача разбойников — против царя! Как можно? Не нами установлено, Господь так положил, что быть в России Государю Императору. Это как? Супротив Бога? Запиши, Матюша, эта путь к добру не приведет, ты, поди, увидишь деяния этих безбожников еще больше страшные по греху своему. Раз они против царя, стало быть, и Бога не признают, не боятся? О, это страшные люди! Спаси Христос от деяний их! Ну, довольно на сегодня.

На другой день после обеда дедушка позвал меня в избушку:

— Еще поучу тебя разным приметам, верно, я и сам не шибко в них верю, но люди сказывают, что сбываются, потому от греха подальше, лучше соблюдать. К предмету, несут покойника, прости господи! — не моги улицу перебежать, встань в сторонке, поклонись, трижды крест наложи, да три горсти земли вслед брось.

— Дедо, а если зима?

— Зима? Стало быть, снежком кинешь. И непременно прошепчи: «Господи, спаси его душу!».

— «Душу грешную», я слыхал.

— Болташься, неизвестно с кем, глупостей нахватал. Душа — она от Бога, ей и предназначение, как Спасителю нашему, тот за всех людей страдал, а душа за своего хозяина. Если человек грешил при жизни, вино употреблял зло, табачище курил нещадно, да матом крыл всех подряд, блудом пользовался и прочее — он-то умер, тело поганое зарыли, а душа летит к Богу и перед ним отвечает за хозяина своего. Потому душу свою береги пуще всего на свете.

Я тебя научил, запиши, чтобы деток своих потом не забыл правил. Идешь по улице, навстречу тебе пожилой человек, а тем паче старик — остановись, шапку сними, поклонись и скажи: «Здравствуйте, дедушка!» или «Здравствуйте, Бабушка!». Если в дом вошел, встань под порогом, шапку скинь, гляди на иконы в переднем углу и перекрестись, а уж потом скажи: «Здравствуйте всем! Мир вашему дому!».

Ежели баба с пустыми ведрами на коромысле навстречу — избеги на всякий случай, либо в переулок сверни, либо вернись, словно позабыл чего. Не знаю, отчего, но сам избегаю.

На огонь не плюй, ни в кострище, ни в печи. Запомни, как у тебя

губенка вспухла, когда ты на железную печку в избушке плюнул. Рыбу осеннюю мы тогда подсушивали, вот и затопили железку, ты сначала недопитую воду из ковшика сплеснул — зашипела, белой змейкой взвился пар. А потом плюнул раз да другой, это я недосмотрел. Вот летучий огонь тебе на губу и прыгнул, дескать, не делай так больше. Понял?

— Понял, дедушка.

Когда я маленьким был, батюшка наш Нестор Иоаннович (тут дедушка перекрестился, и я тоже) на лето ставил под сараем за ветром гнутую из железного листа печку. Семья большая, трижды в день всех надо накормить, в доме печь топить не будешь, жарко, потому варили и жарили на железке. И приспособились мы с братьями картошку испекать. Нарезем нетолстыми ломтиками, подсолим, у холодной еще печи бок вымоем, а потом, когда он накалится, ломтики прилепил, и ждешь. Вот он раздумянулся, запахло вкусно, ножичком ломтик сколупнул и на блюдо. Обьеденье! Ты спроси батюшку своего, печка на чердаке лежит, ежели позволит, достанем, да и нажарим ломтиков. И я детство вспомню.

— Как это, дедушка, вспомнишь?

— Милый ты мой, новой раз звук какой услышишь или запах — сердце замирает, было такое в детстве. Видно, кроме памяти еще что-то есть в человеке, чтобы душу волновать. Да, про ножик. Никогда на столе ножик не оставляй, дедушка—суседушка не любит.

— Отчего так?

— Не ведаю, Матюша, только меня учили, а я тебе передаю. Суседушку уважать надо, иначе беда.

Теперь про баню. Семьи большие, работы много, потому баня непременно должна быть. Мы народ северный, на воде произрастали, к чистоте привычны. Бани топились по-черному, весь дым через дверь, в каменке большой котел замурован, в нем щелок заваривали. Щелок получится, если хорошее лукошко просеянной березовой золы высыпать в кипящий котел. Когда вода отстоится, зола на дне будет. Щелок мягкость воде придает, и мыло надо немного, и любые волосы промоет. Бабы волос не стригли, и у матушки моей Василисы Мироновны две большущие косы были, она их узлом укладывала и под платком прятала. А когда в баню собиралась, в дальней комнате разбирала косы, ей сестрица моя старшая Апполинария пособляла, а уж как мыли те волосы — не знаю, только сестрица говаривала:

— Оборони Господь от таких волос, мама на полок ложится, а я их стираю да полощу.

Потом они опять уединялись, и сперва крупным, потом помельче гребнями расчесывали, ждали, пока просохнут, а уж потом заплетали. Матушка тех волос лишилась к старости, голова стала болеть, и доктор городской посоветовал волосы обрезать. Матушка долго не соглашалась, но потом папаша наш Гордей Ферапонтович свозил ее в церковь, батюшка благословил, и под плач всего дома папаша крупными овечьими ножницами обрезал обе косы. Матушка прибрала их в комод, где хранились самые сердешные ее памятки: мой усохший пупок в тряпочке, который она показывала мне в день ангела, тут же прядочки первородных волос всех детей, тоже в тряпочках и подписанные матушкиной рукой.

Про баню следно еще сказать. Половина пожаров в деревне началась с бани, потому что в морозы калили ее нещадно, чуть проморгал баннотоп — занялись стены, а там и все подряд. После того стали бани ладить подале от жилья и построек, уж если и полыхнет, то одна. Знамо, не с руки, и дрова и воду надо носить по узкой дорожке, пробитой в высоком снегу, да и женскому сословью особая забота, чтобы не застудиться. В предбанке все на себя не наденешь, потому завернутся в полушубок и бегом к дому, аж пимы слетают.

Когда баня была готова, женщины мыли и скоблили стены, чтобы сажей не измазаться, а потом мыли полок и пол, кидали на каменку добрый ковш воды и наглухо запирали двери. В нашей семье всегда пол банный закидывали сухой травой, дедушка припасал. Когда я спросил, зачем трава, он усмехнулся:

— Баня заведение мокрое, тут всякая тварь может расплодиться и даже дурность воздухам создать. А трава наша, родная, я ее каждое летичко собираю, видел, сколько у меня под крышей вязанок всякого разнотравья, не одну овечку можно зиму прокормить. А кинешь травку на мокрый да горячий пол — сразу в бане июль месяц. Нешто не замечал?

Дома приглашения уже ждали, и мужская половина отправлялась париться. Каждый брал заранее приготовленный веник, в теплом предбаннике сымали старые полушубки и рубахи с кальсонами, перекрестившись, отворяли дверь и начинали диканиться. Я помню, как парил деда Ферапонта, он меня стал с собой брать, когда я в года вошел. Непременно пара веников, одного ему мало, оба замочены в кадке с холодной водой, кинет на каменку полковника и на полок, развалится на спине, млеет. Сразу стал мне советы делать:

— С молодости учишь двумя вениками париться, бери оберучь и

обихаживай себя в вольном жару, не торопись, пар штука полезная и опасная, если в избытке. Зачинай завсегда с ног, ложись на спину и задирай ноги к самому потолку, ноги надо хорошо парить. Ты теперь уж большенькой, приучай к жару и плоть свою, опять же аккуратно, а то бывали случаи, что мужики кутаки себе прижигали напрочь, вплоть до бабьего позору. Я вот тебя поучу. Ты сперва кинь на каменку ковшичек и посиди в вольном жару, как пот хорошо прошибет, ну, потекут струйки промеж лопаток, тогда еще ковшичек. Только благословись, так и скажи: «Господи, благослови!» Ну, да ты знашь. Теперича можно легонько попарить сначала ноги, потом повыше, тут самая нежность и аккуратно, когда все тело пройдешь, упеть ковшичек, тут уж в полную силу. Три раза должен выходить в предбанок и отдыхать, а то кровь возмутится. Тоже, слышал, случалось такое, что кровя разгонит по организму мужик, емя деваться некуда, туда-сюда — кругом заперто, а он жарит. Ну, кровя и находят слабину, кому в голову, кому в брюхо. Бывало. Ладно об этом.

Как только дедушка дождется первого пота, командует:

— Матюша, плесни на каменку немного и веники распарь. Да не суши на камнях, а в вольном жару пусть распушатся. Так, теперика давай начинай с ног, чегой-то по ночам ломить стало. Вот так, славно, ишо, ишо!

Бывало, у меня уже голову обносит, а дед кричит:

— Кто в бане крещеный, кинь на каменку, самой малости не хватат!

Конечно, я плескал ледяную воду, она тут же белым змеем взмывала к потолку, а я хлестал обоими вениками по широкой, но уже усохшей спине деда. Потом он вставал, выливал на себя ушат холодной воды, я его вперед готовил, и ложился на широкую лавку. Я успевал только голову вымыть, а дед уже лез на полок, окинув его ковшом воды из кадки, и командовал, когда и сколько надо плеснуть. Почти до последних дней он парился по три раза, не признавал мытья, кроме головы, обкатывался тремя шайками и выползал в предбанник. Там, если летом, пил чай на травах, лежал на свежих тряпицах тонкого холста, а зимой надевал кальсоны, пимные опорки и голяком шел домой. Самовар уже был на столе, постаревшую бабушку Степаниду сменила матушка Василиса Мироновна, она наливала деду чай, он отдувался и пил, потея и меняя рукотерты на сухие.

Вот куда проще процедура, чем чаепитие, а и то в каждой семье свой порядок. Самовар обычно разжигают в холодных сенках или за ветром под сараем, если летом. Как закипит, заглушку на трубу на-

кинут и на стол. А тут уж все готово. Чайничек-заварник кипятком ополоснут и засыплют в него где индийского сбора чай, купленный на Никольской ярманке, где фруктовый из деревенской лавки, а где просто шиповник или душицу или сбор ароматных трав и цветов. Чайник непременно ставят на место заглушки на верх горячей трубы, чтоб нагрел настой. В это время хозяин берет в левую руку кусок сахарной головы и тыльной стороной большого ножа ударяет по нему, колет на кусочки. Вся семья смотрит, какая светящаяся полоска между ножом и сахаром вспыхнет, а откуда она берется, так никому и неведомо. Чай пьют с сахаром, то есть, кусочек сахара разводят в чашке. Там, где достаток меньше либо хозяин скуповат, пьют вприкуску, каждый от своей пайки откусывают чуток и чаем припивают. Сказывали, что пивали и вприглядку: сахар лежит посреди стола, отпил чаю — посмотрел на сахар и опять вперед. Или кусочек привязывают на ниточке над столом, один лизнул, ниточка качнулась к другому и так по кругу. Сумлеваюсь, что последние примеры из жизни, скорее, для смеха придуманы, а вот была одна старуха, которая сахаром только ободочек чашки протирала, а потом по кругу чай пила. Хотя и эта старуха, верней всего, выдумана нашими острыми на язык мужиками.

К Паске, большому Христовому празднику, первому после Великого поста, в нашем селе ставили качели, мы их называли качули. Из лесу привозили длинные и толстые жерди, вершины трех связывали и ставили пирамидой. Вверху, на стыке жердей, укрепляли матку, толстое крепкое бревно. К нему на петлях, выкованных в кузне, крепили две хорошо обработанных жердочки с надежной ступенькой. Жердочки назывались видилины. На качули часто становились по двое, чтобы быстрее разгоняться. Наиболее отчаянные рисковали по одному, раскачиваясь так, что совершали полный оборот. Таких смельчаков было немного, и с ними никто не вставал в пару. Когда качуля набирает размах, ее невозможно остановить, вот этим и пользовались те, кто внизу. Брели жидкий пруттик, вицу, и стегали качающихся, вопрошая: «Говори, кто невеста?», «Кто жених?». После двух-трех ударов шли признания, но не все принимались, если явная ложь — пороли сильнее. Наконец, истязаемый признавался на радость толпе и себе на горе. А еще, внучок, в Паску робить никак нельзя. В этот день даже попы не служат, собаки не лают, петух, прости Господи, курочку стороной обходит.

У меня отдельно списаны дедушкины рассказы про то, как женились и свадьбы справляли, как крестили маленьких и как хоронили покойных. Я хотел было пропустить эти листочки, но потом одумался: век

не тот, народ сшевелился, отшатнулся мужик от семьи, уже баб стало можно бросать и на другой жениться, и попы венчание делать учинились по другому разу. А кто позволение дал? Господь у себя записал или иным образом учел, что Ванька венчан на Нюрке, а оне тут, на грешной земле, сами разбежались, не сошлись чем-то, и опять же в храм за господним благословением. И такие случаи были, что поп впадал в грех тоже и вторично венчал. Конечно, и в прежние времена случалось, что мужик, к предмету, вдовел, а на полатях пятеро — как без хозяйки?

Тогда и поп-батюшка давал благославление, и даже венчал со второй женой. Был даже такой случай, когда хозяйка слегла в тяжелом недуге, и жизни нет, и смерть не идет. А семья была примерная, работающая и молящая, и деток емя Господь посылал каждый год, и вот образовалось так, что в доме шесть штук ребятишек, мужик весь в работе, хоть и нанимал людей в поле. Баба совсем не встает, ребятишки не прибраны, родня прибегают, то-другое поделают, а далее чего? И вот единожды призывает жена мужа своего и говорит тихим голосом:

— Милый мой Федотушка, не дал нам Бог единой жизни, и смерти мне теперь не дает. Знать, грех какой на мне есть, скажи, коли заметил.

Он горячеей слезой исходит, целует ее, хоть и красоты прежней нет и запах, дух от страшной болезни:

— Аксиньюшка, свет мой, да наравне с ангелами вижу тебя и жалею.

И тогда она ему говорит:

— Исполнишь все, как я скажу, если перед Отцом Небесным клятву свою помнишь. Марья Гаврилиха вдовая и бездетная, а ты примечал ее в молодости. Гляди мне в глаза. Марью в дом приведешь как жену, священника ко мне пришли, я все обскажу. А меня перенеси в избушку. И не перечь мне, Федотушка, только пусть она ребятишек голубит, ей зачтется.

Плачет мужик:

— Как же я при живой жене другую в дом приведу, Аксиньюшка?

— Ради маленьких, Федотушка, а помру, обвенчайся с Марией. Ей сам все скажешь, только ко мне оба не ходите, и детушек не пушай, за мной кума Алена управится.

Такое было только единожды, Мария, к чести ей сказано, благословила у батюшки, исповедала все грехи свои и пришла в дом. Аксинья только к весне убралась, Мария с Федотом еще не троих ли прижили, и всех подняли.

Так заведено было отцами нашими, так и в святых книгах учтено: в семью только дважды Богом увиденные обращались, все остальное —

блуд, не меньше того. А почему дважды? Первый раз человека крестят в святом храме, проносят пред алтарем, чтоб Господь принял чадо в стадо свое, а второй уже венчанье. Дед мне об этом диктовал как раз в то время, когда я женихаться начал. Знамо дело, летом не шибко загуляшь, потому как работа, сколь солнышко отдыхало, столь и люди.

С масленки уже в лес, надо дрова готовить, а дров, такой заведен порядок, на две зимы чтоб запас был. Дрова рубили, отчего назывался дроворуб, все топором, и с корня свалить, и на поленья разделать. Пилы тогда не знали. Правило такое: каждый запрягат лошадку в дровни, это сани такие, и должен воз дров накласть. Когда пила пришла, игрушки, а не дроворуб. Когда дрова вывезли, раскололи и в поленницы сложили, уже и на поле надо ехать, зябь боронить. Поля у каждой семьи все в кучке были, потому избу ставили и даже баню. Места эти так и назывались по родам: Поляковы избушки, Плехановские, наши Андоминские тоже. Батюшка мой Гордей Ферапонтович уже все семена привез, все у него размечено: где пшеничку будет сеять, где овес и ячмень, на масло сеяли лен, рыжик да подсолнухи, а с осени рожь между березовых колков, когда хорошо перезимует, сразу после сенокоса жать начинали и молотить. Рожь всегда в цене была, что в хозяйстве: путный хлеб для работников только ржаной стряпали, в нем силы премного; пиво делали изо ржи, такое хмельное да заманчивое, что никакой водки из купеческих бочек не надо. И на ярманках рожь спрашивали, хорошие деньги давали. Дед Ферапонт все приговаривал:

— Ты, Матюша, к народу прислушивайся, в ём вся мудрость. Ученых людей много, это хорошо, а народа мудрее никто не может быть. Ученый человек долго молчит, мыслит, потом хватат перо и сочинительством свои думы вносит в письмо. Книги потом делают печатные. Я, конечно, не читал, но чует мое сердце: все, что ученый размазал по гумаге, народ уже давно высказал в трех словах или чуть боле. И все! Вот про рожь судим, а народ давно все объяснил и сказал на все времена: «Помирать собрался, а рожь сей». Вот как ты это толкуешь? А так, что рожь — главный продукт. Понял?

А как славно было сеять! Я с малых годков, как себя помню, все в поле отирался, пока дед Ферапонт не поймал за рубаху:

— Хватит, милай, сорок зорить, будем к науке приваживаться.

Сперва за бороной ходил, усвоил, потом к плужку приставили, тяжело, зато уважение другое, ты уж пахарь, а не шалопай какой-то. А в десять лет дедушка Ферапонт повесил мне на шею лукошко с овсом, лукошко маленькое, да и я не велик, дед рядом встал и велел делать,



как он: ухватил горсть овса, и широко рукой повел от себя, разжимая кулак. Овес ровненько лег прямо перед ним. Он вторую горсть. Я следом, только не получается полоска, кучкой выпадают семена, к тому же пашня сырая, ножонки вязнут.

— Опять тебе от народа мудрость скажу: «Сеи овес в грязь — будешь князь». Ну, в князья мы не собирались, а вот примета верная, в сырой земле овес быстро всходит и растет веселей.

Натакался и сеять, от деда не отставал, потом от отца. Матушка наша и старшие сестры тоже хорошо сеяли. Отсеялись — тут же начинали сено готовить, потому что лесная трава не то, что ни в какое сравнение с луговым сеном не идет, а сено из лесу — это и лекарство для скотины, в нем весь сбор, какой требуется. Потому такое сенцо только малым телятам, а большим только если занеможет. Дед Ферапонт травы знал, у него веники всяких сортов были навязаны под сараем. Конь ослабел или бык, корова в молоке отказала раньше срока, овечки опаршивели и ревут нещадно, по свинье супоросной синие пятна выступили — дедушка достанет свои веники и начнет отбирать по одной да по две веточки из каждого, заварит кипятком, а иной раз теплой водой зальет, постоит это зелье в тепле, и он сам начнет поить больного. Батюшка мой как-то не усвоил эту науку, а я кой-чего уловил, да вот из записей этих нахожу нужное.

Я ведь про свое любопытство к девчонкам хотел поведать, да все не к месту. Летом такая работа, что про гулянку лучше не вспоминать. Иной раз и сорвался бы сбегать за околицу, где-то гармошка, то балалайка, но батюшка остановит:

— Завтра с рассветом на неделю едем в Дикушу, ложись спать.

Дикуша — это рай земной, потому что не просто заливной луг, где травы в пояс, а еще и несколько стариц, по берегам ежевики страсть как много и рыба разная: карась, щука, налим. Дед Ферапонт улыбался извинительно: в Онежском море и в реках на Вытегре предки такую рыбу брали, что в сибирских краях и названия не знают. Но ничего, и к карасю привыкли, он парень толковый, хоть жарить, хоть в ухе, хоть вяленый или сушеный — все карась. Три рощи березовых на взгорках, а в них грузди такими деревнями растут, что на одном месте можно корзину наломать, а еще в них несколько вишневых опушек. Народ стоваривается, что, к примеру, до субботы никто ни ягодки не сорвет, пусть зреет, а в субботу утром все за вишней. Ягода крупная, сочная, новой раз из корзинки алая кровь капает.

Коль о ягоде заговорил, надо сказать и про клубнику, ее наши зо-

вут голубянской. Ягоды этой брали по много, сушили где только можно, в основном на крышах сараев, на широких листьях лопухов и подсолнухов. Сухую ягоду вешали в холщовых мешочках в сухом месте, а зимой запаривали и стряпали пирожки, шанежки, с чаем потребляли. И в такие дни в доме пахло, как на угодьях ягодных. Дальше смолодина, ее в Мокром колке было так много, что выбирать не успевали. Еще в августе брали костянку, а ранней осенью ездили в дальние рямы за клюквой и брусникой.

И чуток про грибы. Вот читаю дедовскую диктовку: в родных местах самый важный гриб был белый, а здесь стал груздь, его еще настоящим зовут. Есть и сухой гриб. Сибиряки вымачивают их в кадках, перебивают и солят. В наших местах белый сушили, а сухой — его хоть куда. Научились и наши солить, а сибиряков привадили сушить опенки, зимой в суп горсточку запустят — дух такой пойдет, словно ты на грибной полянке.

Из всех крестьянских работ самая сурьезная — это жатва. Дед Феропонт сказывал, что хватили горя переселенцы, когда приступили к первой жатве. Серпа в руках не держали, снопа не видели разу, цепом на гумне себе спины и головы поразбивали.

— Видишь, какое дело, Матюша, так все предусмотрено создателем нашим, что на каждую работу должна быть особая снасть. Как народ заключил: «Без снасти и вошь не убьешь». А кроме снасти надо погоду хорошую. Когда осень сухая, с поля не уходит народ, тут же где прикорнул, и опять за серп или литовку с гребелкой. А бабы следом собирают колосья в горсти, потом в снопы укладывают, а снопы те в кучи, называются суслоны. Когда все приберут, тогда снопы из суслонов грузят на телеги и везут на гумно.

Гумна устраивали толково, в стороне от деревни и близко к воде, чтобы, в случае чего, можно было спасти хоть самую малость. На гумнах снопы разбирали, раскладывали на току и цепами молотили. Когда сгребали солому, на току оставалось зерно вперемешку с плевелами да с сорным семенем. Тогда выбирали время ветреное и веяли, деревянными лопатами, дед Феропонт говорил, что они похожи на весла, подбрасывали зерно, а ветер относил в сторону весь мусор. Тогда только батюшка Гордей Феропонтович определял, сколько зерна на прокорм, сколько скоту, сколько на семена, сколько можно продать. Продать — непременно, на ярманке за зерно давали железо на ободья к колесам, гвозди, топоры, пилы и другой струмент. Еще везли мануфактуру на рубахи, хотя всякую тряпицу ткали дома, и на штаны, и на рубахи.

Вот тут и отпускали меня на вечерки. На настоящие вечерки, с поцелуями, не вдруг попадешь, маленьких не брали, за совращение могли хозяина вечерки и на площади выпороть. Я уже подходил и по летам, и по росту. На первый раз я только смотрел, как молодежь развлекалась. Собрались в большом доме, хозяин отвел горницу, я сосчитал — тринадцать человек. Кто-то в карты счинился играть, на деньги, но по маленькой. Другие затеяли фантики, я сразу разобрался, что к чему. Когда стали выдавать задания, Феклуше рябенкой глаза завязали, она и задала:

— Этому фантику Матюшу Вологодского поцеловать, да не как попало, а в губы взасос, а кроме того, с Матюшкой вместе и домой пойти после вечерки.

Я ахнул: фантик тот, утирку девичью вышитую крестиком, выхватила Дарья Заварухина, красивая девка, я все время ее примечал и на службе в церкви, и просто на улице. Глянулась она мне уже тогда, да и я, видно, тоже был на примете, оттого девка смутилась, но тут же поняла, что может выдать себя, и, подошла ко мне, зажала мою голову в руках и впилась в губы. Отпустила, засмеялась и сказала:

— Не убегай после вечерки, вместе пойдем, а то мне веры не будет в игре.

Когда вышли на улицу, девка моя оробела, куда и смелость девалась.

— Ты не подумай чего лишнего, игра такая.

Я уж тогда слово по карманам не искал, смело ответил:

— В другой раз приду, пусть тебе опять такое же закажут.

Дарья остановилась:

— Матюша, я согласна, пусть закажут, я тебя еще крепче поцелую.

Вот так решилась моя судьба. Две зимы мы еще по вечеркам бегали, целовались, конечно, пытался Дарье под полушубок залезть, не оттолкнула, а только сказала:

— Я, Матюша, замуж за тебя хочу, женой тебе стать, и чтобы на свадьбе не опозориться.

Тут самое время записать в подробностях, как рассказывал дед Ферапонт про женитьбы, сватовство и свадьбы. Он захватил еще те времена, когда два друга-товарища договаривались, что буде у них парень и девка — непременно поженят, чтобы укрепить дружбу. И женили. Молодые друг дружку в глаза не видали, а им свадьба. Или, напротив, с малых лет знали, что жених и невеста, так привыкали, что свадьба и не в интерес совсем. Конечно, случались и бунты, жених и невеста такое устраивали родичам, что те от свадьбы отказывались и дружили просто так.

Потом полюбовно свадьбы игрались или по расчету, и такое случилось. Как бы ни было решено, а сватов засылали, и такие спектакли разыгрывали, что теперь и не помнит никто. Свататься приглашали людей толковых, авторитетных и говорливых. Все для вида, но соблюдалось. И жениха нахваливают, и невесту, и родителям множественные поклоны. Кончалось все застольем и обсуждением будущей свадьбы. Должен тихонько добавить, что до свадьбы невеста себя блюла, какой бы шустрый жених не был. По старым обычаям молодых уводили спать в отдельный дом, а утром сваты гордо на видном месте примаранную девичьей кровью белое полотно, коим постель застилали.

— Оно бы, конечно, рано с тобой об этих делах речи говорить, только должен ты с юной поры, до того еще, как мужиком себя зачуеть, должен ты знать, что несешь в себе все, чего род наш накопил за века, и все это жене твоей передастся. Если, конечно, на девице женишься, на что полагаюсь, чтобы и она тоже все свое родовое тебе принесла, вот тогда и детки будут у вас крепкие и здоровые, и род наш без мусора станет продолжаться. А ежели жена уже знала мужика, то беда, горе семье, испохабит тот случай весь путный род и семью, измарат. Потому и гордились невестой—девицей, и почитали ее. А порченную прямо со свадьбы могли прогнать, во как!

Дед Ферапонт, когда про это рассказывал, хихикал, что находились толковые девки, молодость прогуляют, а после свадьбы, пока жених колупатся, над постелью приготовленному воробушке головку отвернут, вот и святость, и честность. Но это опять же в расчете на бестолкового жениха.

Венчание всегда было великим праздником, батюшка сияет, храм цветами украшен, певчие на хорах голоса пробуют, нищие в ожидании. Привезут молодых, в храм проводят, и пошла служба, пока дойдет до обмена кольцами и восклицания уставшего священника, что объявляет их мужем и женой. Из церкви выходят — цветы под ноги, чистой пшеничкой окропят молодых, а уж потом гулянка. Тут тоже премного бывает интересного. Если семьи состоятельные, то непременно учинят соревнование, кто больше денег на блин положит или в сор кинет, когда молодуху заставят избу мести, зачнут все выкупать, не свадьба, а ярманка. Мне это не любо. Проще надо и открыто, чтоб весело и песенно, да с плясом вприсяд. Я, бывало, плясун был, Матюша, никто меня не мог переплясать, балалаешники друг дружку выручают, а я один по кругу. Да... А таперика пойду за пригон, присяду, а встать не могу, того и гляди — примерзнешь. Хоть на подмогу кого зови...

Вот записано про рождение ребенка, дед Ферапонт говорил, что Господь, когда увидел грехопадение первых людей Адама и Евы, в наказание положил женам всем рожать детей в муках.

— Ну, Ева, — улыбался дед, — еще та была пройда. Ведь сказано было русским языком: болтайтесь в саду, погода теплая, не Сибирь, и птички на руки садятся, и зверь не тронет. Нет, ей неймется вкусить плод древа запретный. И не только самой, но и Адамушку соблазнить, искусить. А почему? Да натура бабья такая, скажи бы ей Господь, что к вечеру надо сожрать все яблоки с дерева, она бы по противности своей природы к ним не прикоснулась. И теперь подумай, Матюша, каково бы мы жили, человеки, в раю, где все есть, и робить не надо. Оно, на мое соображение, скучновато, но тогда я по-другому бы соображал, люди не знали денег, войн не было бы, зависти, будь она промчатна.

Ну, это я отвлекся. Про рождение ребенка. К предмету, моя Степанидушка выносила семерых, и всех родила так тихо, что и не знал никто. Родит, нижнюю юбку скинет, завернет дитя и несет:

— Вот, Ферапонтушка, Бог дал девочку. Или парня.

Отчего такое происходило? Да от того, что греха на Степушке не было никакого, она праведница была, каких нет, слова дурного от нее никто не слышал. А ведь бывали случаи, что мается баба родами, да так и погинет. Оно, конечно, не все грешницы, были и другие причины, но Ева все-таки нехорошо сделала, что яблоко укусила и парня заставила. Я вот новой раз думаю, не оттуль ли блуд-то пошел? Ведь они не муж и жена, а как бы два предмета, еще неизвестно, чего Господь с ними дальше делать собирался, а пали в объятья и родили, не помню, кого. Э-э-э, Матюша, выходит, все мы от корня будто выблядки, не в браке рождены. Про это надо хорошенько подумать, после вернусь, доскажу.

Когда мы тут, в Сибири, обосновались, знамо дело, ребятишки шастали по лесам, потому что дикого страшного зверя не было, скот пасся без охраны, и ни единой утраты. Сказывали казаки, что иногда рысь проходит по вершинам дерев, но чтобы на человека пала — такого не было. Вот мы и по цельному дню носились по лесу. С весны пойдет саранка, научили нас, как ее различать. Сверху только былинка с хохолком, а копнешь — луковица, да такая сладкая, что во рту вяжет. Ну ты едал, знашь. Потом медушки. Вот ты погляди, совсем крохотный цветок, а столько радости в себе накопил. Понятно, для птичек маленьких, для бабочек всяких. В природе ведь друг на дружку работают, один отдаст от себя все и погинет, а другой живет.

Медунки собирали букетиком и сосали — до сих пор помню. А к тому припевка была: «Пошли девки по медунки, потеряли свои..., ну, ты сдогодался. А дальше: «Пошел парень во лесок, нашел полный туесок». Тьфу, грех творю! Потом сок березовый. Надо топориком насечки сделать, а потом палочку вставить, чтобы по ней сок в ведерко стекал. Дед Иоанн, не знаю его отчества, да тогда их и не было, потом придумали: какая береза явно на дрова пойдет, он в ней напарией до середины дырку сверлил, а в ту дырку забивал пробку, но в пробке скол делал, вот через тот скол и бежала березовка прямо ручьем. Когда обогреть начнет, в лесу поперет пучка, тоже едал, знашь. Вот погляди, дудка дудкой, а разобрался человек, что внутрях съедобно.

А лук польской? Луга наши заливные, когда большая вода пройдет, успокоится и спадать начнет, вот тогда приволье. Вы и теперь не вылазите с Колокольчиков. Какое славное имячко придумал человек для простого места, для луга. Колокольчики! И мы тоже рвали тот лук под самый корень, считалось, что так он лучше отрастет на будущий год. Набирали столько, что несли, как дрова, на руке. Шаньги, пирожки, просто толкушкой намять да сольцой присыпать — все на пользу.

Дед Иоанн, рассказывают, нашел в лесу пчел и дупло с медом тоже, неделю ждал, когда рой пойдет, собрал, и домой. А дома уже долбленка готова. Так и началась наша пасека. Это теперь стали ладить ульи из доски, у нас за двором не два ли десятка. А ты наблюдал за пчелой? Э-э, дурень: самое мудрое существо. Вот сяду затемно у улья, жду, даже дышу в другую сторону. Вот вылезит первая, это как бы разведка, осмотрелась и назад, погоду, наверно, доложила, и пошли они одна за одной. Дед Иоанн рассказывал, что в первые годы, когда еще ни у кого не было ульев, он в пяти верстах от дома на клевере пчел увидал. Конечно, могли быть и дикие, но дед Иоанн заявил:

— Наши пчелы, и направились они прямо к деревне, а не в леса. А пчела, это я узнал у толковых людей, летит по прямой. Ты видишь, в какую глушь забираются и находят дом свой. Или в улье посмотри: порядок, как у доброй хозяйки, есть специальные пчелки, которые весь мусор выносят, я сам видел. А еще есть у них самая главная царица, она всем командует, но есть и трутни, это такие большие пчелы, которые навроче мужиков, ну, тебе не надо знать. Дак они после всего этих мужиков насмерть заедают. Вообще, Матюша, женское сословие для разума не подвластное, будь ты трижды умным, а баба, если захочет, все равно проведет. Ты давай поближе к бабушке, медок — дело тонкое, шибко много знать надо про пчелу: и как она на

погоду, и как лучше ей семя рассеять, и как мед взять, и сколько пчелкам оставить, чтобы в зиму семья с голода не пропала. И знай: нет ничего в пчелином деле, что бы прахом шло. Даже замор случится в улье, пчел вытряхнут, высушат и настои делают на самогонке, от многих болезней помогает. Я уж не говорю про медовуху, потому что ты не пробовал и все равно не поймешь. А ишо народ приметил: нет другой такой работы, после которой руки стали бы чище, чем до работы. Это со пчелой. Потом ишо чего запишем.

Вот ты муравейники видел, не пробовал посчитать, сколько там муравьев? Это только сверху, а если хоть чуть колупнуть, их там гим гимзит, ну, не счесть, сколь много. И все делом заняты, я единожды с обеда до темноты просидел рядом на пенке, ну, какие они работающие ребятишки, диву даешься. Словили где-то гусеницу, в твой мизинец толщиной, и волокут ее домой, да так споро, словно десятник командует или кто. Стало темнеть — все к муравейнику, каждый своей дорожкой. Присмотрелся — сторожа стоят, вдруг чужой забредет — даже ночевать не пустят. Наглядишься на сии чудеса и подумаешь: «Велика твоя сила, Господи, велик ты в творениях твоих, и едва ли человек есть лучшее из созданного тобой!».

— Ты, Матюша, заметил: как только на стол ставят жареную утку или гуся, а то и просто куриную лапшу, сразу кто-то из старших договариваются, кто с кем будет ломать ельчик. Есть такая косточка, как вилы двухрожковые, находят ее и ломают, это как бы уговор. Надо так подать напарнику чего-ниабудь в руки, чтобы он принял, а ты в то время кричишь: «Ельчик!». Все, дело сделано, выигрыш.

— А об чем спорят?

— Да по-разному. У нас в дому нет привычки спорить на деньги или на вино, упаси Господь, а иные спорят. Забылся, взял в руки поданное — ставь магарыч.

— А если не забылся, а помнишь, тогда как?

— А так и кричи, что помнишь. И все. А еще спорят об теребачке.

— Это кто такая?

— Теребачка-то? Правило загодя обговаривается, кто во что горазд, к предмету, нельзя садиться, если не сказал, что помнишь, либо нельзя какое-то слово молвить. А ошибся, проиграл — теребачка, за чупрыну тебя возьмут и пару раз дернут. Ладно, если по-людски, а ведь бывает и со зла, так горсть волосьев и выдернет. Это, конечно, не славно, но знай, с кем споришь.

Дед Ферапонт еще сказывал про покойных людей и что это такое

есть смерть и как ране люди к тому относились. В родных краях, он вспоминал, покойных не оплакивали, но не от того, что не жалко, а потому что так было предписано, и так батюшка в церкви учил, что умерло тело человека, а что в нем самое главное? Знамо дело, душа, об ей молились и за спасение души терпели всякие телесные притеснения. Душа, дескать, жива, и, если жил человек праведно, то душа через сорок дней попадет в рай. Потому надо радоваться, что душа спаслась, значит, при втором пришествии Спасителя нашего Иисуса Христа воспрянет покойный и вновь станет жить. Путано, конечно, потому науку эту народ не принял, и каждого умершего жалеть стали. Ну, скажи на милость, разве мать пустится в пляс, если дите в гробике на столе, или утерпит ли слез девица красная, прощаясь с батюшкой свои умершим? Да ревел народ, и хоть ты ему тысячу слов про рай скажи, ему нужен живой дитенок или живой батюшка, вот тут, на земле.

Но скажу тебе, что были семьи, где специально нанимали плакальщиц, вот оне и причитали над покойным: «Да куда же ты собрался? Да на кого ты нас покинул?». Ладно, если хоронят кого из молодых, а когда во гробе человек как бы на своем месте, чего по нем голосить? Вот, Матюша, помру — слезы не пусти, голоса плаксивого не подай. Чтоб не слышал! Я пожил свое, а ты в мою статью, должен ишо и пережить меня, грешного. А как приду к Господу на суд, и спросит он, праведной жизнью жил либо нарушал заповеди. И скажу смиренно, мол, Господь мой, ты всю мою жизнь видел и суди по своим законам. Господь улыбнется и скажет:

— Апостол Петр, отвори врата рая,пусти раба моего Ферапонта, он достоин!

Наши ребята пешим походом уходили с берега Онежского от шведа отбиваться, так передавалось, что с великими трудами добрался до нас человек и кинул клич. Вернулись года через три, много чего странного и срамного говорили об европейских краях, но за одно хвалили нехристей: могилки свои, они кладбищем называли, блюли во всем аккурате. С тех пор и наши стали ямы копать в рядок, и куток каждая семья свой заимела. Дед в родительский день водил меня на кладбище, показывал, где кто из наших сродственников зарыт, а батюшка и матушка его рядышком, столбиками место обозначено для всей породы нашей Андоминской. Кресты надобно ставить восьмиконечные, а не немецкие и иных земель, даже грузинских. Дед пояснял, что всякий крест Христов, но православный только вот эдакой, о восьми концах.

— А ты пошто перед Крещением Христовым над всякими дверями



простой крестик углем ставишь? — спросил я деда. Так оно и было, вечером дед обходил все окна и двери и сверху рисовал маленький крестик, а потом шел во двор, и крестил двери пригона, овчарни, конюшни. Дед недовольно кричал и отвечал:

— Сей крестик малый ставлю оттого, чтобы нечисть всякая не лезла. У мелкого беса сила махонькая, ему и такого крестика довольно, чтобы одуматься и глупостей не наделать.

Много мне пришлось писать про поход сибиряков на французов, потому что дед Ферапонт, хоть и в годах был, но пошел в ополчение и попал в Тобольский пехотный полк.

— Матюша, война всегда штука страшная, но только нас собирать стали зараньше, мы в полку два года военное ремесло усваивали. Как штыком колоть, как ножом супротивника уничтожить. Столько мы мешков дерюжных искололи — страсть. Потом выдали нам ружья, это сурьезная штука. Мера пороха, пуля — и в бой. В бою тоже встанешь, как истукан, и со своей меркой, как приказчик у Петра Игнатьевича в лавке, видал, как он ловчит. Потому, если уж бой, то вся надежда на штык. Да, были у нас стрелки с оружием, которое называлось штуцером, их даже и в бою отдельно ставили, из штуцера можно за три сотни шагов попасть в человека.

А потом повели нас на запад. Пеший переход для солдата и в тягость, и в удовольствие, особенно летом. Народишко нас встречал с радостью, куда идем, кого бить — никто ни сном, ни духом. Поговаривали, что турка, но вроде с турком уже замиренье, потом про поляков, это тот еще народишко, можно бы и повоевать. Но идем, в городах стояли неделями, отдыхали, строем ходили перед народом. Дамы в каретах платочками машут, а ты, христовый, женщину другой год не видишь... Ты, Матюша, про это не пиши. А, уже записал? Ну, оставь, оставь.

Кто-то сказал, что пока мы по Рассее шляемся, француз к Москве подходит. Пришли мы к концу лета, в июле месяце. Погода — только сено косить да хлеб молотить. А тут с ружьем в обнимку и на каше с конопляным маслом. Опять нас повели, прошли деревню, Бородина называется. Встали в ложбине и получили приказ: вот тут стоять и не пустить француза на эту дорогу либо помереть. Большие чины приезжали верхами и в каретах, призывали:

— Сибиряки! Не посраим славу русской армии, не пустим в Москву этого, забыл... Наполеона Бонопартова.

Ну, утром и началось. Мимо нас конница проскакала, нам видать, как по ей, христовой, пушки вдарили, да в самую гущу. Развернулись

робята, а те вдругорядь. И протащились мимо побитые и израненные, меньше половины. Я все коннице завидовал, красавцы, когда гарцуют на плацу. А тут посмотрел: нет, брат, ничего доброго.

А вот и на нас прут пешком строем французы, почему-то хоругвь ташат, штук десять. Потом объяснили, что знамена ихние. Ну, встретили, раз пришли, по два выстрела сделали, и в штыковую. Матюша, кровь на мне человекон много, потому как колот во все стороны, останавливаться нельзя, иначе затопчут. Этак мы часа два где с молитвой, где с матерком. Отступил француз. Нас построили и повели батарею нашу охранять. И правильно сделали, потому как только мы подошли, налетели всадники, а в шлеме конский хвост. Отчаянные ребята, хоть и французы, но мы отбились, а пушкари в это время свое дело работали. Когда баталия закончилась, подъехал чин и спасибо сказал за смелость. А уже на другой день пуля пробила мне правую руку, когда лекарь осмотрел, сказал, что кость не задета, а мясо нарастет. И выдал мне гумагу, по которой отправился я домой. Вот так четыре года не пахал и не сеял. За десять верст зачуял родные места, слезьми уливался, не шел, а летел.

Я еще совсем малый был, а помню, как весной мы всей семьей ходили на кладбище, и после молитвы в маленькие ямки осторожно укладывали крохотные сосновые веточки с корешками, а другие люди везли из своих полусадилов сирень, черемуху и высаживали у могил своих родственников. А летом общество наняло несколько мужиков, и они вырыли вокруг кладбища глубокий ров, чтобы скотина не блудила и не выворачивала кресты, как пояснил дед Феропонт. Мы с ним целый день провели на кладбище, дед принес с собой лопату и изредка спускался в канаву, выбрасывал наверх несколько горстей сухой и крепкой глины.

— После, Матюша, как меня зароят, ты станешь приходить ко мне в гости, и будешь вспоминать, что и сосны мы с тобой садили, и канаву рыли. Сосны будут богатые, окладистые, шумные, а кусточки эти каждую весну столько ароматов напустят, что, к предмету, в Троицу придешь ты, а тут не кладбище, а праздник.

Правду сказал дед Феропонт, сосны разрослись, шумят грозно, от черемухи цвета весело и красиво, а сосны немножко страх нагоняют, да еще ворон поселился, а эта птица боговой никогда не была. Однако, чему дивиться? Где смерть, там есть ли место для веселья и радости? Уместно ли над могилой родного человека вдруг засмеяться? Не знаю, грех это и неуважительное отношение, подлежит осуждению.

Ты, Матюша, хоть и домовитый, а все же на улицу ходишь с ордой в игры балуетесь. Я тебе скажу, в какие игры мы играли. Самое главное — прятки, а перед тем считалки. Мы считали «На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной — кто ты будешь такой?». А ишо было: «Ата-баты, шли солдаты, аты-баты — на базар. Аты-баты — што купили? Аты-баты — самовар. Аты-баты — а какой он? Аты-баты — золотой!». Потом стали бабки, скота много было, косточек наберем, в ряд поставим, и специальной железной плиткой надо этот ряд сбить. До тонкостей не помню, но игра шибко интересная, ну, ты же знашь. Так и пропиши. А вот: мячик катали из коровьей линьки, бросят его вверх, надо поймать, чтобы выиграть. А тот, кто кидал, говорил: «На кого Бог нанесет!». Или идешь ты к ребятам, а в кармане сушеные паренки морковные. Ты восклицаешь: «Ком-кому?». И все отвечают: «Мне одному». А раздавал всем. Что это было? Да просто забава...

Надобно сказать и о пище нашей, о которой дед Ферапонт столь азартно излагал, что я слюнками давился, так ловил запахи, так понимал вкусы той еды. Прежде всего, указывал дед, еда никогда не считалась первым делом, на первом месте всегда была работа. А вот когда наробишься, тогда и пища другой вкус имеет. В зимнее время никогда не садились за стол без щей или супа. Вот, опять тороплюсь, потому забываю главное: перед тем, как сесть за стол, все молились. Молитву обычно читал дед Ферапонт:

— Христе Боже, благослови ястие и питие рабам твоим, яко свят еси, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Потом чинно садились, за ложку не хватался, кому как вздумалось. Все степенно. Дедушка отламывает кусок ржаного хлеба, берет свою деревянную ложку, легонько крестит ее, отгоняет жир от берега большого блюда со своей стороны и черпает сверху, под ложку подставляет кусочек хлеба, чтобы на стол не капать, аккуратно дует на ложку и тихонько отпивает жижку. Тогда все принимают, но спокойно, чтобы ложки в блюде не женить, то есть, не цепляться. Блюдо большое, но бывало, что матушка добавляла две-три поварешки. Мясо в супе тоже было рассчитано на всех, кусочки одинаки, потому обид быть не может.

Случались и конфузные происшествия. В одной семье свекор, хозяин, то есть, недолюбливал невестку. И вот, зимой дело было, ставит она на стол большое блюдо наваристых штей со свиной. А свинина жирная, жирком верх подернулся, и пар не идет. Свекор ложку на стол бросил:

— Што ты мне холодные шти ставишь?

Девка испугалась:

— Как холодные, только с огня сняла?!

А сама хватъ полную ложку штей и все во рту сварила. Конечно, мужик тот нехороший человек, ты не люби невестку, это твоя правда, только изгаляться над человеком не можно. Да и над скотиной тоже так же, если по-человечьи...

Изо стола не моги выскочить, пока все трапезу не закончат, а потом дедушка Ферапонт встанет, повернется к иконостасу и, трижды перекрестившись, пропоет, и мы все следом:

— Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных благ, не лиши нас и небесного твоего царства, но яко посреди учеников твоих пришел еси, Спаси, мир дай им, приди к нам и спаси нас!

Я уже большенький был, когда отец ездил по решению схода на губернский крестьянский сбор, там давали богатый обед, и батюшка привез большую коробку с посудой, сказал матушке:

— Отныне будем каждый из своей тарелки есть, так требуется по нынешним временам.

— Отец, дак ведь своя семья!

— И что с того? Нет, мать, привыкай.

Вот я говорил о супе. Суп — это когда картошка с крупой какой-нибудь и с мясом, конечно, сварены. На топленом свином сале матушка обжаривала лук, иногда с морковкой, а мне больше глянулся суп, подбитый обжаренной мукой. Если суп куриный, то непременно подбивали его взбитыми яйцами.

Щи же варились с капустой и другим овощем, томились в вольном печном жару, отчего делались красными и вкусными. Щи полагалось убелять сметаной, тут каждый добавлял, сколько хотел. И суп, и щи должны быть густыми, потому что в воде силы немного, а ели для того, чтобы работать, как следно быть.

Мясо в нашей семье не выводилось, и готовила его матушка то с картошкой, то с капустой, иногда просто жарила небольшие кусочки в сковороде. На воскресенье часто лепили пельмени. Тяжелую мясорубку батюшка привез из города с ярманки. В пельмени добавляли лук, а еще для забавы в один пельмень кто-то из старших закладывал уголек.

Попал тебе такой пельмень — скрыть невозможно, уголь хрустнет, но должно проглотить. Договоры бывали разные, например, съевший пельмень с углем освобождался от какой-то работы, или, напротив, обязан был всю неделю возить воду с речки для скота на са-

нях в трех бочках. Конечно, если деду или матушке выпадало, то просто повеселились и без всяких заданий.

Еще вот о студне. Студень варили в охотку, он едой не считался, а как бы прибавка. Брались лытки свиные и скотские, на огне обрабатывались от шерсти и щетины, ошпаривались и гоились так, что были как игрушки. Потом уши свиные тоже гоились. Брали большой казан, чтобы кости не рубить, не славно, когда в студне острая косточка и тебе в небо воткнется. На любителя можно добавить куски мяса, но наши так не делали. Все это долго варилось, соль — кому сколь глянется, а приправа потом. Когда все упрело, варево остужают, обирают мясо от костей, сухожилия и прочее, потом в корытце рубят. Корытце небольшое, внутри полукругом, сечка по этому размеру, измельчили, по посудинам разложили и жижкой той заливают. Туда же чеснок, луковочку, горох перцовый, от лавра листик. И в прохладное место, лучше в погреб.

Погреб у нас был большой и холодный, зимой всякая овощ сохранялась, а летом молоко по два дня не скисалось, бывало, пошлют за чем — минутки лишней не удержишься. Был в погребе отдельный сусек, куда весной лед спускали, укутают его, как ребенка, а внутри мясо сохраняется от зимних забоев, на всю посевную хватало. Когда студень схватится, его режут хрушками ломтями и на плоском блюде ставят на стол. Берешь ломоть в ложку, а он трясется весь, а внутри кусочки чеснока и лук полумесяцем. Вкуснятина.

Особо о хлебе. Горе той семье, где хозяйка не умеет хлебы стряпать. Хлеб завсегда был самым главным продуктом, в Сибири даже пельмени с хлебом едят, одни блины разве без прикуски. Я сам наблюдал, как матушка квашню заводила. На полке стояла сельница, большое деревянное корыто, выдолбленное батюшкой из толстого дерева. В сельнице мука. Если матушка видит, что маловато будет, пошлет кого-то в амбар с лукошком, принесут. Бывала квашня ржаная, бывала пшеничного помола, а еще бывала на праздники крупчатка, особо мелкая мука, ее еще сеянкой звали. Эта только на сдобу. Насеяла

матушка муки, сколь надо, ставит закваску. Для этого у нее в квашне кусочек теста оставлен. Размочит его, мучкой приправит, и в тепло, на печь к чувалу либо прямо в печурку.

Опять объяснять надо, потому как сейчас делают уже по-иному. Раньше русские печи били из красной глины, были такие мастера, что и своды били, и стояли они, сколь дом простоит. Глина материал мягкий, а после сбоя плотный делается и терпеливый. Передняя часть печи

для хозяйки, называлось цело. Тут шесток, как площадка перед печью, посредине обломок зеркала обмазывали, это в бедных семьях, где большого зеркала не было. В цедре делались два полукруглых углубления, в них всегда тепло и сухо. Можно серянки хранить, рукавички засунуть подсушить, там же и лучинки строганные лежали, когда керосина не было, зимой ужинали при лучине. Воткнув ее посреди стола, кто-то отгоревшие угольки снимает. Все видно, ешь на здоровье. А рано утром матушка сперва лучинку зажигала, а потом печь растапливала. Дрова в печь не кидали как попало, а на лопате подавали и укладывали клеточкой, чтобы горели лучше, но это еще с вечера.

Дальше про хлеб. На этой закваске матушка замешивает тесто в квашне. Квашня делалась круглая, как небольшая бочка, сверху две ручки, две дощечки пропущены повыше и в них отверстия вырезаны под руки стряпухе. И начинает квашня гулять, бродить, в избе дух кисленький, приятный. Я сплю на полатах и могу посмотреть. Матушка оставит квашню и приляжет, но не долго. Тесто прет из квашни, надо его промешивать, и так несколько раз. Только матушка и знает, когда тесто можно вывалить в селницу и наминать его, уплотнять, и тоже не раз. Опять же наступает время, когда матушка начинает булки или калачи готовить. Отрежет кусок теста, намнет его как следно

быть, потом укладывает на широкие железные листы, все займет, и залавок в кути, и стол. Хлеб должен вытронуться, еще говорят — поднятаться. Вот в это время не дай Бог тебе проснуться и на двор помочиться бечь, матушка цикнет:

— Тихохонько дверью-то, а то хлеб упадет.

Я всегда хихикал, когда проснувшийся батюшка вдруг начнет чихать, да так громко, что матушка бежит в комнаты и выводит его на крыльцо. Считалось, что, если в это время случится какой-то громкий звук, булки осядут и хлеб «не удастся». Отдельно на широких плашках стоят булки, которые будут выпекаться на печном поду. Когда дрова прогорели, и печь нагрелась, сперва в чугунах и горшках суп варится и каши, или мясо в жаровне. Для хлеба печь освобождается, матушка гусиным крылом под печной выметет и садит с широкой лопаты булки и листы с калачами. Печь прикроет заслонкой, но поглядывают, чтобы не жарко было. Вот тогда такой сладкий дух пойдет по всему дому, а через открытый чувал и на улицу, выйди на дорогу, и сразу скажешь, в каком доме сегодня хлебы пекут.

У нас всегда был самый вкусный хлеб, бабы приходили, завидовали, хвалили матушку, а она потом улыбалась:

– Та же мучка, да другие ручки.

И моя Дарьюшка от матушки все переняла, бывало, только та зашевелилась в кути, Дарьюшка обвинет меня крепко, поцелует и прямо на рубаху широкое домашнее платье наденет, умоет лицо и руки под рукомойником и к матушке:

– Помогу вам чего, и сама поучусь.

– Доченька, шла бы ты в постель к мужу своему, на утренней зорьке ох как сладко спится с любимым. Правду я говорю?

– Святая правда, матушка, только я тоже хочу путней хозяйкой быть, и чтобы муж мною гордился перед товарищами своими. Я ему не сухую корочку в дорогу положу, а пирожок тепленький, да калач мягкий.

Я вон какую жизнь прожил, а не приходилось ни самому зреть, ни от добрых людей слышать, чтобы свекровка так сноху любила и сноха чтобы чужую женщину при живой-то матери матушкой родимой звала, даже при чужих людях.

Вот писаны тут еще, какие удивительные штуки наши бабы умудрялись из ничего изготовить. Возьмем кулагу, разобраться – проще репы пареной, а какой вкус и какая пользительность. Берут лукошко ржаной муки, кипятком заваривают и дают постоять, чтоб остыло, потом заквашивают обыкновенной квасной гущей, какая в любом доме есть. Тут дают опять постоять, с вечера до утра. Утром опять кипятком разводят, кто как любит. Дед Ферапонт, к предмету, любил густую кулагу, чтобы ложка стояла. А иные ее пьют, такая жидкая. Когда в русской печке весь жар загребли, корчагу с кулагой ставят в вольный жар, а к вечеру уже готова. И сладка, и кисленька, и ядреность в ней есть – любо-дорого кушанье.

Еще вот про сладости. В старые-то годы вообще никакого сахара не было, а организм сладкого требует. Вот и натакались наши женщины сусло гнать. Сначала рожь чистую замачивают теплой водой, а когда она пропитается, выкладывают ровненько на широкие доски. Рожь быстро росточки даст. Потом ее солодят, держат в тепле день-другой, она сладкая делается, тут ее в корчагу и вполовину почти разбавляют ржаной мукой, а потом в печь, в вольный жар. А корчага та не простая, в самом низу у доньшка дырка есть, и она пробкой заткнута. Когда хозяйка видит, что сусло готово, достает корчагу, ставит на залавок, и под дырку другую посудину. Вынула пробку, сусло и потекло: янтарное, дух такой, что слюной давишься, течет долго, а когда все вышло, отходы поросьятам, они это дело шибко любили. А сусло – куда хошь, и ложкой ухватишь, и хлебушком помакать.

А какие квасы ядреные делали наши бабы, в нос шибает, а пить приятно. И пиво ладили хмельное, и все хлебное, свое.

Матушка наша, когда поста нет, молочных ососков, поросенок махоньких любила опять же в вольном жару русской печки запекать с гречневой кашей и коровьим маслом. Моя Дарьюшка тоже умела, а вот снохи и дочери не сподобились, ни одна ни разичку не пригласила:

— Батюшка, завтра ососка стану печь, дак ты приходи.

Нет, не умеют. Боюсь, что так и растратим все умение дедов и прадедов своих.

В посты питание особое, без мяса, без молока, только никто от того не прятался, а жили как жили и робили так же. Разве пост только в еде? С едой беды не было, потому как в запасах всегда было всего: рыба соленая, копченая, сухая; грибы соленые и сушеные; всякая и во всех мыслимых видах, масло постное конопляное, льняное, рыжиковое, из подсолнухов; а еще сусло, солод, мука всякая, картошка и овощ разный и тоже и в солонине, и живьем в погребе сохраняется. Да мы и не замечали, что еда стала хуже или иного вкуса. Благословясь, все вкусно и для души, и все съедалось, одни оторонки оставались. Зато после поста всегда устраивали праздник, с большой молитвой и смиренным кушанием всего, чего душа возжелает.

И посты блюли, Матюша, и гулять умели буйно да весело. Акромя свадьбы за столы садились по большим праздникам после церковной службы. Подавали пиво ржаное, медовуху, еды всякой должно быть на столе. Пьяных не бывало, так, навеселе. Я первый разик увидел шибко пьяного, когда на ярманку приехал. Так и понял, что бес влез в человека и блажет. Страмно смотреть, кто-то из крепких мужиков подошел к пьянице и крест с шеи сорвал. Сразу легче стало. В гости ходили по родству и по дружбе. Деревня большая, никто ни с кем не ругался и не спорил, а в кампанию незван не пойдешь. И угощали от всего сердца. А присказку эту, мол, кума, ешь девяту шанежку, я ведь не считаю, придумали, сроду такого в православном народе быть не могло.

Обидно, надо тебе признаться, внучок, народ наш не весь однак, не все люди работающи, были, да и таперика есть, кто зорьку не ждет, кто любит попотягаться, ленивые, одним словом. Я все себе загадку задавал: откуда они взялись? Ведь робить, чтобы семью кормить, чтобы чего-то иметь в доме и в хозяйстве — это же самое простое понятие в жизни. Ан нет! Не хочет робить. Новой раз зову:

— Ананей, пособи рожь жать, на всю зиму хлебом обеспечу.

А он в ответ:



— Благодарствую, дяденька Ферапонт, мы, как птички небесные, не сеем и не пашем, а сыты бываем.

Стыжу его:

— Ну, соберешь ты картошки пять корзин, тебе же с семьей не хватит на зиму.

— Хватит, дяденька, еще и останется, а то, что останется, тоже съедим, да еще и не хватит!

Видал ты его такого безалаберного и бесстыжего? И куды с ним? А ведь жили, мы же и прикармливали, куды денешься. Вот порода, видно, какая-то веточка от русского человека в сторону вильнула, без дьявола тут не обошлось, это, спаси Господи, сушая правда.

Дедушка Ферапонт веры Христовой был такой крепкий, что скажи ему, что надо за Бога голову на плаху положить — даже думать не станет, шапку скинет и густой бородой упрется в колоду: руби, палач! Это я почему знаю? Сам дедушка говорил. Еще учил, что русскому человеку иначе нельзя, столько у него врагов по белому свету, что гибель ждет, то есть, дьявол ждет момента, чтобы русский человек в вере хоть чуточку усомнился, и тогда ему конец. Вот и стал он хлопотать, когда на новое место пришли, что надо храм строить непременно. Общество его снарядило и отправило в Тобольск ко Владыке Тобольскому и Сибирскому, звали его Варлаам. Тот благословил и в тот же год человека прислал, мастера. Сперва место освятили в самом центре деревни, водружальный крест поставили, а потом начали яму копать под основание, глину подходящую нашли, стали кирпич бить и обжигать тут же. Вся деревня работала, даже ребятишкам дело сыдут. Дедушку старостой избрали, и оставил он все хозяйство на сынов своих, а сам подался по округе, собирать деньги на строительство. Мастер присланный такие деньги заломил, что в деревне столько отродясь не бывало, но городские церкви давали, и купцы давали, кто скрытно, чтоб без огласки, а кто требовал, чтобы имя и звание было отлито на колоколах.

Свои крестьяне тоже раскошелились, несли, да и немало. Еще много ушло яиц куричьих, потому что в раствор надо было добавлять. Дедушка говорил, что шелуха от яиц под сапогами хрустела.

Дед Ферапонт все учитывал, деньги хранил в железном ящике, а мастеру выдавал под расписку при двух свидетелях. Три года строили, да год богомазы картины рисовали и иконы. А потом и колокола привезли, по снегу, на широких санях, шесть лошадей цугом запряжены были. Дед Ферапонт говорил, что колокола подымали на ве-

ревках и ременных вожжах, с молитвой, мужики на связанных лестницах с двух сторон поправляли, укрепили большой колокол в пятьдесят пудов по центру необхватного листовенного бревна, а с мелкими уже проще было. И ваккурат в Троицу Владыка приехал, а у нас разлив, большая вода пришла, еще не успокоилась, то тут, то там бурны. Везли его на большой лодке, да две рядом на всякий случай. А Владыка в сурьезных годах, как сел на лавку, так и не пошевелился, все молитву читал. Он еще на берегу сказал:

— Не пугайтесь, дети мои, Господь не попустится, мы же на святое дело едем, он нас и охранит.

Батюшка иерей Фока уже не два ли года к тому времени в деревне жил, певчих набрал, пасаломщиков, пономарей. И на торжественном молебне певчие так грянули: «Господи, слава Тебе!», что Владыка прослезился.

Дед Ферапонт пал Владыке в ноги:

— Владыка Варлаам, благословение твое я исполнил, как мог, а теперь ослободи меня от ноши сей, ибо я крестьянское свое хозяйство совсем запустил, а раба более верного у Господа до самой моей кончины не будет.

Владыка поднял деда с колен и сам встал перед ним. Мир ахнул.

— Не я, а ты тут хозяин, и не волен я давать тебе указания. Господь сам строит храмы, только руками людей своих, и счастлив тот, на кого падет этот выбор. И ты, раб Божий Ферапонт, снискал себе место у трона Царя Нашего Небесного среди других верных детей его.

Дедушка всегда плакал при этих словах, я только потом понял, что со временем забылось имя устроителя храма, и дедушка ревновал всех служителей церкви, кто ходит в ней хозяином, кто касается ее стен и ее икон.

Еще дед рассуждал:

— Матюша, много чего хрупкого на свете, вот хрустальную чашу купец Назар Наумович привез, а приказчик, подлец, пьян, аки свинья, за чашу ухватился, да на ногах-то не устоял, рухнул. И чаша та в мелки дребезги. И в каждом человеке есть такая чаша, только названье ей другое, совесть она зовется, запомни это. Если сия чаша хоть чуточку треснула, уже никаким клестером ты ее не склеишь. Есть единый способ сохранить в душе чашу совести — это вера в Господа нашего Иисуса Христа. Гляди, ежели вера в одном человеке разжижла, то его беда, а если целый народ от веры отшатнется — гибель тому народу. Таких случаев в Библии описано множество. Ну, это ты потом поймешь.

Вот этот рассказ дедушки Ферапонда даже переписывать страшно, когда он мне это рассказал в те годы, когда я парнишкой был и в амбарную книгу заносил наши разговоры, рассказал и ушел, а я один остался, и писать было жутко. А говорил он, что в ночь на Рождество Христово стоял он в храме, им же построенным, и молился истово, потому что со строительством храма вера в нем вовсе окрепла. И все вокруг молятся исправно, и крест кладут и поклоны бьют, как положено по уставу. Когда запели «Христос рождается!», дедушка пал на колени и чуть сознания не лишился, потому что видит, на полу не ноги человеческие, а копыта, и копыта те грязные, друг об дружку шоркаются, и грязью уже весь пол церкви загажен. Я сразу-то ничего не понял, и спрашиваю:

— Дедушка Ферапонт, откуда же в храме скотские копыта?

А он отвечает:

— Вот и я так сперва подумал, а потом понял: Господь открыл мне глаза и показал, кто воистину в храме стоит. Люди, знамо, но веры-то в них ни на грош нету, так, стоят, лбы крестят, конца службы ждут. Вот дьявол-то и пролазит в телесное человеческое состоянье и к душе, к душе тянется, тело ему не надо. А уж коли копытцами прихожане, не все, конечно, застучали, стало быть, добился своего сатана, в души многих проник. Вот тогда и обратился я к миру с просьбой одновременно после трех дней сухого поста, когда маковой росинки во рту не должно быть, пойти на исповедь, и клятвенно Господа заверить, что ни одной воскресной службы не пропустим, чтобы не завелась у нас в селе чертовщина, и не погибли мы все в геенне и тартаре. Народ меня одобрил, может, тем и спаслись. А соседняя деревня тем годом выгорела дотла.

Вот и думай. А еще вот что, внучок, я тебе особо скажу. За мою жизнь многие наши ребята уходили служить в армию. Большое горе для семьи, все-таки кормильца забирают, правда, не последнего, всегда считали, что в доме еще есть мужики. Бывало и ворочались, но уже подержанные, здоровья нет, а то и израненный весь, только и радости, что дома помер. Приходили и по ранению, тогда лечили и жил человек мирной жизнью, но, Матюша, уже другой человек. Если пришлось в живого человека штыком колоть и видеть, как из него душа выпрастывается, после человеком оставаться не можно. Я так думаю. И видел таких ребят. Война — дьяволом подсунутая штучка. Отчего цари да султаны воюют? За землю, а на земле народишко, а в земле камушки да золотые слитки. Вот бес и терзат, султан ночей не спит, в поход надо. А царю нашему что остается? Кликнет народ, по-

шли, робята, султана воевать. Вот тебе еще жить да жить, и увидишь ты на своем веку много всего, только войны бы тебе избежать. Я хоть и бывал, Господь призвал, но, Матюша, быка колешь, а у самого сердце кровью исходит, а там люди. Сказывают, бывают народы черные, как головешки, и ростом в две головы выше, силы небывалой. Говорил один солдат, что такого можно только из фузеи застрелить, и вот уронили его и все сбежались: диво же! А из грудины черная кровь так и хлещет. Страшные времена наступают, Матюша, так что молись, Господь для того и пришел, чтобы за нас постоять.

Вот переписываю листочки, что дедушка Ферапонт наговорил, и своего многое вспомнилось, охота поделиться и нашей жизнью. Сибирь — она Господом создана для людей, потому не сразу ее и разоблачили большие народы, а малые жили тут, как дети. Мне довелось в дальней поездке повидать вогулов да остяков — ну дети, чистые дети. А когда серьезный народ пришел, тут и хлеба стали расти, и мясо вывозили на ярмонки, а какое масло коровье бьют на наших маслобойнях — нигде такого не сыщешь, ко столу своего Государя и, сказывают, английская королева без нашего масла за стол не садится, капризничает. А вкус масла особый оттого, что травы у нас отдельные, нигде нету таких, они и вкус придают, и запах манящий.

Несколько листочков еще осталось, это дедушка сказывал про свои края, что помнил. Тоже, верно, земля знаменитая, но суровая даже супротив Сибири, промысел один — рыба, а море опасная штука. Конечно, хотелось бы хоть одним глазком глянуть на землю пращуров...

*Писано октября 25 дня 1917 года от Рождества Христова.*

**ПРИПИСКА ОТ АНДОМИНОЙ М. П.:** Когда я уже собралась отправлять Вам эту рукопись, вся наша большая семья собралась, и решили мы пригласить Вас к нам в гости, вместе отметить 250 лет с той поры, как предки наши ушли от Онежского озера, которое они называли морем. Дело в том, что в книгах Матвея Гордеевича нашлась бумага от Вологодской земельной управы и там дата: 1763 год.

К сему Андомина М.П.

## ОБ АВТОРЕ

Ольков Николай Максимович родился 24 августа 1946 года в селе Афонькино Казанского района Тюменской области.

Окончил Литературный институт имени А.М.Горького в 1976 году.

Член Союза писателей и Союза журналистов России.

Автор девяти романов, четырнадцати повестей и около пятидесяти рассказов. Они составили книги:

«**Не живут в Кремле ласточки**» (Екатеринбург, 2003),

«**Ремезиное гнездышко**» (Шадринск, 2004),

«**Крутые Озерки**» (Шадринск, 2004),

«**Признаюсь, что живу**» (Шадринск, 2006),

«**И ныне и присно**» (Шадринск, 2008),

«**Сухие росы**» (Омск, 2009),

«**Глухомань**» (Шадринск, 2009),

«**Подарок судьбы**» (Шадринск, 2010),

«**Гриша Атаманов**» (Шадринск, 2010),

«**Книга любви**» (Омск, 2012),

«**Мать сыра земля**» (Шадринск, 2013),

«**Чистая вода**» (Шадринск, 2013)

«**Птица, залетевшая в окно**» (Екатеринбург, 2013),

«**Ферапонта Андомина сказывания**» (Екатеринбург, 2013),

«**Дурдом**» (Курган, 2014),

«**Подлог**» (Курган, 2015),

«**Хлеб наш насущный**» (Барнаул, 2015),

«**Клад, Или Сашко, Пашко и Фрося из Парижа**» (Барнаул, 2016),

«**Иван Ермаков: Дорога к Храму**» (Барнаул, 2016),

«**Земля и воля**» (Барнаул, 2016),

«**Деревенские жители**» (Омск, 2017).

«**На восходе солнца**» (Барнаул, 2018).

Основные произведения вошли в трехтомник «**Рассказы. Повести. Романы.**» (Тюмень–Ишим, 2014) и двухтомник «**Новая проза**» (Барнаул, 2016).

Издан более тридцати книг очерков, краеведения и публицистики,

книгу *«Очерки истории Бердюжского района Тюменской области»* (Шадринск, 2010), обзор Казанской районной газеты Тюменской области с 1931 по 2012 год *«История района газетной строкой»* в двух томах (Шадринск – Тюмень, 2012), двадцать семь брошюр *«Диалоги о наших временах»*.

Лауреат премии имени Константина Лагунова «Очеркист года», Тюмень, 2003).

Лауреат литературной премии УРФО (2012), дипломант (2011, 2013).

Почетный аграрник Тюменской области (2013).

Лауреат литературной премии имени Ивана Ермакова (Тюмень, 2014).

Отмечен медалью АСПУР «За служение слову» (2013),

Почетными грамотами Губернатора и Думы Тюменской области (2014).

Лауреат Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина–Сибиряка (2015).

Лауреат Всероссийской литературной премии имени Н. А. Некрасова (2016).

Лауреат Международной Южно–Уральской Литературной премии (Челябинск, 2015).

Лауреат литературной премии имени Сергея Чекмарева (Челябинск, 2015).

Лауреат Международной премии «Имперская культура» (2017).

Лауреат сайта «Российский писатель» (2015, 2017).

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Григорий Блехман. Проза долгого дыхания.....</i>	<i>3</i>
Залог счастья — гнездышко ремеза. <i>Рассказ.....</i>	<i>9</i>
Проводины. <i>Рассказ.....</i>	<i>10</i>
Димкино поле. <i>Рассказ.....</i>	<i>13</i>
Тетя Поля — банщица. <i>Рассказ.....</i>	<i>30</i>
Сенокосная пора. <i>Рассказ.....</i>	<i>34</i>
Лезвие для безопасной бритвы. <i>Рассказ.....</i>	<i>52</i>
Бункерный вес. <i>Рассказ.....</i>	<i>57</i>
Соседи. <i>Рассказ.....</i>	<i>62</i>
Переход через Макарушкину лягу. <i>Рассказ.....</i>	<i>69</i>
Наказ. <i>Рассказ.....</i>	<i>74</i>
Потеря. <i>Рассказ.....</i>	<i>80</i>
Не живут в Кремле ласточки. <i>Повествование.....</i>	<i>98</i>
И ныне и присно. <i>Роман.....</i>	<i>186</i>
Глухомань. <i>Повесть.....</i>	<i>369</i>
Ферапонта Андомина сказыванья. <i>Повесть.....</i>	<i>419</i>
<i>Об авторе.....</i>	<i>461</i>

Современная русская проза

**Ольков Николай Максимович**

***Собрание сочинений в пяти томах***

**Том 1**

Ответственный за выпуск Н.И. Дорошенко  
Технический редактор Е.И. Косырева

Подп. в печать 27.07.2018 г. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Бумага офсет №1. Гарнитура Newton C.  
Печать офсетная. Печ. л.: 29  
Тираж 100 экз. Заказ №

АНО «Редакционно-издательский дом  
«Российский писатель»  
119146, Москва, Комсомольский пр-т, 13  
Тел. 8-962-965-51-64  
sp@rospisatel.ru  
www.rospisatel.ru

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»  
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1  
Тел.: (495) 230-20-52